ПОРТРЕТ

Сара Бернар

МОЯ ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ

СЕВЕРО-ЗАПАД

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Она стала легендой еще при жизни — выдающаяся французская актриса, писательница, художница. Мемуары раскрывают перед читателями мир чувств этой великой женщины, но не обнажают ее душу — в своих воспоминаниях она остается актрисой. Она хотела, чтобы ее знали *такой,* и ей невозможно не поверить, настолько просто и естественно рассказывает она о своем детстве, о людях, с которыми сводила ее судьба, о театральных впечатлениях… Но по-прежнему, как в любых мемуарах, неуловимой остается грань между реальностью и субъективным ощущением действительных событий.

- Сара Бернар
  - ВОКРУГ САРЫ БЕРНАР
  - Часть первая
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
  - Часть вторая
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8

        - 9
        - 10
        - 11
        - 12
        - 13
        - 14
        - 15
        - 16
        - 17
        - 18
        - 19
        - 20
    -
    -
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29

- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73

- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88

Сара Бернар
Моя двойная жизнь

ВОКРУГ САРЫ БЕРНАР

Слава ей досталась невероятная, причем всемирная, — она побывала в большинстве стран Европы, в том числе и в России, стала любимицей американского континента. Вероятно, ни одну актрису столько не изображали — в портретах, карикатурах, в сериях фотографий. Парижское фотоателье Надаров (отца и сына) специализировалось на ее снимках. Отец оставил несколько превосходных поэтических портретов актрисы, а сын — галерею ее сценических образов. Полвека ее имя не сходило со страниц газет и журналов всего мира. Ненависть она вызывала столь же сильную, как и любовь. Бернард Шоу обязан ей многими страницами остроумной и желчной до неприличия критики.

В мемуарах под выразительным названием «Моя двойная жизнь» Сара Бернар вспоминает о самом раннем детстве и монастыре, где она воспитывалась, о красивой маме и мудрой настоятельнице, о сестрах, потом о людях, окружавших ее в юности, о своих приключениях и скандалах, о франко-прусской войне, о госпитале, устроенном ею в театре *Одеон,* о множестве встреч — то где-то на дороге, то в заграничной поездке в Испании или Англии, об американских городах. Ее очерки живы, память хранит яркие детали, а иногда не может освободиться от страшных подробность. Кажется, что переживания остаются с нею, всегда свежие, словно она не вспоминает, а вновь видит, слышит, чувствует, вновь участвует в давних событиях. Краски не тускнеют, речь сохраняет страстность до последних страниц. Она не скрывает ни гнева, ни раздражения, ни умиления. Виден сильный характер и чувствуется по-актерски отзывчивый на среду темперамент. Видна женщина — обаятельная и пылкая, капризная и мелочная, нетерпимая и целеустремленная. Гораздо меньше видна актриса — и не просто актриса, а одна из самых знаменитых актрис в истории театрального искусства. То главное, что и знатоку, и любителю сцены хотелось бы узнать, — что, где и как играла Сара Бернар, как она работала, остается в тени, потому что автор предпочитает (вполне в духе своего времени) женский портрет, точнее — автопортрет. В таком подходе к самой себе, как предмету и явлению искусства, есть своя логика. Сара пишет: «Думаю, что драматическое искусство преимущественно женское искусство. В самом деле, желание украшать себя, прятать истинные чувства, стремление нравиться и привлекать к себе внимание — слабости, которые часто ставят женщинам в укор и к которым неизменно проявляют снисходительность».

Замечание, много открывающее нам в этой книге, в этой

женщине и в этой актрисе. Мемуары — еще одна роль, тонко рассчитанная и прекрасно сыгранная, внушающая читателю полное доверие. Это жизнь, подвергнутая интерпретации, и, прежде чем попытаться подойти к ней с анализом, давайте обратимся к некоторым фактам.

* * *

Сара Бернар прожила почти восемьдесят лет. Она родилась в 1844 году (по некоторым источникам, правда, в 1840), а умерла в 1923. Родилась, когда во Франции писал романы Бальзак и драмы В, Гюго, в которых она потом играла главные роли, а умерла после первой мировой войны, в эпоху решительного изменения политической и культурной жизни Европы. Когда будущей актрисе было 13 лет, скончалась великая Рашель (Сару Бернар считали ее преемницей на трагической сцене), а в 1923 году в Париже гастролировала труппа московского Камерного театра с постановкой «Федры» — одной из коронных пьес в репертуаре и Рашель, и Бернар. Алиса Коонен, игравшая у Таирова Федру, мечтала встретиться с «божественной Сарой», как ее запросто называли, но успела только к ее похоронам. Так что в одной биографии соединились, встретились два века — классический театр и театральный авангард.

Всего Сара создала более ста тридцати ролей, главным образом из традиционной французской драматургии, но были тут и Шекспир (Корделия, Офелия, Дездемона, Гамлет, Порция). Для нее писали пьесы известные драматурги рубежа веков — В. Сарду, Э. Ростан, Ж. Ришпен, даже англичанин О. Уайльд и итальянец Г. д'Аннунцио.

Выступала она на сценах парижских театров *Комеди Франсез, Одеон, Жимназ, Ренессанс,* потом в 1899 году организовала свой собственный театр Сары Бернар, число же площадок, подмостков, сцен в других странах, где она гастролировала, не поддается счету.

Неуживчивая и своевольная, она ссорилась с директорами и антрепренерами, критиками и журналистами, коллегами и любовниками, в то же время выказывая способность к самоотверженности, женской преданности, терпению. В конце жизни ее имя воспринималось как название некоего феномена. Она им действительно была в куда большей степени, чем ее соперницы-современницы, великие актрисы Элеонора Дузе, Габриэль Режан, Эллен Терри.

По образованию — консерваторскому (Консерватория —

высшее театральное учебное заведение Парижа) — Сара Бернар принадлежала к французской театральной школе, которая в течение нескольких веков хранила свои традиции почти в неприкосновенности. Эта школа считается наиболее консервативной и далекой от обычного правдоподобия, зато непревзойденной в технике и внешней отделке исполнения. Ученики этой школы строго делились на трагиков и комиков, и это деление поддерживалось классическим репертуаром. Его основу составляют произведения Корнеля, Мольера, Расина. Любая французская знаменитость измеряет свою сценическую судьбу успехами в классике. Сара Бернар имела их по крайней мере пятнадцать. Но тем и необычна эта судьба, что на гребне настоящего успеха актриса разрывает с *Комеди Франсез,* цитаделью традиции, и пускается в то, что позволительно назвать репертуарными авантюрами, создает репертуар заново, оставив для себя несколько любимых ролей, вроде Федры, и смело экспериментируя с другими. Например, в 1905 году в постановке трагедии Расина «Эсфирь» она воспроизводит обстоятельства премьеры 1689 года — все роли, мужские и женские, играют актрисы, а сама Сара исполняет роль царя Ассуэра. Фантазия ее не утихает до конца жизни. После 1915 года, когда ей ампутировали одну ногу, она играет роль царицы Аталии, тоже расиновской героини, ее на сцену выносят на специальных носилках; или показывает отдельно последний акт «Дамы с камелиями», где Маргарита Готье умирает и не поднимается с постели.

Жан Кокто застал ее последние выступления, когда от былой худобы и легкости ничего не осталось: «По сцене медленно, опираясь на каждый предмет на своем пути, идет грузная умирающая женщина — пестрый ворох восточных тканей, спутанная светлая грива, горящие глаза старой львицы — и, наконец, замирает с распростертыми руками, припав к средневековым воротам».

Потомки судили о ней строго. Обвиняли в хаотичности биографии, которую она творила по собственному произволу Ее свобода была бессистемной, она не хотела опираться на традицию. Репутация ее могла бы быть весомей (во всяком случае для историков театра), останься она в *Комеди Франсез* и никуда не бегая. Вот ее партнер по этому театру и трагедии — Жан Мунe-Сюлли (они вместе играли восемь лет), в те же годы, в тех же спектаклях покоривший парижскую публику, так и прожил актером, сосьетером, дуайеном *Комеди Франсез,* потом ветераном театра до самой смерти в 1916 году. Свои роли он бережно хранил десятилетиями, а роли — отборные: Орест, Ипполит, Рюи

Блаз, Эрнани, Отелло, Гамлет… Сара же после 1880 года вдохновляла знакомых писателей на продукцию очень среднего качества. Ей не изменяло чутье — что понравится публике, но вкус изменял. Приняла бы современная публика и ее певучую декламацию, и ее героинь из эффектных, ныне совсем забытых мелодрам, в свое время так нравившихся зрителям? Историки в этом не уверены. Возможно, потому и слава ее была слишком громкой, что она целиком принадлежала своей эпохе, ничего не оставляя впрок, — она была «идеальной актрисой периода 1870–1900 годов, в высшей степени оригинальной, в чудесном согласии с современным вкусом, неподражаемой в другом чудесном согласии между ролями и актерскими средствами», — писал ее французский биограф.

* * *

Что же за стиль и вкус предпочла Сара Бернар академизму *Комеди Франсез*? Несомненно, это был модерн. В юности Сара поражала худобой и бледностью, иногда это создавало проблемы при распределении ролей. Во всяком случае, и сама актриса, и директора театров, и публика воспринимали худобу и хрупкость как недостаток. («Сна лучше исполняет свою роль, чем наполняет корсет», — язвили современники.) Потом, когда с неизвестностью было покончено, тоненькая фигурка, облаченная в спиралевидные юбки, вихрящиеся вокруг ног, точно вписалась, хочется сказать, врисовалась в излюбленные линии эпохи. На портретах Сара позирует полулежа, повторяя одну и ту же ломаную диагональ, которая пересекает плоскость картины, заполненную декоративными растениями, широкими мягкими диванами, шкурами на полу и лежащими на них собаками. В 1876 году, когда художник Ж. Клэрен выставил в Салоне ее портрет, в Париже началась мода на такие интерьеры и на таких женщин, на изогнутые линии тела, не скованного корсетом, на вольную копну волос и низкую челку. Сара создавала моду струящихся, перетекающих тканей, нежных наклонов шеи, заломленных рук. Ее непокорные волосы идеально соответствовали стилизованным под волны, под шевелящуюся от ветра траву, под распускающиеся цветки ирисов или лилий женским головкам. То, что в шестидесятые годы было смешно (недаром Сара помнит о засмеявшемся зале на премьере «Ифигении в Авлиде»), в восьмидесятые и девяностые восхищало взыскательный вкус. Бегство от классической простоты и строгости к прихотям модерна Сара ощутила как внутреннее требование таланта,

который искал самой острой современности, но не той, что предлагал в своих спектаклях один из первых режиссеров Андре Антуан в натуралистических постановках Э. Золя и Льва Толстого, а другой, что связана с именами Г. д'Аннунцио и С. Уайльда. Не случайно одну из самых стильных и самых скандальных пьес эпохи «Саломею» Уайльд написал на французском языке специально для Сары. (Цензура запретила пьесу, Сара так и не сыграла эту роль.) Не случайно, д'Аннунцио, увидев однажды актрису, сочинил «Мертвый город» тоже для нее, на этот раз пьесу поставили, впрочем, без особого успеха.

Олицетворением актерской судьбы для юной Сары была Рашель — задыхающаяся, убиваемая своим ремеслом, тяжко больная чахоткой, которая и свела ее в могилу. Сама же Сара, несмотря на обмороки, о которых она пишет в мемуарах, обладала достаточно крепким здоровьем, жаждой жизни, сильной волей, и родовые, так сказать, признаки трагического дара она приспособила к образу изнеженной дивы, вечно утопающей в шелках и зелени, с томным взглядом из-под челки, с нежнейшим и певучим «золотым голосом».

В нем заключалось ее особое богатство — голос, с ходу бравший в плен и американцев, и русских, и итальянцев Интуитивно повинуясь новому стилю, Сара отказывается от мужественных интонаций, которые слышались еще у Рашели. Сара могла издать вопль, поражавший физиологической достоверностью. Такие дерзости особенно выразительно контрастировали с обычным для нее «пением» — так декламировала она трагические роли. Многообразие женственных интонаций, отзвуков и оттенков складывается в гармоническое звучание — это психологизм, весь уместившийся в голосе, в тембре, в уникальной палитре речи, вовсе не яркой, но тонкой, трогательного, достигающей самых чувствительных уголков души. Голос Сары — это соловей, сирена, пение которых так мило вкусу модерна. Голос Сары соединял твердость (недаром все твердят про золото) и способность к живой вибрации; звучность и немного носовой тембр, а губы, часто сжатые в какой-то спазматической гримасе (вспомните — несколько раз Сара пишет о страхе сцены), выбрасывали нежные, как бы освобожденные из плена слова; они напоминают, говорил поэт Т. Банвиль, дыхание ветра, журчание воды.

Своеобразно произошло ее примирение с Парижем после первых американских гастролей. Париж на нее обижен — она покинула его лучший театр она покинула Францию ради заокеанской славы и денег и в Париже 1881 года ее уже никто не ждет 14 июля в *Гранд опера* большой праздник, десятилетие

освобождения Парижа В театре собрался весь Официальный Париж во главе с президентом и премьер-министром В заключение вечера запланировано торжественное исполнение «Марсельезы» актрисой *Комеди Франсез* Агарь, но Она спешно уехала из города, и узнавшая об этом Сара, в Гайне от всех, на свой страх и риск решила ее заменить Надо сказать что мелодекламация «Марсельезы» — тоже традиция и почетная роль ведущих актрис со времен Рашели Когда Сара появляется на сцене, в зале — недоумение, скандал неминуем. Но она никогда скандалов не боялась, напротив, искала их Она начинает едва слышно, тихим слабым голосом, потом он крепнет, нарастает, проникает повсюду и во всех Никогда, пишет ее биограф Андре Кастелот, эту песню не пели так, как она прочла. В этот вечер Сара снова величайшая актриса Франции, ей все прощено.

Вацлав Нижинский как-то записал в дневнике: «Сегодня я танцевал так божественно, что жена сравнила меня с Сарой Бернар». Неслучайность такого сопоставления подтверждал Кокто, когда несколько выспренно говорил, что Бог взамен Сары послал Нижинского. Понятно, что речь не о буквальном танцевании в драме: просто на смену божественному приходит божественное. Но не только на этом строил свой пророческий пассаж Кокто. Было нечто в жестах и движениях Сары, вообще в ее пластике, в ее знаменитых паузах и незабываемых позах, что узнавалось новым балетом, — текучесть линий, гибкость стеблей, которую рождало желание подчинить цивилизованное тело естественной красоте природы. «Все приемы, все жесты балетные!» — восклицал один русский критик.

Первый сценический успех Сары связан с мужской ролью — Занетто в пьесе Ф. Коппе «Прохожий». Потом она собрала целую коллекцию мужских ролей — отрок Захария в трагедии Расина «Аталия», сам юный Расин в какой-то биографической пьесе, царь Ассуэр, Керубино в «Женитьбе Фигаро», наконец, три Гамлета (так она выражалась): черный (шекспировский), белый — герцог Рейхштадский, Орленок в драме Э. Ростана и флорентийский — Лоренззаччо в романтической пьесе А. Мюссе. В мечтах были Мефистофель и Скупой. Эти тяготения выглядели аномально с точки зрения того театра, где в водевилях постоянны переодевания в мужские костюмы, и вся эта привычная двусмысленность неизменно имела успех у обывательской публики. Нет, травестия Сары носила куда более изысканный характер. Она не изображала обманы в пикантных ситуациях. Она играла женственных мужчин. Она отняла у актеров несколько лучших ролей и учредила моду на них среди актрис. Потом Гамлета играли Аста Нильсен и Маргерит Жамуа. С ролями

Гамлета, Лорензаччо, Орленка она вывела на сцену андрогина, этот эротический идол модерна, встречающийся на листах Одри Бердслея. Современники задумывались, не андрогин ли сама Сара, то есть бесполое или внеполое существо, но вполне определенный интерес к другому полу и романы, продолжавшиеся до последнего года жизни, не позволили этой легенде утвердиться, как многим прочим. Женственный мужчина, созданный Сарой, однако, вовсе не сатира феминизма или фантазия вконец испорченного вкуса — хотя Сару из одного чувства противоречия могло занести как угодно далеко, даже в имитацию несвойственного ей порока. Тут выражало себя стремление к абсолютной одухотворенности, которая не удостаивает земного, ибо сцена — мир высоких иллюзий; тут защита прекрасных поэтических душ, которые она переносила на сцене в «вечно женственное», идеальное. Где нет пола, нет и пошлости, хотя переодетая в мундир или платье принца Сара, с чуть выступающим уже животом (ей было тогда уже около пятидесяти) и с нарочитой юношеской осанкой, избежать пошлости, конечно, уже не могла, но только это стильная пошлость изобретательного модерна. «Под беломраморным обличьем андрогина Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез», — писал об Александре Блоке Иннокентий Анненский. Обличье андрогина принимала и Сара Бернар, оттеняя трагическую меланхолию, нелюдимость и презрение к людям, которыми отличались три ее Гамлета.

Наконец, в величайшем романе модерна она выведена и под своим собственным и под вымышленным именем Берма. Сара Бернар — одна из самых характерных фигур фона-времени — главного героя Марселя Пруста. Невозможно понять это время, не приняв во внимание и стильные плакаты художника А. Мухи, вертикальные полотнища, изображающие актрису в ролях Лорензаччо и Жисмонды, не вспомнив журналы мод, где ее платья, ее драгоценности, ее косметика определяли приоритеты сезона.

* * *

Теперь, после краткого знакомства с биографией актрисы, вернемся к мемуарам. Внимательный читатель заметит, как исподволь, упорно автор внушает мысль о случайности своего жизненного выбора. О театре юная Сара ничего не знала, ее впечатления сводились к одному-двум спектаклям, идею поступления в Консерваторию подсказал граф Морни, барьер

экзамена был преодолен незаметно без усилий. И дальше Сара ни разу не обнаруживает каких-либо следов и отметин честолюбия профессиональной зависти, сомнений и отчаяния начинающей актрисы Биографы давно уже сомневаются в этом безупречном хладнокровии. Факты ее жизни истолкованы совсем иначе и пустые годы между уходами и переходами из театра в театр и бесконечные выходки, и поездка в Испанию. Слезы пролитые когда-то в детстве на «Британике» в *Комеди Франсез* необъяснимая грусть, которую вызывал в ней театр при первых встречах, возможно, были голосом ее единственной страсти голосом ее таланта в предчувствии тех страданий, которые она испытала (не признаваясь в этом читателю). Вторая премия в Консерватории уязвила ее больше, чем она показала это себе и другим. Скандалы были следствием не только дурного характера, но и сомнений, которым подвергался ее талант в начале шестидесятых годов. Ни в *Комеди Франсез*, ни в *Одеоне* никто не решился бы тогда определенно сказать об ее одаренности. Известность приходила к ней медленно, может быть, слишком медленно для нетерпения ее страсти. Был момент, когда она собиралась вообще оставить сцену (о нем в мемуарах ни звука; Муне-Сюлли в своих мемуарах о подобном переломе пишет). Он связан с той стороной ее жизни, о которой Сара ничего не сообщает, — иначе пришлось бы мемуары назвать «Моя тройная жизнь» Так же, как оставляет в тени некоторые обстоятельства своего пути в искусство.

Граф Морни, советуя отдать юную, достаточно привлекательную девушку в театр, следовал известному жизненному рецепту благополучия: из актрис можно было попасть в разряд дорогих содержанок (каковыми были ее мать и тетка), а в лучшем случае удачно выйти замуж. Никто не беспокоился о способностях, поскольку все решали связи. И Сара эту накатанную дорогу не обошла.

Знаменитая французская романистка XX века Франсуаза Саган написала роман в письмах — автор таким образом вступает в диалог с Сарой Бернар и «заставляет» Сару многое досказать. В частности, признаться, что роман с Муне-Сюлли, о котором судачил «весь Париж», не мешал ей принимать ухаживания других, более состоятельных поклонников. Ведь средств у молодого премьера *Комеди Франсез* было явно недостаточно, чтобы обеспечить возлюбленной нужный комфорт. Ее подруга Мари Коломбье в 1883 году выпускает брошюрку о любовных похождениях Сары «Барнум» (приятели Сары бросились ее защищать и вызвали на дуэль автора предисловия; потом брошюрка была похоронена в архивах Национальной библиотеки). Из книги читатель не узнает, была ли замужем Сара

Бернар и кто отец ее горячо любимого сына Мориса.

Между тем эти подробности в свое время занимали Европу и Америку.

После провала в *Жимназ* в роли русской принцессы (мимоходом Сара замечает, что было вполне осознанное желание покончить с собой и что она просила у компаньонки лауданум, — словно рассказывает сюжет водевиля) актриса бежит в Испанию, где знакомится с принцем де Линем. В 1864 году у нее родился ребенок. Принц даже настаивал на браке, единственным условием его он ставил отказ от театра. В это время антрепренеры уверяли Сару, что у нее нет данных для сцены, и она им почти поверила. Однако для семьи принца невеста-еврейка и к тому же никому неизвестная актриса не подходила. Разыгрывается сюжет из «Дамы с камелиями». Сара под давлением кузена принца, генерала де Линя, отказывается от надежды на семейную жизнь, и друзья помогают ей получить контракт в *Одеоне*.

Самая же громкая ее семейная история происходит в 1881 году, когда она знакомится с Жоржем (Аристидом — таково его настоящее, греческое, имя) Дамала, личностью одиозной и весьма популярной. Дамала уже избалован женщинами, за счет которых жил, не сделав никакой карьеры и превратившись ко времени встречи с Сарой в законченного наркомана. Сара была старше его на одиннадцать лет. Они повенчались в Неаполе в марте 1882 года, и бремя этого брака Сара несла до конца, пытаясь спасти Жоржа от болезни, снося его скандалы, уходы, зависть и наркотики. Она пыталась сделать его актером, добиваясь для него ролей, контрактов, похвал. И «единственная любовь» к принцу де Линю, и неудачный брак, и способность той, по словам Кокто, «умирающей женщины» все еще загораться нежностью к юному партнеру (который позировал Родену для «Вечной весны») — конечно, неразрывны с ее биографией и ее ролями, ее репертуаром, с кругом людей, ей близких в разные годы или всю жизнь, — но обо всем этом Сара предпочитала молчать. Будто она знала, что все равно будут обсуждать, много и бесцеремонно, близкие и далекие потомки и не желала в этом участвовать.

Есть и еще одна интересная особенность в книге «Моя двойная жизнь». Обычно актеры в мемуарах делаются немного театроведами — анализируют роли, описывают игру коллег, делятся мыслями о пьесах, современном им театре, излагают творческие программы. В воспоминаниях Сары Бернар этого почти нет, если не считать лаконичного урока о Федре для Гладстона и нескольких разрозненных замечаний. Интеллектуальные претензии у Сары, конечно, были, но теоретизирование даже в самых малых дозах не для нее: оно

исказило бы образ спонтанной гениальности женского рода, который уже не только на сцене, но и в жизни создавала Сара. Вот тут мы подошли к еще одной крайне серьезной, хотя на первый взгляд слишком суетной, стороне этой жизни.

Первый том заканчивается словами: «Я решила осуществить свою мечту и стать великой актрисой» (кстати, второго тома, продолжения, так и не последовало). Хотела ли она *стать* великой актрисой или *слыть* ею? Эту дилемму разрешить уже нельзя Ясно только, что Сара Бернар породила череду «звезд» XX века которые славой своей хотя бы вполовину обязаны рекламе и имиджу. Над ним, имиджем, работает целая индустрия идолов и кумиров. Биографы называют год, с которого Сара начинает «сочинять себя»: «недостижимую, фантастическую странную, страстную, которая хочет таинственности и не принимает ни малейшего противоречия». Книга воспоминаний была одним из средств этого творчества в жизни. То и дело мы готовы уличить автора: она совершенно не тщеславна, но перечисляет всех персон высшего света, явившихся на открытие ее выставки; она никогда не читает газет, но в курсе всех сплетен о себе и вовремя реагирует на домыслы; она выше похвалы и хулы, но велит секретарю вырезать и наклеивать в альбом все, что пишется о ней дурного и хорошего. Сна не забывает описать восторженный прием публики (впрочем, эта общая слабость актеров-мемуаристов) в Англии, в Дании, в Америке… Она охотнее расскажет о полете на воздушном шаре, походе на ледник или в зверинец, чем об очередной театральной героине. Она презирает моду, но мы точно знаем, в каком платье она являлась на приемы, в кабинеты и пр. Эти противоречия, думаю, надо толковать в пользу Сары и ее характера, который давал о себе знать вопреки выбранной ею «большой» роли.

«Трудно сказать, — признавался Вл. Немирович-Данченко, — чего в ней было больше: громадного сценического таланта или мастерицы собственной славы» Другой свидетель, З. Фрейд, поражался тому, как легко она играет в жизни, по существу не нуждаясь в сценических подмостках. И уже не раз выручавший нас Жан Кокто писал: таким, как Сара, не нужен театр, «они создают и играют роль в самой жизни, строят декорации из ничего».

Даже пикировка с прессой только разжигала и поддерживала интерес к головокружительным странностям «божественной» Сары: к гробу розового дерева в спальне, к гонорарам, романам, туалетам и многочисленным дарованиям. Никого ведь не интересовало частное мнение Родена о скульптуре Сары Бернар: «Это халтура, и публика дура, что ее смотрит». Журналы

публиковали снимки Сары в мужском костюме, с инструментом в руках, не забывая отметить, что ее наставником в изобразительных искусствах был сам Гюстав Доре. Подозревали, что пожар, погубивший ее квартиру на улице Обер, где были и дорогая мебель, и предметы искусства, подстроила сама владелица: это могло быть полной газетной чепухой — однако в духе и образе поведения Сары Бернар. Здесь «все на продажу», как потом это было с Мэрилин Монро, Элвисом Пресли, Майклом Джексоном и другими жертвами массовой любви. Современники чутко уловили, где Сара научилась извлекать выгоду из себя — в Америке, тогда уже это назвали «американизмом». Там, за океаном, Сара вкусила полновесные плоды рекламы, которые ей, европейской актрисе, были в новинку За 25 центов продавали книжицу о ее любовных историях. Сплетни превышали всякую меру. Например, сочинили, что у нее четверо детей от четырех мужей. Она откликнулась мгновенно через газету: это абсурд, но это много лучше, чем иметь, как некоторые женщины в этой стране, четырех мужей и ни одного ребенка. Помещали сравнительные портреты: худая Сара по приезде в Америку; пухлая дама после шести месяцев пребывания в ней. Рассказывали анекдот о ковбое, который проехал триста миль и с пистолетом в руках отвоевал себе место в зрительном зале, а перед тем как войти в него, осведомился, что, собственно говоря, делает эта Сара — поет или танцует?

Сценические характеры, покорившие несколько поколений, держались на одной, тщательно отделанной и мастерски разработанной черте — женской слабости, имевшей мало общего с сильной волей, необыкновенной целеустремленностью, кокетливым обаянием, а подчас и коварством реальной Сары Бернар. Собственные болезни и искренние поступки в равной степени служили рекламе, они представляли публике сверхоригинальную, неподражаемую женщину своего времени. И напрасно было бы высчитывать, сколько души вложено в устройство госпиталя в *Одеоне* (в 1871 году) и сколько в этом позы, или что влекло уже пожилую и нездоровую женщину на поля сражения в 1914, чтобы петь для солдат «Марсельезу».

Генри Джеймс, великий романист и психолог, автор романа «Женский портрет», сравнивал Сару Бернар с дворцом, в котором много окон. В ней действительно было много показного, много правд, много обманов. Возможно, она первой из плеяды «звезд» стала жертвой собственного образа, сквозь который — этот имидж великой, божественной, несравненной — уже не добраться до человека, до его сокрытого от нас мира. Во всяком случае Эдмон Ростан, знавший ее очень хорошо, посвятивший ей три

пьесы, раздражался, когда слышал были и небылицы о Саре. В ответ на них он однажды описал рабочий день актрисы и владелицы театра: это репетиции по нескольку часов спектакль где она «играет в каком-то бешеном исступлении» бдения до глубокой ночи с коллегами обсуждение всех текущих дел, прием посетителей ответы на письма, а дома уже глубокой ночью, — чтение новой пьесы «Вот — завершает Ростан — Сара, которую я знал. Я не знал другой той с гробами и аллигаторами. Я никакой другой Сары не знал кроме этой Это та Сара, которая работает И это — самая великая»

* * *

Никак нельзя обойти в этом предисловии и русские гастроли Сара приезжала в Россию три раза — в 1881, 1893 и 1908 годах Каждый раз «Москва вставала на дыбы» как писал А.П. Чехов по поводу первых гастролей. То же самое происходило в Одессе, Киеве и Петербурге Картина скандала (или триумфа), сопровождавшего актрису во всех турне, повторяется и здесь, но с русскими особенностями. Публика ночами стоит на морозе в ожидании билетов Купцы устраивают роскошные приемы, подносят дорогие подарки. Молодой Чехов в двух фельетонах, напечатанных в журнале «Зритель» изображает «пятую стихию», «тысячу раз известную Сару Бернар» и автора — одного из тех доведенных до прямого сумасшествия зрителей, которому уже на вокзале «помяли бока и оттоптали ноги» Смешная и пошлая суета вокруг знаменитости (и кто в ней больше виноват — кумир или поклонники?) распространяется во всех слоях общества. Александр III в ответ на поклон Сары Бернар галантно замечает, что это он должен делать перед ней реверансы. Театры, где она выступала в первый приезд, — Большой в Москве, Мариинский в Петербурге, — переполнены, «съезд — размеров ужасающих». В Одессе в карету «жидовки» бросили камень, а потом этот одесский булыжник, покрытый лаком, лежал у Сары в кабинете на письменном столе.

Но публика глазеет, а знатоки вглядываются, ждут искусства Перед вторым посещением России Сару опередила Элеонора Дузе, ее вечная соперница. Наплыв знаменитостей делает русскую публику особенно разборчивой. Единодушия не было Оставим в стороне нарочитый юмор А. П. Чехова, подписавшегося «*Антоша Ч.»,* — он, начинающий фельетонист, заимствует тон и факты (делая много ошибок) из разных популярных источников, из прессы, которая сама отчасти сочиняла вздор и сама же потом его

высмеивала. Оставим недобрый юмор издателя «Нового времени» А. С. Суворина, который придумал заголовок «Сенбернардский вопрос» Чехов и Суворин явно не поклонники такой театральной манеры, хотя неожиданным образом впечатления от парижской «дивы» отразятся в драме «Иванов», начатой в конце восьмидесятых. Жена главного героя — еврейка Сарра, умирающая от чахотки, подобно героине Сары Бернар Маргарите Готье Кроме фельетонов о гастролях писались вполне серьезные, основательные статьи Более того, снова и снова бурлит полемика об актерском искусстве вообще, возобновлявшаяся по приезде прославленных актеров, особенно французских. Многим критикам игра Бернар кажется «показной», «неестественной», «фальшивой» Парижская рафинированность после таких русских талантов как М. Н. Ермолова, Г. Н. Федотова, М. Г. Савина, В. Ф. Комиссаржевская, кажется насмешкою над искусством, превращением его в фокусы. Так полагал И. С. Тургенев. В то же время К. С. Станиславский, апостол новой театральной правды враг представленчества, на практике лютый враг всякой эффектной декламации, оказывается в другом лагере. Он восхищается Сарой и говорит об «изумительном примере технического совершенства» Другим в исполнении Бернар виделся как раз образец настоящей сценической естественности и простоты. Немирович-Данченко так и выразился: «Форма разговора дышит простотой» Сравнивая ее с Э. Дузе, что привозила те же роли — Клеопатра, Маргарита Готье, — некоторые находят Сару скромной и глубокой, а Дузе — склонной к «декорированию», уступающей эффектам Правда, влиятельный А. Кугель убедительно разделил сферы влияния, анализируя одну роль «даму с камелиями» Француженка играла «дешевое великолепие ее социальной профессии», а итальянка — была «просто страдающей женщиной, с дешевеньким букетиком пармских фиалок, приколотым к корсажу» «Аналитическое» искусство не трогало сердца русских зрителей, ждущих от театра потрясений. Трижды появляясь на русском театральном горизонте, Сара не примирила своих друзей и врагов. И вряд ли могла оценить перемены, происходившие здесь от приезда к приезду Посетив Московский Художественный театр и посмотрев «Синюю птицу» в постановке К. Станиславского, услышав про талант Максима Горького и высказав желание как-нибудь сыграть Анну Каренину, она не проникала в суть всего, с чем столкнулась. К третьим ее гастролям умер Чехов, сделавшийся из журнального юмориста великим драматургом (не только Анну Петровну Иванову, Сарру, она могла бы сыграть, но и Раневскую); уже поставлены на сцене все шедевры новой драмы; уже Элеонора

Дузе встретилась с другим реформатором театра, Гордоном Крэгом, и начала играть Генрика Ибсена, а Сара Бернар все продолжает возить по всему свету Орленка, Жанну д'Арк, Тоску, Федру, Клеопатру — этот громоздкий багаж примы-гастролерши. 30 ноября 1922 года, за несколько месяцев до смерти, она выходила на сцену последний раз, в итальянском турне, в Турине.

Среди студийного движения театральной Европы начала века она как художник стареет не по дням, а по часам. Успела сняться в семи фильмах, которые сейчас невозможно смотреть — театр модерна, Сара без голоса (фильмы немые) скомпрометированы бесстрастной пленкой, новым механическим пока искусством. Кино уличало Сару. Но она держалась, законсервировав себя, свой талант, свой облик, свой театр. М. Г. Савина восхищалась ее жизненным тонусом и стройной фигурой. Для нее долго не существовало проблемы возраста. Подобно фигуре, не менялась и «сверкающая красота» ее искусства. Она доводила до степени совершенства, или утонченности, или абсурда любое актерское умение. Например, грим — Сара красила уши и кончики пальцев. В ее актерском аппарате различали по отдельности «золотой голос», «плачущие руки», «рыдающую спину», «пластические картины поз». Кажется, что в конце концов в прижизненном бессмертии она отстранилась, как бы исчерпав самое себя. Умирая, она шутила, словно со стороны наблюдая за последними минутами великой комедиантки, спрашивала, не износился ли любимый гроб, и назначала молодых актеров, которые понесут этот гроб с ее телом. Эта выдержанная до конца роль достойна уважения, если не зависти. Что бы ни говорили острословы, сон о Саре Бернар, один из тех снов, что видело человечество, по словам А. Кугеля, — «один из самых оригинальных и сложно-занимательных».

Е. ГОРФУНКЕЛЬ

Часть первая

1

Моя мать обожала путешествия. Она ездила из Испании в Англию, из Лондона в Париж, из Парижа в Берлин. Оттуда в Христианию[1], затем возвращалась, чтобы обнять меня, и снова уезжала в Голландию, свою родную страну.

Моей кормилице она посылала одежду для нее и сладости для меня.

Она писала одной из моих тетушек: «Присмотри за маленькой Сарой, я вернусь через месяц». А спустя месяц писала уже другой сестре: «Сходи к кормилице навестить девочку, я вернусь через две недели».

Маме было девятнадцать лет, а мне — три года; тетушкам моим было одной — семнадцать, другой — двадцать лет. Третьей исполнилось пятнадцать, а самой старшей — двадцать два года, но она жила на Мартинике, и у нее у самой было уже шестеро детей.

Бабушка моя ослепла. Дедушка умер; отец два года назад уехал в Китай. Почему? Понятия не имею.

Мои юные тетушки обещали навещать меня и почти никогда не держали слова.

Моя кормилица-бретонка жила неподалеку от Кемперле, в маленьком белом домике под очень низкой соломенной крышей, на которой росли дикие левкои.

То был первый цветок, очаровавший мой детский взор. И я всегда обожала этот цветок с лепестками, похожими на заходящее солнце, с жесткими и печальными листьями.

Бретань — это довольно далеко даже в наше стремительное время. А в ту пору это был вообще край света.

К счастью, кормилица была, видимо, славной женщиной. Ее ребенок умер, и ей оставалось любить меня одну. Только любила она, как любят обычно бедные люди — когда у них есть время.

Однажды муж ее заболел, и она пошла в поле собирать картошку; земля сильно намокла, и картошка начала подгнивать. Ждать было нельзя. Она оставила меня под присмотром мужа, лежавшего на узкой бретонской кушетке, острая боль в пояснице не давала ему шевельнуться. Добрая женщина усадила меня на высокий детский стульчик. Перед уходом она заботливо укрепила деревянный стерженек, поддерживавший узкую дощечку, на которой она разложила передо мной мелкие игрушки. Бросив в камин виноградную лозу, она сказала мне по-бретонски (до четырех лет я не понимала другого языка, кроме бретонского): «Будь умницей, моя Пеночка!» (Это было единственное имя, на

которое я откликалась в то время.)

Славная женщина ушла, а я принялась вытаскивать деревянный стерженек, так заботливо укрепленный моей бедной кормилицей. Преуспев в этом, я оттолкнула ненадежную преграду, полагая, что соскользну на пол, — бедняжка, я упала в радостно потрескивающий огонь. Крики мужа моей кормилицы, который сам не мог шелохнуться, привлекли внимание соседей. Всю дымящуюся, меня бросили в большое ведро с молоком, которое только что надоили.

Узнав обо всем, тетушки предупредили маму. И в течение четырех дней покой этого тихого уголка нарушал шум следовавших один за другим дилижансов. Тетушки мои съехались отовсюду. Обезумевшая мама примчалась из Брюсселя вместе с бароном Ларреем и одним из его друзей, молодым врачом, входившим тогда в почет. А кроме того, барон Ларрей прихватил с собой медика-практиканта.

Потом уже мне рассказывали, что трудно было вообразить более горестную и очаровательную картину, чем отчаяние моей матери.

Врач одобрил масляную маску, которую мне накладывали каждый час.

С тех пор я часто видела этого милого барона Ларрея; и порою он будет вновь возникать в моей жизни.

Он так очаровательно рассказывал мне о любви всех этих славных людей к «Пеночке» и не мог удержаться от смеха при воспоминаниях о таком количестве масла. Оно было всюду, рассказывал он: на кушетках, на шкафах, на стульях, на столах и даже висело в пузырях на гвоздях. Все соседи приносили масло для масок «Пеночке».

Мама, похожая на мадонну, невообразимо красивая[2], с золотистыми волосами и такими длинными ресницами, что, когда она закрывала глаза, тень от ресниц падала ей на щеки, раздавала золото всем вокруг. Она готова была отдать и свою золотую шевелюру, и свои белые, точеные пальчики, свои маленькие, как у ребенка, ножки и саму жизнь, только бы спасти эту девочку, о которой еще неделю назад почти не думала.

В своем отчаянии и в своей любви ко мне она была столь же искренна, как и в невольном забвении.

Барон Ларрей уехал обратно в Париж, оставив со мной мать, тетю Розину и медика-практиканта.

А через сорок два дня мама торжественно привезла кормилицу, мужа кормилицы и меня в достославный город Париж и поселила нас в Нейи, в маленьком домике на берегу Сены. У меня, говорят, не осталось ни одного шрама. Ничего, никаких

следов, если не считать чересчур розовой кожи. Моя мать, счастливая и успокоенная, опять отправилась в свои путешествия, снова оставив меня на попечение тетушек.

Два года пролетели в этом маленьком садике в Нейи, где было полно ужасных георгинов с плотно сбитыми лепестками, похожих на разноцветные мотки шерсти. Тетушки мои совсем не приезжали. Мама присылала деньги, конфеты, игрушки.

Муж кормилицы умер. И моя кормилица вышла замуж за консьержа из дома № 65 по улице Прованс. Не зная, где найти маму, и не умея писать, кормилица, никого не предупредив, отвезла меня в свое новое жилище. Я была в восторге от переезда. Мне тогда было пять лет, но я прекрасно помню тот день, как будто все это случилось вчера.

Жилище моей кормилицы находилось как раз над самыми воротами; в тяжелые монументальные ворота было вделано слуховое окно. Снаружи мне показалось это очень красивым, и, очутившись перед огромными воротами, я даже захлопала в ладоши. Дело близилось к вечеру, ведь в ноябре около пяти часов уже начинает смеркаться.

Меня уложили в маленькую кроватку, и я, верно, тут же заснула, потому что ничего больше не помню.

Зато на другой день меня охватила страшная тоска: в комнатке, где я спала, не оказалось окна. Я заплакала. Вырвавшись из рук одевавшей меня кормилицы, я бросилась в соседнюю комнату. Подбежала к окну. Ткнувшись упрямым лобиком в стекло, я заревела от ярости, не увидев ни деревьев, ни самшитовой изгороди, ни падающих листьев. Ничего, совсем ничего, один только камень… Холодный, отвратительный, серый камень и оконные стекла напротив. «Я хочу уйти отсюда! Я не хочу оставаться тут! Здесь черно! Здесь гадко! Я хочу видеть уличный потолок!» Рыдания душили меня.

Бедная кормилица взяла меня на руки и, завернув в одеяло, спустилась во двор.

— Подними головку, Пеночка, и посмотри, вот он, уличный потолок.

Увидев, что в этом гадком месте все-таки есть небо, я несколько утешилась, но моей крохотной душой овладела печаль. Я перестала есть; я побледнела, стала анемичной и наверняка умерла бы от истощения, если бы не случай, похожий на самый настоящий театральный трюк.

Однажды, играя во дворе с Титин, маленькой девочкой, жившей на третьем этаже, ни лица, ни полного имени которой не удержалось в моей памяти, я вдруг заметила нового мужа кормилицы, пересекавшего двор вместе с двумя дамами, причем

одна из них была очень элегантной. Я видела только их спины, но, когда услыхала голос элегантной особы, сердце мое замерло. Меня охватило такое волнение, что я задрожала всем своим маленьким тельцем.

— Есть окна, которые выходят во двор? — спросила дама.

— Да, мадам, вот эти четыре.

И он указал на четыре окна, открытых на втором этаже. Дама повернулась, чтобы взглянуть.

Почувствовав небывалое облегчение, я закричала от радости:

— Тетя Розина! Тетя Розина!

Бросившись к хорошенькой посетительнице, я ухватилась за ее юбку. Уткнувшись лицом в ее меха, я топала ногами; я рыдала; я смеялась; разрывала ее длинные кружевные рукава.

Она взяла меня на руки, пытаясь успокоить хоть немного, и, спросив о чем-то консьержа, шепнула своей приятельнице:

— Ничего не понимаю! Это же маленькая Сара, дочь моей сестры!

Крики мои привлекли внимание жильцов. Стали открываться окна.

Тетя решила укрыться в каморке консьержа, чтобы добиться каких-либо объяснений. Бедная моя кормилица поведала ей обо всем, что случилось: и о смерти мужа, и о своем новом замужестве. Уж не помню, что она говорила в свое оправдание.

Я крепко вцепилась в тетю, от которой так хорошо пахло… так хорошо, и я ни за что не хотела расставаться с ней. Она обещала приехать за мной завтра; но я не желала больше оставаться в темноте, я хотела уехать сейчас же, сию минуту, вместе с кормилицей. Тетя ласково гладила мои волосы и говорила со своей приятельницей на каком-то непонятном мне языке. Напрасно она пыталась убедить меня в чем-то… Я хотела уехать с ней, уехать немедленно.

Изящная, и нежная, и такая ласковая, но без тени любви, она наговорила мне кучу красивых слов; коснулась меня затянутыми в перчатки пальцами; поправила свое сбившееся платье; от каждого ее жеста веяло легкомыслием, очарованием и холодом. Она ушла, увлекаемая подругой, высыпав в руки кормилицы содержимое своего кошелька. Я устремилась к двери, запертой мужем кормилицы, который пошел провожать тетю.

Бедная кормилица плакала; взяв меня на руки, она открыла окно со словами:

— Не горюй, Пеночка. Видишь свою красивую тетю? Она вернется. Ты уедешь вместе с ней.

По ее круглому, доброму лицу катились крупные слезы. Но я не видела ничего, кроме черной дыры за спиной. И в порыве

отчаяния ринулась к тете, собиравшейся сесть в коляску; и все… дальше тьма… тьма… далекий гомон далеких голосов… очень далеких…

Я вырвалась из рук няни и шлепнулась на мостовую прямо к ногам тети. В двух местах я сломала себе руку и разбила на левой ноге коленную чашечку.

Очнулась я через несколько часов в огромной и очень красивой кровати, которая стояла посреди большой комнаты и благоухала, в комнате было два великолепных окна, от которых веяло радостью, потому что в них «видно было уличный потолок». Срочно вызвали мою мать, и она приехала ухаживать за мной.

Тогда-то я и познакомилась со своими родными, со всеми тетями и кузинами.

Своим крохотным умишком я никак не могла взять в толк, почему сразу так много людей любят меня, ведь столько дней и ночей меня любило одно-единственное существо.

Понадобилось два года, чтобы я пришла в себя после этого страшного падения: здоровье у меня было слабое, а кости тонкие и хрупкие. Меня почти все время носили на руках.

Я опускаю эти два года своей жизни, которые оставили во мне смутные воспоминания о ласках и сонном оцепенении.

2

Но вот однажды утром мать посадила меня к себе на колени и сказала:

— Теперь ты уже большая. Пора учиться читать и писать. — (И в самом деле, к семи годам я не умела ни читать, ни писать, ни считать, потому что до пяти лет жила у кормилицы, а потом два года болела.) — Пора, — продолжала мать, играя моими вьющимися волосами, — пора становиться взрослой девочкой, будешь учиться в пансионе.

Мне это ничего не говорило.

— А что такое пансион… а?

— Это такое место, где много маленьких девочек.

— Они что, все больные?

— Конечно, нет! — отвечала мама. — Они вполне здоровы, как и ты сейчас, веселые, вместе играют.

Я запрыгала от восторга. Однако полные слез глаза мамы заставили меня броситься в ее объятия.

— А ты? А как же ты, мама? Ты останешься совсем одна? У тебя не будет больше маленькой дочки?

Тогда мама наклонилась ко мне и сказала:

— Чтобы утешить меня, Господь Бог сказал, что пришлет мне букет, а в нем — малыша.

Радость моя не знала границ.

— Значит, у меня будет братик?

— Или сестренка.

— О! Мне не хочется! Я не люблю девочек.

Мама нежно поцеловала меня и заставила одеться в ее присутствии. Я до сих пор помню это синее бархатное платье — мою гордость.

Нарядившись, я с нетерпением стала дожидаться коляски тети Розины, которая должна была отвезти нас в Отей. Она приехала около трех часов. Горничная уже с час как ушла; и до чего же я обрадовалась, увидев в коляске свои игрушки и чемоданчик! Неторопливая и спокойная, мама первой села в великолепный тетушкин экипаж. Я последовала за ней, помедлив и покрасовавшись немного, потому что на нас смотрели консьержка и несколько коммерсантов. Тетушка, быстрая и легкая, тоже вскочила, приказав по-английски неподвижно застывшему и очень забавному кучеру ехать по адресу, написанному на листке бумаги, который она вручила ему. Нас сопровождал другой экипаж, в котором сидели трое мужчин: Режи, мой крестный отец и друг моего отца, генерал Полес и

модный в ту пору художник, изображавший лошадей и охоту, которого, кажется, звали Флёри.

По дороге я узнала, что эти господа собирались заказать ужин в модном кабаре в окрестностях Отея. Приедут еще и другие гости, и все они должны встретиться там.

Я почти не обращала внимания на то, о чем говорили мама с тетей, потому что, когда речь заходила обо мне, они чаще всего начинали разговаривать по-английски или по-немецки, бросая на меня веселые и ласковые взгляды.

После долгого путешествия, доставившего мне огромное удовольствие, ибо, прильнув к стеклу, я во все глаза глядела на дорогу — серую, грязную, с некрасивыми домами и чахлыми деревьями, но мне-то она казалась великолепной… потому что это была все-таки какая-то перемена, экипаж остановился у дома 18 по улице Буало в Отее. На калитке — длинная металлическая дощечка с золотыми буквами на черном фоне.

— Надеюсь, ты скоро сумеешь прочитать, что там написано, — сказала мама.

— Пансион госпожи Фрессар, — шепнула мне на ухо тетя, и я храбро ответила маме:

— Там написано «Пансион госпожи Фрессар».

При виде моей наивной самоуверенности мама, тетя и трое их друзей не могли удержаться от смеха, и так, со смехом, мы вошли в пансион.

Госпожа Фрессар сама вышла нас встречать. Она мне очень понравилась. Среднего роста, немного полноватая, с седеющими волосами под Севинье[3], большими, прекрасными, как у Жорж Санд, глазами, ослепительно белыми зубами на слегка смуглом лице, она дышала здоровьем, в словах ее чувствовалась доброта, руки у нее были пухлые, а пальцы длинные.

Она ласково взяла меня за руку и, став на одно колено, чтобы очутиться на одном со мной уровне, обратилась ко мне своим мелодичным голосом:

— Вы не боитесь, моя девочка?

Я покраснела и ничего не ответила. Она задала мне еще несколько вопросов. И ни на один я не ответила. Все окружили меня.

— Отвечай, малышка!

— Ну же, Сара, будь умницей!

— Ах, какая скверная девочка!

Напрасные усилия. Я замкнулась в себе и безмолвствовала.

После положенного визита в дортуары, в столовую и комнату для рукоделия, после неуемных восторгов: «Как здесь все прекрасно содержится! Какая чистота!» — и тысячи таких же

глупостей по поводу комфорта этих детских тюрем мать вместе с госпожой Фрессар отошли в сторонку. Я держалась за мамины колени и мешала ей двигаться.

— Вот предписание врача. — И мама протянула длинный список с перечнем того, что следовало делать.

Госпожа Фрессар улыбнулась не без иронии.

— Знаете, госпожа, — сказала она матери, — мы не сможем ее так завивать.

— Скорее уж развивать, — ответила мать, проводя по моей шевелюре затянутыми в перчатку пальцами. — Это не волосы, это грива! Прошу вас, не расчесывайте ее, не проведя хорошенько щеткой по волосам, иначе вы ничего не добьетесь, только сделаете ей больно. А что дети кушают в четыре часа? — продолжала расспрашивать она.

— Кусок хлеба и то, что оставляют им к чаю родители.

— Тут вот двенадцать баночек с разным вареньем, видите ли, у девочки слабый желудок, один день ей надо давать варенье, другой — шоколад. Здесь шесть фунтов.

Госпожа Фрессар улыбнулась все так же насмешливо, но доброжелательно. Она взяла фунт шоколада и громко сказала:

— От «Маркиза»! Ну что ж, девочка, сразу видно, как вас балуют!

И она потрепала меня по щеке своими белыми пальцами. Затем глаза ее с удивлением остановились на большой банке.

— А это, — сказала мать, — это крем, который делаю я сама. Я хочу, чтобы каждый вечер перед сном моей дочери натирали им лицо, шею и руки.

— Но… — попыталась было возразить госпожа Фрессар, однако мама нетерпеливо продолжала:

— Я заплачу двойную цену за стирку белья. — (Бедная моя мамочка! Я прекрасно помню, что белье мне меняли раз в месяц, как всем остальным.)

Наконец пробил час расставания, в общем порыве все сгрудились вокруг мамы, которая как бы растворилась под градом поцелуев и всевозможных увещеваний: «Это пойдет ей на пользу!.. Ей это необходимо!.. Вот увидите, она станет совсем другой, когда вы снова сюда приедете!..» — и так далее.

Генерал Полес, очень меня любивший, взял меня на руки и, подняв вверх, сказал:

— Девочка, тебе предстоит жить в казарме! Придется шагать в ногу.

Я дернула его за длинные усы, а он, подмигнув в сторону госпожи Фрессар, сказал:

— Только не вздумай так поступать с этой дамой! — (У

госпожи Фрессар намечались маленькие усики.)

Раздался пронзительный, звонкий смех моей тети. Губы мамы тронула чуть заметная улыбка. И все общество двинулось прочь, как бы подхваченное вихрем взметнувшихся юбок и нескончаемых разговоров, меня же тем временем повели в клетку, где мне предстояло жить затворницей:

Два года я провела в этом пансионе. Я научилась читать, писать, считать. Научилась тысяче всяких игр, о которых раньше понятия не имела.

Я выучилась водить хороводы и петь песни, вышивать для мамы платки. Чувствовала я себя относительно счастливой, потому что мы имели возможность выходить по четвергам и воскресеньям, и эти прогулки давали мне ощущение свободы. Земля, по которой я ступала на улице, казалась мне совсем иной, чем земля большого сада пансиона.

И потом, госпожа Фрессар любила устраивать маленькие торжества, которые неизменно приводили меня в безумный восторг. Иногда по четвергам к нам приезжала читать стихи мадемуазель Стелла Кола, только что дебютировавшая в «Комеди Франсез». В ожидании этого события я не смыкала глаз всю ночь. Утром я тщательно причесывалась, с бьющимся сердцем готовясь услышать то, что было мне совсем непонятно, но производило чарующее впечатление. К тому же эту юную особу окружала легенда: она чуть ли не бросилась под копыта лошадей императорской кареты, дабы привлечь внимание государя и добиться помилования для брата, принимавшего участие в заговоре против него.

В пансионе у госпожи Фрессар жила сестра мадемуазель Стеллы Кола, Клотильда, ныне жена министра финансов Пьера Мерлу.

Стелла Кола была небольшого роста, белокурой, с голубыми, немного суровыми, но не лишенными глубины глазами. Голос у нее был низкий, и я трепетала всеми фибрами своей души, когда эта юная хрупкая девушка, такая бледная и светловолосая, принималась читать монолог Гофолии.

Сколько раз, сидя потом на своей детской кроватке, я пыталась подражать ей и произносила как можно тише:

Вострепещи… о дочь достойная.[4]

Втянув голову в плечи и надув щеки, я начинала:

Вострепещи… вос… трепещи… востре-е-е-пещи..

Однако это всегда плохо кончалось, потому что начинала-то я потихоньку, едва слышным голосом, а потом невольно возвышала его и заснувшие было подружки, разбуженные моими упражнениями, разражались веселым хохотом. Я в ярости бросалась то вправо, то влево, кого-то пиная ногой, а кого-то награждая пощечиной, и, конечно, за все получала сторицею…

Тогда появлялась приемная дочь госпожи Фрессар, мадемуазель Каролина, с которой я встретилась потом много лет спустя, когда она уже была женой знаменитого художника Ивона; рассерженная, неумолимая, она каждой из нас назначала наказание на завтрашний день. Что касается меня, то я, как правило, лишалась свободного дня — никаких прогулок — и получала пять ударов линейкой по пальцам.

Ах, эти удары линейкой мадемуазель Каролины! Я не преминула упрекнуть ее за это, когда увиделась с ней через тридцать пять лет. Она заставляла нас прижимать все пальцы к большому, причем руку надо было вытягивать и держать совсем близко от нее, — и бац!.. и бац!.. Линейкой из черного дерева она наносила жестокий удар, сильный и резкий, словом, ужасный удар, от которого слезы катились из глаз.

Я невзлюбила мадемуазель Каролину. А между тем она была красивой, но красота ее наводила на меня тоску. Лицо чересчур белое, волосы чересчур черные, украшенные кружевными лентами.

Много времени спустя я снова увиделась с ней, ее привела ко мне одна родственница.

— Пари держу, что вы не узнаете эту женщину! — сказала она. — А между тем вы ее прекрасно знали.

Я стояла, прислонясь к большому камину в зале, и смотрела, как из глубины первой гостиной появилась эта высокая особа несколько провинциального вида, но еще довольно красивая. Когда она спустилась по трем ведущим в зал ступеням, свет упал на ее выпуклый лоб, увитый лентами.

— Мадемуазель Каролина! — воскликнула я и незаметным движением спрятала обе руки за спиной.

Я никогда больше не виделась с мадемуазель Каролиной. И даже положенная хозяйке дома любезность не могла скрыть мою детскую обиду.

Я не слишком скучала у госпожи Фрессар; мне казалось вполне естественным оставаться там до тех пор, пока я совсем вырасту.

Мой дядя, Феликс Фор[5], вступивший теперь в картезианский орден, требовал, чтобы его жена сестра моей матери, как можно чаще вывозила меня гулять. У него было

великолепное поместье в Нейи, по которому протекал ручей, и вместе с кузеном и кузиной я целыми часами удила рыбу.

Словом, эти два года прошли спокойно, без всяких происшествий, если не считать моих гневных вспышек, повергавших в смятение весь пансион и приковывавших меня на два-три дня к постели. Эти гневные вспышки походили на при ступы безумия.

И вот, в один прекрасный день является вдруг тетя Розина, чтобы забрать меня из пансиона и, согласно предписанию отца, доставить в указанное им место. Предписание было категорично Моя мать, находившаяся в это время в отъезде, обратилась с просьбой к тете, которая, улучив минутку между двумя вальсами, тут же примчалась. Мысль о том, что снова, не спросив ни о чем меня, собираются пренебречь моими вкусами и привычками, привела меня в неописуемую ярость. Я каталась по полу; кричала истошным голосом; осыпала упреками маму, своих тетушек, наконец, госпожу Фрессар, не сумевшую уберечь меня.

В течение двух часов я сопротивлялась всеми силами, дважды вырываясь из рук, пытавшихся одеть меня, и убегая в сад, где я карабкалась на деревья, бросалась в маленький водоем, в котором было больше тины, чем воды, пока наконец, измученную, усмиренную, рыдающую, меня не отнесли в тетину коляску.

Три дня меня трясло как в лихорадке, потом начался такой жар, что опасались за мою жизнь. Тогда к тете Розине, жившей в то время в доме № 6 на улице Шоссе-д'Антен, приехал мой отец. Он был близок с Россини, который жил на той же улице в доме № 4.

Отец часто приводил его. И Россини смешил меня своими бесчисленными замысловатыми историями и неистощимыми комическими ужимками. Мой отец был красив как Бог. И я смотрела на него с гордостью. Видела я его редко и потому мало знала. Но мне нравились его чарующий голос, его медлительные, ласковые движения. Он внушал к себе какое-то почтение. Я нередко замечала, что в его присутствии моя неугомонная тетушка становилась гораздо спокойнее.

Я тоже постепенно обрела спокойствие; и лечивший меня тогда доктор Моно заявил, что меня можно везти без всяких опасений.

Мы дожидались маму, но она заболела в Харлеме. Отец отказался от предложения тетушки поехать вместе с ним, чтобы отвезти меня в монастырь. Я до сих пор слышу слова отца, сказанные тихим голосом:

— Нет, в монастырь ее повезет мать; я написал Форам, девочка поживет у них две недели.

Тетя стала возражать, но он сказал:

— Дорогая Розина, там спокойнее, чем здесь, а ребенку прежде всего необходимо спокойствие.

В тот же вечер я оказалась у тети Фор.

Ее я не очень любила, потому что она была позеркой и ей недоставало теплоты; но дядю я обожала: он был такой уравновешенный, такой ласковый, а сколько очарования было в его улыбке! Сын его был бесенком, вроде меня; совершенно непредсказуемый и немного легкомысленный. Нам хорошо было вместе. Зато моя кузина Грёз, напротив, была очень сдержанной, боялась испачкать свои платья и даже передники. Бедняжка вышла замуж за барона Сериза и умерла от родов в расцвете красоты и молодости, а все из-за того, что ее робость и замкнутость, узость ее воспитания помешали ей вовремя обратиться за помощью к врачу, тогда как медицинское вмешательство было совершенно необходимо. Я очень ее любила. И горько ее оплакивала; стоит мне увидеть лунный луч, и в душе моей оживает ее светлый образ.

У дяди я провела три недели, часами бродяжничая с кузеном и вылавливая раков в маленьком ручейке, протекавшем в парке его родителей. Этот огромный парк окружал широкий ров. Сколько раз спорила я с кузеном и хорошенькой кузиной; что сумею перепрыгнуть через эту яму:

— Спорим на пять булавок! Спорим на три листка бумаги! Спорим на два блинчика! — Каждый вторник мы ели блинчики.

И я прыгала. И большей частью падала в ров, барахталась в зеленой воде, отчаянно взывая о помощи, потому что страшно боялась лягушек, и вопя от ужаса, потому что кузен с кузиной делали вид, будто уходят.

Когда я возвращалась, обеспокоенная тетя, дожидавшаяся нас на крыльце, встречала меня ледяным взглядом и делала строгий выговор:

— Ступайте переоденьтесь, мадемуазель! И не выходите из своей комнаты! Обед вам принесут без сладкого!

Проходя мимо большого зеркала в вестибюле, я мельком видела в нем свое отражение, похожее на источенный червями ствол деревца, видела и кузена, который, поднося руку к губам, давал мне понять, что принесет мне десерт.

Кузина моя не противилась ласкам матери, которая, казалось, хотела этим сказать: «Ах, ты-то, слава Богу, не похожа на эту маленькую цыганку!» Так в минуты гнева именовала меня тетя. С тяжелым сердцем я поднималась к себе в комнату, мне было стыдно; глубоко опечаленная, я клялась никогда больше не прыгать через ров. Но стоило мне добраться до своей комнаты,

как я слышала удивленное восклицание дочери садовника, толстой, грубоватой девушки, которую приставили к моей маленькой особе:

— Ой, мадемуазель! До чего же вы смешная в таком виде!

При этом она так неистово хохотала, что я в конце концов начинала гордиться тем, что выгляжу такой смешной, и уже строила планы на будущее: «В следующий раз, когда буду прыгать через ров, надо всю залепить себя травой и грязью».

Раздевшись и помывшись, я надевала свое фланелевое платьице и дожидалась у себя в комнате обеда. Мне приносили суп, мясо и хлеб с водой. Я терпеть не могла, да и сейчас не люблю мяса. Поэтому я выбрасывала его в окно, отрезав предварительно жир, который оставляла на краю тарелки, так как тетя приходила проверять меня:

— Вы покушали, мадемуазель?

— Да, тетя.

— Вы не голодны?

— Нет, тетя.

— Перепишите три раза «Отче наш» и «Верую», маленькая язычница. — (Тогда я была еще некрещеная.)

Через четверть часа поднимался мой дядя:

— Ты хорошо пообедала?

— Да, дядя.

— Мясо съела?

— Нет, я выбросила его в окно. Я не люблю мяса!

— Ты обманула свою тетю!

— Нет, она спросила, покушала ли я, я ответила, что да, но не говорила, что ела мясо.

— Что ты должна сделать в наказание?

— Я должна переписать перед сном три раза «Отче наш» и «Верую».

— Ты знаешь молитвы наизусть?

— Нет, дядя, не совсем, я часто ошибаюсь.

И этот восхитительный человек диктовал мне «Отче наш» и «Верую», а я писала вслед за ним с полнейшим благоговением, ибо в словах его было столько ласки.

Надо сказать, что дядя Фор был набожным, очень набожным. После смерти тети он ушел в монастырь. И теперь, я знаю, больной и старый, согбенный горем, он сам роет себе могилу, изнемогая под тяжестью лопаты, моля Господа призвать его к себе и часто думая обо мне, «своей дорогой маленькой цыганочке».

Ах, мой добрый и ласковый человек, я обязана ему всем, что есть во мне хорошего, Я люблю его со всей преданностью и почтением. Сколько раз, вспоминая о нем в трудные минуты

жизни, я мысленно советовалась с ним, ибо потом уже мы больше с ним не виделись, так как тетя нарочно поссорилась со мной и с мамой. Но он по-прежнему меня любил и порою передавал мне советы, полные снисходительной правоты и здравого смысла.

Недавно я побывала там, где нашли приют монахи картезианского ордена. Один мой друг ходил повидать святого человека, и я плакала, слушая слова, которые дядя просил мне передать.

Как только дядя уходил, тут же появлялась Мария, дочь садовника, с невозмутимым видом она выкладывала из карманов яблоки, печенье и прочие сладости. Это кузен посылал мне обещанный десерт, а она перед тем, как подняться ко мне, предусмотрительно мыла все вазочки.

— Садись, Мария, — говорила я ей, — пока я переписываю «Верую» и «Отче наш», почисти яблоки, мы съедим их потом, когда я кончу.

И Мария усаживалась на пол, чтобы, если вернется тетя, сразу же все спрятать под стол. Но тетя больше не приходила. Она музицировала с кузиной, а дядя тем временем занимался с кузеном математикой.

Наконец мама возвестила о своем прибытии. В доме дяди начался переполох. Стали собирать мой чемоданчик.

В монастыре Гран-Шан, куда меня должны были поместить, носили форму. Кузина, которая обожала шитье, самозабвенно всюду нашивала метки из красной материи: «С. Б.» Дядя подарил мне серебряный прибор и чашку. И на всем стоял № 32 — это был мой регистрационный номер. От Марии я получила неяркий фиолетовый шарф, который она связала тайком. Тетя повесила мне на шею освященную ладанку, и, когда приехала мама с отцом, все было готово.

На прощанье устроили торжественный обед, на который были приглашены двое маминых друзей, тетя Розина и еще четверо родственников.

Я прониклась сознанием собственной значимости. Ни печали, ни радости я не испытывала. Просто ощущала собственную значимость, и этого было довольно. Все вокруг говорили обо мне. Дядя гладил мои волосы. Кузина посылала мне с другого конца стола воздушные поцелуи.

Вдруг мелодичный голос отца заставил меня повернуться к нему:

— Послушай, Сара, если в монастыре ты будешь вести себя хорошо, через четыре года я возьму тебя и увезу с собой далеко — далеко, мы совершим чудесные путешествия.

— О! Я буду вести себя очень хорошо! Хорошо и

благоразумно, как тетя Анриетта!

Так, звали тетю Фор. Все невольно улыбнулись.

Погода стояла прекрасная, и после обеда гости отправились в парк. Меня увел отец, он говорил со мной о серьезных вещах, о вещах печальных, я впервые слышала о них и, несмотря на свой юный возраст, все понимала и горько плакала.

Он сидел на старой скамейке и держал меня на коленях. Склонив голову к нему на грудь, я молча слушала его и плакала от волнения… Бедный мой папа, мне не пришлось больше с ним увидеться, никогда, никогда..

3

Спала я плохо. На другой день в восемь часов утра мы отправились в почтовой карете в Версаль.

Я, как сейчас, вижу толстушку Марию, дочь садовника, всю в слезах; вижу все семейство, собравшееся на крыльце; свой чемоданчик; привезенный мамой ящик с игрушками; бумажного змея, сделанного кузеном и врученного мне в тот миг, когда трогался экипаж. Вижу огромный квадратный дом, который становился все меньше и меньше… по мере того как мы удалялись.

Держась за отца, я, стоя, махала голубым шарфом, который сняла с его шеи, потом заснула и проснулась только перед массивными воротами монастыря Гран-Шан.

Протерев глаза, я сначала попыталась сориентироваться. Затем, выскочив из кареты, стала с любопытством разглядывать все вокруг.

Мощенная камнем маленькая круглая площадка, и всюду трава. Стена, огромная дверь с крестом наверху, а за ней ничего… совсем ничего не было видно.

— Слева — дом. Справа — казарма Сатори.

И ни шороха, ни звука, даже шагов не было слышно.

— Мама, неужели я там буду жить? Ах нет, я хочу вернуться к госпоже Фрессар!

Едва заметно пожав плечами, мама кивнула на отца, давая мне понять, что она тут ни при чем.

Я бросилась к нему. Он как раз звонил. Дверь отворилась, и он, взяв меня за руку, осторожно повел за собой. Мама и тетя Розина следовали за нами.

Двор был просторным и унылым; но зато теперь видны были строения, окна, а в них — любопытствующие лица ребятишек.

Огромный, сверкающий чистотой зал, часть которого во всю длину была отгорожена черной решеткой. И всюду — банкетки красного бархата, а возле решетки — несколько стульев и кресел. Портрет Пия IX, портрет Блаженного Августина во весь рост и, наконец, портрет Генриха V.

Меня охватил страх. Мне казалось, что я припоминаю, будто читала в какой-то книжке описание тюрьмы, и это было так похоже.

Я глядела на отца, на маму и чувствовала, как в душе растет недоверие к ним.

Ведь обо мне так часто говорили, что я неуправляемый ребенок, что мне нужна железная рука, что во мне сидит сущий

дьявол. Тетя Фор нередко повторяла: «Эта девочка плохо кончит, у нее безумные идеи…» — и так далее, и так далее.

Я испугалась:

— Папа! Папа! Я не хочу в тюрьму!.. Это тюрьма, я знаю!.. Мне страшно! Страшно!..

По другую сторону решетки отворилась какая-то дверь. Я смолкла и взглянула туда. Появилась маленькая, круглая женщина. Она подошла к решетке. Из-за черного покрывала я не могла разглядеть ее лица, виден был только рот. Она узнала отца, с которым, видимо, уже встречалась.

Дверца решетки распахнулась, и мы вошли в другое помещение.

Увидев мою бледность и полные слез испуганные глаза, она ласково взяла меня за руку и, повернувшись к отцу спиной, подняла скрывавшую ее лицо накидку, и тут глазам моим предстало лучившееся добротой, озаренное улыбкой лицо — такое трудно даже вообразить себе.

По-детски наивные, большие голубые глаза, вздернутый нос, смеющийся пухлый рот, в елико — лепные зубы, белые и крепкие.

При виде добросердечия, отваги и веселости, написанных на ее лице, я сразу же бросилась в объятия святой Софьи, матери-настоятельницы монастыря Гран-Шан.

— Вот мы и подружились! — сказала она отцу, опуская накидку.

По какому тайному наитию эта лишенная всякого кокетства женщина, нимало не заботившаяся о своей красоте, угадала, что ее лицо обладает неотразимой прелестью, что ее ясная улыбка, подобно солнцу, освещает тьму монастыря?

— Ну а теперь давайте осмотрим монастырь!

И мы двинулись в путь: я — держа за руки отца и мать святую Софью, а за нами две монахини — мать Префет, высокая, чопорная женщина с поджатыми губами, и сестра Серафима, бледная и слабенькая, похожая на колеблемый ветром стебелек ландыша.

Сначала мы посетили само здание, рабочий зал, в котором по четвергам все ученицы собирались на беседу, как правило, ее вела мать святая Софья; весь день ученицы занимались какой-нибудь работой: одни шили, другие вышивали, кое-кто увлекался переводными картинками и так далее.

Зал был огромным. Там обычно танцевали в день святой Екатерины, а иногда и по какому-нибудь другому поводу.

Кроме того, в этом зале раз в год мать-настоятельница вручала каждой из сестер по одному су, это был их годовой заработок.

Стены украшали религиозные гравюры и картины, написанные маслом самими ученицами. Но самое почетное место занимал Блаженный Августин. Большая великолепная гравюра изображала обращение Блаженного Августина.

О, как часто взор мой останавливался на этой гравюре! Блаженный Августин неизменно пробуждал волнение в моей душе и заставлял трепетать мое детское сердце.

Маму привели в восторг чистота столовой, однако она попросила показать ей мое будущее место, а когда увидела его, решительно воспротивилась тому, чтобы меня посадили именно там.

— Нет, — сказала она, — у девочки слабые легкие, а это место на самом сквозняке. Я не хочу, чтобы она здесь сидела.

Отец поддержал маму, и было решено, что меня поместят в глубине столовой. Слово свое они сдержали.

Когда мы подошли к широкой лестнице, ведущей в дортуары, мама пришла в ужас; правда, лестница была широкой, очень широкой, да и ступеньки невысокие, так что подниматься по ним было легко, но их так много, и пока доберешься до второго этажа…

Обескураженная мама на мгновение застыла в нерешительности.

— Подожди здесь, Юля, — сказала тетя, — а я поднимусь.

— Нет-нет, — возразила мама страдальческим голосом, — я хочу посмотреть, где положат девочку, она такая хрупкая.

Отец отнес ее туда чуть ли не на руках. Это был такой же точно дортуар, как у госпожи Фрессар, только намного больше, а, кроме того, пол был выложен плитками, и никаких ковриков, ничего.

— Это невозможно! — воскликнула мама. — Ребенок не может спать здесь. Тут слишком холодно Девочка просто умрет.

Мать-настоятельница святая Софья поспешила успокоить побледневшую маму. Заставила ее сесть. У мамы уже тогда было очень больное сердце.

— Взгляните, мадам, мы поместим вашу девочку вот сюда.

И она открыла дверь в прекрасную комнату, где стояло восемь кроватей. Пол там был паркетный. Комната эта примыкала к санитарному отделению, туда обычно помещали слабых или выздоравливающих детей.

Мама успокоилась, и мы спустились в парк.

Там был «маленький лес», «средний лес» и «большой лес». А дальше, насколько хватало глаз, простирался сад, в глубине которого стояло здание для бедных детей, обучавшихся бесплатно и помогавших каждую неделю во время больших стирок.

Вид этих лесов, где находились гимнастические снаряды, висели качели и гамаки, наполнил мое сердце радостью: значит, я смогу вволю бродить здесь.

Мать святая Софья сказала, что «маленький лес» предназначается для учениц старшего возраста, а «средний лес» — для младших. Что же касается «большого леса», то там собираются все классы — по праздничным дням, для сбора поспевших каштанов или плодов акаций.

Мать святая Софья заметила, что у каждого ребенка может быть свой маленький садик и что иногда две-три девочки объединяются вместе, чтобы ухаживать за таким садиком.

— О! Значит, у меня будет садик, да? Свой садик?

— Да, — сказала мама, — свой садик.

Настоятельница пригласила садовника, отца Ларше, единственного мужчину, кроме священника, который был приписан к монастырю.

— Отец Ларше, — сказала добрая женщина, — вот девочка, которой нужен хорошенький садик. Подберите для нее место получше.

— Хорошо, матушка, — сказал этот славный человек.

Я увидела, как отец сунул монетку в руку садовника, в смущении поблагодарившего его.

Время шло. Настала пора прощаться. Я очень хорошо помню, что не испытывала никакой печали.

Я думала только о садике, Монастырь уже не казался мне тюрьмой, а представлялся раем.

Я поцеловала маму, тетю. Папа прижал меня к себе. И когда я взглянула на него, то увидела в его глазах слезы, но мне не хотелось плакать.

Я крепко обняла его и сказала совсем тихо:

— Я буду вести себя очень хорошо и постараюсь прилежно учиться, чтобы через четыре года уехать с тобой.

Затем я подошла к маме, которая давала матери святой Софье те же наставления, что и госпоже Фрессар: питательный крем, шоколад, варенье и так далее.

Мать святая Софья записала ее пожелания, и, надо сказать, все они строго соблюдались.

Когда мои родные уехали, я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Но мать-настоятельница взяла меня за руку и повела в «средний лес», чтобы показать мне мой будущий садик. Это сразу же отвлекло мое внимание.

Мы разыскали отца Ларше, который проводил как раз едва заметную черту, выделяя мне уголок леса. Возле стены там росла березка. А сам уголок был образован двумя смыкавшимися

стенами, одна из которых выходила на железную дорогу левобережья, делившую на две части лес Сатори, ибо все «леса» моего монастыря были частью красивейшего леса Сатори. Другая же стена была оградой кладбища.

Папа, мама и тетя надавали мне денег. Помнится, у меня было сорок или пятьдесят франков, и я все хотела отдать отцу Ларше, чтобы он купил мне семян.

Настоятельница улыбнулась и попросила позвать мать-экономку и мать святую Апполину. Первой я должна была отдать свои деньги, из которых двадцать су она оставила мне, сказав:

— Когда они у вас кончатся, девочка, вы придете и возьмете у меня.

Потом мать святая Апполина, преподававшая ботанику, спросила, какие цветы я хочу посадить.

Какие цветы я хочу?.. Все, я хотела посадить все цветы, какие есть!

Она прочитала мне небольшую лекцию, сказав, что цветы сажают в разное время. Затем она взяла у экономки часть моих денег и, отдав их отцу Ларше, попросила его купить для меня лопату, грабли, сапку и лейку. И еще кое-какие семена и растения, список которых тоже вручила ему.

Я была счастлива.

После этого мать святая Софья отвела меня в столовую. Настало время ужина.

Ступив в это огромное помещение, я замерла, разинув от удивления рот… Более ста девушек и девочек собралось там в ожидании Benedicite[6].

При виде настоятельницы присутствующие склонились в глубоком поклоне, затем все взоры обратились ко мне.

Мать святая Софья отвела меня в самую глубь, на обещанное место. Потом она вышла на середину столовой, стала там, осенила нас крестным знамением и громко прочитала Benedicite.

Когда она покидала столовую, все снова поклонились ей, и вот я осталась одна… совсем одна в клетке с маленькими хищниками.

Я сидела между двумя девочками лет десяти-двенадцати, черными, как два крохотных крота. Это были близнецы с Ямайки, звали их Долорес и Пепа Карданьос. В монастыре они находились только два месяца и казались такими же запуганными, как я сама.

На ужин давали суп с… со всем на свете!.. И телятину с фасолью. Я терпеть не могла супа. А телятина всегда вызывала у меня отвращение.

Когда принесли суп, я перевернула свою тарелку, но послушница резким движением поставила ее на место и, чуть не

ошпарив меня, силой налила в нее суп.

— Надо есть суп, — тихонько шепнула мне соседка справа, которую звали Пепа.

— Мне не нравится этот суп! Не буду его есть!

Подошла сестра-надзирательница:

— Мадемуазель, надо есть суп.

— Нет, мне он не нравится!

Улыбнувшись, она ласково сказала мне:

— Все должно нравиться, и все надо любить. Я сейчас вернусь. Будьте умницей Съешьте суп.

Я уже готова была разъяриться, но Долорес подвинула мне свою пустую тарелку и молча съела мой суп.

Вернувшаяся надзирательница осталась довольна. Разозлившись, я показала ей язык, что вызвало смех всего стола.

Она живо обернулась. Но ученица, сидевшая в конце стола, которая, как самая старшая, должна была следить за нами, шепнула ей:

— Это новенькая строит рожицы.

Надзирательница удалилась.

Телятина перекочевала в тарелку Долорес, однако мне хотелось оставить себе фасоль, из-за этого мы чуть было не поссорились. Но Долорес уступила, ухитрившись отобрать у меня вместе с куском телятины и несколько фасолин.

Через час, после вечерней молитвы, все пошли спать. Моя кровать стояла у стены, в которой была выдолблена маленькая ниша для Пресвятой Богоматери. В этой нише все время горела лампадка. В нее подливали масла набожные дети, которые выражали таким образом признательность Пресвятой Деве за свое выздоровление. Два маленьких горшочка с крохотными цветами украшали подножие статуэтки.

Я хорошо умела делать цветы. И, ложась спать, сразу же решила, что сама сделаю для Богоматери все цветы.

Во сне мне снились гирлянды цветов, фасоль и далекие страны. Девочки-близнецы с Ямайки поразили мое воображение.

Пробуждение было не из приятных. Я не привыкла вставать так рано. Свет едва пробивался сквозь матовые стекла окон. С недовольным ворчанием я поднялась.

На туалет отводилось четверть часа, а мне требовалось не меньше получаса, чтобы распутать волосы. Увидев, что я все еще не готова, сестра Мария подошла ко мне и, прежде чем я успела сообразить, в чем дело, резким движением выхватила у меня из рук гребенку.

— Нечего мешкать, — сказала она и, всадив гребенку в мою гриву, вырвала прядь волос.

Боль и ярость, охватившая меня от такого скверного обращения, вызвали один из тех приступов гнева, которые наводили ужас на всех, кому случалось при этом присутствовать.

Я набросилась на несчастную сестру и ногами, зубами, руками, локтями, головой, всем своим жалким и худеньким тельцем колотила и била ее с дикими воплями.

Ученицы, сестры сбежались все разом. Дети кричали: «На помощь!» Сестры крестились, не решаясь приблизиться. Мать Префет окатила меня святой водой, пытаясь привести в чувство.

Наконец подоспела мать-настоятельница святая Софья.

Отец говорил ей о приступах дикого гнева, моем единственном настоящем недостатке, которым я была обязана как состоянию своего здоровья, так и врожденному буйству характера.

Она подошла к нам. Я все еще не отпускала сестру Марию, но чувствовала себя обессиленной борьбой с несчастной женщиной, такой большой и сильной, но даже и не пытавшейся защищаться, она старалась только уклониться от моих ударов, держа меня то за ноги, то за руки попеременно.

Голос матери святой Софьи заставил меня поднять голову.

Глаза мои, залитые слезами, остановились на ее ласковом, исполненном жалости лице, и я затихла на мгновенье, но не отпустила добычу; пристыженная, трепещущая, я торопливо заговорила:

— Это она начала! Она гадкая, отняла у меня гребенку да еще вырвала волосы! Она толкнула меня! Сделала мне больно! Такая гадкая!

И я разразилась рыданиями. Руки мои разомкнулись. Сама не зная как, я очутилась на своей кроватке. Мать святая Софья тихонько гладила рукой мой лоб и ласково журила меня своим нежным, глубоким голосом.

Все разошлись. Я осталась одна с ней и с маленькой фигуркой Богоматери в нише.

С этого дня мать святая Софья стала пользоваться у меня огромным авторитетом.

Каждое утро она приглашала меня и сестра Мария, у которой я перед всем монастырем попросила прощения, осторожно расчесывала мне волосы в ее присутствии.

Сидя на маленьком табурете, я внимала матери-настоятельнице, которая читала вслух или рассказывала мне какую-нибудь поучительную историю. Ах, какая очаровательная женщина, мне так приятно вспоминать о ней.

Я обожала ее, как обожают в детстве существо, полностью завладевшее всеми вашими помыслами, не ведая как, не зная за

что, даже не отдавая себе в этом отчета, просто поддавшись непобедимым чарам.

Только потом я сумела понять ее и не уставала восхищаться ею. Я разгадала неповторимую, излучающую свет душу этой святой женщины, скрытую под оболочкой смеющейся коротышки.

Я полюбила ее за все, что она сумела пробудить во мне благородного. Полюбила ее за письма, которые она мне писала и которые я часто перечитываю. Полюбила потому, мне кажется, что, несмотря на все свои недостатки, я была бы еще во сто крат хуже, если бы мне не довелось узнать и полюбить это чистейшее создание.

Один-единственный раз я заметила ее суровость и внезапно почувствовала обуревавший ее гнев в маленькой комнатке, расположенной у входа в ее келью и служившей гостиной, висел портрет молодого человека, на прекрасном челе которого лежала печать некоего благородства.

— Это император? — спросила я.

— Нет, — молвила она, с живостью обернувшись. — Это король! Генрих V.

Лишь много позже я поняла причину ее волнения. Монастырь был роялистский. А Генрих V — признанным монархом[7].

Зато к Наполеону III там испытывали глубочайшее презрение, а посему в день крещения наследного принца нам не дали положенных конфет да к тому же еще лишили свободного дня, объявленного во всех пансионах, лицеях и монастырях.

Я политикой совсем не интересовалась и была счастлива в монастыре благодаря матери святой Софье.

К тому же меня так полюбили мои подружки, что нередко писали за меня сочинения.

К учению у меня не было особой склонности, но мне нравились уроки географии и рисования. Арифметика сводила меня с ума. Орфография нагоняла тоску, пианино вызывало отвращение. Я по-прежнему страдала робостью, и, когда меня неожиданно вызывали отвечать, я терялась.

У меня была страсть к животным, и я носила с собой в картонных коробочках или в маленьких клетках, которые сама сооружала, ужей — у нас в лесах их было полным-полно, — либо сверчков на листьях лилий, или ящериц с вечно оторванными хвостами, потому что, желая удостовериться, едят ли они, я чуть-чуть приподнимала крышку коробки. Заметив это, мои ящерицы устремлялись к отверстию, а я, покраснев при виде такой самонадеянности, быстро захлопывала ее, и крак — справа или слева обязательно оставался чей-нибудь хвост. После этого я часами не могла успокоиться. И пока сестра, рисуя на доске

какие-то знаки, объясняла нам метрическую систему, я с хвостом ящерицы в руке размышляла над тем, как бы приклеить его обратно.

В маленькой коробочке я держала жучков, а в клетке, которую смастерил мне из металлической сетки отец Ларше, — пять пауков. Не ведая жалости, я кормила своих пауков мухами, а те, такие толстые и упитанные, неустанно работали, ткали свою паутину. И часто во время перемены мы, десять-двенадцать девочек, собирались вокруг клетки, стоявшей на скамейке или на пеньке, и наблюдали за удивительной работой этих крохотных существ. Узнав, что кто-то из подруг порезался, я с важным видом подходила и с гордостью говорила: «Пошли, я перевяжу тебе палец, у меня есть совсем свежая паутина». И, вооружившись малюсенькой, тоненькой палочкой, собирала с ее помощью паутину, которой с самым серьезным видом обматывала пораненный палец. «А теперь, госпожи Паучихи, придется вам снова поработать!» И госпожи Паучихи рьяно принимались за свою кропотливую работу.

Я пользовалась некоторым авторитетом. Меня выбирали арбитром, когда дело касалось спорных вопросов. Мне делали заказы на приданое для бумажных кукол.

В ту пору соорудить манто из горностая с палантином и муфтой мне ничего не стоило. И это вызывало восхищение всех моих подружек. За свое приданое, в зависимости от его ценности, я брала плату: два карандаша, пять перьев или два листка белой бумаги.

Словом, теперь я стала личностью, и это тешило мое детское самолюбие.

Зато я так ничему и не научилась. Я ни разу не получала в награду креста. И всего один раз красовалась на доске почета, но вовсе не за прилежание, а за мужественный поступок: мне удалось вытащить из большого пруда маленькую девчушку, ловившую там лягушек. Пруд находился в огромном фруктовом саду, где жили приютские ребятишки. В виде наказания, уж не помню за какой проступок, меня на два дня переселили к бедным детям. Меня хотели наказать, а я была в восторге. Прежде всего потому, что там на меня смотрели как на барышню; я раздавала су, а мне за это приносили леденцы, для живших на отшибе малышей это было совсем нетрудно.

Случилось все во время перемены. Услыхав крики, доносившиеся со стороны пруда, я бросилась туда и, не раздумывая, прыгнула в воду. Там было столько тины, что мы стали увязать, а девочка была совсем маленькой, всего-то лет четырех, она все время исчезала под водой. А мне тогда было

больше десяти. Уж не знаю как, только в конце концов мне удалось ее вытащить. Во рту, в носу, в ушах, в глазах — везде у нее было полно тины. Долгое время ее не могли привести в чувство. От нервного напряжения у меня тоже стучали зубы, и меня унесли почти в бессознательном состоянии.

Потом начался сильный жар, и мать святая Софья сама решила бодрствовать подле меня.

Я слышала, как она говорила врачу:

— Эта девочка — лучшее, что у нас есть, доктор. Она стала бы самим совершенством, если бы приобщилась к таинству елеосвящения.

Слова эти поразили меня, и с того дня я ударилась в мистику.

Наделенная живым воображением и острой чувствительностью, я всем сердцем и умом впитывала христианские предания. Я поклонялась Сыну Божию, а моим идеалом стала скорбящая Богоматерь.

4

Событие весьма незначительное само по себе, которому тем не менее суждено было нарушить спокойствие нашей монастырской жизни, окончательно привязало меня к монастырю, где я решила остаться навсегда.

Парижский архиепископ, монсеньор Сибур, собирался посетить несколько общин. И наша оказалась в числе избранных.

Новость эту сообщила нам мать святая Алексис, одна из старейших, она была такой старой, худой и высокой, что я не только не могла воспринимать ее как человеческое существо, но и вообще как существо живое Она казалась мне до того нескладной, состоящей как бы из одних суставов, что я даже побаивалась ее и никак не хотела подходить к ней.

Итак, нас собрали в большом зале, куда мы обычно сходились по четвергам. И, поддерживаемая двумя послушницами, мать святая Алексис, стоя на небольшом помосте, возвестила нам едва слышным голосом о предстоящем визите монсеньора.

Он должен был приехать в день святой Екатерины, то есть через две недели после сообщения старейшей.

Наш мирный монастырь напоминал теперь улей, куда влетел вдруг шмель. Нам сократили часы уроков, чтобы мы имели возможность плести гирлянды из роз и лилий. Было извлечено откуда-то большое, высокое кресло резного дерева, его почистили, покрыли лаком и так далее. Во дворе вырвали всю траву… уж и не знаю, чего мы только не делали по случаю этого визита!

Через два дня после объявления старейшей мать-настоятельница зачитала нам программу празднества.

Самая юная из монахинь должна была обратиться к монсеньору с приветствием. Это выпало на долю прелестной сестры Серафимы.

Затем Мари Бюге сыграет на фортепьяно сочинение Анри Герца.

Мари де Лакур споет песнь Лоизы Пюже.

Потом мы покажем пьесу в трех картинах, написанную матерью святой Терезой: «Товит, обретающий зрение»[8]. У меня перед глазами — небольшая пожелтевшая, кое-где разорванная рукопись, и я могу разобрать только общий смысл и всего несколько фраз.

Первая картина: Прощание юного Товии со слепым отцом. Он клянется принести ему десять талантов, отданных в долг его

родственнику по имени Габелюс.

Вторая картина: Товия засыпает на берегу Тигра. Его охраняет архангел Рафаил. Битва с чудовищной рыбой, напавшей на спящего Товию. После победы над рыбой архангел советует Товии взять сердце, печень и желчь рыбы и беречь как зеницу ока.

Третья картина: Возвращение Товии к слепому отцу. Архангел советует ему натереть глаза отца рыбьими внутренностями. Старик отец обретает зрение. Архангел Рафаил, которому Товия пытается вручить вознаграждение, открывает себя. И с гимном во славу Господа исчезает в небесах.

Маленькая пьеска была прочитана нам матерью святой Терезой в зале, где мы собирались по четвергам. Когда она закончила чтение, мы не могли удержать слез, и матери святой Терезе пришлось сделать над собой усилие, дабы не поддаться — пускай хоть и на краткий миг — греху гордыни.

Я с волнением задавалась вопросом, какая роль достанется мне в этом благочестивом представлении, ибо нисколько не сомневалась, ввиду моего малого возраста, что обязательно получу хоть что-нибудь. И заранее трепетала. Я места себе не находила, руки мои холодели, сердце часто билось, в висках стучало.

Поэтому, когда мать святая Тереза привычно спокойным голосом произнесла: «Девочки, прошу внимания, послушайте, как распределяются роли», я и не подумала подойти поближе, а продолжала, надувшись, сидеть на своем табурете.

Она перечислила:

Старый Товит — Энжени Шармель.

Юный Товия — Амелия Плюш.

Габелюс — Рене д’Арвилль.

Архангел Рафаил — Луиза Бюге.

Мать Товии — Элали Лакруа.

Сестра Товии — Виржиния Деполь.

Я прислушивалась, не подавая вида, и, когда мать святая Тереза добавила в заключение: «Вот ваши тексты, девочки», меня охватила ярость, я была и возмущена, и удивлена. Каждой из девочек вручили текст этой небольшой пьесы.

Луиза Бюге была моей любимой подружкой. Я подошла к ней и попросила у нее текст, который тут же перечитала с воодушевлением.

— Ты поможешь мне выучить это наизусть?

— Конечно, — отвечала я.

— О, как я буду бояться! — молвила моя маленькая подружка.

Ее выбрали на роль ангела потому, верно, что она была беленькой и светилась, точно лунный луч. И голос у нее был нежный и робкий. Иногда мы нарочно заставляли ее плакать, чтобы только полюбоваться ее красотой. Из ее огромных серых вопрошающих глаз катились прозрачные, похожие на жемчуг слезы.

Она тут же принялась заучивать свою роль. Я, словно ищейка, переходила от одной избранницы к другой. Меня это не касалось, и все-таки я хотела быть причастной.

Мимо как раз проходила мать-настоятельница. Мы почтительно склонились, а она, погладив меня по щеке, сказала:

— Мы думали о тебе, моя девочка, но ты так Пугаешься, когда тебя спрашивают.

— О, это только на уроках истории или арифметики… А тут совсем другое, я бы не испугалась.

Она недоверчиво улыбнулась и ушла.

Репетиции продолжались всю неделю. Я просила, чтобы меня назначили играть чудовище. Я непременно хотела им быть. Но страшную рыбу должен был изображать монастырский пес по кличке Цезарь.

На костюм для рыбы был объявлен конкурс.

Я старалась изо всех сил!.. Вырезала из картона чешуйки и раскрасила их. Потом сшила все вместе. Сделала огромные жабры, которые должны были надеть Цезарю вместо ошейника.

Однако приняли не мой эскиз, а эскиз глупой дылды, имя которой я никак не могу вспомнить. Она сделала длинный кожаный хвост и маску с большими глазами и жабрами, а чешуи никакой не было, ее должна была заменить шерсть Цезаря.

Тогда я занялась костюмом Луизы Бюге, над которым работала вместе с сестрами святой Сесилией и Жанной, заведовавшими бельевой.

Во время репетиций у архангела Рафаила не удавалось вырвать ни единого слова. Луиза безмолвно стояла на маленьком помосте, и из ее прекрасных глаз градом катились слезы; застыв недвижно, она всем своим видом молила меня о помощи. Я была ее суфлером. Поднявшись со своего места, я бежала к ней и, нежно обняв ее, шептала на ухо нужные слова. Теперь я и в самом деле ощущала себя причастной.

Наконец за два дня до торжеств назначили генеральную репетицию. И когда появился архангел — о, немыслимой красоты! — он с рыданиями рухнул на скамью и простонал:

— Ах нет, я не смогу!

— Она и в самом деле не сможет, — вздохнула мать святая Софья.

Тогда я, совсем потеряв голову от радости, обуреваемая гордыней, выбежала на помост и, позабыв о страданиях своей подружки, вскочила на скамью, где безудержно рыдал архангел Рафаил, и самоуверенно заявила:

— Матушка, матушка, я знаю ее роль! Можно я буду репетировать вместо нее?

— Да, да! — закричали со всех сторон.

— Конечно, ты так хорошо знаешь слова… — молвила Луиза Бюге и уже собралась повязать мне голову лентой.

— Нет, не надо! Сначала я так порепетирую.

Снова началась репетиция второй картины; и вот наконец мой выход; я появилась с ивовой веткой в руках и начала: «Не бойся, Товия, я поведу тебя. Я очищу твой путь от камней и терний. Ты устал. Отдохни. Я буду тебя охранять!»

…И измученный Товия укладывался на берегу… пять метров голубого батиста, уложенного извивами, изображали Тигр.

Итак, Товия спал, а я продолжала тем временем, обратив молитву к Господу Богу.

Тут-то и появился Цезарь, изображавший чудище-рыбу, и все вокруг задрожали от ужаса, ибо Цезарь, прекрасно вымуштрованный садовником, отцом Ларше, не торопясь выбрался из-под голубого сатина; на голове у него была рыбья маска; вместо глаз — две большие белые скорлупы, пробитые посередине, чтобы дать возможность Цезарю видеть, и прикрепленные проволочками к ошейнику, на котором держались огромные, как пальмовые листья, жабры. Уткнувшись мордой в пол, Цезарь сопел, рычал, потом вдруг бросился на Товию, но тот своей дубинкой убил чудовище одним махом. Тогда Цезарь упал на спину и, дрыгая всеми четырьмя лапами, повалился на бок, притворяясь мертвым.

Зал неистовствовал. Зрители аплодировали, топали ногами; самые маленькие вставали на свои табуреты и кричали: «Цезарь, Цезарь! Мой дорогой Цезарь! Мой славный Цезарь! Какой прекрасный песик!»

Сестры, растроганные стараниями монастырского сторожа, с умилением качали головами. Да и сама я, позабыв о своем архангеле Рафаиле и присев с Цезарем, гладила его, неустанно повторяя: «Боже, как великолепно он изображал свою смерть!..» И целовала его, поднимая сначала одну, потом другую лапу… А Цезарь, не шелохнувшись, все еще притворялся мертвым.

Треньканье звоночка призвало нас к порядку.

Я поднялась, и мы под аккомпанемент пианино затянули гимн во славу Господа, спасшего Товию от страшного чудовища…

Затем маленький занавес из зеленой саржи закрылся, меня

тут же окружили, стали расхваливать, поздравлять. Мать святая Софья пришла к нам на сцену и нежно обняла меня.

Луиза Бюге тоже повеселела, ее ангельской красоты личико сияло.

— О, как у тебя хорошо получается! И потом, тебя-то слышно. Я так тебе благодарна!

И она расцеловала меня. А я крепко прижала ее к себе. Ну вот! Теперь и я по-настоящему причастна!

Началась третья картина. Действие происходило в доме старого отца.

Архангел и Габелюс с юным Товией рассматривали вынутые из рыбы внутренности. Архангел объяснял, как следовало натирать ими глаза слепого отца. Меня слегка подташнивало, потому что в руках я держала печень ската, сердце и зоб цыпленка. Мне еще ни разу не доводилось прикасаться к таким вещам. Временами горло мое сжималось от отвращения, а на глаза навертывались слезы.

Наконец появился слепой отец, которого вели сестры Товии. Опустившись перед старцем на одно колено, Габелюс вручил ему десять талантов и обстоятельно стал рассказывать о подвигах Товии в Мидии. Потом и Товия подошел к отцу, он долго обнимал его, а затем натер ему глаза печенью ската.

Эжени Шармель поморщилась, но, протерев глаза, воскликнула:

— Я вижу! Вижу!.. Боже милостивый! Господь всемогущий! Я прозрел! Я вижу!

Вытянув руки и широко раскрыв глаза, она в исступленном восторге шагнула вперед… и вся эта наивная, добрейшая публика залилась слезами.

На сцене все, кроме старика Товита и архангела, опустились на колени, принося благодарение Господу Богу. После этого благодарственного молебна зрители, движимые привычным религиозным чувством, вторили: «Аминь».

Тогда мать Товии вышла вперед и, обращаясь к архангелу, сказала:

— Благородный иноземец, оставайся в нашем доме. Отныне ты будешь нашим гостем, нашим сыном, нашим братом!

Тут я в свою очередь сделала шаг вперед и произнесла тираду по меньшей мере строк в тридцать, из которой явствовало, что я посланец Господа, архангел Рафаил. И, с живостью схватив заранее припрятанную бледно-голубую ткань, предназначенную для заключительного эффекта, закуталась в ее пышные складки, что должно было изображать мое вознесение на небеса. Вслед за этим апофеозом маленький занавес из зеленой саржи закрылся.

И вот, наконец, торжественный день наступил. Снедаемая лихорадочным ожиданием, я не спала три ночи.

Утренний колокол, служивший сигналом к пробуждению и прозвучавший на этот раз раньше обычного, застал меня уже на ногах, я пыталась укротить свои волосы; намочив их хорошенько, чтобы сделать послушными.

Монсеньор должен был приехать к одиннадцати часам утра.

Поэтому второй завтрак подали в десять. Затем нас выстроили в центральном дворе.

Мать святая Алексис, как старейшая, стояла впереди. Позади нее, в двух шагах, стояла мать святая Софья. На некотором расстоянии от обеих настоятельниц стоял священник. За ним — монахини, а сзади них — девушки, за девушками — девочки. Затем — послушницы и служанки.

Все мы были одеты в белое, и у каждого класса — свой флажок.

Звонили во все колокола. Большая карета въехала в первый двор. Ворота в центральный двор были открыты; монсеньор Сибур появился на каретной ступеньке, откинутой лакеем. Мать святая Алексис приблизилась к нему и, склонившись, поцеловала епископский перстень. Мать-настоятельница святая Софья, более молодая, целуя перстень, стала на колени.

Послышался условленный сигнал, и все мы опустились на колени в ожидании благословения монсеньора.

Когда мы подняли головы, ворота были закрыты и монсеньор уже исчез, его увела мать-настоятельница. Утомившись, мать святая Алексис удалилась в свою келью.

Снова заслышав сигнал, мы встали. Надо было идти в часовню на мессу, на этот раз очень короткую; затем нас отпустили на час.

Концерт начинался в половине второго. Свободное время ушло у нас на подготовку большого зала и самих себя, ведь мы должны были предстать перед монсеньором.

Я облачилась в длинное платье архангела: голубой пояс стягивал мне талию, а два бумажных крыла держались на маленьких голубых бретельках, скрещенных на груди. Голову украшал золотой шнурок, завязанный сзади.

Я снова и снова повторяла свои куски, ибо тогда мы еще не знали слова «роль».

Теперь театр вошел в нашу жизнь и стал привычным. Но в то время в монастыре мы говорили «кусок». И когда я в первый раз играла в Англии, то не без удивления услышала от одной юной англичанки: «О! У вас такой великолепный кусок в „Эрнани"…»

Зал украсили на славу. Нет, правда, там было очень мило! Всюду гирлянды из листьев с вплетенными в них бумажными цветами. И потом маленькие люстрочки, подвешенные на золотых проволочках. Большой ковер красного бархата расстилался у кресла монсеньора. И еще лежали две подушечки красного бархата с золотой отделкой. Весь этот ужас казался мне тогда неслыханным великолепием!

Начался концерт. Все как будто бы шло хорошо.

Однако монсеньор не мог сдержать улыбки при виде Цезаря; и, когда тот притворился мертвым, он первым стал аплодировать. В общем, Цезарь, конечно, понравился больше всех.

Тем не менее нас пригласили подойти к монсеньору Сибуру. Ах, до чего же это был ласковый и обворожительный прелат! Каждой из нас он вручил освященную медаль.

Когда настал мой черед, он взял меня за руку со словами:

— Это вы некрещеная, дитя мое?

— Да, отец мой… Да, монсеньор, — тут же в смущении поправилась я.

— Мы собираемся крестить ее весной. Отец девочки приедет из очень далекой страны специально на эту церемонию, — сказала мать-настоятельница.

Затем они стали потихоньку о чем-то беседовать.

— Ну что ж, если смогу, то обязательно постараюсь тоже быть на этой церемонии, — уже громко сказал архиепископ. Преисполнясь гордости, я с трепетом поцеловала перстень старца; потом ушла и долго плакала в дортуаре. Там-то меня и нашли вконец измученную и спящую глубоким сном.

С этого дня я стала гораздо спокойнее, менее вспыльчивой, отличалась прилежанием. Во время приступов гнева меня сразу приводили в чувство, напомнив обещание, данное монсеньором Сибуром, приехать на мои крестины. Увы! Увы! Этой радости не суждено было сбыться.

Однажды январским утром, когда все мы собрались в часовне на утреннюю мессу, я с беспокойством, удивлением и тревогой увидела, что аббат Летюржи, вместо того чтобы начать службу, поднялся на кафедру. Он был очень бледен. Я невольно обернулась, ища глазами мать-настоятельницу. Она сидела на своей скамье. И тут дрожащим от волнения голосом священник начал рассказ об убийстве монсеньора Сибура.

Убит. От этого слова повеяло ужасом. Сотня приглушенных криков, слившихся воедино в одном рыдании, заглушила на мгновение голос священнослужителя. Убит… Это слово резануло меня больнее, чем других: разве не стала я любимицей

добрейшего старца, пускай хоть на краткий миг?

Мне казалось, что убийца Верже поразил и меня тоже, посягнув на мою признательную любовь к прелату, на мою крохотную славу, которой он меня лишил. Я горько плакала. А тут еще орган, сопровождавший заупокойную молитву, усиливал мою печаль.

И с этой минуты я прониклась мистической, пламенной любовью к Всевышнему, которую поддерживали в моей душе религиозные обряды, само богослужение и ласковое, искреннее, хотя и ревностное подбадривание моих наставниц, очень любивших меня; я тоже их обожала и до сих пор вспоминаю о них с необычайной нежностью, дарующей моему сердцу радость и покой.

Приближался момент моего крещения. Я все больше начинала нервничать. Кризисы мои участились: я то заливалась слезами без видимой причины, а то вдруг впадала в отчаяние, меня охватывал необъяснимый ужас. Любая мелочь повергала меня в трепет.

И вот случилось так, что одна из моих подружек уронила куклу, которую я дала ей поиграть (ибо в куклы я играла чуть ли не до четырнадцати лет); я задрожала всем телом. Эту куклу я обожала, ее подарил мне отец.

— Ты разбила голову моей кукле, скверная девчонка! Ты сделала больно моему отцу!

Я перестала есть. А по ночам просыпалась вся в поту и, как безумная, рыдала:

— Папа умер!.. Папа умер!..

Через три дня приехала мама и, обняв меня, сказала:

— Девочка моя, я привезла печальную весть… папа умер!

— Я знаю, знаю…

При этом у меня было такое выражение, часто рассказывала мне мать, что она долгое время боялась за мой рассудок.

Я стала грустной и очень болезненной. Учить я ничего не хотела, меня интересовали только священные предания да катехизис.

Мама добилась, чтобы вместе со мной крестили двух моих сестер: Жанну, которой исполнилось тогда шесть лет, и Режину, которой не было еще и трех; несмотря на малый возраст, ее тоже взяли на воспитание в монастырь в надежде хоть немного отвлечь меня.

Меня поселили одну за неделю до крещения и еще на неделю после, перед первым причастием, которое должно было состояться через несколько дней.

Собрались все: мама, тетушки — Розина Беран и Анриетта

Фор — моя крестная мать, дядя Фор, мой крестный отец Режи, господин Мейдье — крестный отец сестры Жанны, и генерал Полес — крестный отец Режины; а кроме того, крестные матери моих сестер, мои кузены и кузины… Все они вносили суматоху в монастырскую жизнь. Мама и обе тетушки были в трауре, но выглядели весьма элегантно. Тетя Розина украсила шляпку веточкой сирени, «чтобы оживить траур», — сказала она (странная фраза, которую я не раз потом слышала уже не от нее).

Никогда еще я не чувствовала себя такой далекой тем, кто приехал сюда ради меня.

Маму я обожала, но к умилению примешивалось горячее желание покинуть ее, никогда не видеться с ней больше, пожертвовать ею во имя Господа. Что же касается остальных, то я их попросту не замечала. Я была безмерно серьезной и немного колючей.

Незадолго до этого в монастыре состоялась церемония пострижения в монахини, мысль об этом не давала мне покоя.

Крещение открывало мне путь к заветной мечте. Я уже видела себя послушницей, которую постригли в монахини. Видела себя на полу, под тяжелым черным покровом с белым крестом, с четырьмя горящими факелами по углам. Мне хотелось умереть под этим покровом. Как? Понятия не имею. Убивать себя я не собиралась, я знала, что это грех. Но умереть мне хотелось именно так. В своих мечтах я видела смятение сестер, слышала крики воспитанниц и была счастлива всеобщим волнением, причиной которого была сама.

После церемонии крещения мама попросила разрешения увезти меня. На бульваре Королевы в Версале она сняла маленький домик с садом, чтобы я могла проводить там свободные дни. Ради этого торжества она все велела украсить цветами, желая отпраздновать крещение трех своих дочерей. Но ей осторожно дали понять, что через неделю предстояло первое причастие и что я должна побыть одна.

Мама плакала. И я до сих пор с печалью вспоминаю, что меня это ничуть не трогало, напротив.

Когда все уехали, я поднялась в маленькую келью, где уже провела неделю и где мне предстояло жить еще неделю, упала на колени и в исступленном экстазе решила принести в дар Господу Богу мамино горе: «Ты видел, Господи! Мама плакала, а мне — хоть бы что!» Бедняжка, безумно преувеличивая все, я полагала, что от меня требуют отречения от нежности, преданности и сострадания.

На другой день мать святая Софья ласково пожурила меня за то, что я неправильно понимаю свой религиозный долг, и

сказала, что сразу после первого причастия она отпустит меня на две недели, чтобы утешить опечаленную маму.

Мое первое причастие проходило все в той же торжественной обстановке, воспитанницы были в белом, со свечами в руках. Я отказывалась принимать пишу в течение всей недели и была бледной, похудела, глаза у меня ввалились и казались огромными, пылая исступленным огнем. Я все доводила до крайности.

Барон Ларрей, приехавший вместе с мамой, чтобы присутствовать на церемонии моего первого причастия, попросил разрешения — и получил его — взять меня на месяц, чтобы я могла прийти в себя. Мы уехали — мама, госпожа Герар, ее маленький сын Эрнест, моя сестра Жанна и я. Мама повезла нас на Пиренеи, в Котре.

Движение, чемоданы, коробки, пакеты, железная дорога, дилижанс, непрерывно меняющиеся пейзажи, шум, суета… все это взяло верх надо мной и моими нервами, победило мой мистицизм.

Я хлопала в ладоши, хохотала, бросалась целовать маму, душила ее в объятиях. Громко распевала гимны. Мне хотелось есть, пить; я ела, пила, жила!

5

Котре был не тот, что теперь. Это была гадкая, но не лишенная очарования захолустная дыра, вся в зелени, в густых зарослях, с редкими домами и множеством хибарок, где жили горцы. Там были ослы, которых сдавали внаем приезжим, и мы взбирались на них по немыслимым дорогам на вершины гор.

Я обожаю долину и море, но не люблю гор и леса. Горы давят на меня. В лесу я задыхаюсь. Мне во что бы то ни стало нужен бескрайний горизонт и необозримая даль небес.

И потому мне хотелось как можно выше подняться в горы, чтобы они не давили на меня. И мы поднимались! Все выше и выше!

Мама оставалась дома со своей милой подругой, госпожой Герар. Мама читала романы. Госпожа Герар вышивала. Обе они безмолвствовали. Каждая вынашивала свою мечту и, видя, как она рушится, начинала все сызнова.

Постаревшая к тому времени Маргарита, единственная служанка, которую взяла с собой мама, уезжала вместе с нами. Веселая и дерзкая, она всегда умела найти нужные слова, чтобы посмешить мужчин, их фривольный смысл я постигла гораздо позже. Она была душой нашего каравана. Зная нас с самого рождения, она позволяла себе фамильярность, а порою могла и обидеть; но я не давала ей спуску и не скупилась на резкие слова. Зато она отыгрывалась по вечерам, готовя на десерт блюдо, которое я не любила.

Я поздоровела. И хотя по-прежнему была очень религиозной, сумела преодолеть свое мистическое настроение. Но, не умея обходиться без страстных привязанностей, я принялась неистово любить коз и самым серьезным образом спрашивала у мамы, не разрешит ли она мне стать пастушкой козьего стада.

— Пожалуй, это лучше, чем быть монахиней! — сказала мама. — Мы поговорим об этом после!

Каждый день я приносила на руках маленького козлика или козочку. У нас их собралось уже семеро, когда мама положила конец моему усердию. Пора было возвращаться в монастырь. Время, отпущенное мне на отдых, кончилось, чувствовала я себя хорошо.

Пора было приступать к учебе. Известие это я приняла с радостью, к величайшему изумлению мамы, которая обожала путешествия, но терпеть не могла переездов.

А я радовалась, что снова увижу города, деревни, незнакомых людей, деревья, которые уже надели новый наряд; буду куда-то

ехать, собирать чемоданы, пакеты. Я была в восторге. И только попросила захватить моих коз; бедная мама чуть было не рассердилась:

— Ты с ума сошла! Семь коз в поезде, в коляске — где ты их собираешься разместить? Нет! И речи быть не может!

И все-таки я добилась разрешения взять с собой двух козочек и дрозда, которого подарил мне один горец.

И вот мы снова в монастыре.

Меня встретили с такой искренней радостью, что я сразу же снова почувствовала себя счастливой. Двух моих козочек оставили. Мне позволили приводить их во время перемен, и мы забавлялись как могли: то влезали на них, то катились с них кубарем… Сколько было смеха, сколько самых неожиданных забавных прыжков, безумного веселья… А между тем мне шел четырнадцатый год. Но я была тщедушной и крайне инфантильной.

Еще десять месяцев я провела в монастыре, так ничему и не научившись и все еще обуреваемая желанием стать монахиней, но уже без всякого мистицизма.

Мой крестный отец считал меня полной невеждой.

Хотя я работала даже во время каникул; вместе со мной занималась Софи Круазетт[9], жившая неподалеку от нашего загородного дома. Это подстегивало мое рвение, но не слишком. Софи отличалась веселым нравом, и чаще всего мы отправлялись в музей, где ее сестра Полина, ставшая впоследствии госпожой Каролюс-Дюран[10], копировала картины великих мастеров.

Спокойная, рассудительная, Полина была полной противоположностью шумной, болтливой и очаровательной Софи. Полина Круазетт была красавицей, но мне больше нравилась Софи с ее прелестным личиком.

Их мать, госпожа Круазетт, казалась безропотной печальницей. Она рано отказалась от карьеры, а ведь была танцовщицей в санкт-петербургской опере. Там ее обожали, окружали почитанием и любовью. Мне кажется, ей пришлось покинуть театр после рождения Софи.

Затем неудачное ведение денежных дел вконец разорило ее. Необычайная изысканность ее манер, огромная доброта, написанная у нее на лице, и безысходная печаль снискали ей всеобщую симпатию.

Они с мамой познакомились на музыкальных концертах в Версальском парке, и какое-то время мы были близки. Мы с Софи упивались прогулками в этом великолепном парке.

Но самую большую радость доставляло нам посещение антикварной лавки на улице де ла Гар. У ее владелицы, госпожи

Массон, была дочь, Сесиль Массон, хорошенькая, как ангелочек. Втроем мы ухитрялись поменять все этикетки на вазах, табакерках, веерах, драгоценностях; и, когда бедный господин Массон являлся с богатым клиентом, ибо антиквар Массон славился по всему миру, мы с Софи прятались, дабы иметь возможность насладиться яростью папаши Массона.

Сесиль же с самым невинным видом помогала матери по хозяйству, украдкой поглядывая в нашу сторону.

Круговерть жизни внезапно разлучила меня с этими дорогими мне существами. И случай, сам по себе ничтожный, заставил меня покинуть монастырь раньше, чем того хотела моя мать.

Это случилось на праздник. У нас была двухчасовая перемена. Мы двигались цепочкой вдоль стены, окаймлявшей железнодорожную насыпь, и пели «De profundis»[11], ибо хоронили мою любимую ящерицу. За мной следовали около двадцати моих подружек. И вдруг к ногам нашим упал солдатский кивер.

— Что это?

— Солдатский кивер!

— Его бросили из-за стены!

— Да, да!

— Слышите… там кто-то спорит!

Мы сразу умолкли, и в наступившей тишине до нас донеслось:

— Ну и дурак же ты! Какая глупость! Это же ведь монастырь Гран-Шан! Как теперь достать мой кивер?

Затем наступило молчание, которое вскоре нарушили громкие крики испуганных ребятишек и разгневанных монахинь… Показался солдат и уселся верхом на стене.

В мгновение ока все мы отлетели метров на двадцать от стены, словно стая перепуганных воробьев, вспорхнувших, чтобы тут же сесть поодаль, любопытствуя, но держась настороже.

— Вы не видели моего кивера, барышни?.. — жалобно крикнул несчастный солдат.

— Нет-нет! — откликнулась я, пряча за спиной его головной убор.

— Нет-нет! — с громким хохотом вторили мне остальные девочки. Со всех сторон неслось это насмешливое, издевательское, дерзкое «нет-нет».

Мы продолжали отступать, подстегиваемые отчаянными призывами сестер, набросивших на лица покрывала и спрятавшихся за деревьями. От просторной спортивной площадки нас отделяло всего несколько метров.

Я опрометью бросилась вперед и, запыхавшись, мигом

взобралась на широкий брус. Однако затащить туда деревянную лестницу, с помощью которой я так стремительно поднялась, мне не удалось. Тогда я сняла с крюков кольца, и лестница с грохотом упала, расколовшись.

Затем, выпрямившись во весь рост на брусе, я, словно одержимая, торжествующе закричала:

— Вот он, ваш кивер! Вам его не достать!

И, держа кивер высоко над головой, я разгуливала по брусу, до которого теперь уже никто не мог добраться, так как я подтянула вверх веревочную лестницу.

Сначала я хотела просто позабавиться, это была самая обычная шалость. Но все вокруг смеялись, с восторгом аплодировали мне; успех превзошел мои ожидания. Я потеряла голову. Меня уже ничто не в силах было остановить.

Разъярившись, молодой солдат спрыгнул со стены и бросился ко мне, расталкивая на своем пути девочек. Перепуганные сестры кинулись прочь, с отчаянием взывая о помощи.

Священник, настоятельница, отец Ларше — сбежались все. Солдат, помнится, ругался на чем свет стоит. И беднягу вполне можно понять.

Мать святая Софья приказывала мне снизу спуститься и отдать кивер. Солдат пытался добраться до меня через трапецию при помощи каната с узлами… Его тщетные усилия еще больше развеселили воспитанниц, которых хотели было удалить.

Наконец монастырская привратница ударила в набат, и через пять минут, решив, что начался пожар, к нам на помощь из казармы Сатори направили солдат.

Когда о случившемся рассказали возглавлявшему их офицеру, он отправил солдат обратно и попросил разрешения повидать настоятельницу. Его проводили к матери святой Софье. Он застал ее на спортивной площадке плачущей от стыда и своей беспомощности.

Солдату он тут же приказал вернуться в казарму. Тот повиновался, погрозив мне на прощанье кулаком. Но, подняв голову, не мог удержаться от смеха: его кивер все время сползал мне на глаза, с трудом держась на моих оттопыренных ушах.

Увидев, к чему привела моя шалость, я рассердилась и не на шутку разволновалась.

— Вот он, ваш кивер, ловите! — крикнула я и с силой швырнула его через стену, отделявшую спортивную площадку от кладбища.

— Ах ты, негодница! — пробормотал офицер. Затем, извинившись, попрощался с монахинями; отцу Ларше поручено было проводить его.

Что же касается меня, то я была похожа на лисицу, которой отрубили хвост. Спуститься вниз я отказалась.

— Нет, — говорила я, — когда все уйдут, тогда я только спущусь.

Наказаны были все классы.

Я осталась одна. Солнце скрылось. Кладбищенская тишина внушала мне ужас. Темные деревья представлялись то безутешными скорбными фигурами, то вдруг преображались и казались грозными призраками. Исходившая от леса влажность обволакивала меня, с каждой минутой все тяжелее давила мне на плечи.

Я ощущала себя всеми покинутой. И горько плакала. Я сердилась на себя, на солдата, на мать святую Софью, на воспитанниц, взбудораживших меня своим смехом, на офицера, который меня унизил, на монастырскую привратницу, которая не могла придумать ничего лучше, как ударить в набат.

Потом я решила спуститься вниз по веревочной лестнице, переброшенной мною через брус. Дрожа от страха при малейшем шорохе, напряженно прислушиваясь и все время оглядываясь по сторонам, я неуклюже принялась за дело, опасаясь каждый миг неловким движением снять кольцо с крюка. Наконец лестница тихонько развернулась и коснулась земли, я уже подняла было ногу, собираясь опустить ее на первую ступеньку, как вдруг лай Цезаря заставил меня в ужасе отпрянуть.

Он прибежал из лесу. И вид этой непонятной тени наверху не предвещал, по мнению славного Цезаря, ничего хорошего; он застыл в ожидании у массивных деревянных подпорок.

— Как же так, Цезарь, мы не узнаем свою подружку? — произнесла я сладчайшим голосом.

Он заворчал…

— Фу! Как не стыдно, Цезарь!.. Ай-ай-ай! Ворчать на свою подружку, что за скверный пес! — перешла я на более резкий тон.

Он зарычал…

Я не на шутку испугалась!.. Поднявшись обратно, я присела на балку. Цезарь улегся внизу, у самого спуска; хвост торчком, уши на макушке, ощетиня шерсть, он глухо ворчал.

Я призывала на помощь Пресвятую Деву. Горячо молилась. Клялась каждый день по три раза повторять «Богородице, дева, радуйся», «Верую» и еще дополнительно «Отче наш». Затем, немного успокоившись, я опять заговорила смиренным голосом:

— Цезарь!.. Мой милый Цезарь!.. Прекрасный Цезарь!.. Неужели не узнаешь?.. Ведь я — архангел Рафаил!..

Да, как бы не так! Цезарь не мог взять в толк, зачем я сижу одна в такой поздний час в саду, на брусе. Почему не иду в

столовую?

Бедняжка Цезарь ворчал. А я и в самом деле проголодалась. Все это стало казаться мне несправедливым.

Конечно, я была виновата, зачем мне понадобилось брать кивер? Но ведь солдат первый начал. Зачем он забросил к нам свой кивер? Воображение мое разыгралось, мне уже мерещился мученический конец: меня оставили на съедение псу. К тому же я боялась покойников, а кладбище было у меня за спиной. И ведь все прекрасно знали, что я боюсь. Да и грудь у меня слабая, но меня никто не пожалел, бросили здесь одну, беззащитную, на холоде. Вспоминала я и о матери святой Софье, которая разлюбила меня и так жестоко покинула.

Прижавшись всем телом к брусу, я стала предаваться безудержному отчаянию, рыдая, я взывала к маме, к отцу, к матери святой Софье, мне хотелось умереть, тут же, сейчас…

И вот, смолкнув на мгновенье, я услыхала, что кто-то зовет меня. Ласково произносит мое имя. Я встала и, вглядевшись в темноту, различила силуэт моей дорогой матери святой Софьи. Она была здесь, рядом, обожаемая маленькая святая; она не покинула мятежное дитя. Спрятавшись за статуей Блаженного Августина, она тихонько молилась, дожидаясь, пока минует этот кризис, который в простоте душевной она сочла опасным для моего рассудка и даже для здоровья.

Она отослала всех остальных. А сама осталась. И тоже не ужинала.

Спустившись вниз, я в горьком раскаянии бросилась в ее материнские объятия. Она ни словом не обмолвилась об этой гадкой истории и сразу же повела меня в монастырь.

Я вся промокла от холодной росы, щеки у меня горели, руки и ноги были ледяные.

Двадцать три дня я находилась между жизнью и смертью. У меня начался плеврит. Мать святая Софья ни на минуту не отходила от меня. Увы! Заботливая ласковая мать винила Себя в моей болезни.

— Я позволила ей оставаться там слишком долго! — говорила она, с отчаянием ударяя себя в грудь. — Это моя вина! Моя вина!

Тетя Фор навещала меня почти каждый день. Мама, находившаяся в это время в Шотландии, тоже двинулась в путь. Тетя Розина нашла в Баден-Бадене какого-то игрока, разорявшего всю семью. «Я еду, еду…» — писала она время от времени, справляясь о моем здоровье. Доктор Дэспань и доктор Моно, которых пригласили на консультацию, считали меня безнадежной. Часто приезжал барон Ларрей, очень хорошо ко мне

относившийся. Он имел на меня некоторое влияние. Я послушно выполняла то, что он говорил.

Мама приехала незадолго до моего выздоровления и уже не покидала меня. Как только мне разрешили двигаться, она увезла меня в Париж, пообещав сразу же после окончательного выздоровления привезти обратно в монастырь.

Но вышло так, что монастырь я покинула навсегда.

Зато с матерью святой Софьей я словно и не расставалась, она жила в моей душе и долгое время была частью моей жизни. Да и теперь еще, когда ее давно уже нет в живых, воспоминание о ней пробуждает во мне бесхитростные и ясные мысли и в душе моей расцветают простые и милые цветы минувших дней.

Для меня начиналась настоящая жизнь.

Монастырская жизнь — одна на всех: будь вас сто или тысяча, все вы живете одной и той же жизнью; внешние шумы не могут проникнуть за тяжелую монастырскую дверь. Все чаяния сводятся к тому, чтобы петь громче других на вечерне, захватить побольше места на скамье или не уступить своего места за столом; попасть на доску поощрений.

Когда я узнала, что не вернусь больше в монастырь, мне показалось, будто меня бросили в море. А я не умею плавать. Я умоляла крестного отправить меня обратно в монастырь. Наследства, которое оставил мне отец, с излишком хватило бы на приданое, полагавшееся монахине. Я хотела постричься в монахини.

— Хорошо! — сказал крестный. — Уедешь в монастырь, но только не раньше чем через два года. А пока выучи с учительницей, которую нашла тебе мать, то, чего ты не знаешь, то есть иными словами — все.

И в тот же день престарелая девица с серыми, исполненными тихой ласки глазами завладела моею жизнью, моими умом и совестью и безраздельно владела ими по восемь часов ежедневно… Звали ее мадемуазель де Брабанде. Она воспитала великую герцогиню в России. У нее были огромные рыжие усы, нежный голос и очень смешной нос; зато ее манера двигаться, изъясняться, приветствовать вас невольно вызывала почтение.

Жила она в монастыре на улице Нотр-Дам-де-Шан и посему, несмотря на настоятельные просьбы матери, отказалась переселиться к нам. Она сумела заставить меня полюбить себя. И с ней я легко научилась всему, чему она хотела меня научить.

Работала я самозабвенно, ибо мечтала вернуться в монастырь не как ученица, а в качестве сестры-воспитательницы.

6

Однажды я проснулась сентябрьским утром, и сердце мое наполнилось вдруг неясной радостью. Было восемь часов. Прильнув к оконному стеклу, я стала смотреть на улицу. Что случилось? Понятия не имею! Мне снился какой-то сон, но какой — не помню, и вот, проснувшись внезапно, я устремилась навстречу свету в надежде отыскать в бездонном пространстве серых небес сияющую точку, которая осветила бы мое тревожное и радостное ожидание.

Ожидание чего? Могла ли я ответить на этот вопрос тогда? Могу ли дать ответ сегодня, после столь долгого размышления? Нет.

Мне исполнялось пятнадцать лет. Я жила ожиданием грядущей жизни, и то утро казалось мне предвестником новой эры. Я не ошиблась, ибо этот сентябрьский день стал решающим для моего будущего.

Погрузившись в свои думы, я так и осталась стоять у окна, прижавшись лбом к стеклу и созерцая на его запотевшей от моего дыхания поверхности сказочную вереницу домов, дворцов, экипажей, несметные сокровища, жемчуг — целые россыпи жемчуга! — принцев, королей… Да, дело дошло и до королей! Воображению только дай волю и рассудок, его извечный враг, уже не сможет совладать с ним… Но вот наконец, чрезвычайно довольная собой, я в некоем озарении отталкиваю принцев, отталкиваю королей, отказываюсь от жемчуга и дворцов и говорю: «Хочу стать монахиней!» Ибо в беспредельном пространстве серых небес мне привиделся монастырь Гран-Шан, мой белый дортуар, маленькая лампадка, раскачивающаяся над фигуркой Пресвятой Богоматери, украшенной нашими руками.

Трону, предложенному королем, я предпочла бы трон матери-настоятельницы, который мне смутно грезился в отдаленном будущем. И король умирал от отчаяния… О Боже, с каким наслаждением я променяла бы жемчуга, которые сулили мне принцы, на нитку четок, прикасаться к ним пальцами, перебирать их — это такое счастье! И какой наряд мог сравниться с черной барежевой накидкой, словно легкая тень окаймлявшей белоснежный батист, ореолом окружавший милые лица монахинь Гран-Шан.

Не знаю, сколько времени провела я так, предаваясь своим мечтам, из задумчивости меня вывел мамин голос, она спрашивала у нашей старой служанки Маргариты, не проснулась ли я. Я сразу же нырнула в постель и спрятала нос под простыню.

Мама осторожно приоткрыла дверь, и я сделала вид, будто только-только просыпаюсь.

— До чего же ты сегодня разленилась!

Поцеловав маму, я с самым простодушным видом сказала в ответ:

— Сегодня четверг, значит, у меня не будет урока музыки.

— И ты довольна?

— Конечно!

Мать нахмурила брови. Я ненавидела фортепьяно, а мама обожала музыку. Она до такой степени ее любила, что, в надежде заставить меня учиться, сама, хоть ей уже было под тридцать, стала брать уроки, надеясь тем самым пробудить во мне дух соперничества.

Но для меня это было просто пыткой, и я всеми силами старалась поссорить мать с учительницей музыки. А они ревниво следили друг за другом. Матери достаточно было трех-четырех дней, чтобы выучить какой-нибудь кусок, потом уже она играла его наизусть, причем довольно хорошо, что вызывало величайшее удивление мадемуазель Клариссы, старой и совершенно невыносимой учительницы, которая постоянно держала перед собой ноты и водила по ним носом.

И вот в один прекрасный день я услыхала ссору, вспыхнувшую между мамой и этой злющей Клариссой:

— Здесь восьмая!

— Ничего подобного!

— Но это же бемоль!

— Да нет, вы забыли диез! Это какое-то наваждение, мадемуазель.

Через несколько минут мать ушла к себе в комнату, и мадемуазель Кларисса с ворчанием удалилась. Я же тем временем задыхалась от смеха, потому что вместе с одним из моих кузенов, прекрасным музыкантом, мы добавили и диезы, и бемоли, и восьмые, причем так ловко, что даже опытному глазу трудно было сразу заметить это. В результате мадемуазель Клариссу отпустили, и в тот день урока у меня не было.

Мама долго смотрела на меня своими загадочными глазами, самыми прекрасными из всех, какие мне когда-либо доводилось видеть.

— После обеда назначен семейный совет, — медленно произнесла она.

Я побледнела.

— Хорошо, мама. Какое платье мне надеть?

Я сказала первое, что пришло на ум, только бы не расплакаться.

— Надень шелковое голубое платье, ты будешь выглядеть серьезней.

В этот момент дверь с шумом распахнулась и на пороге появилась моя сестра Жанна, она с хохотом бросилась к моей кровати и живо спряталась под одеялом.

— Я у цели! — успела крикнуть она.

За ней, запыхавшись и что-то сердито ворча, вошла Маргарита. Сестра вырвалась у нее в ту минуту, когда она собиралась купать ее, вырвалась со словами:

— Цель — кровать моей сестры.

Безудержная радость младшей сестренки в такой ответственный, как я чувствовала, для меня момент заставила меня разрыдаться. Мать не могла понять причину этой горести, пожав плечами, она приказала Маргарите принести тапочки малышки и, взяв в руки ее маленькие ножки, с нежностью поцеловала их. Тут уж я и вовсе дала волю слезам. Мама не скрывала, что больше любит сестру, и, хотя в обычное время я не так сильно страдала от этого, в тот день ее откровенное предпочтение больно ранило меня. Мама, потеряв терпение, ушла.

А я заснула, чтобы забыться, и спала, пока меня не разбудила Маргарита, она помогла мне одеться, потому что иначе я опоздала бы к обеду.

В тот день на обед были приглашены тетя Розина, мадемуазель де Брабанде, мой крестный и герцог де Морни[12], большой друг папы с мамой.

Обед прошел для меня тоскливо. Я дожидалась семейного совета. Мадемуазель де Брабанде ласково уговаривала меня поесть. Взглянув на меня, сестра громко расхохоталась.

— Глазки у тебя стали малюсенькие, вот такие, — сказала она, приложив свой крохотный большой палец к кончику указательного. — Так тебе и надо! Не будешь плакать, мама не любит, когда плачут… Правда, мама?

— Почему же вы плакали? — спросил герцог де Морни.

Я ничего не ответила, хотя мадемуазель де Брабанде тихонько подтолкнула меня своим острым локотком, стараясь подбодрить. Герцог де Морни немного смущал меня. Он был добрым, но чуточку насмешливым. Я знала, что он занимает высокое положение при дворе и что моя семья гордится дружбой с ним.

— Потому что я сказала ей, что после обеда назначен семейный совет, — промолвила мама. — Бывают минуты, когда она приводит меня в отчаяние.

— Ну будет, будет! — воскликнул крестный, а тетя Розина

тем временем рассказывала что-то по-английски герцогу де Морни, который понимающе улыбался в свои изысканные усы. Мадемуазель де Брабанде потихоньку бранила меня, и ее ворчливые слова казались небесной благодатью.

Но вот обед подошел к концу, мама велела мне подать кофе. Вместе с Маргаритой я достала чашки и пошла в гостиную.

Там уже находился господин К., нотариус из Гавра, я терпеть его не могла. Это он представлял семейство моего отца, который умер в Пизе при загадочных обстоятельствах, так и оставшихся невыясненными.

Моя детская неприязнь не обманула меня. Позже я узнала, что человек этот был злейшим врагом отца. Он был такой отвратительный, этот нотариус, такой мерзкий. Все его лицо ползло куда-то вверх. Можно было подумать, что его повесили на собственных волосах и он долго оставался в таком положении, отчего его глаза, рот, щеки и нос привыкли лезть на затылок. Казалось бы, при такой общей вздернутости лицу его полагалось бы выглядеть веселым. Так нет же, лицо у него было мрачным и совершенно гладким Рыжие волосы торчали, как стебли пырея, и на носу — очки с золотым ободком. О, что за гадкий человек! Воспоминание о нем преследовало меня как мучительный кошмар, он был злым гением моего отца и относился ко мне с ненавистью!

Бедная моя бабушка, которая после смерти отца никуда не выходила, оплакивая своего любимого и так рано умершего сына, бедная моя бабушка полностью доверяла этому человеку. Кроме всего прочего, он был душеприказчиком отца и по своему усмотрению распоряжался небольшим состоянием, оставленным мне горячо любимым папой. Я же должна была вступить во владение этим наследством только после замужества, а мама могла пользоваться доходами от него для моего воспитания.

Возле камина сидел мой дядя, Феликс Фор. Совсем утонув в кресле, господин Мейдье с неудовольствием то и дело поглядывал на свои часы. Это был старинный друг нашего семейства, который называл меня не иначе как «веретено», что выводило меня из себя. Он говорил мне «ты» и считал меня глупой. Когда я подала ему кофе, он с усмешкой сказал:

— Так, стало быть, это из-за тебя, веретено, побеспокоили добрых людей, у которых и без того дел хватает, а тут еще им приходится заниматься будущим этакой козявки… Другое дело, если бы речь шла о твоей сестре, сказано — сделано, и никаких затруднений.

И он провел своими негнущимися пальцами по волосам сестры — усевшись на пол, она заплетала бахрому на кресле, в

котором он сидел.

После того как выпили кофе, убрали чашки и увели сестру, наступило тягостное молчание.

Герцог де Морни собрался было уходить, но мать удержала его:

— Останьтесь, нам нужен ваш совет.

Герцог сел рядом с моей тетей, с которой немного флиртовал.

Мама подошла к окну с пяльцами в руках. Ее красивый профиль был чист и ясен. Казалось, то, что должно было произойти, ее не касалось.

Отвратительный нотариус встал со своего места. Дядя прижал меня к себе. Крестный Режи, казалось, был заодно с господином Мейдье. Обоих отличало одинаковое упрямство и разъедающее душу мещанство. Оба любили вист и доброе вино. Оба считали меня до того худой, что смотреть было жалко.

Тут дверь тихонько отворилась, и на пороге появилось бледное создание, в котором все дышало поэзией, то была госпожа Герар, очаровательная брюнетка, «дама сверху», как называла ее Маргарита.

Мать подружилась с ней. Правда, в ее дружбе ощущалось снисходительное превосходство, но из любви ко мне госпожа Герар терпеливо сносила выпадавшие на ее долю мелкие обиды. Была она высокой и тонкой, как проволока, мягкость движений лишь подчеркивала ее серьезность. Жила она над нами и спустилась с непокрытой головой, в ситцевом пеньюаре с рисунком из тоненьких веточек каштанового цвета.

Господин Мейдье буркнул что-то невнятное. Омерзительный нотариус едва поклонился госпоже Герар. Зато герцог де Морни раскланялся весьма любезно: госпожа Герар была такой красивой! Крестный кивнул головой. Что ему до госпожи Герар! Тетя Розина взглянула на нее с некоторым пренебрежением. Мадемуазель де Брабанде с нежностью пожала ей руку: госпожа Герар так меня любила! Дядя Феликс Фор любезно придвинул ей стул, справившись о ее муже, ученом, вместе с которым дядя работал иногда над книгой «Жизнь Святого Людовика». Мама искоса взглянула на нее, но не подняла головы: госпожа Герар не питала слабости к моей сестре!

— Ну что ж, — начал крестный, — мы собрались здесь ради девочки, надо бы обсудить все.

Я задрожала и спряталась между «моей милочкой» (так я с детских лет называла госпожу Герар) и мадемуазель де Брабанде. Каждая из них взяла меня за руку, чтобы подбодрить.

— Да, — продолжал господин Мейдье, усмехнувшись, —

говорят, ты хочешь стать монахиней?

— Вот как! — молвил герцог де Морни, вопросительно взглянув на тетю Розину.

Та с улыбкой приложила палец к губам. Мама со вздохом поднесла шерсть к самым глазам, пытаясь выбрать нужный оттенок.

— Чтобы уйти в монастырь, нужно быть богатой, а у тебя — ни гроша! — проворчал нотариус из Гавра.

— У меня есть папины деньги, — шепнула я на ухо мадемуазель де Брабанде, но гадкий человек услыхал мои слова.

— Отец оставил тебе деньги на приданое!

— Вот и прекрасно! Я стану христовой невестой!

В голосе моем прозвучала решимость, лицо стало красным. Второй раз в жизни у меня появились желание и воля добиться чего-то. Я перестала бояться. Мне это надоело.

Отпустив своих ласковых защитниц, я подошла к остальным:

— Хочу стать монахиней! Хочу, и все тут! Я знаю, что папа оставил мне деньги на приданое, но знаю и то, что монахини сочетаются браком со Спасителем. Мама сказала, что ей это все равно, значит, маме я не причиню огорчения. В монастыре меня любят больше, чем здесь!

Тогда дядя обнял меня и сказал:

— Дорогая моя, твоя вера — это, скорее всего, потребность любить…

— И быть любимой, — тихонько прошептала госпожа Герар.

Все посмотрели на маму, которая слегка пожала плечами. В их взглядах мне почудился упрек, и в сердце моем проснулось раскаяние. Я подошла к матери и, обняв ее шею руками, сказала:

— Ты ведь правда хочешь, чтобы я стала монахиней, тебя не огорчит это?

Мама погладила мои волосы, которыми очень гордилась, и медленно произнесла ласковым голосом:

— Конечно, огорчит! Ты ведь прекрасно знаешь, что после твоей сестры ты самое дорогое, что у меня есть на свете.

Чистый, тягучий голос мамы показался мне в этот момент похожим на светлый, звенящий, маленький ручеек, который сбегает с горы, увлекая за собой мелкие камешки, потом постепенно набухает от тающих снегов и сметает на своем пути целые уступы скал и деревья.

Услышав ее слова, я отпрянула назад и бросилась к собравшимся, сраженным моей странной причудой. Я подходила то к одному, то к другому, пытаясь объяснить причину такого решения. Я приводила доводы, которые никого не могли убедить. Я переходила от одного к другому, надеясь найти поддержку.

Наконец герцог де Морни, которому все это порядком наскучило, встал и сказал:

— Знаете, что нужно сделать?.. Нужно отдать ее в Консерваторию.

Затем, потрепав меня по щеке, поцеловал руку тетушке и, отвесив поклон мужчинам, молвил, склонившись к маминой руке:

— Из вас вышел бы плохой дипломат, однако последуйте моему совету, отдайте ее в Консерваторию.

И удалился.

Я с испугом глядела на всех, встревоженная этим советом — «Консерватория». Что это такое?

Я подошла к своей учительнице, мадемуазель де Брабанде: она поджала губы и казалась шокированной, как в те минуты, когда за столом крестный позволял себе отпускать несколько тяжеловесные шутки.

Дядя Феликс Фор сосредоточенно разглядывал паркет. Нотариус смотрел на всех довольно злобно. Тетя болтала без умолку. Господин Мейдье качал головой, повторяя нескончаемые «может, и хорошо», «кто знает?», «гм-гм»! Госпожа Герар, все такая же бледная и печальная, глядела на меня с бесконечной нежностью.

Что же это такое — Консерватория? Неведомое слово, брошенное вскользь, взбудоражило всех. Мнения у присутствующих, как мне показалось, были разные, но никто, пожалуй, не обрадовался.

И вдруг, посреди всеобщего стеснения, крестный громко произнес:

— Она слишком тощая, чтобы стать актрисой!..

— Я не хочу быть актрисой! — воскликнула я.

— Ты ведь не знаешь, что это такое! — вмешалась тетя.

— Нет, знаю, это Рашель!

— А ты знакома с Рашелью? — спросила, поднимаясь, мама.

— Да-да, я видела ее в монастыре, она приезжала однажды к маленькой Адель Сарони. Она осматривала монастырь, и ее усадили в саду, потому что она не могла дышать. Ее с трудом привели в чувство, она была очень бледной, такой бледной, что мне стало ее жалко; а сестра святая Апполина сказала мне, что она актриса и что работа ее убивает. Я не хочу быть актрисой! Не хочу!

Все это я выпалила на одном дыхании, недрогнувшим голосом, щеки у меня пылали. Я помнила, что говорили мне сестра святая Апполина и мать святая Софья; я не забыла, что, когда Рашель, вся бледная, уходила из сада, опираясь на руку

какой-то дамы, маленькая девочка показала ей вслед язык.

Я не хотела, чтобы, когда я стану дамой, мне показывали язык. Я не хотела тысячу всяких неясных самой мне вещей, о которых тем не менее хранила воспоминание.

Крестный корчился от смеха. Дядя оставался серьезным. Остальные пустились в рассуждения. Тетя с живостью говорила о чем-то с мамой, которая выглядела усталой и озабоченной. Мадемуазель де Брабанде и госпожа Герар тихонько спорили.

А я думала об элегантном мужчине, который только что вышел. Я сердилась на него, потому что это он подал мысль о Консерватории. Слово это пугало меня. Он хотел, чтобы я стала актрисой, а сам исчез, и я не могла поговорить с ним. Он ушел, преспокойно улыбаясь, дружески приласкав меня на прощанье. Он ушел, ему было наплевать на эту маленькую худышку, чье будущее здесь обсуждалось. «Нужно отдать ее в Консерваторию!» Эта небрежно сказанная фраза разорвалась в моей жизни, словно бомба.

Ведь я была мечтательным ребенком, который еще сегодня утром отвергал принцев и королей; мои дрожащие руки перебирали этим утром четки несбыточных грез; всего несколько часов назад я ощущала, как бьется мое сердце, охваченное неведомым волнением; сегодня я поднялась с постели в ожидании великого события! И что же? Все рушилось под ударом одной фразы, тяжелой, как свинец, смертоносной, словно пушечное ядро: «Нужно отдать ее в Консерваторию!» Я предугадывала, что этой фразе суждено стать знаменательной вехой в моей жизни.

Собравшиеся здесь люди замерли, остановившись на перекрестке: «Нужно отдать ее в Консерваторию!»

Я хотела уйти в монастырь — мое желание сочли абсурдным, глупым, беспричинным. «Нужно отдать ее в Консерваторию!» — эта фраза дала основание для споров, открыла горизонты будущего.

Только дядя Феликс Фор и мадемуазель де Брабанде восстали против этой идеи. Но напрасно пытались они доказать матери, что сто тысяч франков, оставленные отцом, помогут мне найти мужа. Мама отвечала, что я заявила ей, что замужество внушает мне ужас и что когда я стану совершеннолетней, то уйду в монастырь.

— И в таком случае, — говорила мать, — Сара не получит денег отца!

— Конечно, нет, — подтвердил нотариус.

— А значит, — продолжала мать, — она сможет стать в монастыре только прислужницей, этого я не желаю! Все мое

состояние — в пожизненной ренте, стало быть, детям моим ничего не остается. Поэтому я и хочу дать им профессию!

Измученная таким количеством слов, моя опечаленная мама откинулась в кресле.

Я нервничала сверх всякой меры, и мать попросила меня уйти.

Мадемуазель де Брабанде пыталась утешить меня. Госпожа Герар считала, что в этой профессии есть свои преимущества. Мадемуазель де Брабанде находила, что для такой мечтательной натуры в монастыре таится огромная притягательная сила. Сама она была благочестивой, верующей и строго соблюдала религиозные обряды, а «моя милочка» была язычницей в самом чистом значении этого слова. И тем не менее обе эти женщины прекрасно ладили между собой, ибо относились ко мне с удивительной нежностью. Госпожа Герар любила горделивое непокорство моей натуры, мою миловидность и хрупкое изящество. Мадемуазель де Брабанде умиляло мое слабое здоровье; она старалась смягчить мои страдания, причиняемые сознанием того, что меня любят не так, как сестру; но более всего ей нравился мой голос; она нередко говорила, что голос мой просто создан для молений, и мое влечение к монастырю казалось ей вполне естественным.

Ее любовь ко мне была проникнута ласковой, благочестивой нежностью. Тогда как госпожа Герар вкладывала в свою любовь языческое рвение.

Эти женщины, воспоминание о которых дорого для меня и по сей день, поделили между собой мое «я» и сумели примирить мои недостатки с моими достоинствами. Именно им, как никому другому, я обязана познанием самой себя и истинным представлением о себе самой.

Вытянувшись в маленьком плетеном креслице, служившем главным украшением моей девичьей комнаты, я заснула, держась за руку мадемуазель де Брабанде. Госпожа Герар поднялась к себе.

Дверь моей комнаты отворилась, и вошла тетя, а следом за ней — мама. Я, как сейчас, вижу тетю в ее красновато-буром шелковом платье, отделанном мехом, в бархатной шляпе каштанового цвета с двумя длинными, широкими лентами, завязанными под подбородком. За ней шла мама. Она сняла платье и надела белый шерстяной пеньюар. Мама не любила оставаться дома в платье. Из этого я сделала вывод, что все ушли и что тетя тоже собиралась покинуть нас. Я встала, но мама снова усадила меня.

— Отдохни еще немного, сегодня вечером мы повезем тебя в

«Комеди Франсез».

В театре я в общем-то не бывала, если не считать Робера Удена[13], на которого меня водили иногда с сестрой; думаю, что это делалось скорее ради нее, ибо я уже вышла из того возраста, когда можно чему-то радоваться на таком представлении.

— Хотите поехать с нами? — спросила мама мадемуазель де Брабанде.

— С удовольствием, мадам, — ответила эта милая барышня. — Позвольте мне только пойти переодеться.

Тетя смеялась, глядя на мой надутый вид.

— Ах, притворщица, — сказала она, собираясь уходить, — хочешь скрыть свою радость. Ну что ж, сегодня вечером ты увидишь актрис.

— Рашель играет?

— Нет, она больна.

Поцеловав меня, тетя попрощалась:

— До вечера!

Мама ушла вслед за ней. Мадемуазель де Бра-банде тоже поднялась с озабоченным видом. Ей надо было тотчас уходить, чтобы успеть переодеться и предупредить о том, что она вернется очень поздно, потому что у нее в монастыре требовалось специальное разрешение на возвращение после десяти часов.

Оставшись одна, я раскачивалась в своем плетеном кресле, хотя до кресла-качалки ему было далеко. Я размышляла. И впервые во мне проснулся критический дух.

Так, стало быть, все хлопоты этих серьезных людей: нотариуса, которого специально вызвали из Гавра; дяди, оторвавшегося от работы над книгой; старого холостяка господина Мейдье, потревоженного в своих привычках; крестного, вынужденного расстаться с биржей; и этого элегантного скептика де Морни, два часа прозябавшего в кругу мелких буржуа, — все их старания сводились к решению: «Отвезем ее в театр».

Уж не знаю, какова доля участия дяди в принятии такого смехотворного решения, но не думаю, что это пришлось ему по вкусу.

И все-таки я была довольна, что пойду в театр. Я ощущала свою значимость. Проснулась я сегодня еще ребенком, а всего за несколько часов развернувшиеся события превратили меня в девушку.

Обсуждалось мое будущее. Я получила возможность выразить свою волю, правда довольно безуспешно, но я ее тем не менее выразила.

И наконец, чтобы добиться моего согласия, приходилось теперь ублажать меня, делать мне приятное. Они не могли силой

заставить меня стремиться к тому, чего сами хотели, на это требовалась моя добрая воля. И я до того обрадовалась, до того возгордилась этим, что даже растрогалась и уже готова была на все согласиться.

Но, думала я, сначала пускай все-таки попросят.

После ужина мы втиснулись в фиакр: мама, крестный, мадемуазель де Брабанде и я.

Крестный подарил мне дюжину белых перчаток.

Поднимаясь по ступеням «Комеди Франсез», я наступила на платье какой-то дамы, обернувшись, она назвала меня «дурочкой». Я отпрянула назад и наткнулась на огромный живот старого господина, резко оттолкнувшего меня.

Усевшись наконец в передней ложе — мы с мамой в первом ряду, мадемуазель де Брабанде за моей спиной, — я почувствовала себя более уверенно.

Облокотившись о барьер ложи, я ощущала острые колени мадемуазель де Брабанде, воткнувшиеся в бархатную спинку моего стула, и это внушало мне доверие. Я изо всех сил прижималась к спинке, чтобы найти успокоение в прикосновении ее коленей.

Когда занавес медленно стал подниматься, я думала, что упаду в обморок. Ведь это поднимался занавес над моей жизнью.

Эти колонны — играли «Британика» — станут моими дворцами. Эти воздушные задники — моими небесами. А пол сцены ощутит хрупкую тяжесть моего тела.

Я ничего не слышала и не видела во время спектакля. Я была далеко-далеко, в Гран-Шан, в своем дортуаре.

— Ну как, что ты на это скажешь? — воскликнул крестный, когда занавес опустился.

Я ничего не ответила. Он повернул мою голову. Я плакала горючими слезами, медленно катившимися по моим щекам, слезами без рыданий, без надежды на утешение, слезами, которые, казалось, никогда не иссякнут. Крестный пожал плечами и, хлопнув дверью, вышел из ложи.

Мама сердито разглядывала в бинокль зал. Мадемуазель де Брабанде дала мне свой носовой платок: мой упал, и я не решалась поднять его.

Занавес снова пополз вверх, началась другая пьеса — «Амфитрион». Я старалась слушать, чтобы доставить удовольствие своей учительнице, на редкость ласковой и терпеливой.

Но не запомнила ничего, помню только, что Алкмена показалась мне такой несчастной, что я разразилась громкими рыданиями, и из зала стали с любопытством поглядывать на нашу

ложу.

Рассерженная мама увела меня вместе с мадемуазель де Брабанде, оставив разъяренного крестного, который ворчал нам вслед:

— Отправить ее в монастырь! И пусть сидит там! Великий Боже! Что за глупый ребенок, сил нет!

Таково было начало моей артистической карьеры.

7

Меж тем я постепенно свыкалась с мыслью о своей будущей профессии.

Отовсюду я получала книги: Расина, Корнеля, Мольера, Казимира Делавиня и т. д., и т. д. Я открывала их и, ничего не понимая, тут же закрывала, зато вновь и вновь перечитывала маленькую книжечку страстно любимого мной Лафонтена. Я знала наизусть все его басни; мне доставляло огромное удовольствие заключать пари с крестным или Мейдье, большим эрудитом и несносным другом, я спорила, что они не смогут отгадать, о какой басне идет речь, если я буду начинать с последних строк и кончать первыми, и очень часто выигрывала.

Но вот однажды тетя прислала записку, в которой предупреждала маму, что господин Обер, в то время директор Консерватории, будет ждать нас на следующий день в девять часов утра. Итак, мне предстояло сделать первый шаг на новом пути.

Мама отправила меня с госпожой Герар. Господин Обер принял нас по просьбе герцога де Морни и был весьма любезен. Тонкие черты его лица цвета слоновой кости, на котором сияли прекрасные черные глаза, белоснежные волосы, утонченный, изысканный вид, мелодичность голоса, прославленное имя — все это произвело на меня огромное впечатление.

С большим смущением я отвечала на его вопросы. Тогда он ласково усадил меня рядом с собой.

— Вы очень любите театр?

— Совсем не люблю, сударь!

Он не ожидал такого ответа и с удивлением обратил вопросительный взгляд на госпожу Герар, и та ответила:

— Она в самом деле не любит театр, но у нее нет состояния, потому что отец оставил ей всего сто тысяч франков, которые она может получить только в день своего замужества, а замуж выходить она не желает; поэтому ее мать хочет, чтобы у нее была профессия, так как у самой госпожи Бернар всего лишь пожизненная рента, правда вполне приличная, но пожизненная рента — это пожизненная рента и не более того, ее дочерям она не достанется. Вот потому-то ей и хочется, чтобы Сара обеспечила себе независимость. А Сара мечтает уйти в монастырь.

Обер медленно произнес:

— Никакой независимости эта профессия дать не может, дитя мое. Сколько ей лет?

— Четырнадцать с половиной, — ответила госпожа Герар.

— Нет, — воскликнула я, — мне скоро будет пятнадцать!

Любезный старец улыбнулся.

— Через двадцать лет, — молвил он, — вы уже не будете так рьяно настаивать на точности цифр.

Затем, полагая видимо, что визит несколько затянулся, он встал.

— Говорят, — сказал он, обращаясь к «моей милочке», — говорят, что мать этой девушки необычайно красива?

— О да, — ответила госпожа Герар.

— Весьма сожалею, что мне не довелось познакомиться с ней, но прошу передать ей мою благодарность за такую очаровательную замену.

И он поцеловал руку слегка покрасневшей госпоже Герар.

Такова была эта беседа, слово в слово. Каждое движение, каждый жест господина Обера врезались в мою память, ибо этот исполненный очарования и кроткой доброты человек держал в своих прозрачных руках мое будущее.

Открыв дверь салона, он сказал, коснувшись моего плеча:

— Не падайте духом, девочка, и поверьте, вы еще поблагодарите свою мать за то, что она заставила вас так поступить. Не печальтесь. В жизнь, конечно, следует вступать с серьезным видом, но смотреть на вещи надо веселее.

Я уже собиралась переступить порог, как вдруг на меня налетела красивая, но несколько полноватая и очень шумная особа.

— А главное, — шепнул, наклонившись ко мне, господин Обер, — не следует распускать себя, как эта великая певица. Запомните: полнота — злейший враг любой женщины, а тем более актрисы.

Затем, пока лакей держал распахнутой настежь дверь, пропуская нас, я услыхала слова господина Обера, обращенные к той самой особе:

— Итак, совершеннейшая из женщин… и т. д.

Я вышла ошеломленная и в коляске не проронила ни слова.

Госпожа Герар стала рассказывать о нашем свидании маме, но та, не дослушав ее, сказала:

— Хорошо-хорошо, спасибо.

Экзамен должен был состояться через месяц после этого визита, и к нему надо было готовиться.

Мама не знала никого из театра. Крестный посоветовал мне взять «Федру», но мадемуазель де Брабанде воспротивилась этому, такой выбор несколько шокировал ее, и она отказывалась помогать мне.

Наш старинный друг господин Мейдье хотел, чтобы я

работала над ролью Химены из «Сида», однако он заявил, что я чересчур сжимаю челюсти — и это было правдой, — что я недостаточно открываю рот, когда произношу *о*, и не раскатываю должным образом *р;* он подготовил для меня маленькую тетрадочку, содержание которой я привожу с точностью, так как моя бедная, любимая Герар бережно хранила все, что касалось меня; она-то и вручила мне множество документов, которые так пригодились мне теперь.

Вот что предлагал мне наш несносный друг:

«Каждое утро в течение часа на *до, ре, ми* делать упражнение: *те, де, де* — для того чтобы добиться звучности.

Перед обедом сорок раз произносить: *Карл у Клары украл кораллы…* — чтобы очистить *р.*

Перед ужином сорок раз повторять: *Сти-стэ, ста-сто, сту-сты; сти-ттн, стэ-ттэ, ста-тта, сто-тто, сту-ттy, сты-тты* — чтобы научиться не свистеть *с.*

Вечером, перед сном, двадцать раз сказать: *ди, дэ, да, до, ду, ды; ди-ди-ди-ди-дитт, дэ-дэ-дэ-дэ-дэтт, да-да-да-да-датт; до-до-до-до-дотт, ду-ду-ду-дудутт, ды-ды-ды-ды-дытт* — и двадцать раз: *пи, пэ, па, по, пу, пы, пе, пя, пё, пю; пи-ббн, пэ-ббэ, па-бба, по-ббо, пу-ббу, пы-ббы…* Открывать пошире рот на *д* и складывать губы бантиком на *п*…»

Он с самым серьезным видом вручил эти упражнения мадемуазель де Брабанде, которая столь же серьезно требовала от меня их выполнения. Мадемуазель де Брабанде была просто очаровательна, и я любила ее, но не могла удержаться от смеха, когда, заставив меня сказать *те, де, де* — это бы еще куда ни шло, и *Карл у Клары украл кораллы…* она принималась за *сти-стэ…* Это было выше моих сил: вообразите себе какофонию звуков, издаваемых ее беззубым ртом, начинался такой свист, что ему отвечали воем все бездомные псы Парижа. А уж когда дело доходило до *ди-ди-ди-дитт…* и *пи-ббн…* мне казалось, что моя дорогая учительница вообще теряет рассудок: прикрыв глаза, вся красная, с озабоченным видом и ощетинившимися усами, сосредоточенно растягивая губы наподобие щели в копилке или складывая их кружочком, она мурлыкала, свистела, пыжилась и пыхтела без устали…

Не выдержав, я валилась в плетеное кресло. Меня душил смех. Крупные слезы катились из глаз. Ноги стучали по полу. Я размахивала руками от сотрясавшего меня хохота. Раскачивалась из стороны в сторону.

Привлеченная необычным шумом, мать приоткрыла как-то раз дверь. Мадемуазель де Брабанде объяснила ей с важным видом, что обучает меня «методу» господина Мейдье. Мама

пыталась образумить меня, но я не желала ничего слушать, я с ума сходила от смеха. Тогда, опасаясь нервного припадка, она увела учительницу, оставив меня одну.

Мало-помалу я успокоилась. Закрыв глаза, я представила себе монастырь. И *те, де, де*… смешались на какой-то миг в моем затуманенном сознании с «Отче наш», помнится, эту молитву мне в качестве наказания следовало повторять пятнадцать или двадцать раз.

Потом наконец, придя в себя, я встала и, смочив лицо холодной водой, отправилась к матери, которую застала за вистом в обществе учительницы и крестного.

Я с нежностью поцеловала мадемуазель де Бра-банде, которая тут же вернула мне поцелуй, да с такой всепрощающей добротой, что я вконец смутилась.

Шли дни. Из всех упражнений господина Мейдье я делала только *те, де, де*… под фортепьяно. Ради этого мама каждое утро приходила будить меня, что выводило меня из себя. Крестный заставил меня выучить роль Арикии, но я ничего не понимала из того, что он говорил о стихах. Он полагал и пытался втолковать это мне, что стихи не требуют интонации и что весь смысл — в рифмах. Слушать это было невыносимо, а выполнить и вовсе невозможно. К тому же я не очень-то понимала характер Арикии, мне казалось, она совсем не любит Ипполита, я считала ее лукавой кокеткой, и только.

Крестный втолковывал мне, что в древние времена любили именно так. А когда я говорила, что Федра, на мой взгляд, любит лучше, он брал меня за подбородок со словами:

— Нет, вы только подумайте! Она делает вид, будто не понимает! Хочет, чтобы ей объяснили…

Это было глупо до ужаса; я не понимала, но ни о чем не спрашивала. У человека этого была душа мещанина, неискреннего и распутного. Он не любил меня, потому что я была тощей, однако проявлял ко мне интерес, так как я собиралась стать актрисой. Слово это пробуждало в нем мысли о слабых сторонах нашего искусства. Он не видел в нем красоты, благородства и благотворного могущества.

Тогда я плохо разбиралась во всем этом, но ощущала неловкость в присутствии этого человека, которого видела с детских лет и который был мне почти отцом.

Я не пожелала больше работать над ролью Арикии. И прежде всего потому, что не могла говорить о ней с учительницей, которая и слышать не хотела об этой пьесе.

Тогда я выучила «Урок женам», роль Агнесы мне объясняла мадемуазель де Брабанде. О, милая барышня не видела в том

ничего дурного! Вся эта история казалась ей предельно ясной. И когда я повторяла: «Он взял… Он как-то у меня взял ленточку мою! То был подарок ваш, но я не отказала»[14], она улыбалась, простодушно внимая громкому хохоту Мейдье и крестного.

8

И вот наконец наступил день экзамена. Каждый мне что-то советовал. Но никто не подумал дать единственно нужный совет, а потому никому и в голову не пришло пригласить профессионала, который помог бы мне должным образом подготовиться к экзамену.

Утром я встала с тяжелым сердцем, в голове все смешалось. Мама заказала мне черное шелковое платье с небольшим декольте и пелеринкой в складку. Платье было довольно короткое, а из-под него виднелись панталоны с английской вышивкой, ниспадавшие на ботинки из красновато-коричневой кожи с золотистым отливом. Белая манишка, которая шла поверх черного корсажа, сжимала мою чересчур тонкую шейку; лицо обрамляли беспорядочные пряди расчесанных на прямой пробор волос, и в них ни ленты, ни заколки. Несмотря на прохладное время года, на мне была широкополая соломенная шляпа.

Поглядеть на мой туалет собрались все. Раз двадцать вертелась я в разные стороны. Меня заставили даже сделать реверанс… чтобы посмотреть, как это получается.

Все остались как будто довольны. Пришла «моя милочка» вместе со своим важным мужем и с волнением поцеловала меня. Наша старая Маргарита поставила передо мной чашку холодного бульона, который она так долго и так заботливо варила, что бульон превратился в восхитительное желе, которое я мигом проглотила. Мне не терпелось двинуться в путь. И я так резко поднялась со стула, что платье мое разорвалось, зацепившись за какую-то незаметную щербинку деревянной ножки. Мама рассерженно повернулась в сторону визитера, явившегося минут пять назад и застывшего в немом восхищении.

— Вот видите, что я вам говорила? Все ваши шелка рвутся при малейшем движении.

— Но, — с живостью возразил тот, к кому обращались, — я ведь предупреждал вас, что эта ткань передержана, и потому уступил ее вам по сходной цене.

Говоривший был молодым евреем довольно приятной наружности; родом он был из Голландии и отличался робостью, напористость у него отсутствовала, зато его настойчивости можно было позавидовать. Я знала его с детства. Отец его, богатый коммерсант, дружил с моим дедом по матери, семейство у него было огромное — целое племя. И вот, дав каждому из своих сыновей немного денег, он отправил их попытать счастья в чужие края. Жак, о котором я веду речь, приехал в Париж. Сначала он

торговал сдобными хлебцами и совсем еще мальчишкой приносил их мне в монастырь вместе со сладостями, которые посылала мама. Потом, к величайшему своему удивлению, в один из каникулярных дней я видела, как он принес маме несколько рулонов клеенки, которую у нас стелили вместо скатерти за завтраком. Помнится, на одной из них каймой служили медальоны с изображением всех французских королей. На этой самой клеенке мне лучше всего запоминалась история. Затем он стал владельцем довольно элегантной лавчонки, где торговал передержанными шелками. А ныне это один из самых знаменитых парижских ювелиров.

Платье быстро зашили, и, узнав, что оно передержано, я стала обращаться с ним с большей осторожностью.

Но вот наконец мы, то есть мадемуазель де Брабанде, госпожа Герар и я, тронулись в путь в маленьком двухместном фиакре; я была счастлива тем, что фиакр такой маленький, ибо это давало мне возможность расслабиться, препоручив себя ласковым заботам этих двух женщин и разложив на их коленях мое передержанное платье.

Когда я вошла в фойе, предшествующее залу прослушивания, там уже собралось около пятнадцати молодых людей и примерно двадцать девушек, каждую из которых сопровождали мать, отец, тетя, брат или сестра и так далее.

Пахло почему-то бычьими мозгами под ванильным соусом, и от этого тошнота подступила у меня к горлу.

Когда передо мной открылась дверь и все взоры обратились ко мне, я почувствовала, что залилась краской до самого затылка. Госпожа Герар тихонько подхватила меня, а я все оборачивалась, ища руки мадемуазель де Брабанде. Та, смутившись гораздо больше меня, робко следовала за нами, еще более красная, чем я. Все смотрели только на нее, я видела, как девушки подталкивали друг друга локтями, кивая в ее сторону. Одна из них вскочила и подбежала к своей матери:

— Вот это да! Видела напомаженную грымзу?

Бедная моя учительница совсем смешалась, а я рассердилась. Мне она казалась в тысячу раз лучше, чем все эти зауряднейшие, расплывшиеся, хоть и нафуфыренные мамаши. Конечно, мадемуазель де Брабанде была не похожа на них в своем светло-розовом платье и шали, стягивавшей ей плечи и сколотой на груди огромной камеей, не говоря уже о шляпе, края которой были отделаны такими густыми оборками, что это делало ее похожей на монашеский убор. Но главное, мадемуазель де Брабанде резко выделялась на фоне той неприятной среды, в которой мы очутились, исключение составляли человек десять, не

больше.

Молодые люди сгрудились возле окон, с громким смехом отпуская сомнительные шуточки, во всяком случае, так мне показалось.

Вдруг дверь распахнулась и на пороге появились раскрасневшаяся девушка и пунцовый молодой человек, только что отыгравшие свою сцену. Каждый из них направился к своим, они стрекотали без умолку, жалуясь друг на друга.

Вызвали мадемуазель Дика-Пети. И я увидела высокую белокурую девушку, очень изысканную, которая встала и пошла без малейшего смущения, лишь на минутку задержавшись, чтобы поцеловать красивую полную женщину, всю бело-розовую и разодетую в пух и прах. «Не бойся, мамочка…» — молвила она, потом добавила еще что-то по-голландски и исчезла в сопровождении молодого человека и худенькой девочки, которые должны были подавать ей реплики.

Эту деталь сообщил мне Леото, который вызывал всех, записывал имена поступающих и тех, кто подавал им реплики.

Ничего этого я не знала. Кто же будет моим партнером в «Уроке женам»? Он перечислил мне нескольких молодых людей, но я остановила его:

— Нет-нет, сударь, я не хочу никого ни о чем просить. Я никого не знаю. Не хочу!

— В таком случае, что же вы будете читать, мадемуазель? — возразил Леото крайне недовольным тоном.

— Я прочту басню.

Он не мог удержаться от смеха, записывая мое имя и название басни: «Два голубя».

Я слышала, как, продолжая свой обход, он все еще ворчал в густые усы. Затем увидела, что он вошел в зал Консерватории.

Меня охватило нервное возбуждение. Госпожа Герар забеспокоилась, ибо здоровьем я, увы, не отличалась. Усадив меня, она помазала мне одеколоном за ушами.

«Это отучит тебя наконец щурить глаза!» Хлоп — и звонкая пощечина обрушилась на прелестнейшее личико, какое только можно себе вообразить. Это мать Натали Манвой ударила свою дочь.

Я вскочила, дрожа от страха и возмущения, нахохлившись, словно петух. Мне хотелось, чтобы гадкая женщина получила назад свою пощечину. Мне хотелось поцеловать эту красивую головку, осквернённую грубой пощечиной, однако мои стражницы крепко держали меня с двух сторон.

Тут как раз из зала прослушивания вышла Дика-Пети, и внимание собравшихся сосредоточилось на ней. Она сияла и была

довольна собой. О, вполне довольна! Брат протянул ей маленький пузырек с какими-то подкрепляющими каплями (мне бы они тоже не помешали, потому что во рту у меня пересохло и внутри все горело). А мать заботливо прикрыла ей грудь шерстяным платочком, потом набросила на нее пальто, и все трое исчезли.

Прежде чем наступил мой черед, вызывали еще других девушек и юношей.

Но вот наконец прозвучало мое имя, я подскочила, словно сардинка, за которой гонится большая рыба. Тряхнув головой, я откинула назад волосы. «Моя милочка» одернула на мне передержанный шелк. Мадемуазель де Брабанде посоветовала мне не забывать об *o, a, p, n* и *m,* и вот я очутилась в зале совсем одна.

Ни разу не доводилось мне до тех пор оставаться одной. Малым ребенком я ни на шаг не отходила от своей кормилицы; в монастыре я всегда была рядом с подружкой или сестрой-монахиней; дома при мне постоянно находились либо мадемуазель де Брабанде, либо госпожа Герар, а если их не было, я шла на кухню к Маргарите.

А теперь я оказалась одна в этом странном зале со сценой в самом его конце, с большим столом посередине, за которым сидели мужчины — ворчливые, брюзгливые или насмешливые — и среди них одна громогласная женщина с биноклем в руках, который она откладывала лишь затем, чтобы поднести к глазам лорнет.

Взбираясь по ступенькам, я спиной чувствовала на себе их взгляды.

Когда я вышла на сцену, Леото наклонился ко мне и шепнул:

— Сделайте реверанс, потом начинайте, а когда прозвенит звонок председателя, заканчивайте.

Я взглянула на председателя, это был господин Обер. А я и забыла, что он директор Консерватории. Я все на свете забыла.

И вот, сделав реверанс, я начала:

> Два голубя, как два родные брата, жили,
> Нет, вздумал странствовать один из них..[15]

Послышалось глухое ворчанье.

— Мы здесь не в классе. Что за идея — читать нам басни… — буркнул какой-то чревовещатель. Им оказался Бовалле, трагедийный актер из «Комеди Франсез».

Я умолкла, сердце мое громко стучало!

— Продолжайте, дитя мое, — молвил седовласый мужчина: это был Прово.

— Да-да, басня гораздо короче, чем сцена, — воскликнула Августина Броан, единственная присутствовавшая там женщина.

Я продолжала:

Два голубя, как два родные брата, жили,
Нет, вздумал странствовать один из них, лететь:
Увидеть, осмотреть…

— Погромче, дитя мое, погромче, — благожелательно сказал маленький человечек с белыми вьющимися волосами: это был Сансон.

Я умолкла в недоумении, испуганная, взволнованная, готовая кричать, выть; увидев это, господин Сансон сказал:

— Успокойтесь, мы ведь не людоеды. — Затем, поговорив о чем-то тихонько с господином Обером, продолжал: — Начните сначала, только погромче.

— Ну нет, — воскликнула Августина Броан, — если она начнет сначала, это будет длиннее, чем сцена!

Ее замечание вызвало смех всего стола. Тем временем я пришла в себя.

Эти люди показались мне злыми: как можно смеяться над маленьким, несчастным созданием, дрожащим от страха и выданным им с головой!

Сама не сознавая того, я испытывала легкое презрение к безжалостному трибуналу. С той поры я часто вспоминала об этом испытании и поняла, что люди добрые, умные, жалостливые, собравшись вместе, становятся гораздо хуже. Отсутствие чувства личной ответственности пробуждает дурные инстинкты. Боязнь показаться смешными лишает их доброты.

Собрав всю свою волю, я стала читать басню сначала, стараясь не думать о том, что будет дальше.

В голосе моем ощущалось волнение. Желание быть услышанной придало ему звучность.

Воцарилась тишина.

Не успела я дочитать басню до конца, как зазвонил колокольчик. Я поклонилась и, умирая от усталости, спустилась вниз по ступенькам.

Господин Обер остановил меня:

— Прекрасно, моя девочка, великолепно. Господин Прово и господин Бовалле желают принять вас в свой класс.

Я невольно отпрянула, когда он показал на господина Бовалле. Это был тот самый чревовещатель, который так напугал меня.

— Итак, кого из этих господ вы предпочитаете?

Я ничего не ответила, только показала пальцем на Прово.

— Вот и прекрасно. Ничего не поделаешь, мой бедный Бовалле. Вручаю вам эту девочку, мой дорогой Прово.

Поняв наконец, в чем дело, я закричала, вне себя от радости:

— Значит, меня приняли!

— Да, вас приняли. И я сожалею только об одном, что такой красивый голос предназначается не музыке.

Но я уже ничего не слушала. Я попросту обезумела. Никого не поблагодарив, я бросилась к двери:

— «Моя милочка», мадемуазель… Меня приняли!

И на их пожатия рук, на все вопросы я отвечала только одно:

— Да-да, приняли!

Меня окружили, стали расспрашивать:

— Откуда вы знаете, что вас приняли?

— Заранее никто никогда не знает.

— А я знаю! Мне сказал об этом господин Обер! Я буду учиться у господина Прово! Меня хотел взять господин Бовалле, но я не захотела к нему. Голос у него слишком громкий!

— Как не надоело слушать одно и то же! — воскликнула, не удержавшись, какая-то злая девочка.

В этот момент тихонько подошла красивая, но, на мой взгляд, чересчур темноволосая девушка и спросила:

— А что вы читали, мадемуазель?

— Я читала басню «Два голубя».

Она удивилась. И все вокруг тоже удивились. А я была до смерти рада тому, что всех удивила.

Водрузив на голову шляпу и уже не обращая внимания на свое «передержанное» платье, я подхватила моих подруг и устремилась к выходу, чуть ли не танцуя от счастья. Они хотели отвести меня в кондитерскую, но я отказалась. Мы сели в экипаж. О! Я готова была сама толкать этот экипаж.

На всех встречных лавках мне чудилась одна и та же вывеска: «Меня приняли!»

Когда экипаж почему-либо останавливался, мне казалось, что люди с удивлением смотрят на меня, и я ловила себя на том, что киваю головой, как бы говоря: «Да-да, это правда, меня приняли!»

О монастыре я уже не думала. Я испытывала чувство гордости, оттого что первая же моя попытка увенчалась успехом. Причем успех этой попытки зависел от меня одной.

Мне казалось, что кучер никогда не доберется до дома № 265 на улице Сент-Оноре. Я то и дело высовывала голову наружу и говорила:

— Быстрее, кучер, прошу вас, пожалуйста, быстрее!

И вот наконец мы добрались до дома, я выпрыгнула из

экипажа, чтобы поскорее прибежать и сообщить маме добрую весть. Но тут меня остановила дочь консьержки, она была корсетницей и работала в маленькой мансарде, которая находилась как раз напротив окна нашей столовой, где я занималась с моей учительницей, так что глаза мои волей-неволей постоянно останавливались на ее рыжей головке и живом, миловидном личике. Я ни разу не разговаривала с ней, но знала, кто она.

— Ну что, мадемуазель Сара, вы довольны?

— Да-да, меня приняли!

Я даже задержалась на миг, не в силах устоять перед радостным изумлением всей привратницкой.

Но тут же опрометью бросилась бежать к маме, однако, очутившись во дворе, я так и застыла на месте. Гнев и печаль овладели мной при виде «моей милочки», которая стояла, подняв голову кверху, и, приложив руки ко рту, кричала маме, свесившейся из окна:

— Да-да, ее приняли!

Я ткнула ее кулаком в спину и горько заплакала, ибо собиралась рассказать маме целую историю, которая должна была закончиться радостным удивлением. У самой двери я хотела изобразить на своем лице печаль, чтобы с горестным, смущенным видом услышать неизбежное: «Я так и знала, до чего же ты глупа, моя бедняжка», а потом броситься ей на шею со словами: «Это неправда, неправда, меня приняли!» Моему воображению рисовались обрадованные лица старой Маргариты, посмеивающегося крестного, танцующих сестер… А теперь, изволите ли видеть, госпожа Герар своими сложенными рупором руками развеяла в прах мои тщательно подготовленные эффекты.

Надо сказать, что милая женщина до самой своей смерти, то есть на протяжении большей части моей жизни, ухитрялась разрушать все мои эффекты. Какие бы бурные сцены я ей ни устраивала, все равно, как только я начинала рассказывать о каком-нибудь приключении, собираясь в конце поразить всех, она уже в самом начале не могла удержаться от смеха. Если же я принималась рассказывать историю, которая кончалась плачевно, она сразу начинала вздыхать, возводить глаза к небу и бормотать свое неизменное «увы!» с таким видом, что рассчитывать на желанный эффект не приходилось.

Это до такой степени выводило меня из себя, что в конце концов, прежде чем начать рассказывать какую-нибудь историю, я стала говорить ей: «Герар, выйди, дорогая», и она со смехом уходила, прекрасно понимая, на какие промахи способна.

Продолжая ругать Герар, я поднялась по лестнице и увидела

перед собой широко раскрытую дверь. Мама нежно поцеловала меня и, заметив мой надутый вид, спросила:

— Разве ты недовольна?

— Да нет, это все Герар… Я рассердилась на нее… Мамочка, давай сделаем так, как будто ты ничего не знаешь. Закрой дверь. Я позвоню.

И я позвонила. И Маргарита открыла. И вышла мама. И притворилась удивленной. Ее примеру последовали и мои сестры. И крестный. И тетя… И когда я поцеловала маму, выпалив: «Меня приняли!», все вокруг закричали от радости. И я снова повеселела. Ведь я добилась нужного эффекта.

Профессия уже овладевала мной, а я не подозревала об этом.

Моя сестра Режина, которую не захотели оставить в монастыре и отправили обратно к маме, принялась отплясывать бурре[16]. Она выучилась этому танцу еще у кормилицы и отплясывала его по всякому поводу, а заканчивала неизменно таким куплетом:

Мой маленький зивотик, возладуйся,
Все, что залаботаю, это для тебя…

Трудно было вообразить себе что-либо более комичное, чем эта пухлая малютка, кружившаяся с самым серьезным видом.

Сестра Режина никогда не смеялась; лишь иногда слабая улыбка касалась ее тонких губ, растягивая в стороны крохотный ротик. Да, трудно представить себе что-либо более комичное, чем этот важный, напористый вид, с каким она танцевала бурре. А в тот день она выглядела еще смешнее, чем обычно, потому что была возбуждена всеобщим весельем.

Ей было всего четыре года, и она ничего не стеснялась. Была бесстыдной дикаркой. Она ненавидела общество, гостей. И когда ее силой приводили в гостиную, она смущала всех своими вольными и довольно странными речами, своими резкими ответами, а главное, била куда попало ногами и кулаками. Это был кошмарный ребенок с серебряными волосами, перламутровым цветом лица, с огромными голубыми глазами, не гармонировавшими с ее внешностью, с густыми, жесткими ресницами, которые отбрасывали тень на ее щеки, когда она опускала глаза, и касались бровей, когда она их поднимала. Характер у нее был упрямый и нерадостный. Ей случалось по четыре, а то и по пять часов не разжимать губ и не отвечать ни на один из вопросов, с которыми к ней обращались; затем она внезапно соскакивала со своего стульчика, принималась громко распевать и отплясывать бурре.

В тот день настроение у нее было хорошее. Она ласково погладила меня и разжала свои тонкие губы, приветливо улыбнувшись мне.

Сестра Жанна поцеловала меня и заставила подробно описать мое прослушивание.

Крестный дал мне сто франков, а господин Мейдье, который только что явился, чтобы узнать о результатах, обещал отвести меня на следующий день в лавку к Барбедьен, чтобы я выбрала часы для своей комнаты: то была моя заветная мечта.

9

С того дня я почувствовала в себе перемену. И хотя в душе моей еще довольно долгое время сохранялось много детского, разумом я совершенно по-иному стала воспринимать жизнь, у меня сложились более четкие представления о ней. Я ощущала потребность стать личностью. То было первое пробуждение моей воли.

Быть кем-то — вот к чему я стремилась.

Сначала мадемуазель де Брабанде заявила, что это гордыня. Но мне казалось, что это не совсем так. Однако в ту пору я плохо разбиралась, что именно заставляло меня желать этого. Лишь несколько месяцев спустя я поняла, почему мне захотелось стать личностью.

Один из друзей крестного попросил моей руки. Это был богатый торговец кожами, человек приятный, но такой смуглый, такой черный, такой волосатый и бородатый, что вызывал у меня отвращение. Я отказала ему. Тогда крестный испросил у моей матушки разрешения поговорить со мной наедине. Он усадил меня в мамином будуаре и сказал:

— Бедная моя девочка, ты делаешь глупость, отказывая господину Бед…: у него шестьдесят тысяч франков ренты и хорошие виды на будущее.

Я впервые услыхала такие слова, а когда выслушала разъяснение, усомнилась, о том ли следует говорить в подобных случаях.

— Ну разумеется, — заверил меня крестный. — Ты выглядишь просто дурочкой с твоими романтическими бреднями. Замужество — это прежде всего деловые отношения, и относиться к этому надо соответственно. Твои будущие свекор со свекровью когда-нибудь умрут, так же как ты и я, и разве не приятно думать, что они оставят своему сыну два миллиона, да-да, сыну, а стало быть, и тебе, если ты выйдешь за него замуж!

— Я не хочу за него замуж.

— Почему?

— Потому что не люблю его.

— Да никто никого не любит до… — возразил мой практичный советчик. — Ты полюбишь его после.

— После чего?

— Спроси у своей матери. Но подумай хорошенько о том, что я говорю. Тебе непременно следует выйти замуж. У твоей матери пожизненная рента, оставленная отцом. Только рента эта берётся из доходов фабрики, которая принадлежит твоей бабушке, а та

терпеть не может твою мать. Бедняжка, того и гляди, лишится своей ренты и останется без гроша, да еще с тремя детьми на руках. Во всем виноват этот проклятый нотариус из Гавра. А почему да как — все это долго объяснять тебе. Твой отец плохо уладил свои дела. Так что тебе следует подумать о замужестве, если не для себя самой, то по крайней мере ради матери и сестер. Ты отдашь своей матери сто тысяч франков, которые оставил тебе отец и которые нельзя получить иначе. Господин Бед… признает за тобой право на триста тысяч франков. Я с ним договорился. Если захочешь, можешь тоже отдать их матери, а уж четырехсот тысяч франков ей вполне хватит.

Я плакала, я рыдала, потом попросила разрешения подумать.

Маму я нашла в столовой. Она ласково и даже с некоторой робостью спросила:

— Крестный говорил с тобой?

— Да, мама, да. Только дай мне, пожалуйста, подумать, ладно?

И я поцеловала ее, рыдая ей в шею. Закрывшись затем в своей комнате, я в первый раз за долгое время пожалела о своем монастыре.

Все мое детство вставало передо мною. И я плакала пуще прежнего. Я чувствовала себя такой несчастной, что мне хотелось умереть.

Однако мало-помалу я успокоилась и, перебирая в уме все случившееся и сказанное, пришла к выводу, что ни в коем случае не пойду замуж за этого человека.

С тех пор как я поступила в Консерваторию, я многое узнала, — о, ничего определенного, и все-таки — ведь я никогда не бывала одна. Поэтому я знала достаточно, чтобы разобраться в своих чувствах и понять: выходить замуж без любви я не желаю.

Меж тем мне пришлось испытать натиск, которого я никак не ожидала. Госпожа Герар попросила меня подняться к ней посмотреть вышивку на пяльцах, которую она готовила маме в подарок. Каково же было мое удивление, когда я увидела там господина Бед… Он умолял меня подумать и согласиться на его предложение. Мне было горестно видеть, как этот черный человек плачет.

— Может быть, вы хотите более значительную сумму в приданое? — спросил он. — Я оставлю за вами пятьсот тысяч франков.

Однако дело было совсем не в этом.

— Сударь, — сказала я ему тихонько — я не люблю вас.

— А я, мадемуазель, умру от горя, если вы не согласитесь стать моей женой.

Я молча смотрела на этого человека… Умереть от горя… Я чувствовала себя смущенной, опечаленной и счастливой… ибо он любил меня, как любят в пьесах, в театре.

Я смутно помнила какие-то фразы — прочитанные или услышанные когда-то. Неуверенно повторив их ему, я ушла, попрощавшись с ним без тени кокетства.

Господин Бед… не умер. Он жив по сей день и занимает весьма солидное положение; у него огромное состояние. Выглядит он гораздо лучше, чем раньше, когда был таким черным, потому что теперь он стал совсем белым.

Тем временем я с блеском выдержала свой первый экзамен, особенно в трагедии. Мой учитель, господин Прово, не хотел, чтобы я выступала на конкурсе в «Заире», однако я стояла на своем.

Мне нравилась сцена Заиры с ее братом Нерестаном, она вполне соответствовала моим возможностям. Но Прово хотел, чтобы в тот момент, когда Заира падает под тяжестью упреков брата к его ногам, слова:

Рази! Султана я люблю![17]

я произносила с неистовой силой, а мне хотелось сказать это тихо, со смиренной готовностью к неминуемой гибели.

Я долго спорила со своим учителем. И в конце концов сделала на занятиях вид, что согласилась с ним.

Но в день конкурсного экзамена я упала перед Нерестаном на колени с такими проникновенными слезами и, раскинув руки, словно покорно подставляя под удар свое полное любви сердце, с такой нежностью прошептала:

Рази! Султана я люблю! —

что весь зал разразился громом аплодисментов.

Я получила вторую трагедийную премию, к величайшему неудовольствию публики, которой хотелось, чтобы мне присудили первую. Однако все было по справедливости. Мой юный возраст и весьма недолгий срок обучения вполне оправдывали полученную мной вторую награду. Зато за исполнение комедийной роли я получила первую премию.

Поэтому я чувствовала себя вправе отказаться от замужества. Мое будущее начинало проясняться. И следовательно, мама ни в чем не будет нуждаться даже в том случае, если потеряет свою

ренту.

И в самом деле, через несколько дней после экзамена профессор Консерватории и «сосьетер»[18] «Комеди Франсез» господин Ренье явился к моей матери с просьбой разрешить мне играть в театре «Водевиль» его пьесу («Жермена»). Дирекция будет платить мне по двадцать пять франков за представление.

Я была в восторге: семьсот пятьдесят франков в месяц за мое первое выступление. Я была без ума от радости.

Я умоляла мать принять предложение «Водевиля». Она сказала, что я могу поступать по своему усмотрению.

Я записалась на прием к Камиллу Дусе, директору Школы изящных искусств.

Мама и на этот раз не захотела пойти со мной, пошла госпожа Герар. Маленькая Режина умоляла взять ее с собой, я согласилась. И совершенно напрасно, ибо не прошло и пяти минут с того момента, как мы расположились в директорском кабинете, а уж моя сестрица, которой было тогда пять лет, стала карабкаться на стулья, потом, сложив ноги вместе, перепрыгнула через табурет, а под конец уселась на полу и, вытащив из-под стола корзинку для бумаг, начала разбрасывать вокруг ее содержимое. Камилл Дусе позволил себе сделать ей замечание, сказав, что она ведет себя не так, как подобает маленькой благоразумной девочке.

Уткнувшись головой в корзинку, сестра ответила своим хриплым голосом:

— А про тебя, сударь, если будешь приставать ко мне, я всем расскажу, что ты мастер давать пустые обещания. Это моя тетя говорит!

Лицо мое залилось краской от стыда.

— Не верьте этому, господин Камилл Дусе, — пробормотала я, — моя сестра говорит неправду…

Тут Режина вскочила и, сжав кулаки, бросилась на меня, как дикий зверь:

— Разве тетя Розина не говорила этого?.. Ты сама лжешь… забыла, как она сказала это господину де Морни, который ответил…

Я уже не помнила, да и теперь не помню, что именно ответил герцог де Морни; закрыв рукой рот сестры, я в ужасе потащила ее к выходу. Она кричала истошным голосом, и мы вихрем промчались по залу ожидания, примыкавшему к кабинету директора Школы изящных искусств, где было полно народа.

У меня начался один из тех неудержимых приступов гнева, которые так мучили меня в детстве, я вскочила в первый попавшийся фиакр. И, уже очутившись в фиакре, я с таким

остервенением обрушилась на свою сестру, что перепуганная госпожа Герар закрыла ее своим телом, приняв на себя мои неистовые удары ногами, руками, всей массой, ибо, потеряв голову от ярости, от горя и стыда, я кидалась всем телом то вправо, то влево, била куда попало.

Горе мое было тем более велико, что я беспредельно любила Камилла Дусе. Он был такой приветливый и милый, отзывчивый и добрый. Однажды он чем-то не угодил моей тете, которая не привыкла к отказам и затаила на него зло. Но я-то была здесь ни при чем.

Что же теперь подумает Камилл Дусе? Притом я даже не успела изложить ему свою просьбу относительно «Водевиля». Все мои мечты рухнули. И виной тому это маленькое чудовище — белокурое и белолицее, словно серафим, — убившее мою надежду.

Забившись в угол и упрямо сжав свои тонкие губы, Режина с искаженным от страха лицом смотрела на меня сквозь длинные полуопущенные ресницы.

Вернувшись домой, я все рассказала маме, которая тут же объявила моей сестрице, что оставит ее без сладкого на целых два дня… Режина была величайшей лакомкой, но и гордячкой тоже, причем, пожалуй, даже в большей степени. Повернувшись на своих маленьких каблучках, она принялась отплясывать бурре, напевая: «Мой маленький зивотик не возладуется».

Я с трудом удержалась, чтобы снова не наброситься на скверную девчонку.

Несколько дней спустя во время занятий я узнала, что министерство отклонило мою просьбу, не дав разрешения играть в «Водевиле». Господин Ренье выразил по этому поводу свое искреннее сожаление, однако счел нужным добавить:

— Полноте, моя милая девочка, не печальтесь сверх меры. Стало быть, Консерватория дорожит вами, и это правильно, это хорошо.

— Уверена, что виной всему Камилл Дусе, он наверняка был против, — заметила я.

— Ни в коем случае! — воскликнул господин Ренье. — Камилл Дусе был полностью на вашей стороне, но министерство не желает портить вашего дебюта, который состоится на будущий год.

И тогда я прониклась огромной благодарностью и симпатией к этому милейшему Камиллу Дусе, который нисколько не обиделся на глупую выходку моей сестрицы.

С истинным увлечением я вновь принялась за работу. Не пропускала ни одного урока. Каждое утро вместе с учительницей

я отправлялась в Консерваторию. Выходили мы рано, потому что я предпочитала идти пешком, а не ехать в омнибусе; таким образом у меня оставались двадцать су, которые мама давала нам по утрам на поездку туда, да еще восемь су, отпущенные на пирожные. Возвращаться мы должны были пешком. Но зато на сэкономленные сорок франков раз в два дня мы могли брать фиакр.

Мама так никогда и не узнала об этой маленькой хитрости, на которую я пускалась при пособничестве моей дорогой де Брабанде, мучившейся тем не менее угрызениями совести.

Итак, я не пропускала ни одного урока. Мало того, я даже ходила на уроки манер, которые вел этот бедняга, господин Эли, престарелый, напомаженный красавец, весь в завитушках и кружевах, смешной до умопомрачения. Уроки его мало кто посещал.

И потому, за отсутствием большой аудитории, папаша Эли отыгрывался на нас. Всем нам доставалось на этих уроках. Папаша Эли обращался к нам на «ты». Мы были его вещью. И все — а нас было пятеро или шестеро, — все мы должны были взбираться на сцену. А он, стоя с черной палочкой в руках (зачем нужна была эта палочка?), приговаривал:

— Вперед, барышни, корпус откинуть назад, голову — вверх, носки ног — вытянуть, так… превосходно… Раз, два, три, пошли!

И мы шли: носки ног — вниз, голова — вверх, при этом приходилось скашивать глаза, чтобы видеть, куда поставить ногу. Так мы и вышагивали с торжественностью и благородством верблюдов.

Затем он учил нас выходить: с небрежным видом, с достоинством или в ярости. И надо было видеть этих юных дев, направлявшихся к двери неторопливым шагом, поспешно или горделиво, в зависимости от чувств, которым надлежало обуревать их.

Затем требовалось безмолвно выразить: «Довольно, сударь! Ступайте вон!», ибо папаша Эли не желал, чтобы при этом произносилось хотя бы одно слово, даже шепотом.

— Все должно заключаться во взгляде, в жесте, в позе, — твердил он.

И еще нам приходилось делать упражнение под названием «тарелка»; для этого нужно было сесть с величайшим достоинством или устало упасть в кресло; потом «тарелка» произносила: «Слушаю вас. Говорите, сударь!..» Ох уж эта «тарелка», сколько трудностей с ней было связано, сколько всего надо было вместить в нее: и желание узнать, и страх перед тем, что услышишь, и решимость прогнать, и стремление удержать…

Ах, сколько слез стоила мне эта «тарелка»!.. Бедный папаша Эли! Я на него нисколько не сердилась, но всеми силами потом боролась, чтобы забыть то, чему он меня научил, ибо трудно себе представить что-либо бесполезнее его уроков манер.

Ведь каждое существо движется в соответствии со своими размерами. Чересчур высокие женщины шагают широко; стройные двигаются на восточный манер; слишком полные переваливаются, как утки; те, у кого короткие ноги, чуть-чуть прихрамывают; слишком маленькие — подпрыгивают, ну а дурочки ходят, как и полагается дурочкам. И ничего с этим не поделаешь.

Уроки манер в конце концов отменили, и правильно сделали. Жест должен отражать мысль, он гармоничен или глуп в зависимости от того, умен артист или нет.

В театре руки нужно иметь длинные, и лучше уж чересчур длинные, чем слишком короткие. Никогда, ни за что и никогда, артист с короткими руками не сможет сделать красивого жеста!

И сколько бы бедный Эли ни бился, показывая нам, как следует делать, мы выглядели бестолковыми и неловкими. А он, бедняга, был просто смешон! Да-да, до ужаса смешон!

Еще я занималась фехтованием. Эту идею внушила маме тетя Розина. Уроки фехтования раз в неделю вел знаменитый Пон. О, что за кошмарный человек этот Пон!.. Резкий, грубый, насмешливый — вот каким он был, этот выдающийся мастер, которому, конечно же, противно было давать уроки соплякам и соплячкам (по его собственным словам) вроде нас. Но был он небогат, и уроки эти, мне думается (хотя я и не берусь утверждать), придумал специально для него какой-нибудь высокий покровитель.

Шляпы он никогда не снимал — и это шокировало мадемуазель де Брабанде — и всегда держал во рту сигару, отчего кашляли и без того задыхавшиеся после бесконечных атак ученики.

Что за пытка — эти уроки!

Иногда он приводил с собой нескольких друзей, которые громко смеялись над нашими промахами, что привело однажды к скандалу: один из этих веселых наблюдателей позволил себе слишком уж наглое замечание в адрес ученика по имени Шатлен, тот живо обернулся и влепил любителю фехтования пощечину. Началась потасовка, во время которой Пону, посчитавшему нужным вмешаться, самому досталась пара пощечин. Это наделало много шума. И с того дня присутствие на уроках посторонних было запрещено.

Я добилась у матери разрешения не посещать больше уроки

фехтования. Для меня это было большим облегчением.

Из всех занятий мне больше всего нравились уроки Ренье. Он был ласков и очень воспитан и учил нас говорить «правдиво».

И все-таки своими познаниями я обязана разностороннему обучению, которому отдавалась с истовым благоговением.

Прово проповедовал величавую игру, учил нас речи возвышенной, но сдержанной. А главное, требовал широты жестов и звучности голоса.

Бовалле, на мой взгляд, ничему хорошему не учил. У него был глубокий, волнующий голос, но ведь он не мог поделиться им с другими, это был восхитительный инструмент, но таланта ему он не прибавлял. Двигался Бовалле неловко, руки у него были слишком короткие, а голова весьма заурядная. Я терпеть не могла этого преподавателя.

Сансон был полной его противоположностью. Голос слабый и пронзительный, благородство не врожденное, но корректность безупречная. Его методом была простота.

Прово призывал к широте. Сансон — к правдивости, его в первую очередь заботили концовки. Он не выносил, когда комкали фразы. Коклен[19], бывший, мне думается, учеником Ренье, с большими церемониями говорит о Сансоне, умалчивая о своем первом учителе.

Что же касается меня, то я прекрасно помню всех трех своих учителей, как будто слышала их вчера.

Учебный год закончился без особых потрясений в моей жизни.

Правда, за два месяца до второго конкурсного экзамена мне довелось испытать большую печаль и сменить преподавателя: Прово тяжело заболел, и Сансон взял меня в свой класс.

Он очень рассчитывал на меня, но был слишком властным и настойчивым. Он заставил меня сыграть две скверные роли в двух более чем скверных пьесах: Гортензию в «Школе стариков» Казимира Делавиня — это в комедийном жанре, а в трагедийном — «Дочь Сида» все того же Казимира Делавиня.

И в той и в другой роли, написанных жестким напыщенным языком, я чувствовала себя неважно.

Наступил день экзамена. Выглядела я отвратительно. Мама потребовала, чтобы я причесалась у ее парикмахера. И я плакала горючими слезами при виде того, как этот цирюльник пытался разделить проборами мою непокорную шевелюру. Это ему пришла в голову такая идиотская идея, которую он и подсказал маме.

Больше полутора часов держал он мою голову в своих

дурацких руках, ибо прежде ему никогда не доводилось иметь дело с такой копной волос. Каждые пять минут он вытирал пот со лба, приговаривая:

— Ну и волосы! Боже мой! Какой ужас! Самая настоящая пакля! Белокурая негритянка, да и только!

И, повернувшись к маме, добавил:

— Надо бы побрить мадемуазель наголо, а потом, пока волосы будут отрастать, следить за ними.

— Я подумаю об этом, — рассеянно сказала мама.

Я обернулась так резко, что обожгла лоб о горячие щипцы, которые держал в руках этот ужасный человек. Щипцами он пытался выпрямить мои волосы!

Да, ему казалось, что волосы мои вьются… не так, как надо, что их следует распрямить, а потом уложить волнами, чтобы облагородить лицо.

— Волосы у мадемуазель перестали расти из-за этих кошмарных завитков! У всех девушек Танжера и у всех негритянок волосы похожи на ваши! А мадемуазель, если она собирается выступать на сцене, гораздо больше пошли бы такие волосы, как у мадам… — молвил он, с почтительным восторгом поклонившись маме, у которой и в самом деле волосы были великолепные: светлые и такие длинные, что она могла, стоя, наступить на их кончики да еще наклонить голову. Правда, мама была очень маленькой.

Но вот наконец мне удалось вырваться из рук этого несчастного, я была полумертвой от усталости после полуторачасовой трепки расческой, щеткой, щипцами, шпильками, похлопываний пальцами, дабы повернуть мою голову слева направо, потом справа налево и т. д., и т. д. Я была изуродована до неузнаваемости…

Волосы мои он зачесал на виски, и уши стояли как бы отдельно, торчком, непристойные в своей наготе, а над головой возвышался пучок маленьких сосисок, уложенных в ряд и имитирующих античную диадему.

Я была безобразна! Лоб, который обычно прикрывала золотистая масса пушистых волос, казался мне огромным, устрашающим. Не узнавала я и своих глаз, ведь обычно на них падала тень от моей шевелюры. Голова стала тяжелой.

До тех пор я причесывалась, да и теперь еще причесываюсь с помощью двух шпилек, а этот человек насовал их всюду, изведя пять или шесть пакетов. Сколько же весила моя бедная головушка!..

Я опаздывала. Надо было наспех одеваться. Я плакала от злости. Глаза мои стали маленькими, нос казался большим, вены

вздулись.

Но самый ужасный момент наступил, когда пришлось надевать шляпу. Она никак не могла держаться на пучке сосисок. Мать живо набросила мне на голову кружева и подтолкнула к двери.

Добравшись до Консерватории, я вместе с «моей милочкой» бросилась в фойе. Мама прошла в зал. Сорвав злосчастные кружева, скрывавшие мои волосы, и присев на скамью, я показывала голову своим подружкам, поведав им одиссею этой прически.

Всем нравились мои волосы, и обычно все завидовали их мягкой пушистости, легкости и золотистому цвету. Поэтому теперь все с сочувствием отнеслись к моему горю. Всех опечалило мое уродство, за исключением, конечно, матерей, которые, потрясая своими жирами, дрожали от радости.

Юные руки освободили меня от шпилек. И Мари Ллойд, очаровательное создание, с которой мы были связаны более тесными узами, чем с другими, нежно поцеловала меня в голову.

— О! Твои прекрасные волосы! Что с ними делали? — молвила она и вынула последние шпильки.

От этой нежной ласки я вновь разразилась слезами. В конце концов кое-как мне удалось одержать победу и над шпильками, и над сосисками, я, торжествуя, поднялась!

Но мои бедные волосы, отяжелевшие от костного жира, которым несчастный парикмахер смазал их, чтобы разделить проборами и превратить в сосиски, мои бедные волосы повисли вокруг лица жалкими жирными прядями. Минут пять я в дикой ярости трясла головой, и они понемногу расклеились. Я наспех забрала их двумя шпильками.

Экзамен уже начался. Моя очередь была десятой. Слова я все позабыла.

Госпожа Герар смочила мне виски холодной водой…

Только что приехавшая мадемуазель де Брабанде безуспешно пыталась отыскать меня, смотрела на меня и не узнавала. Три месяца назад бедняжка сломала себе ногу. И хотя все еще ходила с костылем, во что бы то ни стало хотела присутствовать на экзамене.

Госпожа Герар как раз начала рассказывать ей о моем несчастье с волосами, когда в зале прозвучало мое имя: «Мадемуазель Шара Бернар!»

Это был голос Леото, который впоследствии стал суфлером в «Комеди Франсез», он говорил с сильным овернским акцентом.

«Мадемуазель Шара Бернар!..»

Я мигом вскочила и, ни о чем уже не думая, молча стала

искать глазами ученика, который должен был подавать мне реплики.

Вместе с ним я вышла на сцену.

Услышав свой голос, я удивилась, я не могла узнать его. Видно, я так много плакала, что мозг мой отупел, да и говорила я в нос.

До меня донесся голос какой-то женщины: «Бедняжка, ее не следовало выпускать, У нее страшный насморк, из носа течет, и лицо все распухло…»

Закончив сцену, я сделала реверанс и удалилась под редкие и жалкие аплодисменты.

Я шла не помня себя и упала без сознания на руки госпожи Герар и мадемуазель де Брабанде.

Вызвали доктора, по залу пронесся слух: «Крошка Бернар без сознания! Крошка Бернар упала в обморок!» Слух этот дошел и до моей матери, которая, забившись в угол ложи, смертельно скучала.

Когда я пришла в себя и открыла глаза, то увидела склонившееся надо мной прекрасное лицо мамы. На ее длинных ресницах сверкали слезинки. Прижавшись щекой к ее щеке, я молча плакала, однако на этот раз слезы мои были сладкими, без горечи, они не обжигали мне век.

Поднявшись, я расправила платье и взглянула на себя в зеленоватое зеркало. Я показалась себе не такой безобразной. Лицо разгладилось, волосы обрели свою мягкость, во всяком случае, выглядела я теперь гораздо лучше.

Конкурс тем временем закончился. Названы были победители в трагедийном жанре.

Я не получила никакой награды. Упомянули лишь о моей второй премии за прошлый год. Я осталась ни с чем.

О! Меня это нисколько не опечалило. Я была готова к этому.

Кое-кто выступал в мою защиту. Камилл Дусе, например, бывший членом жюри, долго спорил, добиваясь, чтобы мне дали первую премию: несмотря на то что на конкурсе я показалась из рук вон плохо, он говорил, что надо в первую очередь принять во внимание мои экзаменационные отметки, а они были очень хорошими, и классные тоже, ведь они были лучшими за год. Но ничто не могло сгладить скверного впечатления, которое произвели в тот день мой гнусавый голос, мое опухшее лицо и повисшие пряди волос.

После получасового антракта, во время которого мне дали немного портвейна и бриошь, начался конкурс в комедийном жанре.

Я должна была идти четырнадцатой. Так что у меня было

время окончательно прийти в себя.

К тому же во мне пробудился бойцовский дух. Несправедливость возмущала меня. Конечно, в тот день я не заслужила премии, но чувствовала, что мне все-таки должны были бы ее дать. И я решила добиться первой премии в комедии.

С присущей мне во всем склонностью к крайностям я сама взвинтила себя, решив, что если не получу первой премии, то откажусь от театра. Во мне снова взыграла мистическая и нежная привязанность к монастырю.

Да, я уйду в монастырь. Но только в том случае, если не получу первой премии.

В моем слабом девичьем мозгу завязалась безумная, ни с чем несообразная борьба. Впав в отчаяние из-за неполученной премии, я ощущала неодолимую тягу к монастырю, а надежда на грядущую победу поддерживала мою привязанность к театру.

С вполне понятным пристрастием я признавала за собой способность к самоотверженности, к полнейшему самоотречению и самопожертвованию, эти качества помогут мне со временем занять место матери-настоятельницы монастыря Гран-Шан. С другой стороны, я со снисходительной щедростью приписывала себе все таланты, необходимые для осуществления второй моей мечты: стать первой, самой знаменитой, той, кому все будут завидовать. Я на пальцах перечисляла эти свои достоинства: грацию, очарование, изящество, красоту, таинственность и пикантность.

Да-да. Я полагала, что обладала всеми этими достоинствами. И когда при таком сказочном нагромождении неоценимых качеств мой разум или просто здравый смысл выражали сомнение или подсказывали какое-нибудь «но», мое воинственное и полное противоречий «я» тут же находило четкий и ясный ответ, не терпящий никаких возражений.

Вот при таких-то несколько необычных обстоятельствах и в таком странном расположении духа я предстала на сцене, когда настал мой черед.

Выбор роли для конкурсного показа был на редкость глупым: замужняя женщина, крайне благоразумная и всех поучающая. А я была юной девочкой, которая выглядела к тому же моложе своего возраста. Тем не менее я показала себя блестящей резонеркой, насмешливой и веселой; успех превзошел все мои ожидания.

Я преобразилась. Обезумев от радости, я уже не сомневалась, что получу первую премию! О, я была уверена, что мне ее присудят единогласно.

Конкурс закончился. Во время перерыва, необходимого комитету для обсуждения наград, я потребовала еды, чтобы

восстановить силы. И мне принесли от консерваторского кондитера котлету, которую я тут же проглотила, доставив величайшую радость госпоже Герар и мадемуазель де Брабанде, так как в обычное время я терпеть не могла мяса и всегда отказывалась его есть.

Наконец члены комитета заняли места в своей просторной ложе. В зале воцарилась тишина. На сцену вызвали сначала молодых людей.

Первой премии у них не оказалось.

Затем было названо имя Парфурю, он получил вторую комедийную премию. Ныне Парфурю стал господином Полем Порелем, директором театра «Водевиль» и мужем Режан[20].

Затем пришла очередь девушек.

Я стояла в дверном проеме, держась наготове, чтобы сразу же выбежать на сцену.

«Первая премия за исполнение комедийной роли…» Я сделала шаг вперед, оттолкнув высокую девушку, которая была выше меня на целую голову… «Первая премия единогласно присуждена мадемуазель Мари Ллойд!»

И высокая стройная девушка, которую я оттолкнула, с сияющим видом устремилась на сцену.

Послышались возгласы протеста. Однако ее красота, ее изящество и неброское очарование убедили и покорили всех. Мари Ллойд устроили овацию.

Проходя мимо, она остановилась и нежно поцеловала меня. Мы были с ней очень дружны. Я любила ее, но считала бесталанной. Уж не помню, получала ли она награду в прошлом году, но теперь никто не ожидал такого успеха. Я была потрясена.

«Вторая премия за исполнение комедийной роли — мадемуазель Саре Бернар!» Я ничего не слышала. Меня буквально вытолкнули на сцену, и, пока я раскланивалась, сотни Мари Ллойд танцевали у меня перед глазами: одни строили мне рожицы, другие посылали воздушные поцелуи; одни отмахивались, другие приветствовали меня… Они были высокие… очень высокие… все эти Мари Ллойд… выше потолка… и шагали по головам; они устремлялись ко мне, окружая, стискивал меня, наступая на сердце. Говорят, лицо у меня было белее, чем платье.

Вернувшись за кулисы, я молча села на банкетку и стала смотреть на Мари Ллойд, принимавшую поздравления: на ней было платье из бледно-голубого тарлатана, на груди — букет незабудок, а в черных волосах — всего один цветочек.

Она была высокой и стройной, с хрупкими белыми плечами, стыдливо выступавшими из открытого, пожалуй, даже чересчур

открытого платья… впрочем, без всякого риска. Ее изящная, несколько надменная головка выглядела прелестно — само очарование. Несмотря на юный возраст, Мари Ллойд была по-женски обаятельна, не то что мы, остальные девочки.

Ее большие, с золотистым отливом глаза хитро подмигивали, а маленький круглый ротик лукаво улыбался; безупречные линии носа были неотразимы. Прекрасный овал ее лица подчеркивался двумя крохотными перламутрово-прозрачными ушками несказанной прелести. И эта очаровательная головка поддерживалась длинной, гибкой шейкой необычайной белизны. Мари Ллойд, безусловно, присудили премию за красоту! Члены жюри не ошиблись.

В роли Селимены, выбранной ею для конкурсного показа, она появилась веселая, сияющая и, несмотря на монотонность речи, вялость дикции и безликость игры, снискала всеобщее одобрение, потому что была истинным олицетворением Селимены, этой двадцатилетней кокетки, не сознающей своей жестокости.

В глазах каждого она стала воплощением того идеала, о котором мечтал сам Мольер.

Все эти мысли выстроились у меня в голове в стройный ряд гораздо позже. И этот первый, столь горестный урок многому научил меня в будущем.

Я никогда не забывала о премии Мари Ллойд. И всякий раз, как я начинала работать над новой ролью, персонаж, который я должна была играть, являлся мне как бы во плоти; я видела костюм, прическу, походку, представляла себе, как он раскланивается, садится, встает.

Однако это всего лишь материализованное видение, в котором потом вдруг оживает душа, она-то и должна играть главенствующую роль. Слушая, как автор читает свое произведение, я пыталась проникнуть в его замысел, надеясь слиться с этим замыслом и стать его воплощением.

Порою, следуя ему, я пыталась переубедить публику вернуться к изначальной истине, развенчав навеянный легендой миф о некоторых персонажах, которых ныне оснащенная документами история представляет нам такими, какими они были в действительности, однако публика ни разу не откликнулась на мой зов. И я очень скоро поняла, что легенда неизбежно одерживает верх над историей. Хотя, быть может, для толпы, для коллективного сознания — это благо… Иисус, Жанна д'Арк, Шекспир, Дева Мария, Мухаммед, Наполеон I вошли в легенду.

Теперь уже нам не под силу представить себе Иисуса или Деву Марию в низменном человечьем обличье. Они прожили

жизнь, которой мы живем. Смерть наложила свою печать на их священные тела. Однако мысль об этом претит нам, и не без горечи смиряемся мы с этой истиной. Не потому ли мы устремляемся вслед за ними в заоблачную высь, в бесконечность мечты? Отрекаясь от всего земного, мы наделяем простых смертных чертами идеала и водружаем их на трон любви.

Мы не желаем видеть в Жанне д'Арк неотесанную, бравую крестьянку, которая, оттолкнув грубого шутника солдафона, садится, подобно мужчине, верхом на могучего першерона, охотно откликаясь на вольные прибаутки солдатни, но ухитряясь при этом вопреки мало располагающим к целомудрию условиям жизни своей еще варварской эпохи сохранять героическую девственность, что является ее несомненной заслугой. Однако нам эти никчемные истины не нужны, мы знать о них не желаем. Храня верность легенде, она остается в нашем сознании хрупким существом, ведомым божественным духом. Ее девичью руку, сжимающую тяжелое древко знамени, поддерживает невидимый ангел. В ее по-детски ясных глазах горит неземной свет, и потому все эти воины черпают в них свою силу и мужество Такой мы желаем ее видеть.

И легенда по-прежнему торжествует.

10

Но вернемся в Консерваторию. Ученики почти все разошлись. Молчаливая и смущенная, я все еще сидела на своей банкетке. Подошла Мари Ллойд и села рядом со мной.

— Тебе грустно?

— Да, я надеялась получить первую премию, а получила ее ты. Это несправедливо!

— Не знаю, справедливо это или нет, — возразила Мари Ллойд, — но клянусь тебе, я сделала это не нарочно!

Я не могла удержаться от смеха.

— Можно, я пойду к тебе обедать?

В ее прекрасных глазах дрожали слезы, а в голосе слышалась мольба. Она росла сиротой и была не очень счастлива, и в этот торжественный для нее день ей хотелось побыть в семье.

Я почувствовала, как мое сердце тает от бесконечной жалости и сострадания. Я бросилась ей на шею, и мы пошли все четверо: Мари Ллойд, госпожа Герар, мадемуазель де Брабанде и я. Мама просила передать мне, что будет ждать меня дома.

В экипаже мой характер со свойственной ему отходчивостью взял верх, и мы весело обсуждали то одного, то другого:

— О, дорогая, до чего же она была смешна!

— Ах, а ее мать… ее мать… Ты видела ее шляпу?

— А папаша Эстебене… Ты заметила его белые перчатки?.. Наверняка он стянул их у жандарма!

И мы хохотали как безумные.

— А этот бедняга Шатлен, — добавила Мари Ллойд, — он завился, ты обратила внимание на его голову?

Тут я уже не смеялась. Я вспомнила, что мне, напротив, разгладили волосы и что из-за этого я лишилась первой премии за исполнение трагедийной роли.

Приехав домой, мы застали у мамы мою тетю, крестного, старинного друга Мейдье, мужа госпожи Герар и сестру Жанну всю в завитушках, что поразило меня в самое сердце, ведь у нее волосы были совсем гладкие, и ее завили, чтобы сделать красивее, хотя она и без того была очаровательна, зато мои волосы разгладили, сделав меня уродиной.

Мама встретила Мари Ллойд со свойственным ей изысканным и милым безразличием.

Зато крестный прямо-таки бросился к ней, для этого мещанина успех решал все. Он и прежде уже не раз видел мою юную подругу, но никогда не восторгался ее красотой, и бедность ее оставляла его равнодушным; а в этот день он уверял, будто

давно уже предсказывал триумф Мари Ллойд. Затем он подошел ко мне и, взяв за плечи, повернул к себе:

— Ну вот ты и провалилась! Зачем же упорствовать, зачем оставаться в театре?.. Ты маленькая, худенькая… да и лицо у тебя вблизи симпатичное, а издалека — некрасивое, уж о голосе я не говорю!

— Да, веретено, крестный твой прав, — подхватил господин Мейдье. — Выходи-ка лучше замуж за мучного торговца, который сватается к тебе, или же за этого дуралея, испанского коммерсанта, который торгует кожами, ведь он совсем потерял свою безмозглую голову из-за твоих прекрасных глаз. В театре ты никогда ничего не добьешься!

Господин Герар подошел пожать мне руку. Это был человек лет шестидесяти, а госпоже Герар не было и тридцати. Он был печальным, кротким и застенчивым; его наградили орденом Почетного легиона, он носил длинный, потертый редингот, выглядел аристократом и занимал должность секретаря господина де Ля Тур Демулена, модного тогда депутата. Господин Герар был кладезем всякой премудрости.

Сестра Жанна шепнула мне тихонько:

— Крестный моей сестры — (так именовала она моего крестного) — сказал, что ты была на редкость уродлива.

Я легонько оттолкнула ее.

Сели за стол. За обедом меня снова одолело желание уйти в монастырь. Ела я мало, а после обеда почувствовала такую усталость, что мне пришлось лечь в постель.

Оставшись одна в своей комнате и вытянувшись под одеялом, я хотела обдумать свое печальное положение; чувствовала я себя разбитой, голова была тяжелой, сердце переполнено сдерживаемыми горестными вздохами. Однако спасительный сон явился на помощь моей молодости, и я глубоко заснула.

А проснувшись, долго не могла собраться с мыслями. Который час? Я взглянула на часы. Уже десять! А я легла в три часа. Я прислушалась. В доме царила тишина. На столе, придвинутом к моей кровати, на маленьком подносе виднелась чашка шоколада, а рядом с ней — бриошь. Кроме того, на самом заметном месте, возле чашки, лежал листок бумаги. Дрожащей рукой я взяла этот листок. Никогда еще я не получала писем, и мне захотелось тут же при слабом свете ночника прочесть это письмо. Я с трудом разбирала строчки, написанные рукой «моей милочки» (госпожи Герар).

«Пока Вы спали, герцог де Морни прислал Вашей матушке записку, в которой сообщил, что Камилл Дусе только что

подтвердил ему, что Ваш ангажемент в „Комеди Франсез“ — дело решенное. Так что не печальтесь, моя дорогая девочка, и не теряйте веры в будущее.

Ваша милочка».

Я ущипнула себя, чтобы удостовериться, что не сплю. Потом подбежала к окну. Выглянула на улицу. Небо было черным. Да, черным для всех, но только не для меня. Мне показалось, что оно усыпано звездами. Да-да, сверкающими звездами. Я стала искать свою звезду и выбрала самую большую, самую блестящую.

Вернувшись к своей кровати, я стала забавляться тем, что, сложив ноги вместе, прыгала на нее. А когда мне это не удавалось, смеялась как одержимая.

Я выпила весь шоколад. И чуть не подавилась, запихивая в рот бриошь.

Потом, встав на подушку, держала длинную речь, обращенную к Пресвятой Деве, маленькое изображение которой висело у меня в изголовье. Я обожала Пресвятую Деву. И объясняла ей причины, по которым не могла постричься в монахини, несмотря на свое призвание. Пожалуй, я немного кокетничала. Пытаясь убедить ее, я с нежностью прикладывалась к ее ноге, наступившей на змею. Затем я попробовала отыскать в темноте мамин портрет. Едва различая его, я стала посылать в ту сторону поцелуи.

Под конец, зажав в кулаке письмо «моей милочки», я снова заснула.

Какие сны мне снились?

На другой день все были очень добры ко мне. Приехавший спозаранку крестный покачивал довольно головой.

— Ей надо подышать свежим воздухом, — сказал он матери, — я найму ландо.

Прогулка показалась мне восхитительной, ибо я могла предаваться мечтам, потому что мама не любила разговаривать в экипаже.

Два дня спустя старая служанка Маргарита, запыхавшись, вручила мне письмо. В углу конверта была приклеена марка, вокруг которой сияли слова: «Комеди Франсез».

Я вопросительно взглянула на мать, она кивнула мне в знак того, что я могу вскрыть конверт, однако, не удержавшись, все-таки сделала выговор Маргарите за то, что та принесла мне письмо без ее ведома.

— Завтра, мама!.. Завтра!.. Завтра меня вызывают в «Комеди Франсез»!.. Вот, почитай!..

Прибежали мои сестры. Они взяли меня за руки, и я

закружилась вместе с ними, весело напевая:

— Завтра!.. Завтра!..

Младшей моей сестренке было восемь лет. А мне в тот день, казалось, было не больше шести.

Я поднялась этажом выше, чтобы сообщить новость госпоже Герар, и застала ее намыливающей белые платья и фартуки своих ребятишек. Она взяла мою голову руками и ласково поцеловала меня, причем ее руки оставили на моем лице с двух сторон большие белоснежные хлопья мыльной пены. Перепрыгивая через две ступеньки, я в таком виде спустилась обратно и с шумом влетела в гостиную. Крестный, господин Мейдье, тетя и мама начинали как раз партию виста. Я расцеловала их всех по очереди, со смехом оставляя на их лицах немного пены. Но в тот день мне все было позволено. Я была значительным лицом.

На другой день, во вторник, я должна была отправиться к часу в «Комеди Франсез», где меня собирался принять тогдашний директор театра, господин Тьерри. Что мне надеть? Вот задача…

Мама послала за модисткой. Та сразу же прибежала со шляпами, и я выбрала одну из них — белую пикейную с бледно-голубым ободком, с голубыми завязками и белой кромкой. Тетя Розина прислала свое платье, потому что мои платья оказались чересчур… детскими, решила мама.

О, это платье! Всю жизнь его не забуду: оно было безобразно-салатового цвета с отделкой из черного бархата. В этом платье я была похожа на обезьяну, и все-таки мне пришлось надеть его. К счастью, его скрывало пальто, подарок крестного, красивое черное пальто из грогрена с белой отстрочкой. Из меня решили сделать даму, а мой гардероб был чисто детский.

Мадемуазель де Брабанде подарила мне вышитый ею платок, а госпожа Герар — зонтик от солнца; мама дала мне очень красивое кольцо с бирюзой.

На другой день разодетая таким образом, хорошенькая в своей белой шляпке, но чувствуя смущение из-за зеленого платья и утешаясь пальто как у настоящей дамы, я вместе с госпожой Герар отправилась к господину Тьерри в коляске моей тетушки, которая настаивала, чтобы я воспользовалась ею, полагая, что так будет приличнее.

Позже я узнала, что мое появление в коляске с лакеем произвело скверное впечатление. Что подумали обо мне люди в театре? Я не стала допытываться. Надеюсь, что моя молодость послужила мне заслоном от всяческих подозрений.

Господин Тьерри принял меня ласково и произнес короткую, но довольно высокопарную речь; затем он развернул какую-то бумагу и вручил ее госпоже Герар, попросив ознакомиться с ней и

подписать. Это был мой контракт. «Моя милочка» ответила, что она не моя мать.

— Ах! — воскликнул, поднимаясь, господин Тьерри. — Тогда передайте эту бумагу матери мадемуазель, пусть она подпишет ее.

Он взял меня за руку. Его прикосновение привело меня в ужас: рука у него была чересчур мягкая, в рукопожатии не было ни твердости, ни сердечности. Я поспешно отдернула свою руку и взглянула на него. Он был некрасив, лицо красное, глаза бегают.

У выхода я встретила Коклена, он ждал меня. Его дебют состоялся год назад и прошел весьма успешно.

— Значит, все в порядке! — весело сказал он мне.

Я показала ему контракт и пожала руку.

Бегом спустилась я вниз и у входной двери столкнулась с группой, преградившей мне путь.

— Вы довольны? — послышался ласковый голос.

— О да, господин Дусе, благодарю вас.

— Я тут ни при чем, моя девочка. На конкурсе вы показались плохо… Однако…

— Однако мы все равно надеемся на вас, — добавил господин Ренье. Затем продолжал, повернувшись к Камиллу Дусе: — Что вы об этом думаете, ваше превосходительство?

— Я думаю, что со временем эта девочка станет великой актрисой.

Последовало молчание.

— Ну и коляска у вас! — довольно грубо вмешался Бовалле, первый трагик «Комеди Франсез» и самый невоспитанный человек во Франции… да и не только!

— Коляска принадлежит тетушке мадемуазель, — заметил Камилл Дусе, тихонько сжимая мне руку.

— А! Тогда другое дело! — проворчал трагик.

Я села в коляску, наделавшую столько шума в театре.

Когда я приехала домой, мама, не читая, подписала врученный мною контракт.

И я бесповоротно решила стать личностью, во что бы то ни стало![21]

Через несколько дней после моего зачисления в «Комеди Франсез» тетя дала большой обед. На нем присутствовали герцог де Морни, Камилл Дусе, министр изящных искусств господин де Валевски, Россини, моя мать, мадемуазель де Брабанде и я. Вечером собралось много народа.

Мать одела меня весьма элегантно. В первый раз я была в декольте. Боже, до чего же я стеснялась! А между тем со всех сторон мне оказывали внимание: Россини попросил меня

почитать стихи. Я охотно согласилась и была довольна и счастлива тем, что стала маленькой личностью. Я прочитала «Страждущую душу» Казимира Делавиня. Когда я кончила, Россини воскликнул:

— Это надо декламировать под музыку!

Всем понравилась его идея. И де Валевски обратился к Россини:

— Мадемуазель начнет сначала, а вы импровизируйте, мой дорогой маэстро.

Это было незабываемо прекрасно. Я начала читать сначала. А Россини тут же сочинил восхитительную музыку, наполнившую мою душу восторгом. Слезы катились по моим щекам, но я даже не замечала их, И мать поцеловала меня со словами:

— Сегодня впервые ты тронула меня по-настоящему!

Мама обожала музыку. И ее, конечно, взволновала импровизация Россини.

Был там и граф де Кератри, молодой, элегантный гусар, он рассыпался в комплиментах и пригласил меня к своей матери почитать стихи. Тетушка спела модный романс и имела шумный успех. Она была очаровательна, кокетлива и слегка позавидовала своей несчастной племяннице, которая на краткий миг привлекла к себе внимание ее поклонников.

Домой я вернулась совсем другой. И долго сидела, не раздеваясь, на своей девичьей кровати.

Жизни я совсем не знала, знала только работу да семью. А теперь мне приоткрылись светские отношения. Я была поражена лицемерием одних и самомнением других.

И с тревогой вопрошала себя, что мне делать, ведь я такая робкая и бесхитростная. Потом стала думать о том, что делала в таких случаях мама. Но она ничего не делала. Ей все было безразлично. Я подумала о тете Розине. Она, совсем напротив, вмешивалась во все.

Так я и сидела, уставившись в пол, в голове все смешалось, на сердце было тревожно; в постель я решилась лечь, когда совсем уже замерзла.

Последующие дни прошли без всяких происшествий. Я с упоением работала над Ифигенией, так как господин Тьерри предупредил меня, что дебютировать я буду в этой роли.

И в самом деле, в конце августа меня пригласили на репетицию «Ифигении». Ах, это первое уведомление о репетиции! Какое сердечное волнение оно вызвало!..

Всю ночь я не сомкнула глаз. А день все не наступал. Я то и дело поднималась, чтобы посмотреть на часы. Мне казалось, что стрелки остановились. Я погружалась в сон и тут же просыпалась,

удивляясь, что вокруг еще ночь, а мне представлялось, что уже светает.

Наконец полоска света скользнула по стеклу, а мне почудилось, будто мою комнату залил яркий солнечный свет. Я мигом вскочила и раздвинула шторы; зевая, стала бормотать слова роли.

Я думала, что буду репетировать с госпожой Девойо, первой трагической актрисой «Комеди Франсез», с Мобан, с… И заранее трепетала, ведь говорили, что госпожа Девойо не отличается терпением.

На репетицию я явилась за час до назначенного срока.

Режиссер, славный Давенн, улыбнулся и спросил, знаю ли я свою роль.

— О, конечно! — уверенно отвечала я.

— Повторите ее мне.

И он повел меня на сцену.

Он называл мне прославленные имена тех, кого изображали стоявшие в фойе бюсты. На мгновение я остановилась перед бюстом Адриенны Лекуврёр.

— Я люблю эту актрису! — призналась я.

— Вы знаете ее историю?

— Да, я читала все, что о ней написано.

— Очень хорошо, дитя мое, — сказал этот милый человек. — Надо обязательно читать все, что касается вашего искусства. Я дам вам несколько интересных книг.

И мы пошли на сцену.

Таинственный полумрак, декорации, вздымавшиеся, словно крепостная стена, голые доски пола, несметное количество веревок, противовесов, деревьев, задников, софитов, висевших у меня над головой, черный провал зала, тишина, нарушаемая поскрипыванием пола, холод, подступавший со всех сторон, словно в погребе… все это напугало меня. Я не чувствовала, что вхожу в сияющий мир живых артистов, которые каждый вечер вызывали аплодисменты зала своим смехом или своими рыданиями. Нет. Я очутилась в склепе мертвой славы. И мне показалось, будто сцену заполнили знаменитые тени, только что названные режиссером.

Мое беспокойное, легковозбудимое воображение уже рисовало их, они шли мне навстречу, протягивал руки. Эти призраки хотели увлечь меня за собой… Я закрыла глаза руками и стояла не двигаясь.

— Вам плохо?

— Нет-нет, спасибо… В глазах немного потемнело. Благодарю вас, сударь, все в порядке.

Голос господина Давенна прогнал призраки.

Снова открыв глаза, я внимательно слушала советы этого славного человека, а он, с тетрадкой в руках, показывал мне места, где я должна стоять, мои проходы и т. д. и т. д.

Он как будто остался доволен моем манерой читать. Показал мне несколько традиционных приемов. И, в частности, сказал:

— В этом месте мадемуазель Фавар производила обычно большой эффект.

Вот эти стихи:

Готова к смерти я. Ну, Эврибат, — ведите![22]

Мало-помалу подходили артисты, бросали на меня хмурый взгляд и, не обращая больше внимания, репетировали свою сцену.

Мне хотелось плакать. Но, главное, я была раздосадована. До меня с разных сторон доносились три грубых слова. Я еще не успела привыкнуть к этому довольно резкому языку. У матери все вели себя крайне сдержанно. У тети — манерно. Я уж не говорю о монастыре, где мне ни разу не доводилось слышать ни одного непристойного слова. Правда, я успела кончить Консерваторию, но ведь я ни с кем не соприкасалась, кроме Мари Ллойд и Розы Баретта, старшей сестры Бланш Баретта, ныне «сосьетерки» «Комеди Франсез».

После окончания репетиции было решено, что на следующий день мы будем репетировать в фойе в то же самое время.

За мной пришла костюмерша, надо было примерить костюм. Мадемуазель де Брабанде, которая явилась во время репетиции, поднялась вместе со мной на склад. Ей хотелось, чтобы руки мои были закрыты, но костюмерша осторожно заметила, что в трагедии этого делать нельзя.

Мне примерили белое шерстяное платье, совершенно безобразное, и такую жесткую накидку, что я отказалась. На голову мне водрузили венок из роз, тоже такой некрасивый, что от него пришлось отказаться.

— Ну что ж, — сухо заметила костюмерша, — вам придется покупать самой, мадемуазель, потому что у нас в театре только такие костюмы.

— Хорошо, я куплю, — молвила я, покраснев.

Вернувшись домой, я рассказала маме о своих неудачах с костюмом, и мама, которая всегда была очень щедрой, тут же купила мне белую барежевую накидку, ниспадавшую великолепными, крупными и мягкими складками, и прекрасный венок из роз, которые при вечернем освещении выглядели нежно-белыми и очень скромными. А у сапожника «Комеди Франсез» она

заказала для меня котурны.

Кроме того, надо было подумать и о коробке для грима. В этом мама решила положиться на мать Дика-Пети, моей подружки по Консерватории.

Вместе с госпожой Дика-Пети я отправилась к отцу Леонтины Массен, ученицы Консерватории, который мастерил гримировальные коробки.

Мы поднялись на шестой этаж дома, расположенного на улице Реомюра. Остановившись перед жалкой дверью, мы прочитали: *Массен, изготовитель гримировальных коробок*.

Я постучала в дверь, нам открыла маленькая горбунья. Я сразу же узнала сестру Леонтины: она иногда приходила в Консерваторию.

— Ах! — воскликнула она. — Какой сюрприз! Титина, да это же мадемуазель Сара!

Из соседней комнаты прибежала Леонтина Массен. Ласковая, спокойная, красивая, она заключила меня в объятия.

— Ах, как же я рада тебя видеть! Ты дебютируешь в «Комеди Франсез»! Я читала об этом в газетах.

Я покраснела до самых ушей. Обо мне писали в газетах!..

— А я буду дебютировать в театре «Варьете»!

И она говорила, говорила без умолку — так долго, так быстро, что буквально оглушила меня.

Госпожа Пети оставалась безучастной и делала безуспешные попытки оторвать нас друг от друга. На вопросы Леонтины о здоровье ее дочери она отвечала либо кивком головы, либо словами «Спасибо, неплохо».

Наконец, дождавшись окончания бурных излияний красивой девушки, она смогла сказать:

— Пора заказывать вашу гримировальную коробку, ведь мы за этим сюда пришли.

— Ах вот как! Папа там, за своим станком, и, если ты недолго, я подожду тебя. Я иду на репетицию в «Варьете».

— Ну нет! — не выдержала госпожа Пети. — Это, наконец, невозможно!

Она не любила Леонтину Массен. Та, разобидевшись, пожала плечами и повернулась к ней спиной. Затем, надев шляпку, поцеловала меня и, торжественно раскланявшись с госпожой Пети, сказала на прощанье:

— Надеюсь, госпожа Гро-та[23], что никогда больше не увижу вас!

И она исчезла, хотя ее звонкий, веселый смех долго еще не смолкал. Моя спутница прошептала по-голландски несколько

злобных слов, смысл которых я поняла гораздо позже.

Мы вошли в заднюю комнату жилища и увидели там за станком папашу Массена, строгавшего маленькие светлые дощечки. Горбунья сновала взад-вперед, весело напевал; отец выглядел хмурым, озабоченным.

Заказав коробку, мы собрались уходить, госпожа Пети вышла первой, а меня сестра Леонтины удержала за руку:

— Отец был не очень любезен… Он завидует, ему обидно, что Леонтину не взяли в «Комеди Франсез».

Это признание взволновало меня; я смутно угадывала драму и скрытую горечь, столь различно проявлявшуюся у обитателей этого бедного жилища.

11

1 сентября 1862 года, в день моего дебюта, я стояла перед театральными афишами на улице Дюфо. Тогда они занимали довольно большое пространство на углу улиц Дюфо и Сент-Оноре.

На афише «Комеди Франсез» значилось:

«ДЕБЮТ МАДЕМУАЗЕЛЬ САРЫ БЕРНАР»

Не знаю, сколько времени я так простояла завороженная буквами собственного имени, только помню, что каждый раз, как кто-нибудь останавливался, мне казалось, будто, прочитав афишу человек этот смотрел на меня, и я чувствовала что краснею до ушей. Наконец в пять часов я отправилась в «Комеди Франсез». Моя гримерная, которую я занимала вместе с мадемуазель Кобленц, находилась на самом верху. Она была расположена на другой стороне улицы Ришелье, в доме, который снимал театр. Над проезжей частью висел крытый мостик в виде коридора. Через этот мостик мы и ходили в «Комеди Франсез».

Я бесконечно долго одевалась. Понятия не имею, как я выглядела — хорошо или плохо. «Моей милочке» я показалась слишком бледной, а мадемуазель де Брабанде — чересчур красной.

Моя мать должна была пройти прямо в зал. Тетя Розина уехала на курорт.

Когда я услышала предупреждение о том, что спектакль начинается, меня прошиб холодный пот с головы до ног. Я чуть было не упала в обморок. Дрожа всем телом, я спустилась, пошатываясь, зубы у меня стучали. Как только я прошла кулисы, занавес пошел вверх.

Поднимался он медленно, торжественно, и мне казалось, что это приоткрывается завеса, за которой скрыто мое будущее.

Низкий, ласковый голос заставил меня обернуться. Это был Прово, мой первый учитель, он пришел утешить меня. Я была счастлива снова его увидеть и бросилась ему на шею. Сансон тоже пришел; мне кажется, что в тот вечер он играл в комедии Мольера.

Как не похожи были друг на друга эти два человека: Прово — высокий, с развевающимися седыми волосами, напоминавший полишинеля; Сансон — маленький, аккуратненький, чопорный, с сияющими белизной волосами, уложенными плотными завитушками; и тот и другой расчувствовались, решив, видно,

взять под покровительство это несчастное, хрупкое и нервное создание, преисполненное несокрушимой веры, ибо оба они знали мою увлеченность работой и то упорство, с каким я непрестанно была вынуждена бороться со своей физической слабостью.

Знали они и то, что мой девиз «Во что бы то ни стало» не был простой случайностью, а появился в результате вполне определенных устремлений. Мама рассказала им, как я выбрала этот девиз в девять лет, приняв вызов кузена и пытаясь перепрыгнуть через ров, преодолеть который не удавалось никому. Я разбила себе лицо, сломала кисть руки, сильно ушиблась. Но пока меня несли, я в ярости кричала:

— Все равно я это сделаю, вот увидите, во что бы то ни стало, пусть только попробуют дразнить меня! И всю свою жизнь я буду делать то, что захочу!

А вечером, когда обескураженная тетя спросила, чего бы мне хотелось, все мое забинтованное тело содрогнулось от радости, и, сразу успокоившись и присмирев, я ответила ей тихонько:

— Мне хотелось бы иметь собственную почтовую бумагу с моим девизом.

И так как мама продолжала настаивать с легкой усмешкой, желая дознаться, что же это за девиз, я с минуту молчала, потом выкрикнула, нарушив напряженную тишину: «Во что бы то ни стало», да с такой силой, что тетя Фор отпрянула, прошептав: «Какой ужасный ребенок!»

Так вот Сансон с Прово напомнили мне эту историю, пытаясь придать мне мужества. Но в ушах у меня звенело, и я ничего не слышала. На сцену меня вытолкнул не кто иной, как Прово, услыхавший реплику, после которой мне следовало выходить.

Я бросилась к Агамемнону, своему отцу, и никак не хотела отпускать его, мне надо было за кого-то держаться. Потом уцепилась за свою мать, Клитемнестру… Промямлила что-то… Покинув сцену я бегом поднялась к себе в гримерную И уже начала лихорадочно раздеваться, когда испуганная госпожа Герар спросила, в своем ли я уме? Я отыграла только первый акт, а их оставалось еще четыре. Тут я почувствовала, что мне и впрямь грозит опасность, если я позволю своим нервам так распускаться. Я вспомнила свой девиз и, глядя в собственные глаза, отражавшиеся в зеркале, приказала себе образумиться, взять себя в руки! И мои нервы, не устояв, решили, видно подчиниться разуму. Я доиграла пьесу до конца. Но была невыразительна.

Мама, читавшая в «Опиньон насьональ» статьи Сарсея[24], послала за мной с раннего утра и сама прочитала мне следующие строки:

«Мадемуазель Бернар, дебютировавшая вчера в „Ифигении“, — высокая, стройная девушка приятной наружности; особенно красива у нее верхняя часть лица. Держится она хорошо и обладает безупречной дикцией. Это все, что можно сказать о ней в настоящий момент».

Обняв меня, мама добавила:

— Он просто глуп, ты была очаровательна.

Она собственноручно приготовила мне чашку кофе со сливками. Я была счастлива, но не совсем.

Когда во второй половине дня явился крестный, он воскликнул:

— Боже мой, бедная моя крошка, до чего же у тебя худые руки!

И в самом деле, в зале, помнится, даже засмеялись. О, я прекрасно это слышала, когда, протянув руку к Эврибату, обратилась к нему со знаменитой строкой, которой Фавар производила огромный эффект, ставший традицией… О, я-то никакого эффекта не произвела, разве что вызвала улыбку своими длинными, тощими руками.

Второй раз я играла Валерию и пользовалась некоторым успехом. Третье мое выступление послужило причиной такого упрека в адрес «Комеди Франсез» все того же Сарсея:

> *«ОПИНЬОН НАСЬОНАЛЬ», 12 сентября.* «В тот же вечер играли „Ученых женщин“ — это был третий дебют мадемуазель Бернар, исполнявшей роль Анриетты. Она была столь же красива и столь же невыразительна, что и в ролях Юнии (он ошибался, то была Ифигения) и Валерии, которые ей поручали ранее. Эта постановка, отличавшаяся поразительной бедностью, дает повод для невеселых размышлений, и дело тут вовсе не в том, что мадемуазель Бернар оказалась несостоятельной. Она только начинает, и вполне естественно, что среди дебютантов, которых нам представляют, есть такие, кто не оправдывает надежд; надобно испробовать нескольких, прежде чем найдется один хороший; печаль в том, что окружавшие ее актеры были немногим лучше, чем она. А ведь это всё „сосьетеры“! И что же? От юной дебютантки их отличала лишь давняя привычка к сцене, и только; они были такими, какой может стать мадемуазель Бернар лет через двадцать, если удержится в „Комеди Франсез“».

Я там не удержалась.

В самом деле, один из тех пустяков, которые могут решить всю жизнь, решил, видно, и мою.

Я пришла в «Комеди Франсез», чтобы остаться там навсегда. Я слышала, как крестный объяснял матери различные этапы моей карьеры: первые пять лет малышка будет получать столько-то, потом столько-то, и наконец, по прошествии тридцати лет, она получит пай, если, конечно, станет «сосьетеркой», в чем он, видимо, сомневался.

Сестра Режина и на этот раз, правда теперь невольно, оказалась причиной маленькой драмы, заставившей меня уйти из «Комеди Франсез».

Собирались праздновать день рождения Мольера, и все артисты большого Дома должны были, согласно традиции, подходить с приветствием к бюсту гениального писателя. Я впервые принимала участие в такого рода церемонии, и сестренка, услыхав, как я рассказывала об этом домашним, умоляла меня взять ее с собой. Я получила разрешение у мамы, которая дала нам в провожатые старую Маргариту.

Вся труппа собралась в фойе: мужчины и женщины в самых разных костюмах, но на всех — знаменитая мантия Доктора.

Когда сообщили, что церемония начинается, все поспешили в фойе, где стояли бюсты.

Я держала сестренку за руку. Перед нами шествовала очень толстая и крайне торжественная госпожа Натали, «сосьетерка» «Комеди Франсез», — старая, злющая, сварливая. Режина, опасаясь наступить на хвост мантии Мари Руайе, встала нечаянно на шлейф Натали; та резко обернулась и с такой силой толкнула девочку, что та отлетела и ударилась о колонну, на которой стоял один из бюстов.

Режина вскрикнула и тут же бросилась ко мне, ее хорошенькое личико было залито кровью. «Злая тварь!» — воскликнула я, набрасываясь на толстую даму… и в тот самый момент, когда она собиралась ответить, влепила ей пару пощечин.

Обморок старой «сосьетерки», сутолока, шум, возмущение, одобрение, приглушенные смешки, удовлетворенная жажда мести, сострадание актрис-матерей к маленькой бедняжке и т. д., и т. д.

Образовались две группы: одна — вокруг злобной Натали, все еще пребывавшей в обмороке, другая — вокруг маленькой Режины. И странно было наблюдать, до чего разные это были группы — и по составу, и на вид. Возле Натали собрались холодные, торжественные женщины и мужчины, которые, стоя,

обмахивали — кто платками, а кто веерами — толстую распластавшуюся тушу. Одна «сосьетерка», молодая, но свирепая, решила брызнуть ей в лицо водой. Тут Натали сразу очнулась и, поднеся руки к лицу, прошептала слабым голосом:

— Что за глупость! Вы смоете всю краску!

Возле Режины суетились молодые женщины и, присев, отмывали ее хорошенькое личико, а малышка тем временем оправдывалась своим хриплым голосом:

— Я не нарочно это сделала, сестрица, клянусь тебе! Эта толстая кляча стала лягаться, а из-за чего? Из-за сущего пустяка!

Ибо Режина, этот херувимчик, созданный, казалось, на зависть остальным ангелам, эта безупречная и поэтичная краса, имела привычку изъясняться, как извозчик, и ничего нельзя было с этим поделать.

Ее грубая шутка вызвала громкий смех маленького, дружелюбно настроенного по отношению к ней кружка и заставила пожать плечами враждебный лагерь.

Брессан, самый очаровательный и самый популярный из артистов театра, подошел ко мне.

— Придется уладить это дело, мадемуазель, ибо короткие руки Натали на деле могут оказаться очень длинными. Вы несколько погорячились, но это между нами, и лично мне это нравится, да и девочка такая забавная и красивая… — сказал он, показывая на мою сестренку.

Публика топталась в зале. Эта сцена задержала нас на двадцать минут. Пора было выходить на сцену.

— А ты отчаянная, моя милочка, — сказала, поцеловав меня, Мари Руайе.

А Роза Баретта прижалась ко мне со словами:

— О! Как ты могла решиться?.. Ведь это «сосьетерка»…

Что касается меня, то я не совсем ясно сознавала случившееся, однако инстинкт предупреждал меня, что я дорого поплачусь за это.

На другой день я получила письмо из дирекции, в котором меня просили прийти в театр завтра, к часу, по делу, касающемуся лично меня. Я проплакала всю ночь, но скорее от расстройства, а не по причине раскаяния; но, главное, меня раздражал неминуемый натиск домашних, который наверняка предстояло вынести. Я утаила письмо от матери, ибо с того дня, как я поступила в театр, она предоставила мне самостоятельность. Потому-то я и получала теперь письма сама, без ее ведома. И могла ходить одна куда угодно.

В назначенное время я явилась в директорский кабинет.

Господин Тьерри встретил меня очень холодно, нос у него

покраснел больше обычного, и глаза глядели фальшивее, чем всегда, он сделал мне строгий выговор, осудив мое неповиновение дисциплине, отсутствие у меня должного уважения, мое скандальное поведение, закончил же он свою жалкую проповедь советом испросить прощения у госпожи Натали.

— Я пригласил ее, — добавил он. — Вы принесете свои извинения в присутствии трех «сосьетеров» из комитета, и, если она согласится простить вас, комитет решит, наложить ли на вас штраф или расторгнуть с вами контракт.

Несколько минут я безмолвствовала.

Я представляла себе отчаяние матери; видела ухмыляющегося крестного, торжествующую тетю Фор с ее неизменным: «Какой ужасный ребенок!..» Видела мою дорогую де Брабанде со сложенными руками и печально поникшими усами, такую трогательную в своей немой мольбе, видела ее маленькие, наполнившиеся слезами глазки. Слышала, как спорит со всеми моя заботливая и робкая Герар, отважно не терявшая веры в мое будущее.

— Ну так как же, мадемуазель? — сухо спросил господин Тьерри.

Я смотрела на него, не отвечая. Он начал терять терпение.

— Я приглашу госпожу Натали сюда, — сказал он. — А вас попрошу выполнить все необходимое, да поживее, надеюсь, вы понимаете, что у меня есть другие дела, мне же приходится исправлять совершенные вами глупости.

— О нет, сударь, госпожу Натали звать не надо, я не стану просить у нее прощения. Я хочу уйти, расторгнуть контракт сейчас же!

Он совсем смешался, и его злость преобразилась в несказанную жалость к этой неукротимой и своенравной девочке, которая готова была погубить свое будущее из-за какого-то самолюбия. Он смягчился и стал более вежливым. Предложил мне сесть чего до сих пор не сделал. И, расположившись напротив меня, стал благостно рассказывать о преимуществах этого театра, об опасностях, которые подстерегают меня, если я покину прославленный Дом, куда меня, к моей чести, приняли, приводил еще множество всяких доводов, один другого лучше и разумнее, так что я в конце концов расчувствовалась.

Но когда, увидев, что я дрогнула, он опять решил пригласить госпожу Натали, я ощетинилась, словно хищный зверек:

— О, пусть не приходит, не то я снова ее ударю!

— В таком случае, — сказал он, — мне придется пригласить вашу матушку.

— Сударь, моя мать все равно не придет, она никуда никогда не ходит!

— Хорошо, я сам к ней зайду.

— Бесполезно, сударь, мать предоставила мне самостоятельность. Я все решаю сама и одна отвечаю за свои поступки.

— Хорошо, мадемуазель, я подумаю.

И он встал, давая мне понять, что беседа окончена.

Я вернулась домой с твердым намерением ничего не говорить матери, но сестренка, когда ее стали спрашивать о ранке, обо всем рассказала, да еще прибавила от себя, описав грубость «сосьетерки» и смелость моего поступка.

Роза Баретта, которая пришла проведать меня, плакала, она была уверена, что контракт со мной расторгнут. Все семейство пребывало в горестном волнении, горячо обсуждая случившееся; я нервничала.

Меня не очень обрадовали сыпавшиеся со всех сторон упреки. И уж совсем не понравились их советы. Я заперлась у себя в комнате, два раза повернув ключ.

На другой день весь дом дулся на меня. Я поднялась к Герар, ибо там я всегда находила поддержку и утешение.

Прошло несколько дней, но в театр меня ни разу не вызывали.

Наконец в одно прекрасное утро я получила приглашение на читку «Долорес» Буиле. Это был первый случай, когда меня вызывали на читку новой пьесы.

Значит, мне поручат «образ». Все мои горести разом улетучились, словно рой черных бабочек.

Я поделилась своей радостью с мамой, и она сделала вполне логичный вывод: раз меня приглашают на читку, значит, от расторжения контракта отказались, так же как и от идем заставить меня просить прощения у Натали.

Я отправилась в театр. И каково же было мое удивление, когда из рук господина Давенна я получила роль Долорес, главную роль в пьесе Буиле. Я знала, что Фавар, которой эта роль принадлежала по праву, болела. Но были ведь и другие актрисы; я никак не могла опомниться от радостного изумления. А между тем на душе у меня было неспокойно. Тревожное предчувствие всегда предупреждало меня о грядущих невзгодах.

Я репетировала уже пять дней и вот, поднимаясь как-то по лестнице, столкнулась лицом к лицу с Натали, сидевшей под огромным портретом Рашели, портретом кисти Жерома, прозванного «красный перец». Я не знала, что делать: спуститься

вниз или пройти мимо. Заметив мои колебания, злая женщина промолвила:

— Проходите, проходите, мадемуазель, я вас прощаю, я отомщена: роль, которая вам так понравилась, за вами не оставят!

Я молча прошла мимо, убитая этой фразой, в истинности которой ни минуты не сомневалась.

Никому ничего не сказав, я стала репетировать. Сцена эта произошла во вторник. А в пятницу, явившись на репетицию, я с огорчением узнала, что Давенн не пришел и что репетицию отменили.

В тот момент, когда я садилась в экипаж, подбежавший привратник подал мне письмо от господина Давенна. Бедняга не решился самолично нанести мне удар, заранее зная, какое это для меня будет горе. В письме он объяснял, что ввиду моей молодости и трудности роли… такая ответственность на столь хрупкие плечи… что наконец госпожа Фавар оправилась от болезни и будет гораздо разумнее…

Письмо это я читала сквозь слезы; однако горе мое вскоре сменилось гневом.

Поднявшись бегом по ступеням, я попросила доложить обо мне директору. Он не мог принять меня сразу. «Хорошо, я подожду». По прошествии часа я не выдержала и, не обращая внимания на привратника и секретаря, пытавшихся удержать меня, ворвалась к господину Тьерри.

Все, что отчаяние, негодование, возмущение несправедливостью и лицемерием могли подсказать мне, я выложила в безудержном потоке слов, прерываемых рыданиями. Директор оторопело смотрел на меня. Он представить себе на мог подобной дерзости и был сражен необузданной яростью столь юной особы.

Когда, совсем обессилев, я рухнула в кресло, он пытался успокоить меня, но тщетно.

— Я хочу уйти немедленно, сударь! Отдайте мне мой контракт. Я пришлю вам ваш экземпляр.

Наконец, устав умолять, он вызвал секретаря и отдал ему распоряжение, тот вернулся с моим контрактом.

— Вот подпись вашей матушки, мадемуазель. Если пожелаете, можете вернуть это мне, но не позднее чем через сорок восемь часов. По истечении этого срока я вынужден буду считать, что вы не принадлежите более к нашему Дому. Но поверьте мне, вы делаете ошибку.

Ничего не ответив, я вышла.

В тот же вечер я отправила господину Тьерри контракт с его подписью и разорвала тот, на котором стояла подпись матери.

Я ушла из Дома Мольера, вернуться туда мне суждено было только через двенадцать лет.

12

Этот более чем решительный поступок перевернул всю мою домашнюю жизнь. Я уже не чувствовала себя такой счастливой среди родных. Меня постоянно упрекали за мою резкость. То тетя, то младшая сестра позволяли себе делать неприятные намеки. Крестный, которого я попросту послала ко всем чертям, не решался нападать на меня в открытую, но зато настраивал против меня маму.

Спокойно я себя чувствовала лишь у госпожи Герар и потому то и дело поднималась к ней. Я с радостью помогала ей по хозяйству. Она научила меня готовить яичницу, лепешки и шоколад. Это отвлекало меня, и скоро я опять повеселела.

Однажды утром меня поразил таинственный вид мамы. Она с нетерпением поглядывала на часы и выражала беспокойство тем, что крестный, который обычно обедал и ужинал у нас, все не шел.

— Странно, — говорила мама, — вчера после виста он сказал: «Я буду завтра к обеду». Странно…

Всегда такая спокойная, она места себе не находила и отвечала Маргарите, заглядывавшей, чтобы узнать, не пора ли накрывать на стол:

— Подождем еще немного.

Раздавшийся наконец звонок заставил вздрогнуть и мать, и сестру Жанну, которая, несомненно, была посвящена в тайну.

— Все в порядке! — заявил крестный, отряхивая со шляпы снег. — На, почитай, что тут написано, сумасбродка.

И он протянул мне письмо, написанное на бланке «Жимназ».

То было письмо Монтиньи, директора этого театра, господину де Жербуа, другу крестного, которого я хорошо знала. Письмо, весьма любезное по отношению к господину де Жербуа, кончалось такими словами: «И чтобы доставить Вам удовольствие, я возьму к себе Вашу протеже, хотя характер у нее, мне кажется, довольно скверный…»

Прочитав эти строки, я покраснела и сочла, что крестный мой поступил бестактно; он мог бы доставить мне истинную радость, оградив от этого мелкого укола, но, что поделаешь, чуткостью этот тугодум не отличался. Мама казалась такой счастливой, что я поблагодарила крестного и расцеловала ее.

О, как я любила целовать ее сияющее и всегда такое свежее, слегка розовое лицо! Когда я была маленькой, я просила ее «сделать бабочку» на моей щеке; тогда она наклонялась ко мне и, то открывая, то закрывая глаза, легонько щекотала мне щеку своими длинными ресницами, а я откидывалась назад, млея от

удовольствия.

Так вот в тот день я вдруг прижала к себе ее голову и сказала:

— «Сделай бабочку» твоей взрослой дочке…

— И тебе не стыдно, — молвила она, обнимая меня и «делая бабочку», — ты ведь уже большая девочка!..

И весь день был озарен для меня поцелуем ее длинных ресниц.

На следующий день я отправилась в «Жимназ». Мне пришлось подождать какое-то время вместе с пятью другими девушками. Затем господин Монваль, человек старый и довольно циничный, бывший главным режиссером и чуть ли не администратором театра, устроил нам смотр.

Сначала он мне очень понравился, так как был похож на господина Герара, но тут же и разонравился. Его манера смотреть на вас и разговаривать, разглядывая с ног до головы, сразу насторожила меня. Я сухо отвечала на его вопросы, но тут наша беседа, грозившая принять агрессивный тон, была прервана появлением директора, господина Монтаньи.

— Кто из вас мадемуазель Сара Бернар?

Я поднялась.

— Прошу вас, мадемуазель, пройти ко мне в кабинет.

Монтаньи был старым актером, на вид круглым и добродушным. По-видимому, он был чрезвычайно высокого мнения о своей персоне, о своем «Я», но мне это было безразлично.

После небольшой дружеской беседы, во время которой он слегка пожурил меня за бегство из «Комеди Франсез» и надавал множество обещаний о ролях, которые собирался поручить мне, господин Монтаньи приготовил контракт и попросил принести его подписанным семейным советом и моей матерью.

— Мне предоставлена полная самостоятельность, — заявила я, — поэтому моей подписи вполне достаточно.

— Ах вот как! — воскликнул он. — Что за безумие — предоставлять самостоятельность такой безрассудной девице, поистине ваши родные оказали вам плохую услугу!

Я чуть было не ответила, что поступки моих родных нисколько его не касаются, но сдержалась и подписала контракт, чему дома очень радовалась.

Монтаньи сдержал слово. Для начала он предложил мне дублировать роли Виктории Лафонтен, молодой, но очень модной тогда актрисы дивного дарования.

Я играла в «Доме без детей» и без всякой подготовки подменяла ее в «Демоне игры», пьесе, имевшей шумный успех. В этих двух пьесах я была совсем неплоха, однако, несмотря на мои

просьбы, Монтаньи так и не пришел посмотреть на меня, а злобный режиссер строил меж тем мне козни.

Я чувствовала, как во мне зреет гнев, и боролась всеми силами, стараясь успокоить свои нервы.

Однажды вечером, когда я уходила из театра, мне вручили листок с уведомлением о завтрашней читке. Монтиньи пообещал мне хорошую роль. И я заснула, убаюканная феями, уносившими меня в страну успеха и славы.

Придя на другой день в театр, я увидела явившихся раньше меня Бланш Пьерсон и Селину Монталан, то были два прелестнейших создания, самые, пожалуй, очаровательные из всех когда-либо сотворенных Всевышним: одна — светлая, словно занимающаяся заря, другая — темная, словно звездная ночь, ибо, несмотря на черную смоль своих волос, она вся светилась. Были еще и другие женщины, тоже очень красивые…

Пьеса, которую собирались читать, называлась «Муж выводит в свет жену». Автором ее был Раймон Деланд.

Я слушала пьесу без особого удовольствия, она казалась мне глупой, и я с тревогой ждала, какую роль мне дадут. Ждать пришлось недолго. То была роль ветреной, безрассудной и смешливой принцессы Душеньки, которая все время ест и танцует. Эта роль никак мне не подходила.

Мой сценический опыт был невелик, сама я была робкой и немного неуклюжей, да и потом, неужели три года я так самозабвенно работала, свято во все веруя, чтобы в глупой пьесе создать образ дурочки!

Я была в отчаянии. Самые безумные мысли приходили мне в голову. Я хотела бросить театр и заняться «коммерцией». И даже сказала об этом старинному другу нашего семейства, несносному Мейдье, который поддержал эту идею, предложив мне взять кондитерский магазин на Итальянском бульваре! Да, такая мысль пришлась по душе этому славному человеку. Он обожал сладости и знал кучу рецептов никому неведомых конфет, которые ему хотелось внедрить Одну такую конфетку я помню — он собирался назвать ее «негр»: то была смесь шоколада с кофейным экстрактом, обвалянная в жареной лакричной крошке. Это было очень вкусно и напоминало поджаренный миндаль.

Я до того прониклась этой идеей, что вместе с Мейдье отправилась посмотреть лавку, и, когда он показал мне крохотную антресоль, где я должна была жить, меня охватила такая тоска, что я навсегда отказалась от мысли заняться «коммерцией».

Меж тем я каждый день репетировала эту дурацкую пьесу.

Настроение у меня было прескверное.

Наконец состоялось первое представление. Успеха я не имела, но и не провалилась: меня попросту никто не заметил. И вечером мама сказала мне:

— Бедная моя девочка, ты была смешной в роли русской принцессы! Ты меня очень огорчила.

Я не сказала ни слова, но у меня появилось вполне осознанное желание покончить с собой.

Спала я плохо, и еще не было шести часов утра, когда я поднялась к госпоже Герар. Я попросила у нее лауданум, она мне отказала. Видя мою настойчивость, бедная женщина поняла мое намерение.

— В таком случае, — заявила я, — поклянитесь головой ваших детей, что никому не скажете о моих намерениях, и я не стану убивать себя.

Внезапная мысль пришла мне в голову, и я без долгих размышлений решила тотчас привести ее в исполнение. Госпожа Герар поклялась, и я объявила ей, что собираюсь немедленно ехать в Испанию, которую мне так давно хотелось увидеть.

Она прямо-таки подскочила!

— Как! Уехать в Испанию? С кем? Когда?

— Ни с кем! Но сегодня же утром. У меня есть сбережения! В доме все спят, я соберу чемодан и тотчас поеду — с вами!

— Это невозможно, невозможно… я не могу уехать! — в испуге воскликнула госпожа Герар. — А как же мой муж? Мои дети?

Ее дочке едва исполнилось два года.

— В таком случае, «моя милочка», дайте мне кого-нибудь, кто мог бы поехать вместе со мной.

— Но у меня никого нет… Боже мой, Боже мой! — со слезами причитала она. — Откажитесь от вашей затеи, милая Сара, умоляю вас!

Однако это меня не остановило, намерение мое было твердым. Я спустилась к себе собрать чемодан и снова поднялась к Герар. Затем открыла окно и бросила в стекло напротив завернутую в бумагу оловянную вилку. Окно тут же распахнулось, и показалось заспанное, сердитое лицо молодой женщины. Тогда, приложив руки ко рту, я крикнула:

— Каролина, хотите поехать со мной в Испанию?

Оторопелое выражение, появившееся на лице молодой женщины, свидетельствовало о том, что она ничего не поняла.

— Сейчас иду, мадемуазель! — только и сказала она, захлопывая окно.

Через десять минут Каролина скреблась у двери Герар, без

сил рухнувшей в кресло. Господин Герар дважды уже спрашивал из спальни, что здесь происходит.

— У нас Сара, я потом вам все объясню.

Каролина работала иногда у госпожи Герар поденной швеей, а мне предлагала свои услуги в качестве горничной. Она была услужливой, хотя и немного дерзкой; Каролина сразу же приняла мое предложение. Но так как не следовало возбуждать подозрений у консьержа, решено было, что я возьму ее платье в свой чемодан, а белье она сложит в сумку, которую согласилась одолжить ей «моя милочка», ибо бедная Герар в конце концов сдалась и, со всем смирившись, помогала мне в моих сборах. О, они были недолгими!

Правда, я не знала, какой дорогой надо ехать в Испанию.

— Наверное, через Бордо, — сказала госпожа Герар.

— Нет-нет! — возразила Каролина. — У меня есть шурин, капитан дальнего плавания, который часто ездит в Испанию через Марсель.

Я взяла девятьсот франков — все свои сбережения. Госпожа Герар одолжила мне еще шестьсот, и я уже была готова покорить вселенную. Чистое безумие! Но ничто на свете не могло бы заставить меня отказаться от моего намерения. К тому же мне казалось, что я и в самом деле давно хотела побывать в Испании. Я забрала себе в голову, что таково веление судьбы и что надо следовать своей звезде. Тысяча мыслей, одна другой абсурднее, утверждали меня в моей идее: я должна поступить именно так.

Я снова спустилась к маме. Дверь оставалась полуоткрытой. С помощью Каролины я принесла к «моей милочке» пустой чемодан, потом Каролина вытащила все необходимое из моих шкафов и ящиков и уложила в чемодан. О, мне никогда не забыть этой восхитительной минуты! Казалось, мир принадлежит мне: я уезжала со своей служанкой. Буду путешествовать одна, и никто не станет оспаривать моих решений. Увижу незнакомую страну, о которой мечтала. Поплыву морем. Ах, как я была счастлива! Раз двадцать я поднималась и спускалась по лестнице, разделявшей наши квартиры.

У мамы все спали; а расположение комнат было таково, что шум нашей беготни не тревожил ее.

Закрыв свой чемодан и сумку Каролины и набив до отказа маленькую сумочку, я была готова к отъезду; но стрелки часов стремительно бежали тем временем вперед, и я с изумлением обнаружила, что было уже восемь часов. Того и гляди, появится Маргарита, чтобы приготовить кофе для мамы, шоколад для меня и питье для моих сестер.

Тогда в приступе отчаяния и исступленного желания я

поцеловала Герар, чуть не задушив ее в своих объятиях, и бросилась к себе в комнату, чтобы взять с собой маленькую Пресвятую Деву, с которой никогда не расставалась. Посылая нескончаемые поцелуи в сторону маминой комнаты, со слезами на глазах и радостным ожиданием в сердце я спустилась по лестнице.

«Моя милочка» попросила привратника отнести вниз наши вещи. Каролина пошла за фиакром. Я вихрем пронеслась мимо каморки консьержа, подметавшего комнату и стоявшего спиной ко мне, села в экипаж и заторопила кучера! Вперед, в Испанию!

Маме я отправила нежное письмо, умоляя ее простить меня и не горевать.

Монтиньи, директору «Жимназ», я написала глупейшее письмо, пытаясь объяснить свой отъезд. Письмо это ничего не объясняло, из него явствовало лишь одно: его писала девочка с расстроенным умом; к тому же письмо свое я заканчивала такими словами: «Пожалейте бедную безумицу».

Сарду[25] рассказывал мне потом, что он находился в кабинете Монтиньи в тот момент, когда тот получил мое письмо.

«Я уже около часа беседовал с Монтиньи по поводу одной пьесы, которую собирался писать, — говорил Сарду. — Беседа становилась жаркой, и тут вдруг отворилась дверь. „Я запретил меня беспокоить!" — сердито крикнул Монтиньи. Однако выражение тревоги на лице старика Монваля и его настойчивый взгляд смягчили непреклонность Монтиньи. „Ну, что там такое? — спросил он, протягивая руку, чтобы взять письмо, которое держал старый режиссер; затем, узнав мою почтовую бумагу с серым ободком, промолвил: — А-а, это от бешеной девчонки. Она что, заболела?" — „Нет, — ответил Монваль. — Она уехала в Испанию". — „Черт бы ее побрал! — воскликнул Монтиньи. — Пошлите за госпожой Дьедонне, она заменит ее. У нее хорошая память, а половину роли снимем, вот и все". — „У вас неприятности с вечерним спектаклем?" — спросил я Монтиньи. „Ничего особенного. Эта дурочка, Сара Бернар, сбежала в Испанию". — „Та самая, которая дала пощечину Натали?" — „Та самая". — „Занятная девочка". — „Да, но только не для директоров". И Монтиньи вернулся к прерванной беседе». (Привожу точные слова Викторьена Сарду.)

По прибытии в Марсель моя горничная попробовала навести справки, и в результате нам пришлось сесть на отвратительное каботажное судно, грязное, провонявшее маслом и застарелым запахом рыбы, — кошмар.

Я ни разу не путешествовала морем. И, вообразив, что все

корабли таковы, решила, что расстраиваться нечего.

После шести дней в разбушевавшемся море нас высадили в Аликанте. Ах уж эта высадка! Мне пришлось прыгать с корабля на корабль, с доски на доску, сотню раз рискуя свалиться в воду, так как я подвержена головокружениям. А эти мостки без перил, без веревок, вообще без ничего, перекинутые с одного корабля на другой и прогибающиеся под моей не Бог весть какой тяжестью, эти мосточки казались мне веревкой, протянутой в пустом пространстве.

Едва держась на ногах от голода и усталости, я остановилась в первой попавшейся гостинице.

И какой гостинице! Это было каменное строение с нависшими сводами. Меня поселили на втором этаже. Никогда еще этим людям не доводилось видеть в своем доме двух дам.

Спальня представляла собой просторную комнату с низким потолком. Украшением ей служили гирлянды огромных рыбьих хребтов, поддерживаемые рыбьими головами. Если прищурить глаза, украшение это можно было бы принять за старинную тонкую резьбу. Но нет, то были всего лишь рыбьи хребты.

Я велела поставить в этой мрачной комнате еще одну кровать — для Каролины. Все двери мы забаррикадировали мебелью, и я заснула одетая.

Лечь прямо на простыни я не решалась, ведь я привыкла к тонким, благоухающим ирисом простыням, ибо моя красавица мама, подобно всем голландкам, была помешана на чистом белье, эта милая мания передалась по наследству и мне.

Было, должно быть, часов пять утра, когда я внезапно открыла глаза, но не шум меня разбудил, а, скорее всего, инстинкт. И тут отворилась дверь, ведущая уж не знаю куда, и в нее просунулась голова какого-то мужчины. Пронзительно закричав, я кинулась к своей маленькой Пресвятой Деве и стала размахивать ею, обезумев от ужаса.

Разбуженная Каролина отважно бросилась к окну и, распахнув его, закричала:

— Горим! Грабят! Караул!..

Мужчина тут же исчез, а дом заполонила полиция; надеюсь, вы представляете себе, какой была полиция Аликанте сорок лет назад.

Я ответила на вопросы, заданные мне венгром, занимавшим должность вице-консула и говорившим по-французски. Да, я видела мужчину с бородой. На голову он набросил платок, а на плечи — пончо. Больше я ничего не знала.

Венгерский вице-консул, представлявший, как мне кажется, Францию, Австрию и Венгрию, спросил, какого цвета были

борода, платок и пончо у этого бандита.

Но стояла такая темень, что я не могла различить цвета.

Такой ответ явно рассердил этого славного человека. Записав что-то, он задумался, потом велел отнести к себе домой записку, в которой просил свою жену прислать коляску и приготовить комнату для юной иностранки, попавшей в затруднительное положение.

Я приготовилась следовать за ним; расплатившись с хозяйкой, мы уехали в коляске милого венгра, его жена встретила меня с поистине трогательным радушием.

Я выпила кофе с густыми сливками; и когда за завтраком рассказала все о себе этой любезной женщине: и кто я, и что со мной, и куда я еду, — она в ответ поведала, что ее отец был крупным фабрикантом, родился в Богемии и был большим другом моего отца.

Она проводила меня в отведенную мне комнату, уложила в постель и сказала, что, пока я буду спать, она напишет для меня рекомендательные письма в Мадрид.

Я проспала десять часов. А когда проснулась, отдохнув и душой и телом, хотела послать маме телеграмму; но это оказалось невозможным: в Аликанте не было телеграфа.

Тогда я написала моей бедной мамочке письмо, рассказав, что я остановилась у друзей моего отца и т. д. и т. д.

На другой день я уехала в Мадрид, заручившись рекомендацией к хозяину гостиницы «Пуэрта дель Соль».

Вместе с моей горничной меня поместили в красивом номере, и я разослала с посыльными письма госпожи Рудкович.

В Мадриде я провела две недели, окруженная вниманием, заботой и предаваясь всевозможным развлечениям; я присутствовала на празднествах, связанных с боем быков, и была от них без ума. Я удостоилась приглашения на большую корриду, которую устраивали в честь Виктора-Эммануила[26], бывшего в тот момент гостем испанской королевы.

Я позабыла Париж, все свои горести и разочарования, свои амбиции, забыла все на свете. Мне хотелось навсегда остаться в Испании. Но телеграмма, отправленная Герар, заставила меня вскоре отказаться от моих намерений. Мама была больна, «очень больна», говорилось в телеграмме.

Я уложила чемодан и попросилась тут же уехать; но после того, как я заплатила по счету за гостиницу, у меня не осталось ни гроша на поезд. Хозяин взял для меня два билета и приготовил целую корзинку с провизией да еще вручил мне на вокзале двести франков, заявив, что следует указаниям Рудковичей, пожелавших, чтобы я ни в чем не нуждалась. Эта

чета была воистину прелестной.

Сердце у меня готово было выпрыгнуть из груди, когда в Париже я подъезжала к материнскому дому. «Моя милочка», которой я сообщила о своем приезде, дожидалась меня у консьержа. Мой вид привел ее в восторг, и, плача от радости, она расцеловала меня. Семейство портье тоже не уставало нахваливать меня.

Герар поднялась первая, чтобы предупредить маму; несколько минут я ждала на кухне, стиснутая в судорожных объятиях Маргариты, нашей старой служанки.

Прибежали обе мои сестры. Жанна обнимала меня, вертела во все стороны, обнюхивала. Режина, заложив руку за спину, словно приклеилась к плите и бросала на меня гневные взгляды.

— Так ты не хочешь поцеловать меня, Режина?.. — спросила я, наклоняясь к ней.

— Нет, не люблю тебя больше. Уехала без меня. Не люблю тебя больше!

Стараясь уклониться от моего поцелуя, она резко рванулась в сторону и ткнулась головой в плиту.

Но вот наконец появилась Герар. Я пошла следом за ней, взволнованная и полная раскаяния.

Потихоньку отворила я дверь в комнату, обтянутую бледно-голубым репсом. Совсем белая, мама лежала в своей постели, лицо ее исхудало, но хранило чудесную красоту. Она раскинула руки, как два крыла, и я устремилась в это ослепительной белизны гнездышко, встречавшее меня с такой любовью. Мама плакала, не говоря, по своему обыкновению, ни слова. А руки ее тем временем с наслаждением погружались в копну моих волос, она перебирала их своими длинными, точеными пальцами.

Потом посыпались вопросы и с моей, и с ее стороны. Я хотела знать все. Она тоже хотела знать все. И началась забавная дуэль слов, фраз и поцелуев.

Я узнала, что у мамы был плеврит, причем довольно серьезный, что теперь она начала выздоравливать, но пока еще очень слаба.

Поэтому я устроилась поближе к маме, снова поселившись, хотя и временно, в своей девичьей комнате: из письма Герар я знала, что моя бабушка с отцовской стороны согласилась наконец на сделку, предложенную мамой. Так как отец оставил мне наследство, которое я могла получить только в день своей свадьбы, мама, по моей просьбе, попросила бабушку отдать мне половину этой суммы. И та наконец-то пошла на это, заявив, что присваивает себе право пользоваться другой половиной, но что, если я передумаю и выйду замуж, эта вторая половина перейдет в

мое распоряжение.

Я приняла решение начать самостоятельную жизнь. Уехать от матери. Жить по своему усмотрению, своим домом.

Я обожала маму, но у нас было так мало общего.

И потом, мне опостылел крестный, который уже много лет ходил к маме в дом, обедал там, ужинал, играл в вист. Он постоянно обижал меня. Старый холостяк, человек очень богатый и без родни, он обожал мою мать, которая неизменно отклоняла его предложение о союзе. Сначала она его терпела как друга моего отца, потом, когда отец умер, она терпела его «по привычке» и скучала, если не видела его, если он болел или находился в отъезде.

Но, невозмутимая и властная, мать не терпела никакого принуждения. Ей претила сама мысль снова подчиняться чьей-то воле[27].

Ее упрямство отличалось кротостью, но иногда приводило к диким вспышкам гнева; тогда мать делалась совсем белой, а под глазами у нее появлялись фиолетовые круги, губы начинали дрожать, зубы стучали, ее прекрасные глаза как бы застывали, голос становился хриплым, слова со свистом вырывались из горла; потом вены на шее вздувались, руки и ноги леденели, и она падала в обморок, случалось, ее по нескольку часов приходилось приводить в чувство.

Врач сказал нам, что в один прекрасный день мама может умереть от такого приступа, и мы делали все возможное, чтобы избежать ужасной случайности. Мать это знала и немножко злоупотребляла этим. А так как моя бедная мама передала мне по наследству свои буйные приступы, я не могла и не хотела жить вместе с ней Ибо что касается меня, то невозмутимой меня никак не назовешь, я очень активна и воинственна, и если уж чего хочу то хочу сейчас, немедленно. Мамино кроткое упрямство не моя стихия. Нет, кровь начинает стучать у меня в висках, и я не успеваю обуздать свой порыв.

С годами я остепенилась, но далеко не в полной мере Я признаю это и страдаю от этого.

Я ничего не стала говорить обожаемой больной о своих прожектах, но попросила старого друга Мейдье найти для меня квартиру. Этот немолодой человек, так мучивший меня в детстве, после моих дебютов в «Комеди Франсез» проникся ко мне нежностью. И, несмотря на пощечину Натали, несмотря на мое бегство из «Жимназ», продолжал относиться ко мне хорошо.

Когда он пришел к нам на другой день после моего возвращения, я осталась с ним ненадолго в гостиной и посвятила его в свои планы Он одобрил их, сказав, что и в самом деле наши

отношения с мамой только выиграют от этой разлуки.

Я сняла квартиру на улице Дюфо, неподалеку от нашего дома. Герар взялась обставить ее. И когда моя мать совсем выздоровела, я за несколько дней убедила ее, что мне лучше жить одной, своим домом.

Она в конце концов согласилась. Все шло как нельзя лучше. Сестры мои присутствовали при этой беседе. Сестра Жанна прижалась к маме, а Режина, отказывавшаяся все три недели, с тех пор как я приехала, разговаривать со мной и даже смотреть в мою сторону, вскочила вдруг ко мне на колени:

— Возьми меня с собой хоть на этот раз, и я тебя поцелую.

Я смущенно смотрела на маму.

— О, забирай ее, — сказала мама, — она совершенно невыносима…

И Режина, спрыгнув на пол, тут же принялась отплясывать свое бурре, нашептывая грубые, безумные слова. Потом обняла меня, чуть не задушив, подбежала к маминому креслу и молвила, покрывая поцелуями ее глаза, волосы:

— Ну, ты довольна, что я ухожу?.. Теперь все достанется твоей Жанночке!

Мама слегка покраснела, но когда взгляд ее остановился на сестре Жанне, его затопила волна невыразимой любви. Она легонько оттолкнула Режину, снова закружившуюся в танце, и, откинув голову, склонила ее на плечо Жанны.

— Мы останемся вдвоем, — только и сказала она.

И столько всего невольно выразилось и в этом взгляде, и в этой фразе, что я обомлела. Я закрыла глаза, чтобы ничего не видеть, и смутно слышала только бурре моей младшей сестренки, которая в такт притопыванью по паркету всякий раз повторяла:

— Нас тоже будет двое, двое!

Это была тягостная драма, от которой содрогались четыре сердца, запертые в маленьком, мещанском мирке нашего жилища.

13

Мы с сестрой окончательно перебрались на улицу Дюфо. Я оставила у себя Каролину и взяла еще кухарку. «Моя милочка» почти все дни проводила со мной. По вечерам я ужинала у матери.

У меня сохранились связи с одним актером из «Порт-Сен-Мартен», который стал режиссером этого театра, возглавлявшегося тогда Марком Фурнье.

В ту пору там играли очень модную феерию под названием «Лесная лань». На главную роль была приглашена прелестная актриса из «Одеона», мадемуазель Дебэ, с очаровательным изяществом игравшая трагедийных принцесс Я часто получала билеты в «Порт-Сен-Мартен», и «Лесная лань» мне очень нравилась.

Я неустанно изумлялась, слушая восхитительное пение госпожи Угальд, исполнявшей роль юного принца. А танцы Марикиты приводили меня в восторг. О, сколько очарования было в этой дивной Мариките, в ее задорных, характерных танцах, отличавшихся неизменным изыском.

Благодаря старику Жоссу я знакома была почти со всеми.

Но каково же было мое удивление и мой ужас когда, придя однажды в пять часов в театр за билетами, я увидела бросившегося ко мне Жосса.

— Да вот она, наша принцесса, наша маленькая Лесная лань, вот она! — воскликнул он. — Сам Бог покровитель Театра, послал нам ее!

Я билась как угорь попавший в сети, но все напрасно.

Обольщая меня, господин Марк Фурнье дал мне понять что я окажу ему истинную услугу и спасу сборы театра. А Жосс, угадавший мои сомнения, заявил:

— Но, дорогая моя, вы ничуть не поступитесь своим высоким искусством, ведь эту роль играет мадемуазель Дебэ из театра «Одеон», а мадемуазель Дебэ — первейшая артистка «Одеона», и «Одеон» — театр императорский, так что это отнюдь не обесчестит ваши принципы.

Появившаяся в этот момент Марикита тоже принялась уговаривать меня. Послали за госпожой Угальд, чтобы мы отрепетировали с ней дуэты, так как мне предстояло петь. Да, я должна была петь вместе с настоящей певицей, первой актрисой «Опера комик»[28].

Время шло. Жосс велел мне репетировать мою роль, которую я знала почти наизусть, так как много раз видела пьесу и

обладала необычайной памятью.

Проходили минуты, которые складывались сначала в четверть часа, потом из них получалось полчаса, а там и целые часы. Глаза мои были прикованы к часам, огромным часам директорского кабинета, в котором я находилась.

Госпожа Угальд руководила мной. Голос мой показался ей красивым, но я без конца фальшивила. Она же успокаивала и подбадривала меня.

И вот наконец меня облачили в одежды мадемуазель Дебэ. Занавес поднялся.

Бедная я, бедная! Я была ни жива ни мертва. Однако мне удалось взять себя в руки после взрыва аплодисментов, увенчавших мой куплет пробуждения, который я продекламировала так, как если бы читала стихи Расина.

После конца представления Марк Фурнье предложил мне через Жосса ангажемент на три года; я попросила разрешения подумать.

Жосс познакомил меня с Ламбером Тибу, милейшим человеком, одаренным драматическим автором. Тот увидел во мне идеал своей героини — Пастушки из Иври, однако господину Фаю, быв тему актеру и нынешнему директору «Амбигю»[29]оказывал в какой-то мере финансовую поддержку некий де Шилли, прославившийся прежде в роли Родена из «Вечного жида»[30] теперь же женившись на женщине достаточно богатой, он ушел из театра и стал заниматься администрированием. В тот момент, мне думается, он как раз и уступил «Амбигю». Фаю Де Шилли покровительствовал очаровательной девушке по имени Лоранс Жерар. Ее отличали мягкость и заурядность, она была довольно хорошенькой, но без особой красоты и грации.

Фай ответил Ламберу Тибу, что ведет переговоры с Лоранс Жерар, но что тем не менее не может не пойти навстречу пожеланию автора.

— Только с одним условием, — заявил он. — Я требую прослушивания вашей протеже.

Мне пришлось исполнить волю этого незадачливого директора, преуспевшего в новой должности ничуть не больше, чем в старой, когда был артистом. Прослушивание имело место на сцене «Амбигю», освещенной жалким переносным фонарем; всего лишь в метре от меня господин Фай раскачивался на стуле, положив одну руку на живот, а пальцы другой запустив себе в огромные ноздри. Меня тошнило от отвращения.

Ламбер Тибу сидел рядом с ним, на лице его сияла улыбка, а глазами он пытался подбодрить меня.

Для прослушивания я выбрала кусок из «Любовью не шутят», ведь я должна была играть в пьесе, написанной прозой, и потому не хотела читать стихов. Мне показалось, что я была совершенно очаровательна, такое же мнение сложилось и у Ламбера Тибу. Однако когда я кончила, этот несчастный Фай тяжело и неуклюже поднялся со своего места, о чем-то тихонько переговорил с автором и пригласил меня к себе в кабинет.

— Дитя мое, — заявил отважный и недалекий директор, — дитя мое, вы совсем не годитесь для театра!

Я упрямо нахмурилась.

— Совсем! — добавил он. Тут дверь отворилась, и он продолжал, показывая на вошедшего: — Можете спросить об этом у господина де Шилли, который тоже был в зале и слушал вас, вот увидите, он наверняка скажет вам то же самое.

Господин де Шилли утвердительно кивнул головой и, пожав плечами, шепнул:

— Ламбер Тибу с ума сошел, где это видано — пастушка, и такая тощая! — Затем, позвонив, приказал служащему: — Пригласите мадемуазель Лоранс Жерар.

Я все поняла. И, не простившись с этими двумя грубиянами, покинула кабинет. Но на сердце у меня было тяжело.

Я направилась в фойе за шляпой, которую сняла перед прослушиванием; там я застала Лоранс Жерар, в ту же минуту за ней пришли.

Увидев себя рядом с ней в зеркале, я поразилась нашему несходству: она была кругленькой, широколицей, с великолепными черными глазами и немного вульгарным носом, губы толстые, и на всем ее облике — налет *заурядности*; я же была белокурой, хрупкой и тоненькой, как тростинка, лицо длинное и бледное, глаза голубые, рот немного печальный, и на всем моем существе лежала печать благородства. Это мимолетное видение нас обеих утешило меня в моем поражении. К тому же я ясно чувствовала, что этот Фай был человеком ничтожным, да и Шилли звезд с неба не хватал.

С обоими мне довелось потом встретиться снова. С Шилли — вскоре после этого, когда он стал директором «Одеона», с Фаем — двадцать лет спустя и при таких печальных обстоятельствах, что слезы навернулись мне на глаза, когда он пришел с умоляющим видом просить меня выступить на его бенефисе.

— О, прошу вас, — говорил бедняга. — Приходите, вы — единственная притягательная сила на этом спектакле. Я только на вас и надеюсь, иначе сбора не будет.

Я сжала его руки.

Не знаю, помнил ли он нашу первую встречу и мое

прослушивание; я-то прекрасно все помнила, и у меня было только одно желание: чтобы он об этом не вспомнил.

Через пять дней мадемуазель Дебэ выздоровела и снова стала играть свою роль.

Прежде чем окончательно согласиться на ангажемент в «Порт-Сен-Мартен», я написала Камиллу Дусе. На другой день я получила записку, где мне назначалось свидание в министерстве.

Не без волнения я собиралась на встречу с этим милейшим человеком.

Он встретил меня стоя и, протянув ко мне обе руки, ласково обнял меня.

— Ужасный ребенок! — сказал он и, предложив мне сесть, продолжал: — Как же так, пора, пора угомониться, нельзя терять свои таланты, растрачивать их на путешествия, пощечины, обиды…

Я была тронута добротой этого человека В глазах моих отражалось раскаяние.

— Не плачьте, моя дорогая, не плачьте. Надо подумать, каким образом можно исправить эти безумства.

С минуту он молчал, затем, открыв какой-то ящик, достал оттуда письмо.

— Вот кто, возможно, спасет нас, — сказал он.

То было письмо Дюкенеля, которого только что назначили директором «Одеона» в содружестве с Шилли.

— Меня просят подыскать молодых артистов, чтобы обновить труппу «Одеона». Что ж, попытаемся что-нибудь предпринять. — И, поднявшись, чтобы проводить меня до двери, добавил. — Я уверен что все будет хорошо.

Вернувшись домой, я просмотрела все свои расиновские роли. В тревоге я прождала несколько дней, веру мою поддерживала, всячески пытаясь успокоить меня, госпожа Герар.

Наконец я получила записку и тотчас отправилась в министерство.

Камилл Дусе встретил меня с сияющим видом.

— Все в порядке! — заявил он. — Но без трудностей не обошлось Вы так молоды, но уже прославились своим сумасбродством. Пришлось мне поручиться за вас, сказать, что вы будете вести себя смирно, как ягненок.

— Да, я буду смирной, обещаю вам, хотя бы из признательности, — сказала я. — Но что я должна теперь делать?

— Вот, — сказал он, — письмо к Феликсу Дюкенелю, он ожидает вас.

Я рассыпалась в благодарностях, а Камилл Дусе сказал на

прощанье:

— В четверг мы с вами увидимся не в такой официальной обстановке. Сегодня утром я получил от вашей тетушки приглашение отужинать у нее Вот тогда и поведаете мне, что вам скажет Дюкенель.

Было половина одиннадцатого утра. Я отправилась домой наводить красоту. Надела платье ярко-желтого, канареечного цвета, а поверх — черную шелковую накидку с каймой зубчиками, островерхую соломенную шляпу с черной бархатной лентой под подбородком. Выглядело это по-моему безумно привлекательно.

Разодетая таким образом и исполненная радостного доверия, я отправилась к Феликсу Дюкенелю. Несколько минут я дожидалась его в маленькой, но весьма аристократично меблированной гостиной.

Вскоре появился молодой человек, элегантный улыбающийся — словом, само очарование Я никак не могла привыкнуть к мысли, что этот молодой смеющийся блондин и будет моим директором.

После непродолжительной беседы мы пришли к соглашению по всем пунктам.

— Жду вас в два часа в «Одеоне», — сказал Дюкенель на прощанье, — я хочу представить вас моему компаньону. По светским обычаям следовало бы сказать обратное, — со смехом добавил он, — но будем придерживаться театральных правил.

Провожая меня, он спустился на несколько ступенек и, перегнувшись через перила, сказал:

— До свидания.

Ровно в два часа я была в «Одеоне». Прождала больше часа. И уже собралась было возмутиться, но воспоминание о данном Камиллу Дусе обещании помешало мне уйти.

Наконец появился Дюкенель.

— Сейчас увидите еще одного людоеда, — сказал он, приглашая меня в директорский кабинет.

Следуя за ним, я воображала этого людоеда таким же очаровательным, как его компаньон. И потому совсем была сбита с толку при виде скверного маленького человечка, в котором сразу же узнала Шилли.

Он беззастенчиво воззрился на меня, сделав вид, будто не узнает и, предложив жестом сесть, протянул, ни слова не говоря, перо показывая место, где мне следовало расписаться Госпожа Герар остановила меня:

— Не подписывайте не читая!

Шилли поднял голову.

— Вы мать мадемуазель?

— Нет, — ответила она, — но я вместо нее.

— Что ж, вы правы. Читайте да только поскорее, хотите — подписывайте хотите — нет, но поторапливайтесь!

Я почувствовала как краска заливает мне лицо. Человек этот был отвратителен. Но Дюкенель тихонько сказал мне:

— Он не слишком любезен, однако человек хороший, не стоит обижаться на него.

Я подписала свой контракт и вручила его омерзительному компаньону.

— Знаете, — сказал он мне, — отвечать за вас будет он, потому что лично я ни за что на свете не принял бы вас.

— Поверьте, сударь, если бы, кроме вас, никого не было, я бы ни в коем случае не подписала этого. Стало быть, мы квиты, — сказала я и тотчас удалилась.

Я сразу же пошла рассказать обо всем маме, так как знала, что это ее очень обрадует. Затем, в тот же день, вместе с «моей милочкой» отправилась покупать все необходимое для моей гримерной.

На следующий день я поехала в монастырь на улице Нотр-Дам-де-Шан навестить мою дорогую учительницу мадемуазель де Брабанде. Уже тринадцать месяцев она лежала больная, все ее конечности сковала острая ревматическая боль Страдание сделало ее неузнаваемой Она вытянулась во весь рост на своей узкой белой кровати, волосы ее были забраны повязкой, большой нос поник, в поблекших глазах не видно было зрачков. Только ее чудовищные усы вставали дыбом от страшных приступов боли.

И все-таки она так странно выглядела, что я стала доискиваться причины столь разительной перемены.

Наклонившись над ней, чтобы нежно поцеловать ее, я пристально разглядывала ее, и она догадалась. Легким движением глаз она показала на столик, стоявший возле нее; в стакане я увидела зубы моей дорогой старой подруги. Я поставила в стакан три розы, которые принесла ей, и поцеловала ее, извинившись за свое неуместное любопытство.

Из монастыря я ушла с тяжелым сердцем, ибо мать-настоятельница отвела меня в сад и сказала, что моей дорогой мадемуазель де Брабанде недолго осталось жить.

Поэтому я каждый день приходила навещать мою милую воспитательницу.

Но потом начались репетиции в «Одеоне», и мне пришлось реже к ней ходить. Однажды утром, около семи часов, меня спешно вызвали в монастырь, и я присутствовала при грустной кончине этого кроткого создания. В последнюю минуту лицо ее вдруг просветлело, словно в предвкушении несказанного

блаженства, так что мне самой внезапно захотелось умереть. Я целовала ее холодеющие руки, сжимавшие распятие; потом я попросила разрешения прийти, когда ее будут класть в гроб, мне позволили это.

Придя на другой день в назначенный час, я застала сестер в состоянии такой растерянности, что даже испугалась.

— Боже мой, что случилось? — спросила я.

Мне молча указали на дверь, ведущую в келью; десять монахинь стояли вокруг кровати, на которой покоилось невообразимо странное существо Неподвижно застывшая на своем смертном ложе бедная моя учительница неожиданно обрела облик мужчины: ее усы выросли, а вокруг подбородка появилась борода длиной в сантиметр. Эти усы и эта борода были рыжими, тогда как лицо обрамляли длинные седые волосы; беззубый рот ввалился, а нос уткнулся в рыжие усы. Вместо добрейшего, кроткого лица моей подруги появилась эта страшная, смешная маска. Маска мужчины. Зато ее маленькие, тонкие руки были руками женщины.

У юных монахинь глаза расширились от ужаса, и, несмотря на утверждение сестры-санитарки, одевавшей это бедное мертвое тело, несмотря на ее утверждение, что это тело было телом женщины, они дрожали, бедные сестрички, непрестанно осеняя себя крестным знамением.

На следующий день после этой зловещей церемонии я дебютировала в «Игре любви и случая». Мариво — не моя стихия, ему нужны кокетливость, жеманство которых у меня и в помине не было тогда, как, впрочем, нет и теперь К тому же я была такой тонюсенькой. Успеха я не имела ни малейшего.

И Шилли проходивший по коридору в тот момент, когда я беседовала с пытавшимся подбодрить меня Дюкенелем, сказал ему, кивнув в мою сторону.

— Любуетесь на тонкий бокал для светской публики? Жалко мякиша на закуску не хватает.

Я была возмущена наглостью этого человека. Лицо мое вспыхнуло, я прикрыла глаза, и тут взору моему явилось окруженное сиянием лицо Камилла Дусе, как всегда свежевыбритое и такое моложавое под копной белых волос.

Это видение ниспослано мне разумом, решила я. Оно вовремя напомнило мне о данном обещании. Хотя на самом деле никакое это было не видение, это был действительно он.

— Какой у вас красивый голос! — молвил Камилл Дусе, подойдя ко мне. — Ваш следующий дебют наверняка доставит нам огромную радость!

Человек этот всегда был отменно любезен, но правдив. Мой

тогдашний дебют ему и в самом деле не доставил ни малейшего удовольствия, и он возлагал надежды на следующий.

Он говорил истинную правду. Голос у меня был красивый, но это все, что можно было отметить на сей раз.

Итак, я осталась в «Одеоне», работала, как говорится, не покладая рук, знала все роли наизусть и в любую минуту была готова кого-то подменить.

Я добилась некоторого успеха, и студенты уже оказывали мне свое предпочтение. Мой выход на сцену всегда теперь приветствовала молодежь. Кое-кто из старых ворчунов поворачивал голову в сторону партера, дабы восстановить тишину, но на это никто не обращал внимания.

Но вот, наконец, настал и мой час.

Дюкенелю пришла мысль поставить «Гофолию» использовав хоровые сочинения Мендельсона.

Бовалле, ненавистный преподаватель, оказался премилым товарищем на сцене. Это он по особому разрешению министерства должен был играть Иодая. Мне же дали роль Захарии. Несколько учеников Консерватории должны были произносить хоровые тирады, а тем, кто учился по классу пения, поручили музыкальную часть. Однако дело двигалось из рук вон плохо, и Дюкенель с Шилли приходили в отчаяние.

Бовалле, на удивление любезный, но все такой же бесстыдник, как раньше, начинал ругаться последними словами. Все тут же смолкали. И все начиналось сначала. И опять ничего не получалось. Этот злосчастный говорящий хор был просто невыносим. И тут вдруг Шилли воскликнул:

— Делать нечего пускай малютка одна произносит партию хора, с ее-то красивым голосом дело пойдет на лад!

Дюкенель промолчал. Он только покручивал усы, пытаясь скрыть улыбку: его компаньон сам до этого додумался, сам вспомнил о его юной протеже!

С безразличным видом он кивнул головой в ответ на вопросительный взгляд Шилли, и мы снова начали, только теперь я одна читала вместо хора.

Все зааплодировали, но особенно ликовал дирижер. Он так намучился, бедняга!

Первое представление стало для меня настоящим маленьким триумфом — о, совсем крошечным, но все же многообещающим Публика, очарованная моим мягким голосом и чистотой его звучания, заставляла меня исполнять на бис партию говорящего хора, наградой мне был гром аплодисментов.

После окончания спектакля ко мне подошел Шилли.

— Ты прелестна! — заявил он.

Его «ты» немного покоробило меня, и я ответила задорно:

— Ты находишь, что я прибавила в весе?

Он хохотал до упаду.

И с того дня мы разговаривали друг с другом только на «ты» и вскоре стали лучшими друзьями в мире.

Ах, «Одеон»! Этот театр я любила больше всех остальных. И рассталась с ним с огромным сожалением. Там все хорошо относились друг к другу Все были веселы. Театр этот являлся в какой-то мере продолжением школы. Туда ходила вся молодежь. Дюкенель был очень умным директором он олицетворял собой галантность и молодость.

Часто во время репетиций те, кто не был занят на протяжении нескольких актов, отправлялись в Люксембургский сад играть в мяч.

Мне вспоминалось недавнее время, когда я еще была в «Комеди Франсез», вспоминался маленький напыщенный мирок с его завистливыми пересудами.

Да и в «Жимназ», помнится, разговоры шли только о платьях и шляпках: мы болтали о чем угодно, но только не об искусстве.

В «Одеоне» же я была счастлива. Там думали в первую очередь о предстоящих постановках. Мы репетировали и утром, и после обеда — все время. Полный восторг.

Летом я жила в Отее во флигеле виллы Монморанси. Ездила я в маленькой коляске и правила сама. У меня было два чудесных пони, которых мне отдала тетя Розина, потому что они чуть не разбили ее, когда вдруг понесли в Сен-Клу, испугавшись вертящейся карусели.

Я мчалась по набережным во весь опор и, несмотря на сверкающее июльское солнце, несмотря на шумную веселость улиц, с нескрываемой радостью взбегала по холодным, растрескавшимся ступеням, торопясь в свою гримерную и приветствуя всех на ходу, не задерживаясь ни минуты. Затем, сбросив накидку и шляпу с перчатками, я устремлялась на сцену, довольная тем, что добралась наконец до вечно царившего там полумрака. Слабый луч света переносного фонаря выхватывал то тут, то там либо дерево, либо прислоненную к стене башенку, либо скамью и лишь на краткий миг останавливался на лицах артистов.

Я не знаю ничего более животворного, чем эта атмосфера, кишащая микробами; ничего более веселого, чем этот сумрак; ничего более лучезарного, чем эта чернота!

Однажды моя мать из любопытства решила заглянуть за кулисы. Я думала, она умрет от отвращения.

— Бедная девочка! Как ты можешь жить тут? — прошептала

она.

И, только выбравшись на волю, мама с облегчением вздохнула, несколько раз с наслаждением втянув в себя свежий воздух.

Да, я могла жить там. Более того, только там мне и было по-настоящему хорошо. С той поры я несколько изменилась. Но и по сей день испытываю огромную симпатию к этой сумрачной фабрике, где мы, веселые шлифовальщики произведений искусства, обтачивали драгоценные камни, поставляемые поэтами.

Дни шли за днями, унося за собой обманутые надежды. Но каждый нарождающийся день дарил новые мечты Жизнь казалась мне нескончаемым счастьем.

Я играла попеременно то роль безумной баронессы в «Маркизе де Вильмер» — роль многоопытной тридцатипятилетней женщины — мне же едва минул двадцать один год, а выглядела я не старше семнадцати, то роль Мариетты в пьесе «Франсуа-Найденыш», где я имела большой успех.

Репетиции «Маркиза де Вильмер» и «Франсуа Найденыша» остались в моей памяти как самые чудесные часы моей жизни Госпожа Жорж Санд, милейшее, очаровательное создание, отличалась крайней робостью. Говорила она очень мало и все время курила. Ее огромные глаза вечно о чем-то мечтали. Немного тяжеловесный рот выглядел чуточку вульгарным, но свидетельствовал о большой доброте. Роста она была, должно быть, среднего, но почему-то казалась маленькой.

Я смотрела на эту женщину с романтической нежностью Ведь она была героиней прекрасного любовного романа. Я садилась с ней рядом. Брала ее руку и старалась удержать в своей как можно дольше Голос у нее был мягкий, чарующий.

На репетиции Жорж Санд часто приходил принц Наполеон, прозванный в народе Плон-Плон. Он относился к ней с истинной любовью.

Увидев этого человека в первый раз, я побледнела, мне показалось, будто сердце мое перестало биться: сходство его с Наполеоном I было до того разительно, что я даже рассердилась на него, ибо своей похожестью он приближал его к простым смертным, лишая привычной недосягаемости.

Госпожа Санд представила меня принцу, хотя я и не просила ее об этом.

Он мне не понравился. Особенно своей манерой бесцеремонно разглядывать людей.

Я едва ответила на его комплименты и прижалась к Жорж Санд. Он рассмеялся, воскликнув:

— Да она влюблена в вас, эта малютка!

Жорж Санд ласково погладила меня по щеке.

— Это моя маленькая мадонна, — молвила она, — не терзайте ее.

Я так и осталась возле нее, с недовольным видом украдкой поглядывая на принца.

Но мало-помалу я вошла во вкус и с удовольствием слушала его, ибо беседы этого человека отличались глубиной и блестящим остроумием; правда, свою речь он пересыпал несколько вольными словами, но все, что он говорил, было интересно и поучительно Он был коварен, довольно зол на язык, я сама слышала, как он рассказывал о маленьком Тьере[31] ужасные вещи, которые вряд ли соответствовали действительности. А однажды он нарисовал такой забавный портрет милейшего Луи Бруиле, что Жорж Санд, которая любила его, не удержалась от смеха, назвав принца злым человеком.

В обращении принц был довольно прост и все-таки не любил, когда к нему не проявляли должного уважения. Один раз артист по имени Поль Дезай, игравший в спектакле «Франсуа-Найденыш», вошел в артистическое фойе, где находились принц Наполеон, госпожа Жорж Санд, хранитель библиотеки — имени его не помню — и я. Артист этот был весьма заурядным и слыл анархистом. Он поклонился госпоже Санд и, обращаясь к принцу, сказал:

— Вы сидите на моих перчатках, сударь.

Принц слегка поднялся и, швырнув перчатки на пол, сказал:

— А я-то думал, что банкетка чистая.

Актер покраснел, подобрал свои перчатки и вышел, прошептав какую-то коммунарскую угрозу.

В «Завещании Цезаря Жиродо» я играла роль Гортензии. В «Кине» Александра Дюма — роль Анны Дембри. В день этой премьеры[32] публика была настроена очень зло и даже, пожалуй, враждебно по отношению к Александру Дюма-отцу, причем к искусству вся эта история не имела ни малейшего отношения, а касалась только его лично. Умы в последние несколько месяцев распалились, политические страсти так и кипели. Многие требовали возвращения Виктора Гюго[33].

Когда Дюма вошел в свою ложу, его встретили диким воем. Потом присутствовавшие в большом числе студенты стали требовать «Рюи Блаза»[34]. Дюма встал и попросил слова. Воцарилась тишина.

— Мои юные друзья… — начал Дюма, но тут послышался чей-то голос:

— Мы с удовольствием вас послушаем, но хотим, чтобы в

ложе вы были один!

Дюма горячо запротестовал. Несколько человек в оркестре встали на его защиту, так как он пригласил в свою ложу женщину, и, кем бы ни была эта женщина, никто не имел права оскорблять ее таким возмутительным образом. Ничего подобного мне еще никогда не доводилось видеть.

Я смотрела сквозь щель занавеса, мне было очень интересно, только я сильно нервничала.

Я увидела побледневшего от гнева великана Дюма, он размахивал кулаком, надрывался от крика, ругался, бушевал. Затем вдруг раздался гром аплодисментов. Оказывается, женщина все-таки покинула ложу, воспользовавшись моментом, когда Дюма, свесившись в зал, кричал: «Нет! Нет! Эта женщина не уйдет!» И в этот самый момент она выскользнула. Зал пришел в неистовый восторг, раздались крики: «Браво!» — и Дюма позволили наконец говорить.

Но слушали его всего несколько минут. Среди адского шума снова послышались крики: «„Рюи Блаз"! „Рюи Блаз"! Виктор Гюго! Виктор Гюго!»

Мы уже час назад готовы были начать спектакль. Меня била дрожь.

— Знаешь, — обратилась я к Дюкенелю, — я боюсь упасть в обморок. — И в самом деле, руки у меня похолодели, сердце громко стучало.

— Послушай… что мне делать, если будет очень страшно?

— А что тут поделаешь! — отозвался Дюкенель. — Страшно так страшно. Бойся, но только играй И ни в коем случае не падай в обморок.

Занавес поднялся в самый разгар бури, под крики птиц, мяуканье кошек и вновь начавшееся глухое скандирование: «„Рюи Блаз"!.. „Рюи Блаз"! Виктор Гюго! Виктор Гюго!..»

Настала моя очередь. Бертона-отца, игравшего Кина, встретили очень плохо Появилась я в эксцентричном костюме «под англичанку 1820-х» Послышался взрыв хохота, пригвоздивший меня к порогу, который я только что переступила И в то же мгновенье аплодисменты моих милых доброжелателей студентов заглушили злобный смех Я осмелела, у меня появилось даже желание принять вызов. Однако этого не потребовалось, ибо уже после второй нескончаемой тирады, в которой я как бы признаюсь в своей любви к Кину публика устроила мне восторженную овацию.

Вот как описывал это Ignotus[35] в «Фигаро».

«Мадемуазель Сара Бернар появляется в эксцентричном

костюме что еще более подогревает разбушевавшуюся стихию, но ее теплый голос, необычайный удивительный голос, проникает в сердца зрителей Она обуздала, покорила их подобно сладостному Орфею!»

После «Кина» я играла в «Свадебной лотерее» Однажды во время репетиции этой пьесы меня отыскала Агарь, я сидела в углу, где имела обыкновение скрываться, в маленьком креслице, которое мне приносили из моей гримерной, и положив ноги на соломенный стул. Мне нравилось это место, потому что его освещало газовым рожком и я могла работать в ожидании своего выхода на сцену. Я обожала вышивать, плести кружево и делать коврики. У меня было множество начатых работ, и я бралась то за одно, то за другое — в зависимости от настроения.

Госпожа Агарь была очаровательным созданием, призванным радовать глаз. Представьте себе высокую бледную брюнетку с огромными черными глазами, светившимися добротой, маленьким ротиком с круглыми пухлыми губками, вздернутыми по углам чуть заметной улыбкой, и восхитительными зубами; голову ее чудесным образом венчали густые блестящие волосы; она была живым воплощением великолепнейших древнегреческих типов; красивые, длинные, немного безвольные руки и медлительная, чуть тяжеловатая походка довершали образ. То была великая трагедийная актриса театра «Одеон».

Так вот, она приблизилась ко мне своим размеренным шагом. За ней следовал молодой человек лет двадцати четырех — двадцати шести.

— Послушай, дорогая, — сказала Агарь, целуя меня, — ты можешь составить счастье поэта.

И она представила мне Франсуа Коппе.

Знаком я пригласила его сесть и стала разглядывать. Его прекрасное лицо, изможденное и бледное, напоминало бессмертного Бонапарта Волнение охватило все мое существо, ибо я обожаю Наполеона I.

— Вы поэт, сударь?

— Да, мадемуазель… — (Голос у него тоже дрожал, так как он был еще более робок, чем я) — Да, я написал небольшую пьесу, и мадемуазель Агарь уверена, что вы согласитесь играть ее вместе с ней.

— Да, дорогая, — подхватила Агарь, — ты должна обязательно ее сыграть. Это маленький шедевр! Я не сомневаюсь, что тебя ждет колоссальный успех!

— О, и вас тоже! Вы будете такой прекрасной! — сказал поэт, устремляя на Агарь сияющий взгляд.

Меня позвали на сцену. Через несколько минут я вернулась. Юный поэт тихонько беседовал с трагедийной красавицей. Я кашлянула. В мое отсутствие Агарь завладела креслом и хотела было уступить его мне, а когда я отказалась, усадила меня к себе на колени. Молодой человек придвинул свой стул; так мы и вели разговор, касаясь друг друга головами.

Было решено, что я, прочитав пьесу, отнесу ее Дюкенелю: он один способен был оценить стихи, а уж потом мы добьемся от обоих директоров разрешения сыграть ее на очередном бенефисе который намечался после нашей премьеры.

Молодой человек обрадовался, лицо его озарила слабая улыбка, и он нервно пожал мне руку в знак признательности.

Агарь проводила его до маленькой площадки, возвышавшейся над сценой. Я смотрела на эту великолепную статую, застывшую рядом с хрупким силуэтом юного писателя.

Агарь было, верно, где-то около тридцати пяти лет. Она и в самом деле была красавицей, однако никакого шарма я у нее не находила и не могла понять, почему этот поэтичный Бонапарт влюбился в эту молодую матрону, а это было ясно как Божий день; и она тоже, видимо, любила его Меня это крайне заинтересовало. Я видела, как они долго жали друг другу руки; потом он внезапно и как-то неуклюже склонился и приник к прекрасной руке в страстном поцелуе.

Агарь вскоре вернулась ко мне, щеки ее слегка порозовели, что было для нее необычно при свойственном ей мраморном цвете лица.

— Вот рукопись! — сказала она, вручая мне маленький свиток.

Репетиция только что кончилась. Я простилась с Агарь и прочитала пьесу тут же в экипаже. Она привела меня в такой восторг, что я вернулась назад, чтобы сразу же дать ее почитать Дюкенелю.

Встретились мы с ним на лестнице.

— Прошу тебя, вернись!

— Боже!.. — удивился он. — Что случилось, мой друг? Глядя на тебя, можно подумать, что на твою долю выпал крупный выигрыш.

— Так оно примерно и есть Идем!

Как только мы очутились в его кабинете я сказала.

— Прочти это, умоляю тебя!

— Давай я возьму с собой.

— Нет, читай здесь, сейчас же! Хочешь я сама тебе прочту?

— Нет-нет! — с живостью возразил он. — Голос у тебя обманчивый, плохие стихи превращает — в отличную поэзию.

Давай!

Молодой директор уселся в кресло и принялся читать. А я тем временем листала газеты.

— Очаровательно! — воскликнул он. — Больше того, это настоящий шедевр!

Я подпрыгнула от радости.

— Ты уговоришь Шилли поставить его?

— Да-да, будь покойна. Но когда ты собираешься это играть?

— Ах, послушай: автор, мне кажется, очень торопится, да и Агарь тоже.

— И ты, я вижу, вместе с ними! — сказал он со смехом. — Вот она, роль, о которой ты мечтала.

— Да, мой милый Дюк… и я вместе с ними!.. Окажи любезность, дай мне сыграть ее в бенефисе госпожи…, через две недели. Это не помешает ни одному спектаклю, и наш поэт будет счастлив!

— Хорошо, хорошо, — сказал Дюкенель, — это я устрою… Но как быть с декорациями? — прошептал он, «обгладывая ногти» (его любимое блюдо в трудные минуты).

Я уже и об этом подумала. И, предложив проводить его домой, рассказала по дороге о своих планах. Можно использовать декорацию от «Жанны де Линьри», только что сыгранной и загубленной насмешками публики пьесы. А это великолепный итальянский парк со статуями, цветами и даже лестницей. Что же касается костюмов, то, если заикнуться об этом Шилли, как бы дешево они ни стоили, он все равно поднимет страшный крик! Что ж, придется нам с Агарь играть в своих костюмах.

Тем временем мы добрались до дома Дюкенеля.

— Зайди поздороваться с моей женой и заодно поговори с ней о костюмах.

Я поднялась поцеловать красивейшее личико, какое только можно вообразить себе, и поведала милой хозяйке этого прекрасного лика о нашем заговоре. Она одобрила нас и обещала тут же пуститься на поиски нужных рисунков для костюмов.

Слушая ее, я невольно сравнивала с ней Агарь: о, мне гораздо больше нравилась эта прелестная белокурая головка с огромными прозрачными глазами и двумя ямочками на алых щеках, с мягкими, пушистыми волосами, словно нимбом окружавшими лоб, и такими тонкими запястьями рук, прекраснее которых трудно себе что-нибудь представить. Впрочем, руки эти впоследствии стали знаменитыми.

Я рассталась с милой мне четой и отправилась к Агарь, чтобы поведать ей обо всем. Бедняжка поцеловала меня раз сто.

У нее как раз находился священник, доводившийся ей

кузеном, он, похоже, остался очень доволен моим рассказом, наверное, он был в курсе всего.

Раздался робкий звонок в дверь, возвестивший о приходе Франсуа Коппе.

— Убегаю, — сказала я, пожав ему на пороге руку. — Агарь вам все расскажет.

14

Вскоре начались репетиции «Прохожего», то было чудесное время, ибо молодой, застенчивый поэт оказался на редкость остроумным собеседником.

Первое представление состоялось в условленный срок.

«Прохожий» стал настоящим триумфом. Аплодисменты не стихали. Занавес поднимался восемь раз. Но сколько мы с Агарь ни пытались уговорить выйти вместе с нами автора, которого требовала публика, все было напрасно. Франсуа Коппе спрятался.

За несколько часов никому доселе неведомый поэт стал знаменитостью. Имя его было у всех на устах.

Нас с Агарь осыпали похвалами, Шилли вызвался оплатить наши костюмы.

Этот маленький акт мы играли при переполненном зале более ста раз подряд.

Нас пригласили в Тюильри и к принцессе Матильде[36]. Ах, этот первый спектакль в Тюильри, он врезался мне в память, и стоит мне закрыть глаза, как я вновь представляю себе все до мельчайших подробностей.

Дюкенель договорился с представителем двора, что мы с Агарь приедем сначала в Тюильри, чтобы посмотреть площадку, где нам предстоит играть, и подготовить все необходимое для нашего спектакля.

Граф де Лаферрьер должен был представить меня императору, а император — императрице Евгении. Агарь же собиралась представить принцесса Матильда, для которой она позировала в качестве Минервы.

Господин де Лаферрьер приехал за мной в дворцовой карете, в которую мы сели вместе с Герар Господин де Лаферрьер был чрезвычайно любезным человеком с немного чопорными манерами.

Когда мы сворачивали на Королевскую улицу, к нам подошел генерал Флёри. Я была с ним знакома, мне представил его Морни. Граф де Лаферрьер рассказал ему, куда и зачем мы едем, и он воскликнул: «Желаю удачи!» В этот самый момент какой-то человек, проходивший мимо, сказал: «Недолго вам осталось пользоваться удачей, банда бездельников!»

Приехав во дворец Тюильри, мы вышли из кареты все трое. Меня проводили в маленький желтый салон на первом этаже.

— Я доложу его величеству, — сказал господин де Лаферрьер, покидая нас.

Оставшись одна с Герар, я решила отрепетировать три своих

реверанса.

— Ну как, «моя милочка», тебе нравится? — спрашивала я раскланиваясь и приговаривая шепотом: «Ваше величество… Ваше величество…»

Несколько раз я проделывала все это: произносила «Ваше величество» и низко кланялась, смиренно опуская глаза, как вдруг услышала легкий приглушенный смех.

Я резко выпрямилась, страшно рассердившись на Герар, и вдруг увидела ее, согнувшуюся, как и я, в низком поклоне. Я живо обернулась: сзади меня император, легонько похлопывая ладонями, негромко и все-таки со всей очевидностью посмеивался[37].

Я покраснела в замешательстве… Как долго он находился здесь?.. Я кланялась не знаю сколько раз, да еще приговаривала: «Нет… так, пожалуй, чересчур низко, а так… хорошо… не правда ли, Герар?» Боже мой! Боже мой! Неужели он слышал все это? И когда я, несмотря на свое волнение собралась сделать новый реверанс, император с улыбкой заметил:

— Теперь уже нет смысла, все равно так красиво, как было, не получится. Поберегите свои силы для императрицы, она ждет вас.

Ах, это «было»! Мне не давал покоя вопрос, когда же это… «было». Меж тем Герар спросить я не могла, она следовала далеко позади вместе с господином де Лаферрьером.

Император шел рядом со мной, беседуя о тысяче всяких вещей, а я отвечала рассеянно, и все из-за этого… «было».

Наяву он нравился мне гораздо больше, чем на портретах У него были очень красивые глаза глядевшие из-под полуопущенных длинных ресниц. Улыбка его была печальна и немного насмешлива. Лицо бледное, голос какой-то угасший и волнующий.

Мы пришли к императрице. Она сидела в большом кресле. На ней было серое платье, плотно облегавшее ее фигуру.

Мне она показалась необычайно красивой, и тоже красивее, чем на портретах.

Я сделала три реверанса под насмешливым взглядом императора.

Императрица заговорила. Очарование сразу рассеялось. Хриплый и жесткий голос, исходивший из этой золотистости, поразил меня как громом. И с этого момента, несмотря на все ее расположение и благосклонность, я чувствовала себя рядом с ней неуютно.

После того как приехала Агарь и ее представили, императрица приказала отвести нас в большой салон, где должно было состояться представление.

В отношении сцены меры были уже приняты. Но нужна была еще лестница, на которую всходила Агарь, изображая павшую духом куртизанку, проклиная продажную любовь и мечтая о любви возвышенной. С лестницей дело обстояло гораздо хуже.

Надо было скрыть каким-то образом первые три ступени — начало монументальной лестницы флорентийского дворца.

Я попросила принести кусты, цветущие растения и расположила все это вдоль ступеней.

Тут появился императорский сын, которому в ту пору было тринадцать лет, он-то и помогал мне расставлять растения. Он смеялся как сумасшедший, когда Агарь поднималась на ступени, чтобы проверить, как все получается.

Слов нет, юный принц был бесподобен со своими великолепными глазами, тяжелыми, как у матери, веками и длинными, как у отца, ресницами.

От императора он унаследовал остроумие, да-да, от того самого императора, которого прозвали «недалеким Луи» и который на деле обладал тончайшим, острейшим и в то же время благороднейшим умом.

Мы все устроили как нельзя лучше. И было решено, что через два дня мы снова вернемся, чтобы порепетировать в присутствии их величеств.

С каким очарованием наследный принц просил разрешения присутствовать на этой репетиции! Что, впрочем, ему было позволено.

Императрица очень мило простилась с нами, хотя голос у нее и в самом деле был на редкость некрасив, и приказала двум сопровождавшим ее дамам угостить нас печеньем с испанским вином и показать дворец, если мы того желаем.

Мне этого совсем не хотелось, но «моя милочка» и Агарь так обрадовались предложению императрицы, что я не могла отказать им. И всегда потом об этом сожалела, ибо трудно вообразить себе что-либо более безобразное, чем личные апартаменты императорской четы, за исключением рабочего кабинета императора и лестниц. Во время этого визита я ужасно скучала. Правда, меня немного утешили некоторые поистине великолепные картины. И я долго стояла, созерцая портрет императрицы Евгении кисти Винтерхальтера[38].

Тут она была, безусловно, хороша. Портрет этот который, благодарение Богу, не мог разговаривать полностью объяснял и оправдывал неожиданно счастливую судьбу государыни.

Репетиция прошла без всяких приключений.

Юный принц ухитрился выразить нам свою признательность, так как на репетиции мы надели костюмы — исключительно ради

него, ведь ему не положено было присутствовать на вечере. Он сделал рисунок моего костюма, решив скопировать его для костюмированного бала, дававшегося вскоре в честь императорского сына.

А наше представление давали в честь королевы Голландии, прибывшей в сопровождении принца д'Оранжа, которого в Париже имели обыкновение называть «принцем Лимоном»[39].

Во время спектакля случилось маленькое, но очень забавное происшествие У императрицы были крохотные ножки, и она, желая сделать свои ножки еще меньше, стягивала их чересчур узкими туфлями.

В тот вечер императрица Евгения была воистину прекрасна! Ее изящные покатые плечи прелестно выступали из бледно-голубого атласного платья, шитого серебром. Красивые волосы поддерживала маленькая диадема с бирюзой и бриллиантами. Обе ее крошечные ножки покоились на подушечке из серебристой парчи.

На протяжении всего действия пьесы Коппе взгляд мой довольно часто притягивала к себе серебряная подушечка. Я видела, как беспокойно ерзают две маленькие ножки. Потом заметила, как одна туфелька потихоньку-полегоньку стала подталкивать свою сестричку, и под конец отчетливо увидела, что пятка императрицы выбралась из своей тюрьмы и туфелька держалась только на самом носке. Я очень тревожилась, и не без основания, о том, каким образом этой ножке удастся втиснуться обратно (известно ведь что в таких случаях нога распухает и не входит в чересчур узкую туфельку).

По окончании пьесы нас вызывали два раза. И так как сигнал к аплодисментам подавала императрица, я решила, что она оттягивает момент, когда ей придется встать, ибо видела, как ее красивая измученная ножка безуспешно пытается забраться в туфельку.

Легкий занавес закрылся. Я заинтриговала Агарь драмой с подушечкой, и мы обе следили сквозь щель в занавесе за разными ее фазами.

Вот император встал, и все последовали его примеру. Он предложил руку королеве Голландии, но тут взгляд его остановился на все еще сидевшей императрице; лицо его озарилось той самой улыбкой, которую я уже однажды видела. Он что-то сказал генералу Флёри, и тотчас генералы и адъютанты, стоявшие позади государей, образовали заслон, отгородивший императрицу от толпы приглашенных.

Император и королева прошествовали мимо, не подавая вида, что заметили томительное беспокойство ее величества; а принц

д'Оранж, опустившись на одно колено, помог прекрасной государыне надеть туфельку Золушки.

Я видела, как императрица взяла принца под руку и оперлась на нее сильнее, чем следовало, так как ее хорошенькая ножка причиняла ей неудобство.

Потом пригласили нас и стали осыпать комплиментами. Все наперебой расхваливали нашу игру, так что в конце концов мы остались довольны своим вечером.

После ошеломляющего успеха этой прелестной пьесы, успеха, немалая доля которого принадлежала и нам с Агарь, Шилли проникся ко мне уважением и нежными чувствами. Он пожелал (какое безумие!) оплатить наши костюмы.

Меня обожали студенты. Я стала их кумиром и получала охапками букетики фиалок, сонеты, поэмы — длинные-предлинные… слишком длинные, чтобы читать их.

В тот момент, когда я приезжала в театр и выходила из коляски, на меня обрушивался дождь цветов, буквально затоплявший меня, и я была счастлива, я благодарила моих юных поклонников. Беда в том, что обожание их порою становилось слепым, и, когда в какой-нибудь пьесе я, случалось, бывала не так хороша и публика вела себя довольно сдержанно, моя маленькая армия студентов начинала бунтовать и шумно аплодировать без всякого на то повода, что выводило из себя (и я их понимаю) старых приверженцев «Одеона», которые тоже были ко мне расположены и баловали меня, но хотели бы, чтобы я была более кроткой и смиренной, во всяком случае, не такой мятежной.

Сколько повидала я этих стариков, нередко приходивших ко мне в гримерную:

— Дорогая мадемуазель, ваша Юния очаровательна, однако вы кусаете губы, чего римлянки никогда не делали!

— Дитя мое, вы прелестны во «Франсуа-Найденыше», но в Бретани вряд ли отыщется хоть одна бретонка с вьющимися волосами.

А однажды некий профессор из Сорбонны довольно сухо заявил мне:

— Мадемуазель, какое неуважение поворачиваться к публике спиной!

— Но, сударь, я веду к двери, расположенной в глубине сцены, пожилую даму, не могу же я пятиться задом…

— Артисты, которые играли тут до вас, мадемуазель, и у которых таланта было не меньше, чем у вас, а может и побольше, находили способ не поворачиваться на сцене спиной к публике.

И он резко повернулся на каблуках. Я остановила его:

— Прошу прощения, сударь… не могли бы вы дойти до этой

двери, что, собственно, вы и собирались сделать, не поворачиваясь ко мне спиной?

Он попытался, но у него ничего не вышло, тогда, повернувшись все-таки спиной, он в ярости пошел прочь и громко хлопнул дверью.

С недавнего времени я жила в доме № 16 по улице Обер, на втором этаже, в довольно милой квартире, обставленной старинной голландской мебелью, присланной мне бабушкой. Крестный посоветовал мне застраховать ее от пожара, так как, по его словам, мебель эта составляла целое состояние. Я последовала его совету и попросила «мою милочку» заняться этим. Через несколько дней она сказала, что ко мне должны прийти подписать страховку в среду, 12-го.

И в самом деле, в указанный день около двух часов явился некий господин, но в ту минуту мной овладели непонятное волнение и тревога.

— Нет, прошу вас, оставьте меня в покое, я не хочу сегодня никого видеть.

И я заперлась в своей спальне, охваченная смертельной тоской.

Вечером я получила письмо от противопожарной страховой компании «Ла Фонсьер», в котором спрашивалось, когда ко мне можно прийти, чтобы подписать контракт. Я велела ответить: в субботу.

На меня напала такая печаль, что я попросила маму пообедать со мной: в тот день я не играла в театре. Я почти никогда не играла по вторникам и пятницам, особенно напряженным в театре дням. Меня не хотели чрезмерно перегружать, так как я была занята во всех новых пьесах.

Мама нашла, что я очень бледна.

— Да, — ответила я, — сама не знаю, что со мной: нервы у меня на пределе и страх какой-то напал.

В этот момент вошла гувернантка, она собиралась выйти погулять с моим маленьким сыном[40].

— О нет! — воскликнула я. — Сегодня мальчика я никуда не отпущу! Боюсь, как бы не случилось беды.

Беда, по счастью, оказалась не столь великой, как я опасалась в ослеплении любви к своим близким.

У меня жила слепая бабушка, та самая, которая подарила мне большую часть моей обстановки.

Эта фантастическая женщина отличалась холодной и недоброй красотой Она была невероятно высокой — метр восемьдесят три сантиметра, но казалась еще выше — прямая и

тощая, с постоянно вытянутыми вперед руками: бабушка все время трогала окружающие предметы, опасаясь наткнуться на что-нибудь, хотя при ней неотлучно находилась нанятая мною няня. И над этим длинным телом возвышалось крохотное личико с двумя огромными бледно-голубыми глазами, которые никогда не закрывались, даже ночью, во время сна. Обычно она была одета во все серое — с ног до головы, и этот неопределенный цвет придавал всему ее облику что-то нереальное.

Мама, так и не сумев успокоить меня, ушла около двух часов.

Сидя напротив меня в глубоком вольтеровском кресле, бабушка допытывалась:

— Чего вы все-таки боитесь? И почему вы так печальны? За весь день я ни разу не слышала, чтобы вы смеялись.

Ничего не ответив, я молча смотрела на бабушку. Мне почему-то казалось, что несчастье должно исходить от нее.

— Вы здесь? — настойчиво вопрошала она.

— Да, бабушка, я здесь, только, прошу вас, не разговаривайте со мной.

Не сказав больше ни слова, она положила обе руки на колени и просидела в таком положении несколько часов.

Я делала наброски этого странного, отмеченного печатью рока лица.

С наступлением темноты, после того как на моих глазах покормили бабушку и сына, я решилась наконец одеться.

К ужину я ждала мою подругу Розу Баретта, Шарля Хааса[41], очаровательного, умного и весьма изысканного человека, и Артюра Мейера, молодого, но уже очень модного тогда журналиста. Я поделилась с ними своими опасениями и попросила не уходить от меня раньше полуночи.

— После этого часа, — говорила я, — наступит завтра, и козни подстерегающих меня злых духов уже не смогут повредить мне.

Они согласились; даже Артюр Мейер, собиравшийся на какую-то премьеру, решил остаться.

Ужин прошел гораздо веселее, чем обед. Было девять часов, когда мы вышли из-за стола. Моя подруга Роза Баретта спела нам несколько очень красивых старинных песен.

Я выбежала на минутку проверить, все ли в порядке в бабушкиной комнате. Свою горничную я застала с мокрым полотенцем на голове. Я спросила, в чем дело. Узнав, что у нее страшно разболелась голова, я попросила ее приготовить мне ванну и ночной туалет и разрешила ей после этого лечь спать.

Она поблагодарила меня и сделала все, как я велела.

Вернувшись в гостиную, я села за пианино и сыграла сначала

«Il bacio»[42] и «Колокола» Мендельсона, потом «Последнюю мысль» Вебера. Не успела я закончить, как, к удивлению своему, услышала крики, доносившиеся с улицы: «Пожар! Пожар!»

— Где-то горит, — заметил Артюр Мейер.

— Какое мне дело, — пожав плечами, молвила я, — еще не пробило полночь, и меня подстерегает собственное несчастье.

Мой друг Шарль Хаас открыл окно, чтобы узнать, кто кричит. Потом вышел на балкон, но тут же вернулся:

— Да это же у вас горит!.. Посмотрите!..

Я выглянула. Пламя вырывалось из обоих окон моей спальни. Я бросилась в коридор, в надежде успеть добраться до комнаты, где находились мой сын, его гувернантка и няня Все трое спали глубоким сном. Артюр Мейер пошел открывать входную дверь, в которую трезвонили изо всех сил.

Я разбудила обеих женщин и, завернув в одеяло спящего ребенка, направилась со своей бесценной ношей к двери. Торопливо спустившись вниз, я пересекла улицу и отнесла мальчика к Гуадачелли, владельцу шоколадной лавки, расположенной как раз напротив, на углу улицы Комартен. Этот милейший человек взял у меня спящего малыша и положил его на шезлонг, где ребенок безмятежно продолжал спать.

Оставив с ним гувернантку и молоденькую служанку, я поспешила обратно, к пылающему дому. Пожарные, которых вызвали, все еще не приезжали. Я хотела во что бы то ни стало спасти бабушку. Подняться по главной лестнице, заполненной густым дымом, не было никакой возможности.

Сопровождавший меня Шарль Хаас, с непокрытой головой, но во фраке и с гарденией в петлице, устремился вслед за мной по узенькой лестнице черного хода. Вскоре мы очутились на втором этаже. И тут я почувствовала, что ноги мои подгибаются, а сердце вот-вот остановится, меня охватило отчаяние. Дверь в кухню была заперта на три оборота. Мой любезный спутник был худым, высоким, весьма элегантным, но не обладал достаточной силой. Я умоляла его спуститься и поискать молоток, топор или что-либо в этом роде; но в этот самый момент дверь подалась от сильного удара плечом вовремя подоспевшего человека. То был господин Соеж, один из моих друзей, широкоплечий эльзасец, славный и милый человек, известный всему Парижу, всегда и всем готовый оказать услугу, веселый и добрый.

Я проводила своих друзей в комнату бабушки. Она сидела на кровати и надрывалась, взывая к Катрин — приставленной к ней служанке. Эта девушка двадцати пяти лет, упитанная бургундка, крепкая и душой и телом, преспокойно спала, несмотря на шум, доносившийся с улицы, громыханье пожарных насосов

приехавших наконец пожарников и крики обезумевших от страха жильцов дома.

Соеж хорошенько встряхнул ее, я же тем временем пыталась объяснить бабушке, откуда и почему весь этот шум и гам в ее комнате.

— Ясно, — сказала она и тут же добавила невозмутимым тоном: — Прошу вас, Сара, передать мне чемодан, который стоит на нижней полке большого шкафа. Вот ключ от него.

— Но, бабушка, дым уже проникает и сюда, мы не можем терять времени…

— В таком случае делайте, что хотите, я же не двинусь с места без этого чемодана.

Однако вместе с Шарлем Хаасом и Артюром Мейером мы усадили бабушку, вопреки ее воле, на спину Соежа. Он был среднего роста, а она — огромного, ее длинные ноги волочились по полу, и я дрожала от страха, опасаясь, как бы они не сломались. Тогда Соеж взял ее на руки, а Шарль Хаас поддерживал ее за колени, и таким образом мы тронулись в путь. Но дым душил нас. Не прошли мы и десяти ступенек, как я, потеряв сознание, скатилась вниз.

Очнулась я в маминой постели. Мой сынишка спал в кровати моей сестры, а бабушку усадили в большое кресло.

Нахмурив брови и сердито сжав губы, она беспокоилась только о своем чемодане, так что мама, вконец рассердившись, сказала ей по-голландски, что она думает лишь о себе. Бабушка в долгу не осталась и ответила что-то резкое Ее шея вытянулась вперед, словно желая помочь державшейся на ней голове разорвать окружавший ее вечный мрак ночи. Тощее тело, закутанное в пеструю ситцевую шаль, свистящий, пронзительный звук голоса — все это делало ее похожей на змея из кошмарного видения.

Мама не любила этой женщины, которая вышла замуж за дедушку, когда у него уже было шестеро детей, старшей из них было шестнадцать лет, а младшему, моему дяде, — пять. У этой второй жены никогда не было своих детей, а к детям своего мужа она относилась с полным безразличием и даже, пожалуй, сурово; поэтому в семье ее не любили, уважали, но не любили.

Я взяла ее к себе, потому что на семейство, где она жила на пансионе, обрушилась оспа. А потом ей захотелось остаться, и у меня не хватило духу воспротивиться этому. Но в тот день она так зло разговаривала с мамой, что я стала думать о ней дурно и решила не оставлять ее больше у себя.

С улицы мне приносили новости о продолжавшем свирепствовать пожаре. Сгорело все, абсолютно все, вплоть до

последнего тома моей библиотеки; однако более всего меня огорчило то, что я потеряла великолепный портрет мамы, сделанный Бассомпьером Севреном, очень модным во времена Второй империи художником, писавшим пастелью, портрет маслом отца и прелестную пастель сестры Жанны.

Драгоценностей у меня было немного; но от браслета, подаренного мне императором, остался только большой бесформенный слиток, который я храню до сих пор. Была у меня прелестная диадема с бриллиантами и мелким жемчугом, которую подарил мне после сыгранного у него спектакля Калил-бей; пришлось чуть ли не через сито просеивать пепел, чтобы отыскать бриллианты, жемчуг же расплавился.

За один день я оказалась полностью разоренной, ибо на то, что оставили мне отец и бабушка с отцовской стороны, я купила мебель, всякие безделушки, тысячу милых и бесполезных вещей, которые составляли радость моей жизни, была у меня — хотя я знаю, что это безумие, — но была у меня черепаха по имени Хризаржер, носившая на спине золотой панцирь, усеянный крохотными топазами — голубыми, розовыми и желтыми. О, до чего же она была красива, моя черепаха! И как забавно было видеть ее, шествующую из комнаты б комнату всегда в сопровождении маленькой черепашки по имени Зербинетт, ее служанки. О сколько радости мне доставляла Хризаржер, когда я часами глядела на нее, любуясь тысячами огоньков, переливавшихся на ее спине в лучах луны или солнца! Обе они погибли во время катастрофы По случаю этого пожара я получила много стихов. Большинство из них не были подписаны. Но я их все-таки сохранила. Вот одно из таких стихотворений, которое мне больше всего понравилось:

Пожар твой дом опустошил,
Занетто стал скитальцем нищим,
И слышен стон твоей души
Над этим горьким пепелищем.
Зачем напрасно слезы лить
О том, что поглотило пламя?
Ведь бриллианты не сравнить
С твоими дивными глазами!

Об ожерельях не жалей.
Оставь богачкам их забавы!
Не лучше ль изумруд полей
И шелком вытканные травы?!
А жемчуг твой росой блестит

На дне безвестного оврага,
Где зеркало ручья струит
Свою серебряную влагу

И о браслетах не грусти —
Без них еще ты краше стала!
Венеру злато не прельстит,
Зачем ей цепи из металла?!
О, сбереги свой аромат,
Очарованье дикой розы,
А украшенья пусть хранят
Сухие старые мимозы!

С гитарой верной за спиной
В путь через горы и долины!
Иди по Франции родной
И по Испании былинной!
По ветру перышком лети,
Как музыка твоей мандоры[43]
Волной, что за мечтой спешит
Ласкаясь о челнок веселый!

(Перевод Н. Паниной)

Хозяин гостиницы, которая сегодня вошла в большую моду, прислал мне письмо, привожу его здесь дословно:

«Мадам,

Если Вы согласитесь в течение месяца каждый вечер ужинать в большом зале, я предоставлю в Ваше распоряжение один из апартаментов второго этажа, состоящий из двух спален, большого салона, маленького будуара и ванной комнаты. Само собой разумеется, что апартамент этот предлагается Вам бесплатно, при условии что Вы согласитесь выполнить мою просьбу…

Соблаговолите принять… и т. д., и т. д.

Примечание. Вам придется оплачивать лишь содержание растений в Вашем салоне». (Следует подпись.)

Грубость неслыханная. Я дала поручение одному из друзей немножко потрясти этого наглеца.

Дюкенель, который в ту пору был по-прежнему добр ко мне, пришел через несколько недель и сообщил, что получил гербовую бумагу от «Ла Фонсьер», страховой компании, с которой я за день

до катастрофы отказалась подписать договор. Компания эта требовала с меня довольно крупную сумму за причиненный дому ущерб. Дом и в самом деле сильно пострадал, третий этаж был почти полностью уничтожен, и зданию грозил долгосрочный ремонт.

У меня не было требуемых сорока тысяч франков. Дюкенель предложил устроить бенефис, который, уверял он, избавит меня от всех этих неприятностей. Де Шилли с радостью вызвался сделать все возможное, чтобы помочь мне.

Бенефис получился на славу, особенно благодаря присутствию совершенно очаровательной Аделины Патти. Никогда еще молодая певица, бывшая тогда маркизой де Ко, не пела на чьем-либо бенефисе. Весть о том, что Патти будет петь для меня, принес Артюр Мейер. А ближе к вечеру пришел ее муж рассказать, какая для нее радость выразить мне таким образом свою симпатию.

Как только на афишах появилось имя птицы-феи, билеты были тут же распроданы, причем по более высокой цене, чем предполагалось вначале. Думаю, она не пожалела о своем дружеском, товарищеском порыве, ибо уготованный ей триумф превзошел все ожидания. Студенты встретили ее появление громом аплодисментов. Помнится, она была немного удивлена, услышав, как они скандируют «браво» в ее честь, и вышла на авансцену, грациозно переступая своими маленькими ножками в розовых атласных туфельках. Ее можно было принять за птицу, которая не знает, взмыть ей ввысь или опуститься на землю.

Она была такой красивой и вся светилась радостью. А уж когда рассыпались жемчужные трели ее волшебного голоса, зал охватил самый настоящий психоз, зрители повскакали с мест. Студенты, взобравшись на свои кресла, размахивали платками и шляпами, их юные головы воспламенил огонь искусства, в их исступленных криках «бис» слышался молитвенный экстаз. И божественной певице приходилось петь снова и снова. Каватину из «Севильского цирюльника» Una voce poce fa[44] она пела три раза.

Я с нежностью благодарила ее. Она уехала в сопровождении следовавших за ее коляской студентов, под нескончаемые крики: «Да здравствует Аделина Патти!»

Благодаря этому вечеру мне удалось расплатиться со страховой компанией.

Тем не менее я была почти полностью разорена.

Меня охватывало отчаяние, ибо я чувствовала, что не смогу жить без комфорта и роскоши.

На несколько дней я переселилась к матери, но там было

слишком тесно. Тогда я сняла меблированную квартиру на улице Аркад. Дом был печальный, квартира темной.

Я не знала, как справиться со всеми этими трудностями, и вдруг в одно прекрасное утро мне доложили, что пришел господин К., нотариус моего отца, тот самый человек, которого я так ненавидела. Я пригласила его войти, не переставая дивиться тому, что слишком давно не видела его.

Он сказал, что приехал из Гамбурга, что узнал из газет о постигшем меня несчастье и пришел предложить свои услуги. Несмотря на все свое недоверие к нему, я была растрогана и поведала ему драматическую историю пожара. Я не знала, почему загорелся дом. Между тем у меня были смутные подозрения в отношении молоденькой горничной Жозефины; несмотря на мои неоднократные наставления, она и на этот раз оставила горящий светильник на стоявшем в изголовье моей кровати, с левой стороны, маленьком комодике, где она обычно ставила графин с водой, стакан и саксонскую вазу, в которой всегда лежали два яблока, так как, просыпаясь по ночам, я обожаю есть яблоки. Окна в спальне не закрывались до тех пор, пока я не ложилась, и потому, когда открывалась дверь, начинался сильный сквозняк; наверное, как только она ушла, закрыв за собой дверь, кружевные занавеси на моей кровати вспыхнули. Иного объяснения этому внезапно начавшемуся пожару не было, а так как мне не раз приходилось делать выговор молоденькой служанке за ее небрежность, то я полагала, что и в тот вечер, торопясь лечь в постель из-за мучившей ее головной боли, она поступила именно так и даже не сказала, как делала это всегда, когда мне приходилось укладываться без ее помощи: «Мадам, все готово». Потому что обычно я вставала и сама шла проверять, все ли в порядке; уже несколько раз мне случалось убирать этот светильник. Но так уж, видно, было предначертано судьбой, и несчастью — о, не такому уж великому! — суждено было настичь меня именно в тот день.

— Значит, вы не были застрахованы? — спросил нотариус, выслушав мой рассказ.

— Нет, я должна была подписать страховой полис на другой день после случившегося.

— Вот как! — воскликнул юрист. — А я ведь слышал, будто вы сами себя подожгли, чтобы получить крупную страховую сумму.

Я пожала плечами: мне уже попадались такие намеки в газетах. К тому времени, несмотря на свою молодость, я привыкла не обращать внимания на разные домыслы.

— Ну что ж, в таком случае я постараюсь уладить ваши

дела, — сказал господин К. — Отец завещал вам денег больше, чем вы думаете; а ваша бабушка оставила вам пожизненную ренту, и вы можете выкупить эту ренту за хорошую цену, если согласитесь застраховать вашу жизнь сроком на сорок лет на сумму двести пятьдесят тысяч франков в пользу покупателя.

Я согласна была на все, обрадовавшись такой неожиданной удаче И еще он сказал, что через два дня после своего возвращения пришлет мне сто двадцать тысяч франков, что он и сделал.

Этот маленький эпизод, составлявший, впрочем, часть моей жизни, я рассказала для того чтобы показать, насколько все происходящее с нами противоречит всякой логике и мудрому предвидению.

Ясно одно случившееся со мной несчастье подорвало мои жизненные надежды.

На деньги, полученные от отца с матерью, я устроила себе роскошное жилище. Некоторую сумму я оставила, и ее должно было хватить в качестве ежемесячного дополнения к моему жалованью на два года — этот срок я установила для того, чтобы добиться возможности потребовать себе очень большой прибавки жалованья. А теперь все это рушилось из-за глупой оплошности горничной.

У меня были богатые родственники и очень богатые друзья; но никто не протянул мне руку чтобы помочь выбраться из этой пропасти. Богатые родственники не могли простить мне того что я пошла в театр… А между тем, видит Бог, как я плакала, ступая на этот не добровольно выбранный мною путь.

Дядя Фор, правда, приходил иногда повидаться со мной к маме; но тетя не желала даже слышать обо мне И я тайком встречалась с кузеном, а иногда и с хорошенькой моей кузиной.

Богатые друзья считали меня безумно расточительной и не могли смириться с тем, что я не поместила свое наследство в безопасное место и не превратила его в надежную ренту.

Не без грусти пришлось принять мне скоропалительное решение. Я должна была ехать в Россию. Мне предлагали блистательный ангажемент. Я никого не стала посвящать в свои планы. Доверилась одной только госпоже Герар. Но эта идея с Россией приводила ее в ужас. Грудь у меня тогда была очень слабая, и холод был моим злейшим врагом.

Тем не менее решение было принято, как вдруг явился этот человек, чей алчный и хваткий ум придумал эту ловкую и выгодную (для него) комбинацию, снова менявшую всю мою жизнь.

Я сняла квартиру на Римской улице, на антресолях. Там было много солнца, и это особенно радовало меня. Было две гостиных и одна большая столовая.

Бабушку я поместила в приют, который содержали монахини и миряне. Бабушка моя была израильтянкой, она строго соблюдала все законы и ревностно выполняла предписания своей религии. Приют этот был очень комфортабелен. Она оставила себе свою служанку-бургундку и заявила, когда я приехала навестить ее, что ей гораздо лучше здесь, чем у меня.

— Сын у вас большой проказник, — сказала она, — и очень шумливый.

Навещала я ее, правда, не часто, потому что совсем разлюбила после того, как увидела мать, побледневшую от ее недобрых слов. Впрочем, она была счастлива, и это главное.

Тем временем я сыграла во «Внебрачном сыне» и добилась признания публики; в «Вольноотпущенном» и «Другом» Жорж Санд; в «Жане-Мари» — маленьком шедевре Андре Тёрье, пользовавшемся потрясающим успехом. Жана-Мари играл Порель. Тогда он был худой и возлагал большие надежды на будущее. Худоба его обернулась полнотой, а надежды воплотились в жизнь и стали уверенностью.

Но вот пришли скверные дни! Париж лихорадит. На улицах черно от людей, которые спорят, жестикулируют. И весь этот шум-гам всего лишь отголосок далеких сборищ на германских улицах; там люди кричат, жестикулируют, спорят и знают! А мы не знали!

Я не могла оставаться на месте. Нервничала сверх всякой меры. И в конце концов заболела.

15

Объявлена война! А я ненавижу войну! Она приводит меня в отчаяние, заставляет дрожать с головы до ног. Время от времени я в ужасе вскакиваю, потрясенная далеким зовом страждущих людей.

Война!.. Какая гнусность! Позор и боль! Война Узаконенные преступления и разбой, которые не только прощаются, но и прославляются!

Недавно мне довелось побывать на сталелитейном заводе. (Не хочу говорить, в какой стране ибо ко мне относились там с большим радушием Я не шпионка и не доносчица, я бытописательница!) Итак, я посетила один из этих чудовищных заводов, где производят самые смертоносные снаряды. Мне представили его владельца, миллиардера, человека любезного, но неразговорчивого, на вид задумчивого и чем-то неудовлетворенного. От своего проводника я узнала, в чем дело, человек этот только что потерял огромную сумму — более шестидесяти миллионов.

— Боже мой! Как же это случилось?

— О! — отозвался мой собеседник. — Он их не то чтобы потерял, а не приобрел, но это ведь одно и то же.

И так как я смотрела на него с изумлением, он продолжал.

— Да-да, а дело было так. Вам, должно быть, известно, что шли разговоры относительно войны Франции с Германией из-за Марокко?..

— В самом деле.

— Так вот, этот стальной князь надеялся продать пушки, и уже месяц его заводы работают с двойной нагрузкой — и днем, и ночью; он дал огромные взятки влиятельным членам правительства, подкупил газеты, как во Франции, так и в Германии, чтобы натравить друг на друга эти народы. Но все провалилось благодаря вмешательству людей разумных и гуманных. И теперь миллиардер в отчаянии. Он потерял шестьдесят… а может, и сто миллионов.

С презрением смотрела я на миллиардера. И от всей души желала, чтобы он подавился своими миллиардами, ибо такие чувства, как раскаяние или угрызения совести, ему неведомы.

А сколько еще других, таких же как он, достойны презрения! Почти все, кто именует себя военными поставщиками в разных странах мира, и есть самые ярые поджигатели войны.

Что каждый должен стать солдатом в минуту опасности — с этим я, конечно, согласна, безусловно согласна! Что каждый

обязан взять в руки оружие для защиты своего отечества и убивать во имя спасения своих родных и самого себя — это всем ясно; но чтобы в наше время находились еще молодые люди, все помыслы которых сводятся к убийству других людей во имя карьеры и упрочения собственного положения, — это превосходит всякое понимание!

Что следует стоять на страже своих границ и охранять свои колонии, тут спору нет; однако если все мы солдаты, то почему бы не включить в понятие «все» и стражей-защитников? И не было бы тогда ни офицерских школ, ни тем более этих ужасных казарм, которые оскорбляют глаз.

Когда государи наносят друг другу визит, им обычно устраивают парад, а не лучше ли было бы показывать им какую-то тысячную долю личного воинского состава из числа выбранных наугад солдат, ведь это куда более просветило бы их относительно достоинства и доблести народа, нежели элегантное шествие армейских частей на параде.

Сколько мне довелось повидать этих великолепных шествий во всех странах, где я побывала! А между тем из истории мне было известно, что именно такая гарцующая армия без особых на то причин обращалась при виде врага в бегство.

Итак, 19 июля война была объявлена всерьез Париж стал театром, где разыгрывались трогательные и в то же время потешные сцены. Ввиду слабого здоровья и легковозбудимой нервной системы я не могла спокойно смотреть на охваченных безумием юношей, которые, надрываясь, распевали «Марсельезу» и плотными рядами вышагивали по улицам, неустанно повторяя: «На Берлин! На Берлин!»

Сердце мое громко стучало, ибо мне тоже казалось, что следует идти на Берлин. Однако я считала, что к этому великому акту готовились без должного уважения и как-то неблагородно Хотя и понимала всеобщую ярость, ведь нас постоянно провоцировали без всякого сколько-нибудь убедительного мотива.

Меня возмущало собственное бессилие И дух захватывало, когда я видела бледных, с распухшими от слез глазами матерей, сжимавших в объятиях и в безысходном отчаянии целующих своих сыновей.

Я изводилась и плакала непрерывно. А между тем ничто не предвещало столь ужасную катастрофу.

Врачи решили, что мне следует немедленно поехать на воды, в О-Бонн. А я не хотела уезжать из Парижа. Всеобщая лихорадка заразила и меня. Но силы с каждым днем покидали меня, и 27 июля меня чуть ли не вопреки моей воле буквально отнесли в

вагон. Сопровождали меня госпожа Герар, мой управляющий и горничная. Сына я тоже взяла с собой.

Расклеенные на всех вокзалах плакаты возвещали, что император Наполеон направился в Мец, дабы взять командование армией в свои руки.

По приезде в О-Бонн я вынуждена была лечь в постель. Мое состояние внушало опасения доктору Лёде, который впоследствии признавался мне, что боялся, как бы я не умерла. Я харкала кровью и ни минуты не могла обойтись без куска льда во рту.

Однако через двенадцать дней я начала подниматься. А продолжительные верховые прогулки быстро вернули мне силы и спокойствие.

К тому же вести с военных полей предрекали скорую победу. Сладостное волнение охватило меня, когда стало известно, что юный наследный принц получил боевое крещение в сражении при Саарбрюккене, где армией командовал генерал Фроссар.

Жизнь снова казалась мне прекрасной. Я верила в счастливый исход войны. И жалела немцев за то, что они ввязались в подобную авантюру.

Увы! Славные кавалерийские атаки, затмившие мне ум, сметены были ужасающим известием о битве при Сен-Прива.

Каждый день в маленьком садике о-боннского казино вывешивали политические сводки. Туда-то и стекалась публика, чтобы узнать свежие новости. Я терпеть не могла толкотни и посылала своего управляющего переписывать депеши.

Ах, какую боль причинила нам та депеша из Сен-Прива, где очень лаконично сообщалось о чудовищной бойне: героической обороне маршала Канробера и первом предательстве Базена, не оказавшего помощи своему товарищу.

Я была знакома с Канробером и бесконечно любила его. Позднее он оказался в числе верных мне людей. У меня сохранились восторженные воспоминания о часах, когда я слушала его рассказы о геройских подвигах других (и никогда о своих собственных). А какое обилие анекдотов! Какое остроумие! Сколько очарования!

Так вот, известие о битве при Сен-Прива вновь повергло меня в уныние. Ночи мои наполнились кошмарами. Я снова слегла.

День ото дня новости становились все хуже. Вслед за Сен-Прива — Гравелот с его тридцатью тысячами солдат — французских и немецких, скошенных буквально за несколько часов. Затем доблестные, но, увы, безнадежные усилия Мак-Магона, отброшенного к Седану. И наконец Седан! Седан…

Ах, какое ужасное пробуждение!

Накануне месяц август ушел в небытие под оружейные залпы и предсмертные хрипы. Однако жалобные стоны умирающих все еще говорили о надежде.

Зато месяц сентябрь, едва увидев свет, испытывал на себе проклятье. Его первый воинственный клич был задушен грубой и подлой рукой судьбы. Сто тысяч солдат, сто тысяч французов должны были капитулировать. А французскому императору пришлось сдаться королю Пруссии.

Ах, этот крик боли, крик ярости, исторгнутый у целой нации! Никто не в силах забыть его.

1 сентября около десяти часов утра Клод, мой управляющий, постучал ко мне в дверь. Я не спала.

Он вручил мне копии первых депеш: «Битва при Седане началась. Мак-Магон ранен» — и так далее.

— Ах, умоляю вас! — попросила я. — Подите снова туда и, как только появится новая депеша, принесите ее мне. Я предчувствую нечто невероятное, великое! Что-то должно случиться. Мы столько выстрадали за этот месяц, что теперь надо ждать чего-то хорошего, прекрасного, ведь на весах Господа Бога радость уравновешивает печаль Ступайте, мой славный Клод, ступайте.

И я заснула, уповая на лучшее. Я так устала, что проспала до часу. Когда я проснулась, у моей кровати сидела горничная Фелиси, самая прелестная девушка, какую только можно вообразить себе. Ее хорошенькое личико и огромные черные глаза выражали такую тоску, что сердце мое едва не перестало биться. Я в тревоге смотрела на нее; она протянула мне депешу, вернее, копию: «Император Наполеон III капитулировал». Кровь бросилась мне в лицо, а легкие мои были чересчур слабы, чтобы справиться с таким приливом, я уронила голову на подушку, и кровь, вырвавшаяся вместе со стоном откуда-то из глубин моего существа, застыла на губах.

Три дня я находилась между жизнью и смертью. Доктор Лёде послал за другом моего отца, судовладельцем по имени Монуар. Тот примчался вместе со своей молодой женой, тоже очень больной; несмотря на свой свежий вид, она была больнее меня и через полгода умерла.

Благодаря их участию и неустанным заботам доктора Лёде я осталась живой после пережитого кризиса. И тотчас решила вернуться в Париж. Осадное положение было уже объявлено. Мне не хотелось, чтобы моя мать, мои сестры и племянница оставались в столице. К тому же горячка отъезда завладела всеми — и больными, и туристами.

Я отыскала почтовую карету, которая за баснословную цену доставила меня на станцию к первому попавшемуся поезду.

Там я смогла кое-как устроиться, но, добравшись до Бордо, обнаружила, что раздобыть пять мест в экспрессе нет никакой возможности. Мой управляющий добился разрешения ехать вместе с кочегаром. Госпожа Герар и горничная устроились уж не помню где, я же вошла в купе, куда набилось уже девять человек.

Уродливый старик хотел выкинуть моего маленького сынишку, которого я привела с собой, но я изо всех сил толкнула его сама.

— Никакая сила не заставит нас выйти из вагона, поймите это, старый урод! Мы здесь и никуда не уйдем!

Толстая дама, одна занимавшая места больше, чем три обычных человека, воскликнула:

— Хорошо, нечего сказать, мы и так здесь задыхаемся. Какой стыд, пускать в купе одиннадцать человек, когда мест всего восемь.

— Так выходите, — предложила я ей, с живостью обернувшись, — вы уйдете, и нас останется только семеро!

Послышался приглушенный смех других пассажиров, и я поняла, что завоевала сердца моих попутчиков.

Трое молодых людей предложили мне свои места, но я отказалась, заявив, что останусь стоять Тогда молодые люди встали и заявили, что тоже будут стоять. Тут толстая дама обратилась к проходившему мимо железнодорожному служащему:

— Господин служащий! Послушайте…

Служащий замер на мгновенье, всем своим видом показывая, что торопится.

— Какой стыд, господин служащий! Нас в этом купе одиннадцать! Пошевелиться нельзя!

— Не верьте ни единому слову, господин служащий, — воскликнул один из молодых людей. — Видите, здесь три свободных места, мы все стоим, так что можете посадить еще кого-нибудь!

Служащий ушел, посмеиваясь и тихонько поругивая жалобщицу, а та сказала что-то резкое молодому человеку. Тот почтительно склонился перед ней.

— Госпожа, — молвил он, — успокойтесь, прошу вас, поверьте, вы останетесь довольны: мы сядем всемером с этой стороны, вместе с ребенком, а вы останетесь на той стороне вчетвером.

Уродливый старик, тощий и маленький, скосил глаза в сторону толстой дамы.

— Вчетвером… — прошептал он. — Вчетвером..

И тон, и взгляд его говорили яснее ясного, что толстая дама занимала не одно место.

И этот тон, и этот взгляд не пропали даром, и, прежде чем уродливый старик успел разобраться, в чем дело, молодой человек продолжал:

— Извольте, сударь, сесть с нашей стороны, в этот хорошенький уголок, тогда все худые соберутся вместе.

А на место старика он посадил невозмутимого, тихого англичанина лет восемнадцати — двадцати, с торсом борца и белобрысой головой младенца. Молоденькая женщина, сидевшая напротив толстой дамы, смеялась до слез. Все шестеро мы уселись на стороне худых, нам было немного тесно, но зато весело, маленькие ухищрения, на которые пришлось пойти, смешили нас, а смех, как известно, всем на пользу.

Молодой человек, который так ловко все уладил, был высоким красивым парнем, светлолицым, голубоглазым, с почти белыми волосами, что придавало его лицу свежесть и привлекательность юности. На ночь он взял мальчика к себе на колени.

Впрочем, за исключением ребенка, толстой дамы и молодого англичанина, никто не спал из-за удушливой жары. Разговор шел о войне.

После некоторого колебания один из молодых людей сказал мне, что я похожа на Сару Бернар. Я ответила, что имею для этого все основания.

Молодые люди представились: Альбер Дельпи — тот, который узнал меня Барон ван Зелерн или ван Зерлен, уже не помню точно, — голландец. И Феликс Фор, молодой человек с белыми волосами, который сказал, что он из Гавра и хорошо знал мою бабушку.

Со всеми я сохранила наилучшие отношения Со всеми, кроме Альбера Дельпи, ставшего впоследствии моим недругом. Все трое погибли: Альбер — с отчаяния, все испробовав и ни в чем не преуспев; голландский барон — в железнодорожной катастрофе; Феликс Фор[45] — на посту президента Французской республики.

Услыхав мое имя, молодая женщина представилась в свою очередь.

— Мне кажется, — сказала она, — что мы в какой-то степени родственники: я госпожа Ларок.

— Из Бордо? — спросила я.

— Да.

И мы стали выяснять свои родственные отношения, так как жена брата моей матери была одной из барышень Ларок, живших

в Бордо.

Несмотря на жару, тесноту и мучившую нас жажду, путешествие показалось нам недолгим.

Прибытие в Париж было гораздо печальнее. Мы торопливо пожали друг другу руки. На вокзале толстую даму встречал муж; он молча протянул ей телеграмму. Ознакомившись с ее содержанием, несчастная вскрикнула и, рыдая, упала в его объятия.

Какое горе постигло ее? Я смотрела на нее: о бедная женщина уже не выглядела смешной! У меня сжалось сердце при мысли о том, что мы так насмехались над ней, в то время как несчастье уже коснулось ее своим крылом.

Приехав домой, я послала сказать маме, что зайду к ней в течение дня. Но она сразу же пришла сама, ей не терпелось узнать, в каком состоянии я вернусь. Тогда-то мы и условились обо всем, что было связано с отъездом нашего семейства, я же собиралась остаться одна в осажденном Париже. Мама, мой маленький мальчик со своей няней, мои сестры, тетя Аннета, которая вела хозяйство у меня в доме, и мамина горничная — все были готовы к отъезду, который назначили через день.

В Гавре я заказала у «Фраскати» необходимое помещение для всех моих домочадцев.

Но желания уехать — этого по тем временам было мало. Надо еще было получить такую возможность. Вокзалы были забиты семьями, вроде моей, которые благоразумия ради собирались покинуть столицу.

Я отправила своего управляющего заказать купе. Через три часа он вернулся в разорванной одежде, ему порядком досталось и пинков, и кулаков.

— Мадам не следует ходить в такую давку, — сказал он мне, — ни в коем случае. Я не смогу защитить вас. Если бы еще вы были одна… но с госпожой вашей матушкой, с барышнями и ребятишками… ни в коем случае… ни в коем случае.

Я тут же послала за тремя своими друзьями и, поведав им о своих затруднениях, попросила проводить меня.

В помощь управляющему я дала своего метрдотеля и маминого слугу, который привел с собой младшего брата, кюре, тот охотно согласился проводить нас. Все вместе мы отправились на железнодорожном омнибусе. Нас было семнадцать, а действительно отъезжающих — всего девять. Так вот, представьте себе, что эти восемь защитников оказались не лишними, ибо за билетами стояли не человеческие существа, а дикие, затравленные звери, которых снедали страх и желание как можно скорее бежать.

И это зверье не видело ничего, кроме маленького окошечка, где выдавали билеты, двери, которая вела к поезду, и самого поезда, дававшего возможность бежать.

Присутствие молодого кюре оказало нам неоценимую помощь. Его набожный вид спасал нас порой от тумаков.

Когда поезд тронулся, мои родные стали посылать мне воздушные поцелуи из своего отдельного купе. Я вздрогнула от ужаса, почувствовав себя внезапно невыразимо одинокой. Впервые я рассталась с маленьким существом, которое было мне дороже всего на свете.

Тут две руки с нежностью обвились вкруг меня, и чей-то голос прошептал:

— Милая Сара, почему вы не уехали? Здоровье у вас слабое, сумеете ли вы вынести одиночество и разлуку со своим малышом?

То госпожа Герар, приехавшая слишком поздно и не успевшая поцеловать мальчика, пыталась хоть как-то пожалеть его мать.

Я впала в отчаяние. Теперь я уже жалела, что отправила его. И все-таки… а вдруг дело дойдет до сражения в самом Париже? Однако мысль о том, что я могла бы уехать с ним вместе, ни на минуту не приходила мне в голову. Я надеялась, что сумею принести пользу, оставаясь в Париже Какую пользу? Надеяться на это было, конечно, глупо, но я в это свято верила. Мне казалось, что все трудоспособные люди — а я, несмотря на свою слабость, считала себя трудоспособной, и не без резона, потом я доказала это, — должны оставаться в Париже И я осталась, сама еще не зная, что буду делать.

Несколько дней я провела в полном отупении из-за отсутствия жизни вокруг меня, жизни и любви.

16

Между тем город готовился к обороне. Я ре шила положить все свои силы и способности на уход за ранеными. Но где устроить госпиталь? «Одеон» был закрыт. Я перевернула небо и землю чтобы мне разрешили расположить госпиталь в «Одеоне». И, благодаря Эмилю де Жирардену и Дюкенелю, мое желание исполнилось.

Я отправилась в военное ведомство и подала заявление с изложением своей просьбы. Мое предложение о создании военного госпиталя было принято.

Но нужно было встать на довольствие. Я написала префекту полиции. Вскоре явился нарочный. Он вручил мне такое послание от префекта:

«*Мадам, если можете, приходите немедленно, я буду ждать Вас до шести часов. Если же нет, то я приму Вас завтра утром в восемь часов. Извините за столь ранний час, но в девять я уже должен быть в Палате депутатов, а так как записка Ваша показалась мне спешной, я хотел бы оказать Вам поддержку, если это будет в моей власти.*

Граф де Кератри[46]»

Я помнила графа де Кератри, которого мне представили на вечере у тети, где я под аккомпанемент Россини читала стихи Расина, но тогда это был молодой лейтенант, красивый, элегантный, остроумный. Он пригласил меня к своей матери. Я читала стихи на вечерах у графини.

Молодой лейтенант уехал в Мексику. Какое-то время мы переписывались. Затем превратности жизни разлучили нас.

Я спрашивала Герар, не думает ли она, что префект может оказаться близким родственником моего юного друга.

— Думаю, что да, — сказала она.

Мы обсуждали это в экипаже, ибо я тотчас поехала в Тюильри, где находился префект.

Сердце мое сжалось, когда мы остановились у подъезда. Несколько месяцев назад я уже приезжала сюда апрельским утром вместе с госпожой Герар. И так же, как сегодня, привратник открывал дверцу моего экипажа; но тогда ласковое апрельское солнце ложилось на ступени, высвечивало фонари экипажей, сновавших взад-вперед по двору.

Тогда это была торопливая и радостная суета молодых офицеров, обмен любезными приветствиями.

Ныне же обманчивое и неприветливое ноябрьское солнце все вокруг заливало серым свинцом. Черные, покрытые грязью фиакры следовали один за другим, задевая ворота, обивая углы ступеней, подавая назад или, наоборот, вперед под грубые окрики кучеров. А вместо приветствий слышались такие слова:

— Как дела, старик?

— Голова разламывается!

— Есть новости?

— Да, все летит к черту! — и так далее.

Дворец был совсем не тот. Атмосфера переменилась. Исчез легкий благоухающий аромат, который обычно оставляют за собой элегантные женщины. Густой запах табака, засаленной одежды, грязных волос — все это тяжело висело в воздухе.

Ах, прекрасная императрица французов! Я, как сейчас, видела ее в голубом платье, шитом серебром, зовущей себе на помощь фею Золушек, чтобы она помогла ей надеть маленькую туфельку. А наследный принц — само очарование! Я вспоминала, как он помогал мне расставлять горшочки с вербеной, маргаритками и держал в своих еще слабых руках огромный горшок с рододендроном, скрывавшим его хорошенькое личико.

Наконец, я вспоминала императора Наполеона III, аплодировавшего мне с лукавой усмешкой на репетиции предназначавшихся ему реверансов.

И вот теперь белокурая императрица, одетая весьма странным образом, бежала в двухместной карете своего американского дантиста, ибо среди французов не сыскалось человека, который отважился бы помочь бедной женщине, таким чело веком оказался иностранец. А ласковый утопист император безуспешно пытался тем временем погибнуть на поле брани. Два коня были убиты под ним, но на нем самом — ни единой царапины. И он вынужден был расстаться со своей шпагой. И все мы плакали от ярости, стыда и боли, узнав, что ему пришлось сдаться. Каким же мужеством и отвагой надо было обладать, чтобы пойти на это! Он хотел спасти сто тысяч солдат, сберечь сто тысяч жизней, успокоить сто тысяч матерей.

Бедный, дорогой император! История воздаст ему когда-нибудь должное, ибо он был добр и человечен, и к тому же доверчив Увы! Пожалуй, даже слишком!

Прежде чем войти в апартаменты префекта, я остановилась на минуту. Вытерла глаза и, чтобы отвлечься от своих печальных дум, спросила «мою милочку»:

— Послушай, если бы ты увидела меня впервые, ты нашла бы меня красивой?

— О да! — поспешила заверить меня она.

— Тем лучше! Надо, чтобы я выглядела красивой в глазах этого старого префекта, мне столько всего надо у него попросить.

Каково же было мое удивление, когда я узнала лейтенанта, ставшего теперь капитаном и префектом полиции. Мое имя, названное дежурным, заставило его вскочить с кресла, он двинулся мне навстречу с улыбкой на лице и протянутыми руками.

— Неужели вы меня забыли? — спросил он, дружески поклонившись госпоже Герар.

— Я никак не думала, что это вы, и теперь просто счастлива, вы дадите мне все, что нужно!

— Ну и ну! — только и сказал он, расхохотавшись. — Так тому и быть, приказывайте!

— Так вот, мне нужно хлеба, молока, мяса, овощей, сахара, вина, водки, картошки, яиц, кофе… — выкладывала я на одном дыхании.

— Ах, позвольте отдышаться! — воскликнул префект-граф. — Вы говорите так быстро, что у меня дух захватило.

Я умолкла на мгновенье, но тут же снова заговорила:

— Я устроила госпиталь в «Одеоне»; но, так как госпиталь военный, муниципалитет не дает мне пропитания. А у меня уже пятеро раненых, пока что я справляюсь, но ведь мне обещают привезти других раненых, которых тоже надо кормить.

— Вы получите все, что пожелаете. Несчастная императрица оставила запасы во дворце на долгие месяцы; я пришлю вам все, кроме мяса, хлеба и молока; а в отношении этого отдам приказ, чтобы ваш госпиталь, хотя он и военный, обслуживал муниципалитет. Да, вот еще талон на соль и другие продукты, вы сможете получить их в новой «Опере».

Я с изумлением взглянула на него:

— В новой «Опере»?.. Но театр еще только строится, кроме лесов там ничего нет.

— Вот именно. Вы войдете в маленькую дверцу под лесами, она находится напротив улицы Скриба; подниметесь по винтовой лестнице, которая приведет вас в продовольственную контору, и там вам дадут все необходимое.

— Ах, мне хочется еще кое о чем попросить вас!

— Говорите! Я к вашим услугам.

— Меня очень беспокоит, что в подвалах «Одеона» устроили пороховой склад: если Париж станут обстреливать и снаряд угодит в здание, мы все взлетим, а я не для этого старалась.

— Верно, — согласился любезный человек, — нет ничего глупее, как превращать в пороховой склад такое место. Однако с

этим придется повозиться, потому что я имею дело с кучей твердолобых мещан, которые желают организовать оборону на свой манер. Попробуйте раздобыть мне петицию за подписью самых влиятельных домовладельцев и коммерсантов квартала. Вы довольны?

— Да, — сказала я, дружески сжимая его руки, — да, вы добрый и хороший человек, благодарю вас от всей души.

Я направилась было к двери, но остановилась, словно загипнотизированная видом пальто, брошенного в кресло.

Заметив мой взгляд, госпожа Герар тихонько потянула меня за рукав:

— О, милая Сара, не надо, прошу вас!

Но я уже устремила молящий взгляд на молодого префекта, тот, не понимая, в чем дело, спросил:

— Что вам еще угодно, прекрасная дама?

Я показала пальцем на пальто, решив пустить в ход все свои чары.

— Прошу прощения, — оторопело сказал префект, — но я ничего не понимаю.

По-прежнему показывая пальцем на прельстивший меня предмет, я попросила:

— Отдайте его мне.

— Мое пальто?

— Да.

— Зачем?

— Для выздоравливающих раненых.

Упав в кресло, он расхохотался.

А я, немного обиженная его неудержимым смехом, продолжала:

— То, что я говорю, вовсе не смешно. Послушайте, у меня есть несчастный малый, у которого оторвало только два пальца, он не хочет лежать в постели, и это вполне понятно. Его солдатская шинель недостаточно теплая, а мне с большим трудом удается обогревать огромное фойе «Одеона», где размещаются ходячие раненые; этому парню теперь тепло, потому что я взяла пальто у Анри Фульда, который заходил ко мне на днях; мой раненый — великан, а Анри Фульд — исполин, поэтому мне вряд ли могла представиться другая такая возможность; но понадобится не одно паль то, а ваше на вид очень теплое.

Я гладила меховую подкладку завидного одеяния.

Молодой префект чуть не задохнулся от смеха Вынув все из карманов пальто, он показал мне роскошный шарф из белого шелка, который вытащил из глубины кармана.

— Вы позволите мне оставить себе хотя бы шарф?

Я покорно кивнула головой в знак согласия Он позвонил и, снова приняв торжественный вид, хотя глаза его все еще смеялись, сказал привратнику, отдавая ему свое пальто:

— Отнесите это в экипаж двух дам.

Я поблагодарила его и, счастливая, удалилась.

Через двенадцать дней я вернулась, чтобы вручить ему лист, испещренный подписями домовладельцев и коммерсантов квартала, где находился «Одеон», однако, едва переступив порог кабинета префекта, я в ужасе остановилась, так как он, вместо того чтобы двинуться мне навстречу, кинулся к стенному шкафу, резко распахнул его дверцы и тут же захлопнул, бросив туда что-то. Затем встал, прислонившись к шкафу, словно для того, чтобы помешать мне проникнуть в него, и сказал с веселой усмешкой в голосе:

— Прошу прощения, но после первого вашего визита я подхватил сильный насморк. А сейчас я спрятал туда свое пальто… О, совсем плохонькое и старое, и не очень теплое, — с живостью добавил он, — но как-никак пальто. Я спрятал его туда и вот, видите, забираю ключ!

Положив этот ключ себе в карман, он пригласил меня сесть.

Однако новости были не из веселых, и беседа наша сразу утратила свой шутливый тон. За минувшие двенадцать дней раненые в госпитале все прибывали. Дела шли из рук вон плохо. Внешняя политика, внутренняя политика. Немцы приближались к Парижу. Формировалась луарская армия. Гамбетта, Шанзи, Бурбаки, Трошю в отчаянии пытались организовать оборону.

Мы долго обсуждали эти печальные события; я рассказала ему о своем горестном впечатлении от посещения Тюильри в прошлый раз; поделилась воспоминаниями о людях столь блестящих, высокого ума, таких счастливых тогда, а ныне *достойных* всяческого сожаления. Мы умолкли; потом я пожала ему руку, сказав, что получила все его подношения, и отправилась в госпиталь.

В самом деле, префект прислал мне десять бочек красного вина, две — водки, тридцать тысяч яиц, уложенных в ящики с известью, перемешанной с отрубями, сто мешков кофе, двадцать коробок чая, сорок ящиков печенья «Альбер», тысячу банок консервов и множество других вещей.

Знаменитый шоколадник господин Менье доставил мне пятьсот фунтов шоколада. Один из моих друзей, владелец мукомольного завода, подарил двадцать мешков муки, причем шесть из них маисовой Феликс Потен, мой бывший сосед по дому № 11 на бульваре Мальзерб, в ответ на мой призыв прислал две бочки изюма, сто банок сардин, три мешка риса, два мешка

чечевицы и двадцать голов сахара. От господина де Ротшильда я получила две бочки водки и сто бутылок его собственного вика для выздоравливающих.

Кроме того, меня порадовал совершенно неожиданный подарок. Леони Дюбург, одна из моих подруг по Гран-Шан, прислала пятьдесят жестяных банок, в каждой из которых было по четыре фунта соленого масла. Эта девушка вышла замуж за богатого сельского дворянина, занимавшегося, видимо, хозяйством на своих многочисленных фермах. Я была весьма тронута тем, что она вспомнила обо мне, тем более что мы с ней не виделись с монастырских времен.

К тому же я реквизировала все пальто и домашние туфли своих друзей. Купила две сотни уцененных фланелевых жилетов; а тетя Бетси, которая жила, да и теперь еще живет, в Голландии — она была сестрой моей слепой бабушки, и сейчас ей девяносто три года, — так вот, тетя Бетси отыскала возможность передать мне через очень милого голландского посла триста ночных рубашек из великолепного полотна ее родной страны и сто пар простынь.

Корпию и бинты я получала со всех концов Парижа. Но больше всего доставала я корпии и повязок в Промышленном дворце.

В качестве «командирши» над всеми госпиталями там работала очаровательная женщина по имени Окиньи. Все, что она могла дать, она давала с веселым изяществом, а если ей приходилось отказывать, она делала это с печальным изяществом. Мадемуазель Окиньи было уже за тридцать. Старая дева, она, скорее, была похожа на молодую женщину: большие мечтательные голубые глаза, смеющийся рот, прелестный овал лица, маленькие ямочки на щеках, и над этой грацией, над этой мечтой, над этим кокетливым, многообещающим ротиком — высокий лоб, чем-то напоминающий примитивные изображения святых дев, высокий, немного выпуклый лоб, обрамленный с обеих сторон очень гладкими и очень мягкими волосами, разделенными безупречно прямым и тонким пробором. Лоб этот как бы служил охранительным заслоном ее восхитительному личику.

Мадемуазель Окиньи, окруженная всеобщим поклонением и обожанием, оставалась равнодушной ко всем проявлениям чувств. Она была счастлива тем, что ее любят, но не позволяла говорить себе об этом.

Промышленный дворец был средоточием прославленных врачей и хирургов; и весь его персонал был влюблен в мадемуазель Окиньи, впрочем, не только персонал, а и

выздоравливающие тоже; и так как она прониклась ко мне особой симпатией, то делилась со мной своими соображениями, наблюдениями и печально-равнодушными чувствами к окружающим ее поклонникам. Благодаря ей я никогда не испытывала недостатка в перевязочном материале.

В госпитале у меня было мало обслуживающего персонала. Кухарка моя расположилась в зрительском фойе. Я купила ей огромную плиту, так что она могла варить супы и целебные снадобья на пятьдесят человек. Муж ее был шефом санитаров. Я дала ему двух помощников, а госпожа Герар, госпожа Ламбкен и я были санитарками. Дежурить нам приходилось по двое, то есть две ночи из трех. Но я решила, что лучше уж так, чем брать незнакомых женщин.

Госпожа Ламбкен играла в «Одеоне» дуэний. Лицо у нее было некрасивое и вполне заурядное, да зато отмеченное печатью таланта. Она отличалась громким голосом и несдержанностью в речах. Кошка для нее была кошкой, она не признавала никаких недомолвок и полутонов. Порою она стесняла нас резкостью своих слов и суждений, но была доброй, деятельной, проворной и преданной.

Мои друзья, которые несли службу на оборонительных линиях, приходили в свободные часы помогать мне вести учет, ибо я завела книгу, которую каждый день предъявляла сержанту из Валь-де-Грас[47], являвшемуся узнать, есть ли у меня вновь поступившие, мертвые или те, кто выписывается, уходит.

Правда, Париж был осажден. Далеко уйти было нельзя. Письма больше не поступали. Однако немецкое окружение не запирало город наглухо.

Время от времени появлялся барон Ларрей. А главным хирургом у меня работал доктор Дюшен, который на протяжении пяти месяцев, пока длился этот ужасный, но вполне реальный кошмар, все свои дни и ночи, весь свой талант отдавал уходу за моими несчастными солдатами.

С глубоким волнением вспоминаю я эти страшные часы. Уже не сознание нависшей над родиной опасности держало мои нервы в напряжении, а страдания ее сыновей и дочерей. Тех, кто сражался там; тех, кого приносили к нам искалеченными или умирающими; женщин из народа, долгими часами простаивающих в очередях из-за куска хлеба, мяса или кувшинчика молока, необходимых для пропитания ребятишек; ах, бедные женщины! Я смотрела на них из окон театра. Видела, как они жмутся друг к другу, посинев от холода и притопывая ногами, чтобы не дать им совсем заледенеть, ибо зима выдалась на редкость суровая, самая холодная за последние двадцать лет.

Очень часто ко мне приводили какую-нибудь из этих безмолвных героинь, потерявшую сознание от усталости или получившую кровоизлияние от холода.

Однажды в госпиталь принесли трех несчастных женщин. У одной были отморожены ноги, она потеряла большой палец на правой ноге. У другой, толстой, непомерно огромной, женщины, кормящей матери, груди затвердели и стали как деревянные: она выла от боли. Самая юная, девочка лет шестнадцати — восемнадцати, умерла от холода на носилках, куда я велела ее положить, чтобы доставить домой. В тот день, 24 декабря 1870 года, мороз был пятнадцать градусов.

Нередко я посылала Гийома, нашего санитара, отнести этим женщинам немного водки, чтобы они могли согреться. Ах, каких только страданий не выпало на их долю, на долю отчаявшихся матерей, боязливых сестер, встревоженных невест! Так что их бунтарство в дни Коммуны вполне можно понять и оправдать. И даже их кровавые безумства!

Госпиталь мой был переполнен. У меня было предусмотрено шестьдесят коек, а пришлось добавить еще десять. Солдаты лежали в артистическом и зрительском фойе; офицеры — в зале, где прежде размещался буфет театра.

Как-то ко мне принесли юного бретонца по имени Мари Ле Галлек; одна пуля угодила ему в грудь, другая раздробила запястье. Крепко стянув рану на груди широкой повязкой и закрепив его изуродованную руку на маленьких дощечках, доктор Дюшен прямо так и сказал мне:

— Дайте этому человеку все, что он пожелает, он при смерти.

Я подошла к умирающему:

— Скажите, Мари Ле Галлек, чего бы вам хотелось?

— Супа! — коротко и ясно ответил он.

Герар бросилась на кухню и вскоре вернулась с огромной чашкой жирного бульона и плавающими сверху кусочками поджаренного хлеба. Я поставила чашку на небольшую переносную полочку на четырех ножках, служившую моим раненым во время еды и необычайно удобную из-за этих своих маленьких ножек.

Умирающий пристально смотрел на меня.

— Барра! — говорил он. — Барра!

Я подала ему ложку. Он отрицательно мотнул головой. Тогда я подала ему соль, перец.

— Барра!.. Барра! — твердил он, и его бедная продырявленная грудь свистела от непосильного напряжения, когда он снова и снова решительно повторял свою просьбу.

Я немедленно послала в Морское министерство, где

наверняка должны были находиться бретонские моряки. Объяснила свой печальный затруднительный случай из-за незнания бретонского диалекта. Мне ответили так: *«Барра* — значит *хлеб»* Обрадовавшись, я побежала к Ле Галлеку с толстым куском хлеба. Лицо его просияло, здоровой рукой он взял хлеб и стал откусывать зубами, бросая откусанные куски в чашку.

Затем воткнул в этот странный суп ложку и до тех пор, пока она не встала торчком посреди чашки, пихал туда хлеб. Но вот наконец ложка перестала качаться и замерла, молодой солдат улыбнулся. Он уже приготовился было есть это ужасное месиво, как вдруг молодой кюре из церкви Сен-Сюльпис, приписанный к моему госпиталю, за которым я послала после безотрадных слов доктора, тихонько положил свою руку на его, помешав тем самым ему удовлетворить свое чревоугодие.

— О! — только и сказал бедняга, увидев дароносину, которую показывал ему священник. Затем накрыл своим большим платком дымящийся суп и скрестил руки. Мы поставили вокруг его кровати две ширмы, которыми отгораживали от остальных умирающих или покойников.

Он остался один со священником, а я тем временем обходила раненых, успокаивая насмешников и помогая верующим приподняться для молитвы, затем священник приоткрыл легкую завесу.

Мари Ле Галлек с просветленным лицом ел свою мерзкую похлебку. Затем он заснул и проснулся, чтобы попросить попить, и тут же вскоре умер после небольшого приступа удушья.

К счастью, я потеряла не так много людей из тех трехсот, что прошли через мой госпиталь. Ибо смерть этих несчастных переворачивала мне душу. Но, несмотря на свою молодость — мне было тогда двадцать четыре года, — я вполне осознавала трусость одних и героизм многих других.

Так, один восемнадцатилетний савояр остался без указательного пальца. По словам барона Ларрея, этот парень наверняка сам прострелил себе палец. Однако я не хотела этому верить. Меж тем я замечала, что, несмотря на все старания, палец этот никак не заживает. Незаметно для него я наложила повязку по-особому и на другой же день получила подтверждение тому, что повязку переделывали. Я рассказала об этом случае госпоже Ламбкен, которая дежурила в ту ночь вместе с госпожой Герар.

— Хорошо-хорошо, — ответила она, — я прослежу, спите спокойно, дитя мое, и положитесь на меня.

На другой день, как только я пришла, она рассказала, что застала парня за постыдным занятием, он скреб рану на пальце ножом. Я вызвала савояра и заявила, что собираюсь написать

рапорт в Валь-де-Грас. Он расплакался и поклялся, что не будет больше этого делать.

Через пять дней он выздоровел. Я подписала ему листок об окончании срока лечения, и его направили в войска, оборонявшие столицу. Что с ним сталось?

Другой раненый тоже немало удивил нас. Всякий раз, как рана его начинала затягиваться, у него открывалась страшная дизентерия, мешавшая его выздоровлению. Это показалось подозрительным доктору Дюшену, который просил меня проследить за этим человеком. И через довольно длительное время нам удалось-таки разгадать придуманный раненым хитрый трюк.

Спал он у самой стены, и, следовательно, соседей с одной стороны у него не было. И вот, ночами он соскребал медь со своей кровати и собирал эти медные крошки в маленькую фармацевтическую баночку из-под какой-то мази. Несколько капель воды и зерна крупной соли, смешанные с медной пылью, стали отравой, из-за которой ее изобретатель в один прекрасный день чуть было не поплатился жизнью. Я была возмущена его действиями и написала в Валь-де-Грас, за скверным французом тут же прислали карету «скорой помощи».

Но если не считать этих прискорбных случаев, сколько вокруг истинного героизма!

Однажды ко мне привезли молодого капитана: здоровенного верзилу, настоящего богатыря с прекрасным лицом и открытым взглядом.

В моей книге его записали: капитан Менессон. Его ранило в верхнюю часть руки, у самого плеча. Но когда при помощи санитара я стала осторожно снимать с него шинель, три пули выпали из его капюшона, который он натянул на голову, а в его шинели я насчитала тринадцать дыр от пуль.

Этот молодой офицер простоял целых три часа, вызывая огонь на себя, и, прикрывая отход своих солдат, непрерывно стрелял по врагу. Это происходило в виноградниках Шампиньи.

Его привезли ко мне в санитарной карете без сознания.

Он потерял много крови и был полумертв от слабости и усталости. Кроткий и обаятельный, он уже через два дня, считая себя вполне здоровым, готов был вернуться на поле брани; однако доктора воспротивились этому, а его сестра, монахиня, умоляла его подождать, пока он хоть немного поправится.

— Пускай не совсем, — ласково уговаривала его она, — ровно настолько, чтобы хватило сил идти сражаться.

Вскоре после того, как его привезли к нам в госпиталь, ему пришли вручать орден Почетного легиона. То была волнующая

минута. Несчастные раненые, которые не могли пошевелиться, поворачивали к нему свои изболевшиеся головы и посылали ему братский привет глазами, в которых стояли слезы. Те, кто уже немного окреп, тянули к молодому великану руки.

В тот же вечер, а это было Рождество, я украсила госпиталь большими зелеными гирляндами. Перед моими святыми девами я устроила красивые маленькие часовенки, к нам в гости пришел молодой кюре из церкви Сен-Сюльпис, чтобы вместе с нами отпраздновать наше небогатое, но поэтичное Рождество. Он читал тихие молитвы, а раненые, многие из которых были бретонцами, затянули протяжные, грустные песни, полные очарования.

Порель, ныне директор театра «Водевиль», получил ранение на плато Аврон. Он уже выздоравливал и был моим гостем вместе с двумя офицерами, которые тоже собирались покинуть госпиталь.

Рождественский ужин остался у меня в памяти как один из самых очаровательных и грустных часов моей жизни. Ужинали мы в крохотной комнатенке, служившей нам спальней. Три наши кровати, застеленные тканью и мехами, которые я велела принести из дома, служили нам креслами. Мадемуазель Окиньи прислала мне пять метров кровяной колбасы, и мои бедные солдаты, способные хоть как-то передвигаться, полакомились этим вкусным блюдом. Один из друзей велел испечь для меня двадцать огромных бриошей; сама я заказала большие бокалы с пуншем, радужное пламя которых безумно обрадовало больных взрослых детей. Молодой кюре из церкви Сен-Сюльпис согласился взять маленький кусочек бриоши и, выпив каплю белого вина, ушел.

О, каким он был добрым и милым, этот молодой кюре! Он так ловко умел заставить умолкнуть Фортена, одного несносного раненого, который постепенно смягчался и в конце концов начинал называть его «славным малым». Бедный маленький кюре из церкви Сен-Сюльпис! Его расстреляли коммунары. И я много дней оплакивала маленького кюре из церкви Сен-Сюльпис.

17

Меж тем близился январь. Вражеская армия с каждым днем все теснее сжимала Париж в своем кольце. Продуктов не хватало. Город сковал лютый холод, и бедные солдаты, получив даже легкое ранение, падали и незаметно засыпали вечным сном: их мозг погружался в тяжелую дрему и тело коченело.

Почта не работала. Однако благодаря посланнику Соединенных Штатов, пожелавшему остаться в Париже, время от времени приходило какое-нибудь письмо. Так, я получила крохотный листочек, тонюсенький и мягкий, словно лепесток примулы, где говорилось: «Мы уезжаем в Гаагу. Все здоровы. Мужайся. Целую. — Мама». Это невесомое послание было семнадцатидневной давности.

Итак, мама, сестры, мой маленький мальчик — все они давно уже находились в Гааге, а мои помыслы все это время устремлялись к ним по дороге, ведущей в Гавр, где, как я думала, они преспокойно устроились у одной из кузин моей бабушки по отцу. Где-то они теперь? У кого? В Гааге у меня жили две тетушки, но там ли они сейчас? Мысли мои ни на чем не могли сосредоточиться. С этой минуты я непрестанно страдала, меня снедало мучительное, неотвязное беспокойство.

Я из сил выбивалась, пытаясь раздобыть дрова. Перед своим отлетом на воздушном шаре 9 октября граф де Кератри прислал мне довольно большой запас дров, но он подходил к концу. Поэтому я не разрешала брать то немногое, что оставалось в подвалах, чтобы в случае крайней необходимости не оказаться застигнутой врасплох.

Я сожгла все маленькие скамеечки «Одеона», все деревянные ящики из-под аксессуаров, немало старых римских скамей, обветшалых кресел, сваленных внизу, — словом, что попадалось под руку.

Наконец, сжалившись над моим отчаянным положением, мадемуазель Окиньи прислала мне десять тысяч килограммов дров. Я воспрянула духом.

В ту пору много было разговоров о мясе, законсервированном по новому методу, это мясо сохраняло будто бы и кровь, и все свои питательные качества. Я отправила госпожу Герар в мэрию квартала, где находился «Одеон», там выдавали все припасы; но какой-то грубиян ответил ей, что продукты мне дадут только после того, как я уберу из госпиталя все свои ханжеские штучки.

И в самом деле, ко мне в госпиталь явился как-то мэр, господин Эриссон, вместе с высокопоставленным чиновником.

Важное лицо просило меня убрать красивые белые фигурки Богоматери, расставленные на каминах и консолях, а также снять божественные распятия, висевшие в помещениях, где лежали раненые. В ответ на мой несколько дерзкий и очень решительный отказ выполнить волю посетителей знаменитый республиканец повернулся ко мне спиной и отдал приказ ничего не выдавать мне в мэрии.

Но я была упряма. Перевернув небо и землю, я добилась-таки, несмотря на строгое предписание, чтобы меня не исключали из списков при распределении довольствия. Правда, справедливости ради следует сказать, что мэр был очаровательным человеком.

Поэтому после третьего визита в мэрию Герар вернулась оттуда вместе с мальчиком, толкавшим ручную тележку с десятком огромнейших банок, заключавших в себе чудодейственное мясо. Этот драгоценный дар пришелся весьма кстати и доставил мне величайшую радость, так как мои воины три дня уже не видели мяса, а для бедных раненых питание — первое дело.

На этикетках подробнейшим образом описывалось, как именно следует открывать банки: «Положите вымачивать мясо на столько-то часов» — и т. д. и т. д.

……..

Госпожа Ламбкен, госпожа Герар, я и весь остальной персонал госпиталя собрались вокруг стеклянных сосудов, снедаемые тревогой и любопытством.

Я поручила старшему санитару открыть самый большой из этих сосудов, в котором сквозь толщу стекла можно было разглядеть огромный кусок мяса, плававший в густой и мутной жидкости. Разрезали веревочку, с помощью которой держалась плотная бумага, скрывавшая пробку, но в тот момент, когда санитар собрался воткнуть в нее штопор, раздался оглушительный взрыв, и комнату наполнил зловонный дух. Все в ужасе разбежались.

Я позвала назад перепуганных людей и показала им такую надпись: «При вскрытии банки пусть вас не беспокоит скверный запах». Исполненные отваги и смирения, мы снова принялись за дело, хотя нас и подташнивало из-за отвратительного зловония.

Я вытащила мясо и положила его на большое блюдо, принесенное для этой цели. Через пять минут мясо посинело, потом почернело, при этом вонь стояла невыносимая, так что я решила его выбросить. Но госпожа Ламбкен, гораздо более осмотрительная и рассудительная, чем я, заявила:

— Нет и нет, моя милая! Время сейчас не такое, чтобы можно было себе позволить выбросить мясо, пускай даже и протухшее.

Положим его лучше обратно в банку и отошлем в мэрию.

Я последовала ее мудрому совету, и хорошо сделала, ибо персонал частной санитарной службы, расположенной на бульваре Медичи, испытав такой же точно ужас при вскрытии банок, выбросил их содержимое на улицу. А через несколько минут разъяренная толпа, не желавшая слушать никаких доводов, стала поносить «аристократишек», «попов» и «шпионов», которые выбрасывают-де на улицу хорошее мясо, предназначенное больным, в результате им лакомятся собаки, а народ тем временем подыхает с голода… и т. д. и т. д.

С большим трудом удалось остановить несчастных безумцев и помешать им ворваться в помещение, где размещалась санитарная часть. Рискнувшую выйти оттуда бедную санитарку избили, обругали и в конце концов бросили полумертвую после побоев. Она не захотела возвращаться в собственную санитарную часть, и аптекарь попросил меня взять ее к себе. На несколько дней я приютила ее в ложе второго яруса, а когда она окончательно пришла в себя, то попросилась ко мне санитаркой. Я пошла ей навстречу и оставила ее в качестве второй горничной.

Эта белокурая девушка, такая кроткая и застенчивая, словно притягивала к себе беду; ее нашли мертвой на кладбище Пер-Лашез после отчаянной схватки коммунаров с преследовавшими их версальцами. Шальная пуля угодила ей в голову, когда она молилась на могиле своей младшей сестренки, которая за два дня до этого умерла от оспы.

Я брала ее с собой в Сен-Жермен, где укрывалась во время ужасов Коммуны. И долго не соглашалась отпускать ее в Париж, но потом все-таки уступила ее настоятельным просьбам. Бедняжка!

Рассчитывать на консервированное мясо больше не приходилось, и я заключила контракт с одним человеком, который поставлял мне по довольно высокой цене конину; это было единственное мясо, которым мы питались до самого конца. Хорошо приготовленное, да еще с приправами, оно оказалось очень вкусным.

Никто уже ни на что не надеялся. Все жили ожиданием неведомо чего. Даже свинцовые небеса и те, похоже, сулили одно несчастье. И когда 27 декабря начался обстрел, все почувствовали облегчение.

Наконец хоть что-то произошло! Близилось время новых страданий. Поползли разные слухи, зато в последние две недели мы томились полной неизвестностью.

1 января 1871 года мы подняли стаканы за здоровье отсутствующих и за упокой погибших, хотя тост буквально

застрял у нас в горле, сжимавшемся от волнения.

Каждую ночь мы слышали под окнами «Одеона» зловещий крик: «Госпиталь! Госпиталь!» И мы спускались встречать скорбный обоз.

Одна, две, а то и целых три повозки следовали друг за другом, наполненные бедными ранеными солдатами. Их было десять или двенадцать, сидевших или лежавших в ряд на соломе.

Я говорила, что у меня есть одно или два места, и, подняв фонарь, заглядывала в повозку; головы медленно поворачивались на свет. Некоторые закрывали глаза, не в силах вынести даже этот слабенький луч.

С помощью сержанта, сопровождавшего обычно повозку, и нашего санитара мы с трудом спускали на узеньких носилках одного из этих несчастных, чтобы затем отнести его в госпиталь.

О, сердце мое сжималось в тревоге, когда, поддерживая голову раненого, я вдруг замечала, что она становится очень тяжелой… невыносимо тяжелой!.. Склонившись над этой безжизненной головой, я не могла уловить дыхания… Тогда сержант давал указание двигаться назад, и несчастный покойник водворялся на прежнее свое место в повозке, а вместо него спускали другого раненого. Остальные отодвигались немного, чтобы не оскорблять своим присутствием усопшего.

Велико было мое горе, когда сержант говорил мне:

— Прошу вас, попытайтесь пристроить еще одного или двоих. Такая жалость — возить этих бедолаг из госпиталя в госпиталь; Валь-де-Грас переполнен.

— Хорошо, мы возьмем еще двоих.

И я в отчаянии спрашивала себя, где их положить?.. Нередко мы отдавали свои кровати, чтобы спасти этих бедняг.

Дело в том, что начиная с 1 января мы все трое постоянно спали в госпитале. У нас были просторные халаты из серого мольтона, похожие немного на солдатские шинели. Первый, кого будил чей-то зов или стон, соскакивал с кровати и, если возникала необходимость, звал на помощь остальных.

Ночью 10 января мы с Герар, сидя на банкетках артистического фойе, дожидались горестного крика: «Госпиталь!» В Кламаре шла жестокая битва, и мы знали, что будет много раненых.

Я поделилась с Герар своими опасениями, мне было страшно, как бы снаряды, причинившие уже ущерб музею, Сорбонне, Сальпетриер, Валь-де-Грас и т. д., и т. д., не угодили теперь в «Одеон».

— Ах, милая Сара, — молвила эта добрейшей души женщина, — флаг с красным крестом развевается так высоко, что

его нельзя не заметить. Если уж только они сделают это нарочно, но в таком случае это будет самой настоящей подлостью.

— Но, дорогая Герар, почему ты думаешь, что эти ненавистные враги лучше нас? Разве в 1806 году в Берлине мы не поступали как варвары?

— Да, но Париж славится своими прекрасными архитектурными памятниками…

— А Москва? Разве там было мало шедевров? К тому же Кремль — один из величайших мировых памятников архитектуры! Однако это не помешало нам разграбить красивейший город… Нет, «моя милочка», не стоит обольщаться: армия есть армия, будь то русская, немецкая, французская или испанская, какая разница? Входящие в нее отдельные люди образуют безликое «целое», свирепое и безответственное «целое»! Немцы закидали бы снарядами весь Париж, если бы представилась такая возможность. Бедная моя Герар, ничего не поделаешь, приходится с этим мириться…

Едва я успела сказать эти слова, как чудовищный взрыв разбудил погрузившийся в сон квартал. Мы с Герар сидели друг против друга, а тут вдруг очутились посреди комнаты, с испугом прижавшись друг к другу. Бедная моя кухарка с побелевшим от страха лицом прибежала искать спасения ко мне.

Удары следовали один за другим. В тот вечер обстрел начался с нашей стороны. Я пошла к раненым. Никто из них не шелохнулся. Только один, мальчик пятнадцати лет, которого мы прозвали «розовым младенцем», сел на своей кровати. Когда я подошла к нему, чтобы успокоить, он показал мне ладанку с изображением Пресвятой Богоматери:

— Только благодаря ей я уцелел. Если бы подступы к Парижу охранялись иконами Пресвятой Богоматери, снаряды не причинили бы никакого вреда.

И он снова лег, сжимая в руке свою маленькую ладанку.

Обстрел продолжался до шести часов утра..

— Госпиталь! Госпиталь!

Мы с Герар спустились.

— Послушайте, — попросил сержант, — возьмите этого человека, он потерял много крови, дальше мне его уже никуда не довезти.

Раненого перенесли на носилках, но, так как это был немец, я попросила унтер-офицера взять у него все документы и отнести в министерство. Солдат занял место одного выздоравливающего, которого я оттуда перевела. Я спросила, как его зовут.

— Франц Майер, первый солдат силезского ландвера[48], — молвил он и потерял сознание, обессиленный потерей большого

количества крови.

После того как ему оказали первую помощь и он пришел в себя, я спросила, не надо ли ему чего, но он не ответил ни слова. Я подумала, что человек этот не говорит по-французски, а так как у нас в госпитале никто не знал немецкого, я решила позвать кого-нибудь, кто говорит на этом языке, завтра.

Должна признаться, товарищи по палате довольно скверно встретили этого беднягу: один солдат по имени Фортен, лет двадцати трех, что называется, истинное дитя Парижа, сущий дьявол, но смешной и добродушный, не переставая, поносил молодого немца; но тот и глазом не моргнул. Несколько раз подходила я к Фортену, умоляя его замолчать, — никакого толка. Довольный тем, что каждая новая его насмешка вызывает неудержимый хохот окружающих, он совсем разошелся и не давал спать другим, ворочаясь непрерывно в своей постели и громко ругаясь всякий раз, как резкое движение обостряло его боль, ибо у этого несчастного был вырван седалищный нерв и он испытывал страшные муки.

После третьей безуспешной попытки заставить его замолчать я велела двум санитарам отнести его в другую комнату и оставить там одного. Он попросил позвать меня и обещал вести себя ночью тихо. Я отменила свое приказание, и он сдержал слово. Но на другой день я перевела Франца Майера в комнату, где лежал юный бретонец: осколком снаряда ему размозжило череп, и он нуждался в полнейшем покое.

Один из моих друзей, прекрасно говоривший по-немецки, пришел узнать у силезца, не надо ли ему чего. При звуках родной речи лицо раненого посветлело.

— Мадам, я хорошо знаю французский, — сказал он, обращаясь ко мне, — и если я спокойно выслушивал все, что говорил ваш солдат, то это потому, что мне прекрасно известно: вам и двух дней не продержаться, и я вполне понимаю его отчаяние.

— А почему вы думаете, что нам не продержаться?

— Потому что, я знаю, вам приходится есть крыс.

Доктор Дюшен пришел как раз перевязывать раненого, у которого на верхней части ноги зияла страшенная рана.

— Ну что ж, мой друг, — молвил он, — как только у вас спадет температура, вы отведаете великолепное куриное крылышко.

Немец пожал плечами.

— А пока выпейте вот это, надеюсь, вам понравится.

И он протянул ему стакан воды, разбавленной превосходным коньяком, присланным мне префектом. Впрочем, то было

единственное снадобье, которым я поила своих солдат.

Силезец не произнес более ни слова. Однако вид его говорил сам за себя: мол, знаю, да не скажу.

Между тем нас продолжали обстреливать. Флаг с красным крестом служил, видимо, врагам мишенью, ибо они стреляли с поразительной меткостью и спешили поправить наводку, как только какой-нибудь снаряд отклонялся чуть-чуть в сторону от Люксембургского сада. Так, за одну ночь на нашу долю досталось двенадцать снарядов. Разрываясь в воздухе, эти зловещие ядра поначалу напоминали праздничный фейерверк. И только потом их сверкающие осколки, чернея на лету, сеяли смерть.

Жорж Буайе, тогда еще молодой журналист, пришел как-то навестить меня в госпиталь, и я рассказала ему об устрашающих красотах ночи.

— О, как бы мне хотелось увидеть это! — сказал он.

— Приходите сегодня вечером часам к девяти-десяти, вот и увидите.

Несколько часов провели мы у маленького круглого окошечка моей гримерной, глядевшего на Шатийон. Немцы стреляли чаще всего с той стороны.

В молчании ночи прислушивались мы к доносившимся оттуда глухим шумам; но вот вспыхнул свет, потом раздался чудовищный грохот, и в нас полетели снаряды, падавшие то спереди, то сзади, разрываясь у цели или в небесах.

Один раз мы едва успели отскочить, и все равно взрывная волна ударила с такой силой, что на какой-то миг создалось впечатление, будто нас задело. Снаряд угодил как раз под окно моей гримерной и оторвал карниз, который упал вместе с ним на землю, откуда послышался слабый взрыв.

Каково же было мое удивление, когда я увидела стайку ребятишек, набросившихся на раскаленные осколки, они напомнили мне воробьев, клюющих свежий лошадиный навоз, оставшийся после проехавшего мимо экипажа. Маленькие бродяги отнимали друг у друга эти осколки.

Я никак не могла понять, зачем они им нужны.

— Не мучьте себя понапрасну, — сказал Буайе, — эти маленькие голодранцы наверняка хотят продать их.

И это оказалось правдой. Санитар, отправленный мною на разведку, привел мне одного мальчишку лет десяти.

— Что ты собираешься с этим делать, дружок? — спросила я, взяв у него из рук еще не остывший, таящий опасность в своих острых зазубринах кусок снаряда.

— Хочу продать!

— Зачем?

— Чтобы купить место в очереди за мясом!

— Но ты рискуешь жизнью, бедный малыш. Снаряды иногда летят один за другим без всякого перерыва. Где ты был, когда упал этот снаряд?

— Лежал на краю каменного парапета, на котором держится ограда.

И он показал на Люксембургский сад, расположенный напротив «Одеона» со стороны артистического входа.

Мы купили у этого мальчика все его осколки, не решившись, однако, дать ему напрашивающийся сам собой совет. Да и зачем призывать к благоразумию это маленькое существо, которое только и слышит что об убийствах, о пожарах, о мести и жестокой расплате — и все это во имя чести, во имя веры и правды! И потом, все равно ведь не убережешься! Те, кто жил в предместье Сен-Жермен, обречены были на истребление, ибо, по счастью, враги могли обстреливать Париж только с одной стороны, да и то не везде. Так что наш квартал оказался самым опасным.

Однажды барон Ларрей пришел взглянуть на Франца Майера, находившегося в очень тяжелом состоянии, и выписал рецепт, который маленькому подручному санитара велено было спешно отнести аптекарю. И так как мальчик был большой любитель шататься и ротозейничать, я встала у окна и крикнула:

— Тото!

Его звали Виктор.

Аптека находилась на углу площади Медичи. Было шесть часов вечера. Тото поднял голову и, увидев меня, со смехом припустился вприпрыжку к аптеке. Ему оставалось всего каких-нибудь четыре-пять метров, он обернулся, чтобы взглянуть на мое окно, и я захлопала в ладоши, крикнув ему:

— Молодец! Возвращайся скорее!

Увы! Бедный малыш! Не успел он открыть рот, чтобы ответить, как его разрезало пополам снарядом, который, только что упав и не разорвавшись, подскочил вверх примерно на метр и ударил мальчика прямо в грудь.

Я так закричала, что все мои мигом сбежались. Но я не могла вымолвить ни слова. Растолкав всех, я скатилась по лестнице вниз, жестом призывая их следовать за мной и с трудом выдавливая из себя слова: «…носилки… малыш… аптека…»

Ужас! Ужас! Когда мы подбежали к ребенку, то увидели, что его внутренности раскиданы по земле, а с груди и маленького пухленького личика содрано все мясо, не осталось ни глаз, ни носа, ни губ — ничего, ничего, одни только волосы на окровавленном лоскуте кожи на расстоянии метра от головы. Казалось, две тигриные лапы распороли ему живот и в ярости, с

изощренной жестокостью содрали кожу, оставив этот несчастный, маленький скелетик.

Даже барон, человек на редкость мужественный, слегка побледнел, увидев такую картину. Разумеется, ему доводилось видеть кое-что и похуже, но ведь этот несчастный малыш был никому не нужным жертвоприношением.

Ах, жестокая несправедливость войны! Гнусность войны! Неужели нам так и не суждено дожить до того момента, о котором все мечтают, до того времени, когда не будет войн! Когда любой монарх, задумавший развязать войну, будет немедленно свергнут и брошен в тюрьму как злодей! Неужели нам так и не суждено дожить до того времени, когда образуется всемирное сообщество, где народ каждой страны будет представлять мудрец и где будут обсуждать и уважать права человека!

Столько на свете людей думают так же, как я! Столько женщин говорят моими словами! И все бесполезно. До сих пор из-за малодушия какого-нибудь восточного деспота или же скверного настроения некоего государя сотни тысяч людей могут внезапно стать врагами и сойтись в смертельной схватке! А есть ведь такие ученые люди — химики например, — которые проводят свою жизнь в мечтах и поисках и находят в конце концов всесокрушающий порох, снаряды, способные ранить двадцать, тридцать человек, ружья, выпускающие пули, которые готовы выполнять свою смертоносную задачу до тех пор, пока сами не упадут на землю опустошенные, поразив предварительно человек десять — двенадцать.

Я знала одного исследователя воздухоплавания, которого очень любила, ибо исследовать направление полета воздушных шаров — это, на мой взгляд, означает стремиться воплотить в жизнь мечту: лететь вместе с ветром, приближаться к небесам, стремиться вперед, не ведая пути и не оставляя за собой следа, видеть над головой небесный эфир, а под ногами — влажную вату облаков…

Ах, с каким интересом следила я за исследованиями моего друга! Но вот однажды, весь сияя — ну как же, новое открытие! — он пришел ко мне:

— Ах, я такое открыл, что совсем обезумел от радости!

И он начал объяснять мне, что его воздушный шар без всякого риска сможет перевозить легко воспламеняющиеся вещества… потому что… так как… благодаря тому… благодаря сему…

— Но зачем все это? — спросила я, ошеломленная таким количеством технических терминов.

— Как это зачем? В военных целях! Можно будет стрелять и сбрасывать страшные бомбы на расстоянии тысячи или ста двадцати тысяч… впрочем, может быть, и ста пятидесяти тысяч метров; зато ответного удара на таком расстоянии опасаться нечего. Благодаря особой смазке (моего изобретения), которой будет пропитана ткань, моему шару огонь не страшен! Ни огонь, ни газ!

Тут я сразу прервала его:

— Не желаю больше ничего знать ни о вас, ни о вашем изобретении. Я считала вас гуманным ученым, а вы попросту дикий зверь! Вы вели исследования в той области науки, которая является самым прекрасным выражением человеческого гения и тех небесных радостей, к которым я приобщилась и которые успела так полюбить, теперь же вы хотите запятнать все это подлыми атаками на землю! Вы мне отвратительны! Ступайте прочь!

Так я выставила своего бессовестного друга вместе с его жестоким изобретением. Однако усилия его оказались тщетны: ему не удалось осуществить свои мечтания.

Останки бедного мальчугана положили в совсем крохотный гробик. И мы с госпожой Герар двинулись поутру за катафалком для бедняков; было так холодно, что возчику пришлось остановиться и выпить стакан горячего вина, иначе этого несчастного хватил бы удар.

Мы были совсем одни. Мальчика растила бабушка, безногая калека, зарабатывавшая на пропитание вязаными фуфайками и шерстяными чулками. Делая заказ на вязаные вещи для моих солдат, я и познакомилась с матушкой Вязальщицей, как ее называли, и ее внуком, Виктором Дюрьё. По ее просьбе я взяла мальчика посыльным, и бедная старушка до того была мне признательна, что я не осмелилась пойти к ней сама, чтобы сообщить о гибели малыша.

На улицу Вожирар, где жила старушка, отправилась госпожа Герар. Не успела она войти, как та по горестному выражению ее лица сразу поняла, что случилось несчастье.

— Боже мой, неужели молодая худенькая дама (это обо мне) умерла?

Госпожа Герар как можно осторожнее сообщила ей печальную весть. Но старушка, сняв очки, взглянула на гостью, потом, протерев их, снова надела на нос и принялась бранить своего сына, отца погибшего малыша, прижившего этого мальчика с какой-то нищенкой: она так и знала, что несчастье непременно обрушится на них… Говорила она без умолку, однако не сожалела о бедном малыше, а все время поносила своего сына,

солдата луарской армии.

Большой печали эта бабушка, видимо, не испытывала, но я все-таки зашла к ней после похорон.

— Все кончено, госпожа Дюрьё. Но я арендовала для крошки место на кладбище на пять лет.

Она обернулась и до смешного сердито сказала:

— Это чистое безумие! Теперь, когда Господь Бог прибрал его к себе, ему уже ничего не нужно! Лучше бы купили мне клочок земли, все-таки была бы польза! Мертвые-то овощей не растят!

В упреке этом была своя страшная логика, так что, несмотря на всю его неслыханную резкость, я исполнила желание матушки Вязальщицы и сделала ей такой же точно подарок, что и мальчику. Каждый получил свой клочок земли: малыш, у которого было право на жизнь, — чтобы спать там вечным сном, а старуха — чтобы спорить с подстерегавшей ее смертью, отстаивая остаток своей жизни.

В госпиталь я вернулась опечаленная и расстроенная. Между тем меня ожидала там радость: один друг протянул мне совсем маленький, просто крохотный листочек тонкой бумаги. На нем рукой моей матери были написаны две строчки: «Все мы живы, здоровы и находимся в Гомберге».

Я подскочила в ярости. В Гомберге! Все мое семейство находится в Гомберге! Преспокойно устроившись у врага! Я ломала себе голову, пытаясь понять, в результате какой хитроумной комбинации матушка очутилась в Гомберге. Я знала, что у моей красивой тетушки Розины была там подруга, у которой она останавливалась каждый год, так как ежегодно два месяца она проводила в Гомберге, два — в Баден Бадене и один месяц — в Спа, ибо больше всего на свете моя тетушка любила играть. Ну да ладно! Все, кто был мне дорог, живы-здоровы! Это главное. И все-таки я сердилась на матушку за то, что она поехала в Гомберг.

Я горячо поблагодарила друга, который принес мне этот маленький листок, присланный американским посланником, всеми силами старавшимся помочь парижанам и поддержать их. Затем я вручила ему записочку для матери на тот случай, если представится возможность переправить ее.

Обстрел Парижа продолжался. Однажды ночью братья из христианской школы пришли просить помощи: им не хватало рук и повозок, чтобы подобрать убитых на Шатийонском плато. Я дала две повозки и решила сама поехать вместе с ними на поле боя.

Что за ужасное, поистине дантовское воспоминание! Ночь

была пронзительно-холодной. Мы продвигались с трудом. Наконец свет факелов и фонарей указал нам, что мы добрались до места. Я вышла вместе с санитаром и его помощником. В руках у меня был фонарь. Идти приходилось медленно, ибо на каждом шагу мы натыкались на умирающих или мертвецов. «Госпиталь! Госпиталь!» — шептали мы на ходу. В ответ слышался стон, и мы направлялись в ту сторону.

Ах, первый, кого я обнаружила таким образом! Он полулежал, прислонившись к груде мертвых тел. Я поднесла к его лицу фонарь. Ему оторвало ухо и половину челюсти. Крупные сгустки застывшей на холоде крови свисали с нижней челюсти. Взгляд у него был безумный. Подобрав соломинку, я окунула ее конец во фляжку и всосала несколько капель водки, которые затем выдула сквозь зубы бедного мальчика. Три или четыре раза я проделывала эту операцию. Он немного пришел в себя, и мы отнесли его в одну из повозок. Точно так же мы поступили и с другими. Некоторые пили прямо из фляжки, это упрощало дело.

На одного из этих несчастных страшно было смотреть: осколком снаряда полностью сорвало одежду с верхней части его тела; только на руках остались рукава, оторванные у плеча. И никаких следов ранения. Его жалкий обнаженный торс был усеян большими черными пятнами, да из уголков губ медленно стекала кровь. Мне показалось, что он дышит, и я подошла к нему. Я дала ему сердечных капель. «Спасибо», — молвил он, приоткрыв глаза. Мы перенесли его в повозку, где бедняга скончался от кровоизлияния, залив других раненых волной черной крови. Мало-помалу светало. Занимался день, пасмурный и унылый. Фонари гасли один за другим, и мы уже стали различать друг друга. Нас там собралось около сотни: сестрички милосердия, военные и гражданские санитары, братья из христианских школ, другие священнослужители и несколько дам, которые вроде меня отдавали все свои силы, все свое сердце на службу раненым. При свете дня открывшееся нам зрелище выглядело еще более мрачно, ибо то, что скрывала под своим покровом ночная мгла, проявилось теперь при мертвенном свете позднего январского утра.

Раненых было столько, что вывезти их всех представлялось невозможным, и я рыдала от собственного бессилия. Меж тем прибывали другие повозки, но раненым не было числа!.. Многие из них, даже легкораненые, погибли от холода.

Вернувшись в госпиталь, я застала у дверей одного из своих друзей, он привез ко мне моряка, раненного в форте Иври. Пуля угодила ему под правый глаз. Его записали под именем Дезире Блоа, двадцати семи лет. Это был отличный парень с открытым

взглядом, немногословный.

Когда его уложили в постель, доктор Дюшен послал за цирюльником, чтобы побрить его, ибо пуля, разворошив его широкие, густые бакенбарды, застряла в слюнной железе, а вместе с ней попали и волосы с мясом. Хирург попытался вытащить из раны своими щипцами кусочки мяса, закрывавшие отверстие; затем понадобились тончайшие щипчики, чтобы извлечь волосы, смешавшиеся со всем остальным. Когда цирюльник осторожно провел бритвой вокруг раны, несчастный позеленел, с губ его сорвалось проклятье, но, скосив глаза в мою сторону, он тут же извинился:

— Прошу прощения, мадемуазель.

Я была очень молода, но казалась еще моложе своего возраста и была похожа на юную девушку.

В своей руке я держала руку несчастного моряка и старалась утешить его множеством ласковых слов, которые идут у женщин от самого сердца, когда им надо усмирить чью-то боль, моральную или физическую.

— Ах, мадемуазель, — сказал мне бедный Блоа после того, как окончилась перевязка, — мадемуазель, вы придали мне мужества.

Когда он успокоился немного, я спросила, не хочет ли он поесть.

— Хочу, — ответил он.

— Прекрасно, — воскликнула госпожа Ламбкен, — а чего вам больше хочется: супа, сыра или варенья?

И здоровенный детина с улыбкой объявил:

— Варенья.

Дезире Блоа часто рассказывал мне о своей матери, которая жила под Брестом. Мать он поистине обожал, зато на отца, похоже, затаил ужасную обиду, потому что, когда однажды я спросила, жив ли его отец, он поднял глаза и с каким-то отчаянным вызовом и скорбным презрением отважно устремил их на одному ему видимое существо. Увы, этого славного малого ждал жестокий конец, позже я расскажу какой.

Осадные страдания начали потихоньку подтачивать дух парижан. Установили хлебный паек: 300 граммов для взрослых, 150 граммов для детей.

При этом известии глухая ярость овладела народом. Женщины хранили мужественное спокойствие, а мужчины озлобились. То и дело вспыхивали ссоры, становившиеся все острее; одни стремились к войне до победного конца, другие — к миру.

Однажды, когда я вошла в комнату Франца Майера и принесла ему еду, он разъярился до смешного, бросив свою курицу на пол и заявив, что не желает больше ничего есть, совсем ничего, так как его обманули, сказав, что парижане сдадутся, не протянув и двух дней, а вот уже семнадцать дней, как он в госпитале, и ему все еще дают курицу.

Он не знал, бедняга, что в самом начале осады я купила сорок кур и шесть гусей, которых держала в своей туалетной комнате на Римской улице. О, моя туалетная комната выглядела прекрасно!.. Но Францу я внушала, что в Париже полно кур, уток, гусей и прочей двуногой живности.

Между тем обстрел продолжался. И однажды ночью мне пришлось перенести всех больных в подвалы «Одеона», ибо в тот момент, когда госпожа Герар помогала одному раненому лечь в постель, на эту самую постель, между ней и офицером, упал снаряд. Я до сих пор содрогаюсь при мысли о том, что тремя минутами позже несчастного человека, улегшегося на кровать, убило бы, хотя снаряд и не разорвался.

Однако мы не могли долго оставаться в подвалах. Поднималась вода, да и крысы нас изрядно мучили. Поэтому я решила перевести госпиталь в другое место, а самых тяжелых отправила в Валь-де-Грас. У себя я оставила человек двадцать выздоравливающих. Чтобы устроить их, я сняла огромную пустующую квартиру на улице Тебу, 58. И там дождалась перемирия. Меня одолевала смертельная тревога. От своих я уже давно не получала никаких вестей. Я перестала спать. От меня осталась одна тень.

Жюлю Фавру[49] было поручено вести переговоры с Бисмарком. Ах, эти два дня предварительных переговоров были для осажденных самыми тревожными. Ходили невероятные слухи о безумных, непомерных требованиях немцев, которые не проявляли особой нежности к побежденным. Потом наступил момент всеобщего замешательства: стало известно, что придется выплачивать двести миллионов, причем сразу, немедленно, а финансовые дела находились в таком плачевном состоянии, что мы содрогались при мысли, что не удастся собрать эти двести миллионов.

Барон Альфонс де Ротшильд, запертый в Париже вместе с женой и братьями, поставил свою подпись в виде гарантии на эти двести миллионов. Этот благородный жест был очень скоро забыт. Находятся даже такие, кто вовсе отрицает его. Ах, сколь унизительна для цивилизованного человечества неблагодарность толпы! Ибо неблагодарность — это зло белых народов, как говорил один краснокожий, и он был прав.

Когда мы в Париже узнали, что подписано перемирие на двадцать дней, нами овладела ужасающая печаль, всеми без исключения, даже теми, кто страстно желал мира.

Каждый парижанин почувствовал на своей щеке длань победителя. То было несмываемое пятно, пощечина, полученная в результате мерзкого договора о мире. Ах, это тридцать первое января 1871 года, я его как сейчас помню: обессиленная выпавшими на нашу долю лишениями, истерзанная горем, измученная беспокойством об участи родных, я вместе с госпожой Герар и двумя друзьями направлялась к парку Монсо. Внезапно один из моих друзей, господин де Планси, побледнел как смерть. Я проследила за его взглядом: мимо проходил солдат. Он был без оружия. Затем прошли еще двое. Тоже без оружия. Они были страшно бледны, эти несчастные, безоружные солдаты, эти униженные герои; и такое страдание проглядывало в их унылой походке, в обращенных на женщин взглядах, такое жалкое, трогательное «Это не моя вина…», что я разразилась рыданиями и решила тотчас вернуться домой. Мне не хотелось встречаться с безоружными французскими солдатами. Я собиралась как можно скорее уехать на поиски своей семьи.

С помощью Поля Ремюза я добилась, чтобы меня принял господин Тьер, у которого я попросила пропуск. Но ехать одной было нельзя. Я прекрасно знала, что путешествие, которое я собиралась предпринять, будет очень опасным. Господин Тьер и Поль Ремюза предупредили меня об этом; к тому же я предвидела неизбежные неудобства в пути и тесноту.

Поэтому я отказалась взять с собой слугу и решила пригласить подругу. Конечно, я тут же побежала к Герар; однако ее муж, обычно такой кроткий, наотрез отказался отпустить ее со мной. Он считал это путешествие безрассудным и крайне опасным. Оно и в самом деле было безрассудным. И опасным тоже.

Я не настаивала. Я послала за молодой учительницей моего сына, мадемуазель Субиз, и спросила ее, не хочет ли она поехать со мной. Я не утаила от нее всей опасности этого путешествия. Она подпрыгнула от радости и готова была отправиться в путь через двенадцать часов.

Ныне эта девушка стала женой майора Монфис-Шено. И — жизнь полна неожиданностей! — учит двух дочек моего сына, своего бывшего ученика.

Мадемуазель Субиз была тогда совсем юной девушкой, похожей на креолку, с очень красивыми черными глазами, нежными и робкими, и детским голоском. Но ее юная головка полна была мечтаний о приключениях и романах. По виду нас

можно было принять за двух девчонок, ибо, хотя я была и старше этой девушки, из-за своей худобы и выражения лица выглядела моложе ее.

Брать с собой чемодан было бы сущим безумием. И я взяла одну сумку на двоих. В ней не было ничего, кроме смены белья и чулок. Кроме того, я захватила свой револьвер и предложила точно такой же мадемуазель Субиз, но она с ужасом отказалась и показала мне ножницы в огромном футляре.

— Но что вы собираетесь ими делать?

— Убить себя, — кротко ответила она. — Если на нас нападут, я убью себя.

Меня поразила разница наших характеров: я брала револьвер и готова была убить кого угодно, защищая себя; она же готова была убить самое себя в целях самозащиты.

18

4 февраля мы наконец отправились в путешествие, которое должно было длиться три дня, а продлилось одиннадцать дней. Первый же пост, через который я хотела выехать из Парижа, грубо отправил меня обратно.

Оказывается, разрешение на выезд следовало визировать на немецких сторожевых постах. Я направилась к другому выходу, но только в Пуассонье мне удалось поставить визу на моем паспорте-пропуске.

Нас направили в маленький сарай, переоборудованный в контору. Там сидел прусский генерал. Он уставился на меня.

— Это вы Сара Бернар?

— Да.

— А эта девушка с вами?..

— Да.

— Вы собираетесь добраться без особых затруднений?

— Я на это надеюсь.

— Вы ошибаетесь. Лучше будет, если вы вернетесь в Париж.

— Нет, я хочу уехать. Пусть будет что будет, но я хочу уехать.

Пожав плечами, он вызвал офицера, сказал ему что-то по-немецки и вышел, оставив нас одних и без паспортов.

Мы пробыли там с четверть часа, как вдруг до слуха моего донесся знакомый голос: то был один из моих друзей, Рене Гриффон, который, узнав о моем отъезде, хотел во что бы то ни стало отговорить меня. Но все было напрасно: я твердо решила ехать.

Через некоторое время вернулся генерал. Гриффон с беспокойством спросил, что нам может грозить?

— Все! — заявил в ответ офицер. — Все самое худшее!

Гриффон говорил по-немецки и решил выяснить у этого офицера, что нас ожидает; я немного рассердилась, ибо, не понимая смысла слов, вообразила, будто он уговаривает генерала помешать нашему отъезду. Но я не поддалась ни на просьбы, ни на мольбы и даже на угрозы.

Через несколько минут экипаж с прекрасной упряжкой остановился у двери сарая.

— Вот, — резким голосом произнес немецкий офицер. — Я приказал доставить вас в Гонесс, там вы найдете дополнительный поезд, который отходит через час. Я поручаю вас начальнику вокзала, майору Х…..А дальше — храни вас Бог!

Попрощавшись со своим отчаявшимся другом, я села в генеральский экипаж.

Мы прибыли в Гонесс и вышли у вокзала, там стояла небольшая группа людей, разговаривавших вполголоса. Кучер отдал мне честь и отказавшись взять то, что я хотела ему дать, помчался во весь опор.

Я направилась к группе, раздумывая, к кому бы обратиться, и вдруг услышала голос друга:

— Как, и вы здесь? Куда же вы едете?

Это был Вилларе, модный тенор из «Оперы», который ехал, как мне кажется, к своей жене, уже пять месяцев он не имел о ней никаких известий.

Вилларе представил мне одного из своих друзей, путешествовавшего вместе с ним, имя которого я не помню, затем сына генерала Пелиссье и очень старого человека, такого бледного, такого печального и расстроенного, что я от всей души пожалела его. Звали его господин Жерсон, а ехал он в Бельгию, вез своего внука к крестной; двое его сыновей были убиты во время этой прискорбной войны. Один из них был женат, жена его умерла от горя. И вот теперь господин Жерсон хотел отвезти сироту к крестной, а затем как можно скорее умереть.

Ах, бедняга! Ему было всего пятьдесят девять лет, но отчаянная тоска так жестоко истерзала его, что я дала бы ему все семьдесят.

Кроме этих пятерых мужчин, был еще один несносный болтун: Теодор Жуссьян, агент по продаже вина. О, этот сам себя не замедлил представить:

— Добрый день, мадам! Какое счастье выпало на нашу долю! Вы будете путешествовать вместе с нами! Ах, путешествие, прямо скажем, не из легких! Куда же вы едете? Две женщины, совсем одни — это неосмотрительно, тем более что на дорогах полно стрелков — как немецких, так и французских, — мародеров и воров. Ах, сколько же немецких стрелков я положил! Однако тсс!.. Будем говорить тише… У этих бестий ушки на макушке. — И, показав на немецких командиров, ходивших взад-вперед, продолжал: — Ах, подлецы! Если бы я был в форме да с оружием… они не посмели бы с таким ухарским видом разгуливать в присутствии Теодора Жуссьяна. У меня дома хранится шесть касок…

Этот человек действовал мне на нервы. Повернувшись к нему спиной, я искала глазами начальника вокзала.

Высокий молодой человек — немец, с трудом волочивший ногу, — подошел ко мне. Он протянул мне открытое послание. То была рекомендательная записка, которую вручил ему генеральский кучер.

Он предложил мне свою здоровую руку. Я не приняла ее. Он

поклонился. И я молча последовала за ним в сопровождении мадемуазель Субиз.

Дойдя до своей конторы, он усадил нас за маленький столик, на котором стояли два прибора. Было три часа пополудни. У нас еще крошки во рту не было. И даже ни капли воды со вчерашнего вечера. Меня тронуло заботливое внимание молодого офицера, и мы отдали должное простой, но живительной трапезе.

Пока мы обедали, я украдкой разглядывала его: он был очень молод, но на лице его лежала печать недавних страданий. И я прониклась жалостливой нежностью к несчастному калеке, оставшемуся на всю жизнь без ноги. Моя ненависть к войне только возросла от этого.

Внезапно он обратился ко мне на довольно скверном французском языке:

— Мне думается, что я могу сообщить вам сведения об одном из ваших друзей.

— Как его зовут?

— Эммануэль Боше.

— Да, верно, это мой хороший друг… Как он поживает?

— Он по-прежнему в плену, но чувствует себя хорошо.

— А мне казалось, что его отпустили…

— Отпустили кое-кого из тех, кто попал в плен вместе с ним, потому что они дали слово не поднимать больше оружия против нас; а он отказался дать такое слово.

— Храбрый солдат! — невольно воскликнула я.

Молодой немец поднял на меня свой ясный, печальный взгляд.

— Да, храбрый солдат, — только и сказал он.

Закончив обед, я встала, собираясь присоединиться к другим пассажирам, но он заметил, что вагон, в котором нам предстоит ехать, подадут лишь через два часа.

— Соблаговолите отдохнуть, дамы, я приду за вами в нужное время.

Он ушел, и я тут же заснула глубоким сном. Я до смерти устала. Мадемуазель Субиз тронула меня за плечо, чтобы разбудить: пора было ехать.

Молодой офицер шел рядом со мной, провожая нас.

Я была несколько озадачена, увидев вагон, в который мне предложили подняться. Крыши у этого вагона не было, а кроме того, в нем везли уголь. Офицер велел положить несколько пустых мешков — один на другой, — чтобы сделать мое сиденье помягче. Он послал за своей офицерской шинелью, попросив меня прислать ее обратно, однако я решительно отказалась от этого постыдного переодевания. Холод стоял ужасный. Но я

предпочитала скорее умереть от холода, нежели нарядиться в эту вражескую шинель.

Свисток. Прощальное приветствие раненого начальника вокзала; и товарный состав тронулся. В вагонах ехали прусские солдаты.

Насколько немецкие офицеры были вежливы и обходительны, настолько подчиненные, служащие и солдаты, были резкими и грубыми.

Поезд останавливался без всяких видимых причин и снова трогался в путь, чтобы потом вновь остановиться и стоять в течение часа холодной, ледяной ночью.

По прибытии в Крей кочегар, машинист, солдаты — все вышли. Я глядела на всех этих свистящих, кричащих, сплевывающих людей, которые со смехом показывали на нас пальцами. И то правда — разве они не победители?.. А мы — не побежденные?..

В Крее мы простояли около двух часов. Мы слышали приглушенные звуки балаганной музыки и крики «ура» развеселившихся немцев.

Весь этот шум и гам доносился из белого дома, стоявшего в пятистах метрах от нас. Мы могли различить сплетенные тела людей, кружившихся в стремительном вальсе и упивавшихся умопомрачительной вакханалией. Я нервничала сверх всякой меры, ибо это грозило затянуться до самого утра.

Я вышла вместе с Вилларе, чтобы хоть немного размять ноги. И потащила его к белому дому; затем, не желая посвящать его в свои планы, я попросила подождать меня. Но, к счастью для меня, я не успела переступить порога этого гнусного притона: открылась маленькая дверца и появился офицер с сигаретой в зубах. Он обратился ко мне по-немецки. «Француженка», — сказала я в ответ. Тогда он подошел ко мне и спросил по-французски (они все говорили по-французски), что я здесь делаю.

Нервы у меня были напряжены до предела, и я лихорадочно стала рассказывать ему нашу плачевную одиссею, начиная с отъезда из Гонесса и кончая двухчасовым ожиданием в холодном поезде, а кочегары, механики и машинисты танцевали тем временем здесь, в этом доме.

— Но я понятия не имел, что в вагонах кто-то едет, и я сам разрешил этим людям танцевать и пить. Начальник поезда сказал мне, что везет только скот и товары и что ему надо быть на месте не раньше восьми часов завтрашнего утра; я поверил ему.

— Так вот, сударь, единственный скот, который везут в поезде, — это восемь французов; и я буду вам очень признательна, если вы соблаговолите отдать приказ, чтобы мы

продолжили свое путешествие.

— Не беспокойтесь, мадам. Не хотите ли пройти ко мне и отдохнуть? Я здесь с инспекцией и поселился на несколько дней на постоялом дворе. Выпьете чашку чаю, согреетесь.

Я сказала ему, что оставила на дороге попутчика и что в вагоне меня ждет подруга.

— Неважно, мы сейчас сходим за ними.

И через несколько минут мы отыскали беднягу Вилларе, примостившегося у километрового столба. Свесив голову на колени, он спал. Я попросила его пригласить мадемуазель Субиз.

— И если остальные пассажиры пожелают выпить чашку чая, милости прошу, — добавил офицер.

Я вернулась вместе с ним обратно и вошла через ту самую маленькую дверцу, из которой, видела, он выходил, в довольно просторную комнату, расположенную на уровне с землей. На полу — циновки, очень низкая кровать, огромный стол, на котором были разложены две большие карты Франции (одна из них испещренная булавками с маленькими флажками!); в картонной рамке, державшейся на четырех булавках, — портрет императора Вильгельма — все это принадлежало офицеру. А на камине, под огромным глобусом, — венок новобрачной, военная медаль и коса из белокурых волос; по обе стороны глобуса — китайские фарфоровые вазы, а в них — ветки самшита — все это, вместе со столом и кроватью, принадлежало владельцу постоялого двора, уступившему свою комнату офицеру. Пять соломенных стульев вокруг стола, бархатное кресло и возле стены — деревянная скамья, заваленная книгами. На столе лежали сабля с портупеей и два седельных пистолета.

Я предавалась философским раздумьям, созерцая столь причудливые предметы, когда прибыли мадемуазель Субиз, Вилларе, юный Жерсон и этот несносный Теодор Жуссьян. (Надеюсь, он простит меня, бедняга, если, конечно, жив еще, но при одном воспоминании о нем меня до сих пор кидает в дрожь.)

Офицер велел подать нам горячего чая, для нас это было истинным блаженством, так как мы погибали от голода и холода.

Когда нам приносили чай, Теодор Жуссьян заметил через полуоткрытую дверь толпу девушек, солдат и всех остальных.

— Ах, друзья мои, — воскликнул он, захлебываясь смехом, — мы попали на прием к его величеству Вильгельму, какое великолепие… об остальном я умалчиваю!

И он дважды прищелкнул языком. Вилларе заметил ему, что мы находимся в гостях у немца и что предпочтительнее было бы действительно помолчать.

— Ладно, ладно, — проворчал тот в ответ, закуривая

сигарету.

Глухой шум оркестра заглушили вдруг страшные ругательства и крики, и неисправимый южанин, не удержавшись, приоткрыл дверь.

Я успела увидеть офицера, отдававшего приказания двум унтер-офицерам, которые, пробившись сквозь толпу, набросились на кочегара, машиниста и других людей с поезда с такой жестокостью, что мне их стало жалко. Пинок ногой в спину, удар саблей плашмя по плечу, здоровенный тумак, опрокинувший машиниста поезда (к слову сказать, самого гнусного грубияна из всех когда-либо виденных мною). В результате все они протрезвели за несколько минут и двинулись к поезду, уныло повесив носы, но с угрожающим видом.

Мы последовали за ними, однако мне внушало тревогу грядущее путешествие с этими проходимцами.

Офицер, видно, разделял мои опасения, так как приказал одному из унтер-офицеров сопровождать нас до Амьена. Унтер-офицер сел в наш вагон, и мы снова тронулись в путь.

В Амьен мы прибыли в шесть часов утра. Свету еще не удалось развеять мрак ночи. Падал небольшой мелкий дождичек, застывавший на холоде. Никаких экипажей. Никаких носильщиков. Я хотела остановиться в гостинице «Белая лошадь», но человек, случайно оказавшийся поблизости, заявил:

— Ничего не выйдет, милая барышня, все занято, не отыщется уголка даже для такой тонюсенькой реечки, как вы. Ступайте-ка лучше в дом с балконом, там принимают постояльцев.

И он зашагал прочь.

Вилларе улизнул, не сказав ни слова. Старый господин Жерсон со своим внуком молча скрылись в наглухо закрытом деревенском фургоне. Их встречала приземистая, краснолицая матрона. Кучер, однако, по виду принадлежал к хорошему дому.

Сын генерала Пелиссье, не разжимавший губ от самого Гонесса, мгновенно исчез, словно по мановению волшебной палочки. Один только Теодор Жуссьян любезно вызвался проводить нас, а я до того устала, что с радостью приняла его предложение. Он подхватил нашу сумку и понесся сломя голову. Мы с трудом поспевали за ним. Он так пыхтел на ходу, что был не в силах говорить, и это меня утешало…

Но вот наконец мы на месте. Входим. К величайшему своему ужасу, я вижу, что вестибюль гостиницы превращен в дортуар. Мы едва могли отыскать место, куда ступить, пробираясь между расстеленными на полу матрасами. А недовольное ворчание спящих не предвещало ничего хорошего.

Когда мы добрались до конторки, девушка в трауре сказала нам, что свободной комнаты нет ни одной. Я рухнула на стул, а мадемуазель Субиз, совсем обескураженная, прислонилась к стене, руки ее повисли как плети.

Тогда ненавистный Жуссьян завопил, что нельзя же оставлять ночью двух юных девушек просто так на улице. Он подошел к хозяйке гостиницы и что-то шепнул ей про меня — во всяком случае, я отчетливо расслышала свое имя. Тогда девушка в трауре подняла на меня полные слез глаза:

— Мой брат был поэтом. Он посвятил вам очень красивый сонет, он видел вас в «Прохожем», ходил на спектакль раз десять, а может, и больше; он и меня водил на вас посмотреть, в тот вечер я получила огромное удовольствие. Но теперь все кончено. — Она разрыдалась и, обхватив руками голову, пыталась заглушить свои крики: — Все кончено! Он умер! Они убили его! Все кончено! Кончено!

Я встала, до глубины души потрясенная этой страшной болью. Обняв девушку, я со слезами стала целовать ее, тихонько нашептывая слова, которые несут успокоение, внушают надежду, даруют утешение.

Убаюканная моими словами и взволнованная искренним сочувствием к ней, она вытерла глаза, взяла меня за руку и осторожно потянула за собой; Субиз последовала за нами. Я властно махнула рукой, приказывая Жуссьяну остаться на месте. В полном молчании мы поднялись на второй этаж.

В конце узенького коридора девушка отворила какую-то дверь. Она пригласила нас в довольно просторную комнату, пропахшую табаком. Эту большую комнату освещал только маленький ночничок, стоявший на тумбочке. Тишину нарушало чье-то свистящее дыхание. Я взглянула в сторону кровати. И при слабом свете ночника увидела полусидящего мужчину, спина которого покоилась на груде подушек. Это был человек скорее до времени состарившийся, чем старый, борода и волосы его совсем поседели, на лице лежала печать страданий. Две глубокие морщины шли от уголков глаз к складкам губ. Сколько слез, должно быть, лилось по этому изможденному лицу.

Девушка осторожно подошла к кровати и, подав нам знак окончательно переступить порог, закрыла затем за нами дверь. На мысочках, вытянув для равновесия руки в стороны, мы дошли до середины комнаты.

Я осторожно опустилась на большое канапе в стиле ампир. Субиз присела рядом со мной.

Человек на кровати приоткрыл глаза:

— Что случилось, дочка?

— Ничего, папа, ничего серьезного. Я только хотела предупредить тебя, чтобы ты не удивлялся, когда проснешься. Я решила приютить в твоей комнате двух дам, они здесь.

Он повернул голову и с хмурым видом пытался разглядеть нас в полумраке.

— Светленькая, — продолжала девушка, — это Сара Бернар, помнишь, та самая, которую так любил Люсьен?

Мужчина поднялся и, прикрыв глаза рукой, уставился в темноту.

Я приблизилась к нему. Он молча разглядывал меня, потом подал какой-то знак; девушка протянула ему конверт, который она достала из маленького письменного стола. Руки несчастного отца дрожали. Помедлив, он вытащил из конверта три листка бумаги, затем фотографию. Взгляд его остановился на мне, потом он перевел его на портрет.

— Да-да, это и вправду вы, — прошептал он, — конечно вы…

Я узнала свою фотографию из «Прохожего», где я нюхала розу.

— Видите ли, — обратился ко мне бедняга, и глаза его заволокло слезами, — видите ли, вы были идолом моего мальчика. Вот стихи, которые он вам посвятил.

С умилением в голосе и легким пикардийским акцентом он прочел очень красивый сонет, но отказался отдать его мне.

Затем он развернул второй листок, на котором были нацарапаны стихи Саре Бернар. Третий содержал нечто вроде торжественной песни, славившей наши победы над врагом.

— Бедняжка не терял надежды и все еще верил в победу, когда его убили, — сказал отец, — а ведь он погиб всего пять недель назад. Три пули попали ему в голову: первая раздробила челюсть, но он не упал и продолжал стрелять в этих прохвостов как одержимый. Вторая пуля оторвала ему ухо. Третья ударила его в правый глаз; он упал и больше уже не смог подняться. Все это рассказал нам его товарищ. Ему было двадцать два года. Ну а теперь конец. Всему конец.

И голова несчастного запрокинулась назад, на гору подушек. Листки выпали из его разжавшихся рук. Крупные слезы покатились по бледным щекам, попадая в глубокие борозды морщин — следы тяжких страданий. Горестный стон сорвался с его губ. Девушка упала на колени, зарывшись головой в одеяла, чтобы заглушить звук рыданий.

Мы с Субиз были потрясены. Ах, эти приглушенные рыдания, эти тихие стоны, не смолкая, звучали у меня в ушах. Я почувствовала, как все куда-то проваливается. Руки мои тянулись в пустоту. Я закрыла глаза.

И вскоре послышался какой-то далекий гул, он нарастал, становился все ближе, и вот уже я различала скорбные крики, стук костей, слышала, как лошади бьют копытами, разбрызгивая человеческие мозги, падавшие с глухим, дряблым звуком; затем, словно сеющий смерть вихрь, промчались закованные в броню люди, они вопили: «Да здравствует война!» А женщины, стоя на коленях с протянутыми руками, кричали: «Война — это гнусность! Во имя нашего чрева, носившего вас, во имя вскормившей вас груди, во имя страданий деторождения, во имя наших бессонных ночей над вашей колыбелью, остановитесь!»

Но дикий вихрь промчался мимо, сметая на своем пути женщин. Страшным усилием воли я вытянула вперед руки и внезапно проснулась. Я лежала на постели девушки; сидевшая возле меня мадемуазель Субиз держала меня за руку. Какой-то незнакомец, которого, я слышала, несколько раз назвали доктором, снова осторожно уложил меня на кушетку.

Мне было трудно собраться с мыслями.

— И давно я здесь лежу?

— С ночи, — послышался ласковый голос Субиз. — Вы потеряли сознание, и доктор сказал нам, что у вас от волнения начался сильный жар. Ах, как я испугалась!

Я повернула голову к доктору.

— Да, дорогая мадам, надо вести себя благоразумно, вам требуется покой, потерпите еще двое суток, а потом можете ехать дальше. Мыслимое ли дело: такие потрясения для столь хрупкого здоровья! Надо беречь себя, надо беречь себя!

Я выпила микстуру, которую он мне дал, потом извинилась перед хозяйкой дома, вошедшей в комнату, и отвернулась к стене. Я так нуждалась в отдыхе.

Через два дня я покидала своих хозяев, таких опечаленных и таких симпатичных; попутчики мои все исчезли.

Я спустилась вниз, поминутно встречаясь на лестнице с каким-нибудь пруссаком, ибо несчастного хозяина буквально взяла приступом немецкая армия; и он внимательно вглядывался в каждого солдата, в каждого офицера, пытаясь дознаться, не он ли убил его бедное дитя. Так мне показалось, хотя сам он мне этого не говорил. Но, думается, мысль его была именно такой. Мне почудилось, я прочитала это в его глазах.

В экипаж, куда меня усадили, чтобы отвезти на вокзал, этот любезнейший человек поставил корзиночку с провиантом, а кроме того, вручил мне копию сонета и дубликат фотографии своего сына.

Прощаясь с двумя страдальцами, я испытывала глубокое волнение. С девушкой мы расцеловались. А с Субиз на

протяжении всего пути до самой железной дороги не обмолвились ни словом. Хотя обеих нас преследовала одна и та же тревожная мысль.

И здесь на вокзале тоже хозяйничали немцы. Я попросила первый класс или просто любое купе — что угодно, лишь бы мы были одни.

Однако мне никак не удавалось втолковать это — меня не понимали.

Тут я заметила мужчину, смазывавшего колеса вагонов; мне показалось, что он француз. Я не ошиблась. Это был старик, которого держали отчасти из милости, а отчасти потому, что он знал здесь все закоулки и, кроме того, будучи эльзасцем, говорил по-немецки. Славный человек проводил меня к окошечку кассы и разъяснил мое желание получить отдельное купе в первом классе. Мужчина, продававший билеты, громко расхохотался: нет ни первого, ни второго классов; поезд немецкий, и я поеду наравне со всеми.

Лицо смазчика колес побагровело от гнева, и все-таки он сдержался… Опасался за свое место: его больная туберкулезом жена ухаживала за сыном, только что вернувшимся из госпиталя; сыну отрезали ногу, и рана еще не зарубцевалась, но в госпитале так много народу!

Он рассказывал все это на ходу, провожая меня к начальнику вокзала.

Тот прекрасно говорил по-французски, но ничем не походил на других немецких офицеров, с которыми мне довелось встретиться. Он едва кивнул мне, а когда я изложила свою просьбу, сухо ответил:

— Это невозможно, вам зарезервируют два места в офицерском вагоне.

— Но именно этого я и не хочу! — воскликнула я. — Не испытываю ни малейшего желания путешествовать с немецкими офицерами!

— Что ж, в таком случае вас посадят вместе с немецкими солдатами, — злобно проворчал он и, надев фуражку, вышел, громко хлопнув дверью.

Я была страшно поражена и уязвлена наглостью этого гнусного грубияна. Наверное, я сильно побледнела, а голубизна моих глаз стала совсем прозрачной, так что Субиз, имевшая представление о моих гневных вспышках, очень испугалась.

— Умоляю вас, мадам, успокойтесь: что мы, две женщины, можем поделать, ведь мы полностью зависим от этих злобных людей, и, если они захотят причинить нам вред, им это ничего не стоит. А нам надо непременно добраться до цели, найти вашего

маленького Мориса.

Она была хитрющей, эта очаровательная Субиз, ее коротенькая речь произвела нужный эффект, на который она рассчитывала. Найти моего сына — такова была цель этого путешествия! Я тут же успокоилась и поклялась не поддаваться гневным чувствам, по крайней мере во время нашего путешествия, обещавшего всякого рода неожиданности. И я почти сдержала слово.

Покинув кабинет начальника вокзала, я встретила у двери бедного эльзасца, он с живостью спрятал два луидора, которые я ему вручила, и до боли крепко пожал мне руку. Затем, указав на сумку, которую я перекинула через плечо, сказал:

— Не следует выставлять ее напоказ, это очень опасно, мадам.

Я поблагодарила его, не обратив, впрочем, внимания на его предостережение.

Поезд вот-вот должен был тронуться. Я поднялась в единственное купе первого класса. Там сидели два молодых немецких офицера. Они поклонились нам. Я сочла это добрым предзнаменованием. Раздался свисток. Какое счастье! Никто больше не войдет! Но нет, не успели колеса сделать несколько оборотов, как дверь резко распахнулась, и пятеро немецких офицеров ввалились в наш вагон. Теперь нас стало девять. Какая пытка!

Начальник вокзала послал прощальный привет одному из офицеров, и оба расхохотались, показывая друг другу на нас. Я взглянула на приятеля начальника вокзала: он был военным хирургом. Нарукавная повязка свидетельствовала о его принадлежности к госпитальной службе. Широкое лицо его было налито кровью. Его обрамляла густая рыжая борода. Очень подвижные маленькие глазки, светлые и блестящие, как бы освещали это багровое лицо. Широкий в плечах, коренастый, он являл собой силу, лишенную нервов. Гадкий человечек все еще смеялся, хотя и вокзал, и его начальник остались далеко позади, но, видимо, то, что сказал ему приятель, и в самом деле было очень смешно.

Я сидела в углу, Субиз — напротив меня, а сбоку от каждой из нас — молодые немецкие офицеры, тихие и учтивые, причем один из них совершенно очаровал меня своей юношеской грацией.

Военврач снял фуражку. Он был почти лысым, с крохотным, упрямым лбом. И сразу же заговорил зычным голосом, вступив в беседу с другими офицерами. Наши два юных телохранителя почти не участвовали в разговоре; но был там один высокий,

самонадеянный парень, которого величали бароном: стройный, холеный и очень сильный. Увидев, что мы не понимаем немецкого, он обратился к нам по-английски; но Субиз отличалась крайней робостью, чтобы ответить ему, а я слишком плохо говорю по-английски. Он вынужден был смириться и с большой неохотой заговорил с нами по-французски. Был он любезен, пожалуй даже слишком любезен, и, безусловно, воспитан, но лишен всякого такта. Я дала ему это понять, отвернувшись от него и углубившись в созерцание пейзажа.

Мы ехали уже довольно долго, каждый думал о своем, и вдруг я почувствовала, что задыхаюсь от наполнившего вагон дыма. Оглянувшись, я увидела, что военврач закурил трубку; прикрыв глаза, он выпускал в потолок клубы дыма.

У меня дух захватило от возмущения; глаза щипало от дыма, я закашлялась, причем преувеличенно громко, дабы привлечь внимание невежи хирурга. Но он и ухом не повел; тогда барон похлопал его по колену, давая понять, что дым причиняет мне неудобство. Пожав плечами, он сказал в ответ какую-то грубость и продолжал курить. Совсем отчаявшись, я опустила стекло со своей стороны. В вагоне сразу стало очень холодно, однако холод был все-таки лучше, чем этот тошнотворный трубочный дым.

Внезапно хирург поднялся и поднес руку к уху. И тут только я заметила, что в ухе у него вата. Он выругался и, растолкав всех, наступив нам с Субиз на ноги, торопливо закрыл окно, не переставая браниться, хотя смысла в этом не было никакого, так как я все равно ничего не понимала. Затем принял все ту же позу и с вызывающим видом стал раскуривать свою трубку, пуская густые клубы дыма. Барон и два молодых немца, первыми пришедшие в вагон, попытались урезонить его, но он только отмахнулся от них и опять начал ругаться.

И чем больше гневался этот злобный человек, тем я становилась спокойнее, мало того, решив поиздеваться над ним (ухо-то у него болело), я снова открыла окно. Он в свою очередь снова поднялся и в ярости показал на свое ухо и распухшую щеку — из его объяснений и угроз, на которые он не скупился, закрывая окно, я уловила только слово «периостит». Тогда я сказала, что грудь у меня слабая и что дым вызывает у меня кашель, барон, взявшийся быть моим переводчиком, пытался втолковать ему это; однако было ясно, что хирургу на это в высшей степени наплевать, ибо он принял свою излюбленную позу и опять взялся за трубку.

Подождав минут пять, в течение которых он, верно, возомнил себя победителем, я резким ударом локтя разбила стекло. Тут на лице хирурга, ставшем совсем белым, отразилось глубочайшее

изумление. Он вскочил, молодые люди тоже встали со своих мест, а барон тем временем громко хохотал. Хирург сделал шаг в нашу сторону, но наткнулся на заслон: к двум молодым людям присоединился еще один офицер, а он был здоровенным и крепким детиной могучего сложения. Уж не знаю, что именно он сказал военврачу, но что-то резкое и недвусмысленное. Тот, не зная толком, на кого излить свой гнев, повернулся к барону, который продолжал смеяться, и обругал его так грубо, что тот, сразу успокоившись, сказал в ответ что-то такое, что заставило меня понять: оба мужчины намеренно ищут ссоры. Но мне-то какое до этого дело? Пускай убивают друг друга, оба они стоят один другого, оба скверно воспитаны.

В вагоне воцарилось молчание, стало очень холодно, так как свирепый ветер с силой врывался в разбитое окно. Солнце село. Небо заволокло мглой. Было, должно быть, половина шестого. Мы подъезжали к Тернье. Военврач поменялся местами со своим соседом, чтобы по мере возможности уберечь больное ухо. Он стонал, как недорезанный бык.

Внезапно внимание наше привлекли частые свистки локомотива, доносившиеся издалека. Потом под колесами стали рваться одна за другой петарды. Мы отчетливо ощущали, какие усилия прилагал машинист, чтобы замедлить ход поезда, но, прежде чем это ему удалось, страшный толчок бросил нас друг на друга. Потрескивание, захлебывающиеся всхлипы локомотива, натужными рывками выбрасывающего пар, отчаянные крики, чей-то зов, проклятия — все вдруг поглотила странная тишина, над которой повис густой дым, прорезаемый кое-где огненными языками пламени. Вагон наш встал на дыбы, словно норовистый конь. И никакой возможности вернуть утраченное равновесие.

Кто из нас ранен? Кто нет? В купе нас было девять. Что касается меня, то я думала, что все кости мои перебиты. Я попробовала шевельнуть ногой. Потом другой. Обрадованная тем, что обе они целы, я то же самое проделала с руками. Все как будто на месте. Субиз тоже ничего не сломала. Она прикусила язык, и я испугалась, увидев у нее кровь. Правда, она, казалось, ничего не понимает. Слишком сильный удар оглушил ее, и несколько дней она ничего не помнила.

Я же отделалась довольно глубокой ссадиной между глаз. Не успев закрыть лицо руками, я ударилась лбом о головку эфеса шпаги, которую держал перед собой сидевший рядом с Субиз офицер.

Со всех сторон к нам спешили на помощь.

Прошло довольно много времени, прежде чем удалось открыть дверь нашего вагона. Между тем наступила полная тьма.

Но вот наконец дверь поддалась, и слабый свет фонаря проник в наше злосчастное, разбитое купе.

Я поискала глазами нашу единственную сумку, а отыскав и взяв ее, тут же и бросила: рука моя покраснела от крови. Чья это была кровь? Трое мужчин не шевелились, и среди них — военврач, показавшийся мне мертвенно-бледным. Я закрыла глаза, чтобы не видеть, чтобы не знать, и позволила вытащить себя из вагона явившимся нам на помощь людям. После меня вышел один из молодых офицеров. Из рук своего товарища он принял Субиз, находившуюся в почти бессознательном состоянии.

Глупый барон тоже вышел, у него было вывихнуто плечо. Среди спасателей нашелся доктор. Барон протянул ему свою руку, приказав тянуть за нее, что тотчас было исполнено: сняв с офицера широкий плащ, французский врач велел двум спасателям держать его с обеих сторон, а сам, упершись в него, потянул за больную руку, барон страшно побледнел и начал посвистывать. Вправив одну руку, врач тут же пожал ему другую, сказав:

— Черт побери, я, должно быть, сделал вам очень больно, но вы на редкость мужественный человек.

Немец отдал честь, затем ему помогли снова надеть плащ.

За доктором кто-то пришел, и я видела, как его повели к нашему вагону. Я невольно содрогнулась.

Теперь-то уже мы могли наконец разобраться в причинах случившегося несчастья: локомотив, тянувший всего два вагона с углем, должен был отойти на запасный путь и пропустить нас; но один из вагонов сошел с рельсов, и локомотив из сил выбивался, подавал свистками тревогу, а люди тем временем торопливо разбрасывали на нашем пути петарды. Но все оказалось напрасно, и мы врезались в лежавший на земле вагон.

Что мам было делать? Дороги оказались размыты или изрыты снарядами. До Тернье оставалось еще шесть километров. Мелкий, пронизывающий дождь промочил нас до нитки.

Правда, там стояло четыре экипажа, но надо было перевозить раненых; ожидали, что подоспеют другие экипажи, но предстояло отвезти мертвых.

Мимо прошли два человека из спасательного отряда, они несли самодельные носилки. На них лежал военврач, в лице его не было ни кровинки, и я изо всех сил сжала кулаки, так что ногти вонзились в ладонь. Один из офицеров хотел было расспросить шедшего следом врача, но я остановила его:

— Ах, умоляю вас, не надо, умоляю! Я не хочу ничего знать. Несчастный!

И я заткнула уши, словно боялась услышать что-нибудь

совсем ужасное. Так я ничего и не узнала.

Между тем следовало смириться с неизбежным и двинуться в путь пешком. Мы проделали два километра, пытаясь преодолеть все трудности, но дальше идти у меня не было сил, и я остановилась. Грязь налипала на обувь, делая ее невыносимо тяжелой. Вытащить ноги из жижи было нелегко, каждый шаг стоил нам огромных усилий, так что мы вконец вымотались.

Присев на дорожную тумбу, я заявила, что дальше не пойду. Моя милая подруга плакала. Тогда два молодых немецких офицера, служившие нам телохранителями, скрестили руки, сделав для меня таким образом сиденье, и мы прошли еще с километр; но моя подруга не могла больше идти. Я предложила ей занять мое место, она отказалась.

— Ну что ж, подождем здесь.

Совсем обессиленные, мы прислонились к сломанному деревцу.

Спустилась ночь, холодная, ледяная ночь!.. Мы с Субиз прижались друг к другу, пытаясь согреться, и я начала погружаться в сон: перед моими глазами вставали раненые Шатийона, которые, прислонившись к кустам, умирали от холода. Теперь мне совсем уже не хотелось шевелиться, и это оцепенение наполняло мою душу сладостным блаженством.

Тут появилась какая-то тележка, возвращающаяся в Тернье. Один из молодых людей окликнул возчика и договорился с ним о цене; я почувствовала, как меня подняли с земли, отнесли в повозку, и дальше я отдалась на волю тряской езды, два шатких колеса то взбирались на пригорок, то увязали в топком болоте, подпрыгивали на кучке камней; возчик хлестал животину, понукая ее зычным голосом. Его манера править вполне отвечала духу времени: «А-а, плевал я на все! Будь что будет!»

Все это я улавливала сквозь полудрему, ибо вовсе не спала, просто не желала отвечать ни на какие вопросы. Мне доставляло странное удовольствие упорствовать в своем самоотрицании.

Меж тем внезапный резкий толчок свидетельствовал о том, что мы прибыли в Тернье.

Повозка остановилась перед гостиницей. Пора было выходить. Но я притворилась спящей, отяжелевшей. Однако пришлось все-таки проснуться. Молодые люди помогли мне подняться в мою комнату.

Я попросила Субиз расплатиться с возчиком до отъезда наших бравых попутчиков, которые с большой неохотой распрощались с нами. Каждому из них я написала на гостиничном бланке расписку на получение моей фотографии. Ко только один, спустя шесть лет, потребовал ее. Я отправила ему

фотографию.

Гостиница Тернье смогла предоставить нам только один номер на двоих. Я предложила Субиз лечь, а сама заснула в кресле одетая.

С наступлением утра я поинтересовалась поездом, который мог бы доставить нас в Като; но мне ответили, что никакого поезда нет.

А чтобы раздобыть экипаж, требовалось сотворить чудеса. В конце концов доктор Мёнье (или Менье…) согласился одолжить нам двухколесный кабриолет. Это уже кое-что, но где взять лошадь? У бедного доктора лошадь отобрали враги.

Нашелся каретник, давший мне напрокат за немыслимую цену жеребенка, который ни разу еще не ходил в упряжке, и, как только на него надели сбрую, он просто обезумел. Бедного детеныша отхлестали кнутом, после чего он успокоился, однако возбуждение его сменилось полным отупением.

Упираясь всеми четырьмя копытами и содрогаясь от ярости, жеребенок не желал идти вперед. Склонив голову вниз, с неподвижно застывшими зрачками и раздувающимися ноздрями, он словно врос в землю. Тогда двое мужчин подхватили легкий экипаж; с жеребенка осторожно сняли недоуздок; с минуту он отфыркивался, потом тряхнул головой и, почувствовав себя свободным, без пут, двинулся с места. Взбрыкнув раз-другой, он перешел на рысь, а вернее, потихоньку затрусил рысцой. Тут его остановил мальчик. Жеребенку дали морковку, почесали ему холку, а потом снова надели недоуздок. Он сразу замер.

Мальчик вскочил в кабриолет и, слегка натянув поводья, стал понукать его, пытаясь заставить снова двинуться с места. Жеребенок робко попробовал и, не чувствуя сопротивления, опять побежал рысцой, а через четверть часа вернулся за нами к гостинице.

На тот случай, если жеребенок подохнет в пути, мне пришлось оставить в залог у местного нотариуса четыреста франков.

Ах, что это было за путешествие! Мальчик, Субиз и я втиснулись в крохотный кабриолет, колеса которого трещали при малейшем толчке. От несчастного жеребенка шел пар, словно от кастрюли с супом, над которой приоткрыли крышку.

Выехали мы в одиннадцать часов утра, а когда нам пришлось остановиться из-за бедного жеребенка, который совсем выдохся, было уже пять часов пополудни, а мы еще и двух лье не проехали. О, бедненький жеребенок, на него больно было смотреть. Не такие уж мы были тяжелые все трое, но для него и этого

оказалось достаточно.

Застряли мы в нескольких метрах от замызганного, невзрачного домика. Я постучала. Мне открыла необъятных размеров старуха:

— Чего надо?

— Не могли бы вы приютить нас на час и дать отдохнуть нашей лошади?

Бросив взгляд на дорогу, она заметила наш экипаж.

— Эй, отец! Иди-ка погляди! — крикнула она хриплым голосом.

На ее зов, тяжело прихрамывая, явился тучный мужчина, такой же толстый, как она, только еще старше. Пальцем она указала ему на столь странно заряженный кабриолет.

Он так и покатился со смеху, потом спросил бесцеремонно:

— Чего вам надо?

Я снова повторила свою просьбу:

— Не могли бы вы приютить нас… — и так далее.

— Оно, конечно, можно, отчего нельзя? Только не бесплатно.

Я показала ему двадцать франков. Старуха толкнула его локтем.

— Оно, конечно… только по нонешним временам это верных сорок франков.

— Хорошо! — сказала я. — Договорились, сорок франков.

Он впустил меня вместе с Субиз, послав своего парня навстречу мальчику, который медленно продвигался, держа жеребенка за гриву. Осторожно сняв с него недоуздок, он набросил на его взмокшие бока мое одеяло.

Когда бедное животное доплелось до дома, его быстро распрягли и отвели в маленький загончик, где в самой глубине несколько кое-как сколоченных досок служили стойлом старому мулу, которого старуха разбудила пинками и выгнала в загон, а жеребенок занял его место. Когда же я попросила овса для него, то опять услышала в ответ:

— Оно, конечно, можно, отчего нельзя? Только плата отдельно.

— Хорошо!

И я протянула нашему мальчику сто су, чтобы он принес овса, но старая мегера выхватила у него деньги и отдала своему парню со словами:

— Ступай сам, ты знаешь, где взять. Да возвращайся поживее.

Мальчик остался возле жеребенка, растирая его изо всех сил.

Вернувшись в дом, я увидела хлопотавшую там очаровательную Субиз: засучив рукава, она мыла для нас своими нежными ручками два стакана и две тарелки.

Я спросила, нельзя ли получить яйца.

— Можно, только…

— Прошу вас, мадам, не беспокойтесь, — сразу прервала я чудовищную хозяйку, — мы же договорились, что сорок франков — это ваши чаевые, а за все остальное я плачу.

Несколько минут она безмолвствовала, сбитая с толку, покачивала головой, пытаясь подыскать нужные слова, но я тут же попросила ее принести яйца. Она принесла мне пять яиц, и я приготовила омлет, ибо омлет всегда был моим коронным блюдом.

Вода оказалась тошнотворной, поэтому мы пили сидр. Позвав мальчика, я заставила его поесть в моем присутствии, опасаясь, как бы свирепая матрона не пожадничала и не оставила его голодным.

Когда я оплатила баснословный счет в семьдесят пять франков — включая, разумеется, и условленные сорок, — матрона нацепила очки и, взяв золотую монету, оглядела ее сверху, снизу, потом бросила в тарелку, чтобы послушать звон, затем на пол; эту операцию она повторила три раза, с каждым из трех луидоров.

Я не могла удержаться от смеха.

— Что тут смешного, — проворчала она, — за шесть-то месяцев навидались мы воров.

— А уж вы в воровстве толк знаете! — не удержалась я.

Она уставилась на меня, пытаясь разгадать мою мысль. Но мой веселый взгляд заставил ее отбросить всякие сомнения.

Нам повезло, ибо эти люди вполне могли сыграть с нами злую шутку. Однако, садясь за стол, я предусмотрительно положила рядом с собой револьвер.

— Вы умеете стрелять? — спросил хромой.

— Да, и стреляю очень метко, — ответила я, что было, конечно, неправдой.

Наш экипаж мгновенно запрягли, и мы снова двинулись в путь. Жеребенок повеселел. Он бил копытом, тихонько ржал и шагал довольно резво.

Наши гадкие хозяева показали нам дорогу, которая вела в Сен-Кентен, и мы отправились туда после нескольких безуспешных попыток нашего бедного жеребенка остановиться.

Полумертвая от усталости, я заснула. Но не прошло и часа, как экипаж наш вдруг резко остановился, несчастное животное фыркало, упираясь копытами и дрожа всем телом.

День выдался пасмурный. Набухшее слезами низкое небо, казалось, медленно надвигается на землю. Мы стояли посреди поля, распаханного из конца в конец тяжелыми колесами пушек.

Остальная земля была утоптана лошадиными копытами. Земляные борозды затвердели от холода, кое-где сквозь пелену тумана мрачно поблескивал лед.

Мы вышли из экипажа, желая понять, что испугало нашего детеныша. Я в ужасе закричала. В пяти метрах от нас собаки яростно рвали на части труп, половина которого пока еще была скрыта землей.

К счастью, это был вражеский солдат. Взяв из рук нашего юного возницы хлыст, я попыталась разогнать мерзких тварей, на мгновенье они отошли, скалясь и глухо ворча на нас, но вскоре снова вернулись, чтобы продолжить свое гнусное грязное дело.

Мальчик спустился на землю и, держа в руках поводья, повел упирающегося жеребенка. Пробирались мы с трудом, пытаясь отыскать дорогу средь этих опустошенных равнин.

Надвигалась ночь, стало нестерпимо холодно. Слегка раздвинув сумрачную завесу, показалась луна, залив окрестности мертвенным, скорбным светом.

Я умирала от страха. Мне чудилось, будто царившую вокруг тишину наполняют зовы из-под земли. В каждой кочке мне мерещилась чья-то голова. Субиз плакала, закрыв лицо руками.

Прошло с полчаса, и мы заметили вдалеке маленькую группу людей с фонарями в руках. Я пошла к ним навстречу, чтобы разузнать о дороге. Но, подойдя поближе, остановилась в смущении: до нас доносились рыдания.

Я увидела довольно толстую женщину, несчастную поддерживал молодой священник. Все ее тело содрогалось от горестных рыданий. За ней следовали два унтер-офицера и еще три человека.

Пропустив женщину, я спросила, в чем дело, у тех, кто шел за ней. От них я узнала, что она разыскивает мужа и сына, убитых несколько дней назад в долинах Сен-Кентена.

Она приходила сюда ежедневно с наступлением ночи, чтобы не привлекать внимания любопытных. Но поиски ее до сих пор не увенчались успехом. Однако на этот раз появилась надежда, так как один из унтер-офицеров, только что вышедший из госпиталя, обещал проводить их на то место, где, он видел, упал, смертельно раненный, муж бедной женщины, — проводить туда, где упал он сам и где его подобрали санитары.

Я поблагодарила этих людей, указавших мне печальную дорогу, по которой нам предстояло ехать, наилучшую из тех, что пролегали по этому еще не остывшему под ледяным покровом кладбищу.

Теперь мы со всех сторон различали группы людей, искавших своих близких. Это было до жути страшно.

Внезапно мальчик, правивший экипажем, потянул меня за рукав пальто.

— Ах, мадам! Поглядите на этого мерзавца!

Я взглянула в ту сторону, куда он показывал, и увидела распластавшегося на земле мужчину, а рядом с ним — большой мешок. В руках он держал потайной фонарь, свет от которого направлял на землю. Время от времени он поднимался, оглядывался по сторонам — силуэт его четко вырисовывался на горизонте — и снова принимался за работу.

Заметив нас, он погасил фонарь и приник к земле. Мы молча направились к нему. Я взяла жеребенка за уздечку с одной стороны, а мальчик послушно шел с другой, уловив, видимо, мою мысль. Я шагала в сторону мужчины, делая вид, будто не замечаю его.

Жеребенок упирался, но мы тянули его, заставляя продвигаться вперед. Мы уже подошли совсем близко, и я задрожала при мысли, что этот несчастный, возможно, скорее даст наехать на себя легкому экипажу, чем обнаружит свое присутствие.

Но, к счастью, я ошибалась. Послышался приглушенный шепот:

— Эй, осторожнее! Я ранен! Вы меня раздавите!

Тогда я сняла с кабриолета фонарь (мы накрыли его жакетом, так как луна светила ярче, чем этот фонарь) и направила его свет в лицо презренному человеку.

Я поразилась: это был мужчина лет шестидесяти пяти — семидесяти с изможденным лицом, обрамленным длинными бакенбардами, грязными и седыми; на шее — шарф, к которому был прикреплен темный плащ. Лунный свет притягивали к себе портупеи, медные пуговицы, рукоятки сабель и прочие предметы, которые собрал мерзкий старец, сняв все это с бедных мертвецов.

— Вы не раненый, вы — вор! Самый настоящий мародер! Сейчас я позову людей, чтобы из вас сделали мертвеца! Слышите, гнусный негодяй!

Я подошла к нему так близко, что чувствовала на себе его нечистое дыхание.

Встав на колени и сложив с мольбой свои преступные руки, он стал просить меня о пощаде, в его дрожащем голоске слышались слезы.

— Бросьте ваш мешок и все эти вещи, выньте все из карманов, оставьте все и уходите! Ступайте прочь, да поживее! Когда вы скроетесь из виду, я позову солдат, которые разыскивают погибших, и отдам им вашу добычу. Хотя чувствую, что поступаю дурно, не выдавая вас.

Жалобно причитая, он вынул все из карманов.

Старик уже собирался уходить, когда мальчишка шепнул мне на ухо:

— Он прячет под плащом башмаки…

Меня охватила неудержимая ярость против этого гнусного вора. Я сорвала с него широкий плащ.

— Бросьте, сейчас же все бросьте, несчастный вы человек, или я позову на помощь!

Шесть пар башмаков, снятых с убитых, с шумом упали на затвердевшую, мерзлую землю.

Мужчина нагнулся, чтобы поднять револьвер, который он вытащил из кармана вместе с ворованными вещами.

— Прошу вас оставить это и как можно скорее исчезнуть, терпению моему приходит конец!

— Но если меня поймают, мне нечем будет защищаться! — простонал он в бессильной ярости.

— Значит, Господу Богу так было угодно! Ступайте прочь, или я позову людей!

Мужчина бросился бежать, ругая меня на чем свет стоит.

Маленький возчик пошел звать солдата, которому я рассказала о случившемся, показав краденые вещи.

— О, я за ним не побегу, здесь так много мертвых!

Мы продолжали наш путь, пока не добрались до маленького перекрестка, где можно было выбрать более или менее сносную дорогу.

Миновав Бюзиньи и лес и едва не погрязнув навсегда в его непролазных топях, уже ночью мы добрались до Като, полумертвые от усталости, страха и отчаяния.

Там нам пришлось день отдохнуть, так как у меня началась лихорадка. Мы нашли две крохотные комнатки, оштукатуренные известью, но очень чистенькие, с выложенным блестящими красными плитками полом, деревянной полированной кроватью и занавесками из белого ластинга.

Я вызвала врача к Субиз, которая, на мой взгляд, была много хуже меня. Но он счел, что обе мы никуда не годимся. Я чувствовала себя совсем разбитой, мой мозг сжигала нервная лихорадка. А Субиз не могла усидеть на месте, ей все чудились огни, призраки, слышались крики, она непрестанно оборачивалась: ей казалось, что кто-то трогает ее за плечо.

Этот славный доктор победил нашу усталость успокоительной микстурой. А горячая ванна вернула на другой день подвижность нашим конечностям.

С тех пор как мы покинули Париж, прошло шесть дней; но требовалось еще часов двадцать, чтобы добраться до Гомберга,

ибо в то время скорость поездов была далеко не такой, как сейчас.

Я взяла билет на брюссельский поезд, в Брюсселе я рассчитывала купить чемодан и кое-какие необходимые вещи. Из Като до Брюсселя мы доехали вполне благополучно. И в тот же вечер снова сели в поезд.

Я пополнила наш гардероб, который в этом очень нуждался. До Кёльна путешествие прошло без особых помех. Но по прибытии в этот город нас ждало жестокое разочарование.

Едва каш поезд успел остановиться на вокзале, как мимо вагонов пробежал служащий, кричавший что-то по-немецки. Все заторопились: мужчины и женщины толкали друг друга, забыв о всякой вежливости. Увидев служащего, я показала ему каши билеты. Он с готовностью подхватил мой чемодан и заспешил вместе со всеми. Мы последовали за ним. Смысл этой безумной спешки я поняла, только когда служащий, бросив мой чемодан в купе, подал мне знак садиться как можно скорее.

Субиз уже поставила ногу на ступеньку вагона, но тут ее грубо оттолкнул служащий, запиравший дверцу, и, прежде чем я успела понять случившееся, поезд исчез. Мой чемодан уехал, а наша дорожная сумка находилась в багажном вагоне, который отцепили от прибывшего поезда, чтобы сразу же прицепить к экспрессу, тоже уходившему.

Я расплакалась от злости. Служащий пожалел нас и отвел к начальнику вокзала.

Это был крайне воспитанный человек, довольно хорошо говоривший по-французски. Вид у него был добрый и жалостливый. Рухнув в его большое кожаное кресло и нервно рыдая, я поведала ему о своем злоключении.

Он сразу же телеграфировал, чтобы мой чемодан, а также дорожную сумку передали начальнику вокзала ближайшей станции.

— Вы получите все это завтра, около полудня, — заверил он меня.

— Стало быть, я не смогу уехать сегодня вечером?

— Нет, конечно, это невозможно, вечером нет ни одного поезда. Экспресс, который доставит вас в Гомберг, уходит только завтра утром.

— Ах, Боже мой, Боже мой!

Меня охватило самое настоящее отчаяние, передавшееся и Субиз.

Несчастный начальник вокзала оказался в большом затруднении, безуспешно пытаясь успокоить меня.

— Вы здесь кого-нибудь знаете? — спросил он.

— Нет, никого. Я не знаю никого в Кёльне.

— Ну хорошо, я отведу вас в гостиницу «Норд», там два дня назад остановилась моя сестра. Она поможет вам.

Через полчаса подали его экипаж, и он проводил нас в гостиницу «Норд», сделав большой крюк, чтобы показать мне город. Но в ту пору я не могла восторгаться ничем, исходившим от немцев.

Когда мы приехали в гостиницу «Норд», он представил нас своей сестре, молодой белокурой женщине, можно сказать, красавице, но, на мой вкус, чересчур высокой и полноватой. Должна, правда, признать, что она была очень мила и приветлива. Она оставила для меня две комнаты рядом со своим номером. Жила она на первом этаже. Она пригласила нас на обед, который велела сервировать у себя в гостиной.

Вечером к нам присоединился ее брат. Прелестная женщина очень любила музыку: она играла Берлиоза, Гуно и даже Обера… Я по достоинству оценила деликатность этой женщины, которая предлагала нашему вниманию только французских композиторов. Я спросила, играет ли она Моцарта и Вагнера. Услыхав это имя, она повернулась ко мне:

— Вы любите Вагнера?

— Я люблю его музыку, но как человека терпеть не могу.

— Попросите ее сыграть Листа, — шепнула тихонько Субиз.

Та услыхала это и с величайшей любезностью тут же исполнила ее желание. Признаюсь, я провела восхитительный вечер.

В десять часов начальник вокзала (такая глупость: я никак не могу вспомнить его имени и не нахожу его в своих записях) сказал мне, что заедет за нами завтра утром в восемь часов, и откланялся.

Я заснула, убаюканная Моцартом, Гуно и так далее.

На другой день в восемь часов слуга пришел сказать мне, что нас ожидает экипаж. Потом раздался тихий стук в дверь, и наша вчерашняя прелестная хозяйка мило сказала нам:

— Пора в путь!

Я в самом деле была очень тронута деликатностью этой красивой немки.

Стояла такая прекрасная погода, что я спросила ее, хватит ли у нас времени, чтобы пройтись пешком. Она ответила утвердительно, и мы все трое отправились на вокзал, находившийся, впрочем, неподалеку от гостиницы. Меня ожидало отдельное купе, и мы расположились как нельзя лучше. Брат с сестрой пожали нам руки, пожелав счастливого пути.

Поезд тронулся. В углу я заметила букетик незабудок с

визитной карточкой молодой женщины и коробку конфет, подаренную нам начальником вокзала.

Наконец-то цель моего путешествия близка. Однако я оказалась в затруднительном положении. Скоро я увижу дорогих мне людей! И надо бы набраться сил, поспать. Но я никак не могла заснуть. Глаза мои, ввалившиеся от тревожного ожидания, пожирали пространство быстрее, чем двигался поезд. Я проклинала остановки. И завидовала пролетавшим мимо птицам. Я смеялась от радости, представляя себе удивленные лица тех, кого мне предстояло увидеть, но тут же начинала содрогаться от ужаса: мало ли что могло случиться! Все ли они живы-здоровы? А что, если… Ах, все эти «если»… «так как»… «но»… вставали мысленно передо мной, ощетинившись болезнями, всякого рода несчастными случаями, и я плакала… и моя бедная подружка плакала вместе со мной.

Но вот наконец перед нами Гомберг. Еще каких-нибудь двадцать минут, и мы на вокзале. Увы, видно, злые духи, а может, и все сатанинское отродье сговорились между собой, чтобы испытывать мое терпение: мы снова останавливаемся.

Изо всех окон высовываются головы. В чем дело? Что случилось? Почему стоим? Оказывается, поезд, шедший впереди нас, сломался, тормоза отказали. Придется ждать, пока освободят путь.

Стиснув зубы и сжав кулаки, я вновь откидываюсь на сиденье, пытаясь различить в темноте ту нечисть, которая ополчилась против меня; потом все-таки решаю закрыть глаза. Шепотом я кляла невидимых гномов и в конце концов заявила, что не желаю больше страдать, что буду спать.

И я заснула глубоким сном, ибо Господь Бог ниспослал мне этот бесценный дар: спать, когда я захочу. При самых ужасных обстоятельствах, в самые жестокие моменты, когда я чувствовала, что разум мой слабеет от слишком сильных или слишком жестоких ударов судьбы, моя воля хватала мой разум, как хватают скверную собачонку, которая хочет укусить; и, обуздав его, моя воля говорила ему: «Довольна! Завтра можешь сколько угодно страдать, строить планы, предаваться тревогам, печали, страхам. А на сегодня хватит. Ты рухнешь под тяжестью стольких потрясений и потянешь меня за собой. Я этого не желаю! Сейчас мы все забудем и столько-то часов будем спать с тобою вместе!» И я засыпала. Клянусь, что так оно всегда и было!

Мадемуазель Субиз разбудила меня, как только поезд подошел к вокзалу. Я пришла в себя, успокоилась. Через минуту мы сели в экипаж:

— Оберштрассе, дом 7.

И вот мы уже на месте. Все, кого я любила, — и большие, и маленькие — все здоровы и все собрались там. Ах, какое счастье! Сердце мое громко стучит. Я так настрадалась, что залилась слезами и радостным смехом.

Кто может описать несказанное блаженство, которое даруют нам слезы радости!

В Гомберге я провела два дня, за это время со мной случилось так много всего, что я даже не хочу об этом рассказывать, настолько все это кажется невероятным: ну, скажем, начавшийся в доме пожар, наше поспешное бегство в ночном одеянии и пребывание в снегу глубиной в пять футов в течение шести часов… и так далее, и так далее.

Часть вторая

1

И вот, в целости и сохранности мы отправляемся в Париж. Однако, приехав в Сен-Дени, мы узнали, что поезда отменены. Было четыре часа утра. Немцы хозяйничали во всех пригородах Парижа, и поезда ходили только по их особому распоряжению.

Целый час мы обивали пороги, вели переговоры, повсюду наталкиваясь на грубые отказы. Наконец нашелся один офицер высшего командного состава, не в пример прочим воспитанный и любезный, который приказал запустить локомотив, чтобы доставить меня на Гаврский вокзал (вокзал Сен-Лазар).

Путешествие вышло чрезвычайно забавным: моя мать, тетка, сестра Режина, мадемуазель Субиз, две горничные, дети и я сама кое-как разместились на крохотном квадратном пятачке, где была всего одна низкая узкая полка, предназначавшаяся, по-видимому, для часового. Паровоз двигался еле-еле, так как во многих местах пути были забиты тележками и вагонами.

Выехав в пять часов утра, мы добрались до цели в семь. По дороге, не помню точно где, немецких машинистов сменили французские. Я спросила у них об обстановке в Париже и узнала, что город охвачен революционными волнениями. Машинист, с которым я беседовала, оказался очень умным и образованным человеком. «На вашем месте — сказал он мне, — я поехал бы не в Париж, а куда-нибудь еще, ведь скоро здесь будет жарко».

Путешествие подошло к концу. Я вышла из локомотива со всей своей свитой, приведя вокзальных служащих в неописуемое изумление. Будучи довольно стесненной в средствах, я все же дала двадцать франков рабочему, согласившемуся поднести шесть наших чемоданов. Мы должны были приехать за ними позднее.

Однако в этот час, когда не ожидалось ни одного поезда, невозможно было сыскать извозчика… Дети так устали… что было делать? Я жила на Римской улице, в доме № 4, недалека от вокзала, но моя мать редко ходила пешком из-за больного сердца, а малыши так притомились, что их глаза с отекшими веками превратились в щелочки, а маленькие ручки и ножки одеревенели от холода и неподвижности.

Я начала было отчаиваться, но тут как раз мимо проезжала повозка молочника, и я попросила нашего носильщика ее остановить.

— Не отвезете ли за двадцать франков мою мать и двух малышей на Римскую улицу, 4?

— И вас прихвачу, милая барышня, — отвечал молочник, —

ведь вы тоньше кузнечика и весите как перышко.

Я не заставила его повторять дважды, хотя и была несколько задета его словами. Усадив медлившую маменьку рядом с молочником, я разместилась вместе с малышами в повозке, среди порожних и полных молочных бидонов, и сказала нашему кучеру, указав на оставшихся:

— Вас не затруднит вернуться за ними? Получите еще двадцать франков.

— Ладно! — отвечал добрый малый. — Эй вы, счастливо оставаться! Не оттопчите лапки, я скоро вернусь!

И, стегнув свою тощую кобылу, он помчал нас во весь опор.

Дети перекатывались в повозке, как бревнышки. Я пыталась за что-то ухватиться. Маменька молчала, стиснув зубы, бросая на меня суровые взгляды из-под своих длинных ресниц.

У дверей нашего дома молочник так резко остановил лошадь, что маменька чуть не упала на круп кобылы. Наконец мы спустились на землю, и повозка умчалась со скоростью курьерского поезда.

Маменька дулась на меня целый час. Бедная моя милая мамочка! Разве я была виновата?

Не прошло и двух недель с тех пор, как я уехала из Парижа. Я оставила город в печали, в той болезненной печали, что проистекает от неожиданных потрясений. Прохожие ходили понурив головы, пряча хмурые лица от ветра, который трепал немецкий флаг, водруженный над Триумфальной аркой.

Вернувшись, я нашла Париж возбужденным и сердитым. Все стены увешаны разноцветными листовками самого крамольного содержания. Прекрасные и благородные мысли соседствовали в них со смехотворными угрозами. Рабочие по дороге на завод останавливались у стен с листовками. Один из них начинал читать вслух, и по мере того, как толпа прибывала, чтение возобновлялось.

У всех этих людей, изведавших столько страданий от чудовищной войны, находили отклик призывы к возмездию. Увы, их можно было понять! Война ввергла людей в пучину горя и разрухи. Нищета одела женщин в лохмотья. Дети, лишенные крова, бродили как неприкаянные. Позор поражения сломил мужчин. И вот, раздавшиеся призывы к бунту, анархистские выкрики, завывания толпы, скандировавшей: «Долой троны! Долой республики! Долой богачей! Долой попов! Долой евреев! Долой армию! Долой хозяев! Долой трудящихся! Долой всех!» — разбудили впавших в оцепенение людей.

Немцы, которые разжигали эти волнения, оказали нам, сами того не желая, подлинную услугу. Все те, что безропотно

покорились судьбе, вдруг очнулись от спячки.

Другие же, те, что требовали реванша, нашли применение своим нерастраченным силам. Ни в чем не было согласия. Образовалось десять, двадцать различных партий, враждовавших между собой и осыпавших друг друга угрозами. Это было ужасно! И все же это было пробуждение. Возрождение после смерти.

Среди моих друзей было человек десять лидеров различных группировок, и все они меня одинаково интересовали: и самые отчаянные, и самые благоразумные. Не раз у Жирардена[50] я встречалась с Гамбеттой и с неизменной радостью слушала этого замечательного деятеля. В его словах было столько мудрости, уверенности и вдохновения! Этот человек — с большим животом, короткими руками и слишком крупной головой, — когда начинал говорить, весь преображался и становился прекрасным.

Впрочем, Гамбетта никогда не принадлежал к людям заурядным, таким, как все. Он нюхал табак и смахивал рассыпавшиеся крошки удивительно изящным движением. Он курил толстые сигары, но никогда не доставлял этим неудобств собеседнику. Иногда, устав от политики, он переходил к литературе и говорил с тем же неподражаемым блеском; он прекрасно знал литературу и бесподобно читал стихи.

Как-то вечером, после ужина у Жирардена, мы разыграли вместе с ним сцену с доньей Соль из первого действия «Эрнани». И, хотя он не мог сравниться красотой с Муне-Сюлли, он был столь же великолепен в этой сцене. В другой раз он прочитал целиком наизусть «Руфь и Вооз», начав с последнего стиха. И все же я отдавала предпочтение его политическим дискуссиям, особенно тогда, когда он загорался из-за какой-нибудь реплики, противоречившей его убеждениям. Главными чертами таланта этого политического деятеля являлись логика и уравновешенность, но он слишком увлекся шовинизмом. Бесславная смерть столь великого ума стала удручающим уроком человеческой гордыне.

Время от времени я виделась с Рошфором[51], ум которого приводил меня в восхищение. Но подле него мне становилось как-то не по себе, ведь он был повинен в падении Империи, в то время как я — даже будучи убежденной республиканкой — любила императора Наполеона III. Он был крайне доверчив и очень несчастен. Мне казалось, что Рошфор слишком унижал его, не считаясь с его горем.

Кроме того, я очень часто встречалась с любимцем Тьера Полем де Ремюза. Это был человек тонкого ума, с широким кругозором и элегантными манерами. Кое-кто обвинял его в приверженности орлеанизму. Он был республиканцем, куда более

ярым республиканцем, нежели господин Тьер. Только тот, кто его совершенно не знал, мог усомниться в его искренности. Поль де Ремюза питал отвращение ко всякой лжи, будучи чувствительным, честным и твердым по натуре. Активно занимаясь политикой, он не стремился выйти на большую арену, но его мнение всегда одерживало верх даже в Палате депутатов и в Сенате. Он соглашался выступать только перед конторскими служащими. Сто раз ему предлагали портфель министра культуры, и сто раз он отказывался от него.

Наконец как-то раз, уступив моим неоднократным настоятельным просьбам, он чуть было не согласился на этот пост, но в последнюю минуту все же отказался и написал мне очаровательное письмо, выдержки из которого приводятся ниже. Письмо не предназначалось для печати, поэтому я не считаю себя вправе его публиковать, хотя могу без опасения процитировать следующие строки: «Позвольте мне, мой прелестный друг, остаться в тени: отсюда мне видно лучше, чем в ослепляющем сиянии почестей. Вы не раз благодарили меня за внимание к несчастным, о которых Вы сообщали. Оставьте мне мою свободу. Мне гораздо приятнее иметь право облегчить участь каждого, нежели быть вынужденным помогать неизвестно кому…

…Я создал себе в области искусства идеал красоты, который справедливо мог бы показаться слишком пристрастным…»

Очень жаль, что порядочность этого деликатного человека не позволила ему принять предложенный пост. Реформы, о которых он говорил, были крайне необходимы и остаются таковыми по сей день…

Я была также знакома и часто встречалась с неким безумцем, одержимым несбыточными дикими мечтами, его звали Флуранс. Это был высокий красивый молодой человек. Он жаждал всеобщего счастья и благоденствия и при этом стрелял в солдат, не задумываясь над тем, что с самого начала приносит кому-то (или многим) несчастье. Спорить с ним было бесполезно, но он был милым и славным юношей.

В последний раз я видела его за два дня до гибели. Он пришел ко мне с совсем еще юной девушкой, которая хотела посвятить себя драматическому искусству. Я обещала ему посодействовать ей в этом.

Через день бедняжка явилась, чтобы известить меня о героической смерти Флуранса, который, не пожелав сдаться, подставил грудь и закричал медлившим солдатам: «Стреляйте же! Я бы вас не пощадил!» И пули сразили его.

Менее интересным и, на мой взгляд, более опасным безумцем был некто по имени Рауль Риго, ставший на короткое время

префектом полиции.

Он был очень молод, очень дерзок, ужасно честолюбив и готов на все, чтобы добиться своего. И зло казалось ему для этого более легким средством, чем добро. Этот человек представлял реальную опасность. Он принадлежал к группе студентов, которые ежедневно присылали мне стихи и преследовали меня повсюду с лихорадочным возбуждением. В Париже их прозвали «сарапоклонниками».

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ФОТОПОРТРЕТЫ С. БЕРНАР, ВЫПОЛНЕННЫЕ П. НАДАРОМ

С. Бернар в роли Федры (Ж. Расин «Федра»)

Фотопортрет работы Поля Надара

С. Бернар — леди Макбет

В спектакле «Эрнани» по пьесе В. Гюго

Однажды он принес мне одноактную пьеску. Пьеса была такой глупой, а стихи такими слабыми, что я отослала ее обратно с припиской, которую он счел, по-видимому, обидной, так как с тех пор затаил на меня злобу и попытался мне отомстить.

Как-то раз мне доложили о его приходе. У меня в это время сидела госпожа Герар.

— Вам известно, — произнес он прямо с порога, — что я

теперь всемогущ.

— По нынешним временам это не диковинка, — парировала я.

— Я пришел к вам, чтобы заключить перемирие либо объявить войну.

Я не терпела, когда со мной разговаривали подобным тоном. Подскочив, словно ужаленная, я выпалила:

— Я предвижу, милостивый государь, что ваши мирные условия мне не подойдут, и потому сама объявляю вам войну: вы из тех, кого предпочтительнее иметь в числе заклятых врагов, нежели среди друзей.

Затем я приказала дворецкому выпроводить префекта полиции. Госпожа Герар пришла в отчаяние:

— Этот человек причинит нам зло, милая Сара, уверяю вас.

Предчувствие ее не обмануло. Правда, боялась она за меня, а не за себя. Он же направил свой первый удар против нее: сместил с поста одного из ее родственников комиссара полиции, и перевел его на менее значительную должность, сопряженную с большим риском. После этого он придумал еще тысячу мелких пакостей. Так, однажды я получила предписание безотлагательно проследовать по срочному делу в префектуру полиции. Я не подчинилась. На другой день конный нарочный вручил мне записку от господина Рауля Риго, в которой тот угрожал прислать за мной полицейский фургон. Я не испугалась угроз этого негодяя, который вскоре был расстрелян и, таким образом получил по заслугам.

Тем временем жизнь в Париже сделалась невыносимой. Я решила уехать в Сен-Жермен-ан-Лэ и попросила матушку составить мне компанию, но она как раз собиралась в Швейцарию с моей младшей сестрой.

Уехать из Парижа оказалось сложнее, чем я предполагала. Вооруженные коммунары останавливали поезда и устраивали обыски повсюду: в сумках, карманах, даже под подушками в купе. Они боялись, как бы пассажиры не переправили версальцам газет. На мой взгляд, это было чудовищно глупо.

Устроиться в Сен-Жермен-ан-Лэ оказалось непросто. Почти весь Париж переселился в этот красивый и столь же скучный уголок. С высоты террасы, на которой день и ночь толпились люди, мы наблюдали за устрашающей поступью Коммуны.

Весь Париж был объят дерзким разрушительным пламенем. Зачастую ветер приносил нам обгоревшие документы. Мы тут же отсылали их в мэрию. Сена также несла по течению множество бумаг, которые речники собирали в мешки. Иногда — эти дни были самыми тревожными — густая пелена дыма обволакивала

Париж. И даже ветер был не в силах помочь огню пробиться наружу. Город горел тайком, скрывая от наших встревоженных глаз новые очаги, зажженные яростными безумцами.

Каждый день я ездила верхом. Мой путь пролегал через лес, Я скакала до самого Версаля, однако это было небезопасно, так как по лесу шатались голодные бродяги, которых мы спешили накормить. Кроме того, можно было встретить преступников, сбежавших из Пуасси, и коммунаров-добровольцев, жаждавших крови версальских солдат.

Возвращаясь как-то раз из Триеля вместе с капитаном О'Коннором, мы поскакали через лес, чтобы сократить путь, как вдруг из соседней чащи прогремел выстрел, от которого моя лошадь шарахнулась влево так резко, что я вылетела из седла. К счастью, это было умное животное. О'Коннор засуетился возле меня, но, видя, что я встала на ноги и готова снова сесть в седло, сказал: «Я сейчас, только осмотрю эту чашу». Пришпорив лошадь, он вмиг оказался на том самом месте. Сначала я услышала выстрел, а вслед за ним треск сучьев под ногами беглецов. Затем, после еще одного выстрела, совершенно непохожего на два предыдущих мой друг вновь предстал передо мной с пистолетом в руке.

— Он не задел вас? — спросила я его.

— Чуть-чуть ногу, в первый раз. Он стрелял слишком низко. Во второй раз он стрелял наугад. Но, кажется, я всадил в него пулю.

— Но ведь я слышала, как он убегал, — сказала я.

— О, — ухмыльнулся красавчик капитан, — далеко ему не уйти.

— Бедняга… — прошептала я.

— Ну нет! — вскричал О'Коннор. — Прошу вас, не жалейте их: они убивают каждый день множество людей; только вчера на Версальской дороге нашли пятерых солдат из моего полка. Их не просто убили, но зверски изуродовали.

И он выругался сквозь зубы. Я посмотрела на него с некоторым удивлением, но он не придал этому значения. Мы продолжали свой путь, стараясь продвигаться так быстро, насколько позволяла лесная дорога. Внезапно наши лошади стали, фыркая и втягивая носом воздух. О'Коннор вытащил револьвер и спешился, ведя лошадь за собой.

В нескольких метрах от нас на земле был распростерт человек. «Это, должно быть, тот самый негодяй», — сказал капитан. И, склонившись над мужчиной, окликнул его. В ответ раздался стон. О'Коннор не видел лица этого человека и потому не мог его узнать. Он чиркнул спичкой. Мужчина, казалось, был

безоружен.

Я тоже тешилась и попыталась приподнять голову несчастного, но тотчас же отдернула руку, обагрившуюся кровью. Человек открыл глаза и вперил взгляд в О'Коннора: «А, это ты, версальский пес!.. Это ты в меня стрелял! Я промахнулся, но…» Его рука потянулась к револьверу, висевшему за поясом, однако это движение отняло у него последние силы, и рука безжизненно упала.

О'Коннор в свою очередь взвел курок. Я загородила раненого, умоляя оставить его в покое. Я не узнавала своего приятеля. Этот красивый, всегда сдержанный, благовоспитанный блондин, бывший немного снобом, но очаровательным снобом, на глазах превращался в зверя.

Склонившись над несчастным, выпятив вперед нижнюю челюсть, он бормотал нечто нечленораздельное. Его рука судорожно сжималась и разжималась, как будто он комкал анонимное письмо, прежде чем отшвырнуть его с отвращением.

— О'Коннор, оставьте этого человека в покое, — взмолилась я.

К счастью, храбрый солдат уживался в нем с галантным кавалером. Он опомнился и взял себя в руки.

— Будь по-вашему! — сказал он, помогая мне забраться в седло. — После того как доставлю вас в гостиницу, вернусь с солдатами забрать этого мерзавца.

Мы проскакали еще полчаса, не обменявшись больше ни единым словом.

Я сохранила по отношению к О'Коннору самые добрые чувства, хотя отныне при виде его всегда вспоминала эту печальную сцену. И случалось, во время нашего разговора маска зверя, в которой он предстал передо мной на миг, вновь проступала на его смеющемся лице.

В марте 1905 года генерал О'Коннор, командовавший войсками в Алжире, в последний раз пришел как-то вечером в мою гримерную и принялся рассказывать о своих стычках с арабскими вождями. «Думаю, — воскликнул он со смехом, — что нам следует перейти к рукопашной!» И маска капитана проступила на лице генерала.

Больше я его не видела. Он умер полгода спустя.

Наконец-то можно было вернуться в Париж. Гнусный, постыдный мир был подписан, несчастная Коммуна раздавлена, и все, казалось бы, возвратилось на круги своя. Но сколько крови! Сколько погибших! Сколько женщин в трауре! Сколько пепелищ!

В Париже стоял едкий запах дыма. К чему бы я ни притрагивалась у себя в доме, меня преследовало ощущение

какого-то липкого налета. Чувство «тошноты» овладело всей Францией, и в особенности Парижем.

Тем временем, ко всеобщей радости, театры вновь открыли сезон.

Однажды утром я получила из «Одеона» репетиционный лист. Я тряхнула гривой и притопнула, фыркая, словно жеребенок после купания. Манеж открывался снова. И мы вновь должны были скакать галопом за мечтами. Арена ждала нас. Начиналась борьба. Значит, жизнь продолжалась, ведь, как это ни странно, людской разум превратил жизнь в вечную борьбу. Кончается война, но не битва: сто тысяч человек рвутся к одной и той же цели, и каждый норовит обогнать другого. Бог создал землю и человека друг для друга. Планета велика. Сколько еще на ней невозделанных полей! Раскинувшись на сотни миль, на тысячи верст, целинные земли ждут, когда рука человека извлечет из их недр несметные природные богатства. А люди топчутся на месте, сбившись в кучки. И толпы голодных настороженно следят друг за другом.

«Одеон» открыл сезон, возобновив свой репертуар. Было поставлено также несколько новых спектаклей. Один из них имел ошеломляющий успех. Он был создан по пьесе Андре Терье[52]«Жан-Мари» в октябре 1871 года.

Эта одноактная пьеса — подлинный маленький шедевр. Она открыла перед автором двери в Академию. У Пореля, который играл Жана-Мари, был огромный успех. В то время он был еще стройным, горячим, полным юношеского задора актером. Его таланту недоставало лиризма, но жизнерадостный смех Пореля, во время которого обнажались все тридцать два его белоснежных зуба, по своему чувственному пылу не уступал поэтическому восторгу. Он был хорош и так.

Мне дали роль юной бретонки, которую насильно выдали за старого мужа и которая живет теперь одними воспоминаниями о без вести пропавшем и, быть может, умершем женихе. Это была поэтичная и трогательная роль с трагическим концом.

В финале пьесы было нечто величественное. Спектакль, как я уже говорила, имел огромный успех, благодаря которому моя зарождавшаяся популярность возросла.

Но я предчувствовала, что скоро произойдет событие, которое возведет меня в ранг звезды. Я и сама не понимала толком, чего ждала, но была уверена, что скоро явится Мессия.

И им стал величайший из поэтов нашего века, возложивший на мое чело корону избранных.

2

В конце того же 1871 года торжественно и несколько таинственно нам объявили о том, что вскоре мы будем ставить одну из пьес Виктора Гюго.

В то время я еще не умела широко мыслить. Меня окружала довольно-таки мещанская среда, состоявшая из моих родных, их знакомых-космополитов и друзей (в той или иной степени снобов), а также моих собственных знакомых и друзей, приобретенных за время независимой артистической жизни.

С самого детства мне внушали, что Виктор Гюго — бунтовщик и отступник, и даже его книги, которыми я зачитывалась, не мешали мне судить его со всей строгостью.

Сегодня я готова сгореть от стыда и досады при мысли о своих тогдашних нелепых предрассудках, которые усиленно подогревались моим недалеким либо неискренним и льстивым окружением.

Но тем не менее мне ужасно хотелось играть в «Рюи Блазе». Роль королевы просто-напросто очаровала меня! Я поведала о своем желании Дюкенелю, и он сказал мне, что уже думал об этом.

Однако у Джейн Эсслер, популярной и довольно вульгарной актрисы, было куда больше шансов получить эту роль: в то время она была очень дружна с Полем Мёрисом, ближайшим другом и советчиком Виктора Гюго.

Кто-то из приятелей привел ко мне Огюста Вакри, другого близкого друга Великого мэтра, вдобавок состоявшего с ним в родстве. Огюст Вакри пообещал поговорить с Виктором Гюго. Два дня спустя он вновь навестил меня, утверждая, что у меня есть шанс получить эту роль. Сам Поль Мёрис, честнейший и добрейший человек, рекомендовал меня автору.

Кроме того, замечательный артист Жеффруа, покинувший «Комеди Франсез», которого пригласили играть в «Доне Саллюстии», якобы сказал, что знает только одну испанскую королеву, достойную короны: Сару Бернар. Я не была лично знакома с Полем Мёрисом и очень удивилась, что все эти люди меня знают.

Читка была назначена на шестое декабря 1871 года, в два часа пополудни, у Виктора Гюго. Я была настолько избалована лестью и курившимся мне фимиамом, что сочла себя оскорбленной бесцеремонностью мужчины, который не хотел утруждать себя и пригласил женщину домой, хотя можно было встретиться на нейтральной территории, в театре, где обычно

проходило прослушивание новых пьес.

Вечером, часов в пять, я поведала об этом вопиющем факте своей маленькой свите, собравшейся у меня дома, и все — женщины и мужчины — хором вскричали: «Как! Этот вчерашний ссыльный, только что получивший прощение, это ничтожество осмеливается причинять хлопоты нашему божку, королеве всех сердец, фее из фей?!»

Мой кружок гудел, как потревоженный улей. Все повскакивали с мест: «Мы ее не пустим! Напишите ему так… Нет, лучше так…»

И все дружно принялись сочинять вызывающие, исполненные презрения письма… И тут доложили о приходе маршала Канробера[53], который являлся тогда участником нашего кружка.

Моя неугомонная свита тотчас ввела его в курс дела. Побагровев, маршал стал возмущаться нашими глупыми выпадами в адрес Великого поэта.

— Вам не следует, — сказал он мне, — идти к Виктору Гюго, у которого, как мне кажется, нет достаточных оснований для того, чтобы нарушать заведенные правила. Но извинитесь перед ним, сказавшись больной, и таким образом воздайте ему уважение, достойное гения.

Я последовала совету моего большого друга и послала поэту следующее письмо: «Сударь, королева простудилась, и Camerera Mayor[54] не выпускает ее из дому. Вам, как никому другому, известны правила этикета испанского двора. Пожалейте Вашу бедную королеву, сударь!»

Я отправила письмо с посыльным и получила от поэта такой ответ: «Я — Ваш покорный слуга, сударыня. — Виктор Гюго».

На следующий день читка пьесы на сцене возобновилась; думаю, что читка у Мэтра не состоялась… во всяком случае, в полном объеме. Вот так я познакомилась с «монстром». Ах! Я еще долго имела зуб на тех глупцов, что сбили меня с толку.

Он был очарователен, этот монстр, очень умен, тонок, обходителен; учтивость его всегда была данью уважения и не была навязчивой. Его отличали доброта по отношению к обездоленным и неизменная веселость.

Он не был, разумеется, эталоном элегантности, но сдержанность его жестов и мягкость речи выдавали в нем бывшего пэра Франции.

Он отличался острым языком и цепким, но снисходительным взглядом. Сам он не умел читать стихи, но обожал слушать их в хорошем исполнении. Во время репетиций он часто делал наброски с натуры. Нередко, устраивая актеру разнос, он говорил стихами. Как-то раз в ходе репетиции он пытался внушить

бедняге Тальену, что его дикция никуда не годится. Устав слушать этот бесконечный разговор, я уселась на стол, болтая ногами. Гюго заметил мое нетерпение и, встав посреди оркестровой ямы, воскликнул:

Испанской королеве не пристало
На стол садиться, словно трона мало!

Смутившись, я соскочила со стола, собираясь тоже сострить в его адрес что-нибудь особенно язвительное, но ничего не придумала и осталась при своей обиде, в дурном расположении духа.

Как-то раз репетиция закончилась на час раньше обычного, и я ждала, прильнув к окну, госпожу Герар, которая должна была зайти за мной. Я смотрела через дорогу на мостовую, упиравшуюся в ограду Люксембургского сада. Виктор Гюго как раз перешел улицу и направился дальше. Вдруг какая-то пожилая женщина привлекла его внимание. Она поставила на землю тяжелый тюк с бельем и отирала лоб, на котором блестели бисером, несмотря на стужу, капельки пота. Она хватала беззубым ртом воздух, а в глазах ее читалась тревога, граничившая с ужасом, при виде преградившей ей путь широкой дороги, по которой беспрестанно сновали экипажи и омнибусы. Виктор Гюго подошел к бедняжке и, что-то сказав, достал из кармана и дал ей монетку, затем снял свою шляпу и, вручив ее женщине, ловким движением, с улыбкой водрузил тюк с бельем на плечо и перенес его через дорогу Оторопевшая старуха семенила за ним следом.

Я пулей слетела вниз, чтобы расцеловать его, но за то время, что я добежала до коридора, грубо оттолкнув Шилли, который хотел меня задержать, и спустилась по лестнице, Виктор Гюго исчез. Я успела заметить только спину старухи, ковылявшей, как мне показалось, уже с меньшим трудом.

На другой день я рассказала поэту, как оказалась свидетельницей его благородного поступка. «О! — ответил мне Поль Мёрис. — Всякий новый день для него это повод сотворить доброе дело». И глаза его увлажнились от избытка чувств. Я поцеловала Виктора Гюго, и мы начали репетировать.

Ах, можно ли забыть репетиции «Рюи Блаза», исполненные светлой радости и очарования!

С приходом Виктора Гюго все вокруг озарялось сиянием. И оба его спутника, почти никогда не покидавшие его, Огюст Вакри и Поль Мёрис, в отсутствие Мэтра поддерживали этот божественный огонь.

Строгий, печальный и изысканный Жеффруа нередко давал мне советы. Он был художником, и в промежутках между репетициями я позировала ему на скорую руку. В фойе «Комеди Франсез» висят две его картины, изображающие два поколения труппы обоего пола. Эти работы не отличаются ни своеобразной манерой исполнения, ни сочным цветом, но они, как мне кажется, верно передают сходство и довольно удачны по композиции.

Лафонтен, также занятый в «Рюи Блазе», нередко вел с Мэтром долгие споры, в которых Виктор Гюго никогда не уступал. И нужно признать, он неизменно оказывался прав.

Игре Лафонтена были присущи искренность и блеск, но все портила его ужасная дикция: виной тому был протез, вставленный вместо выпавших зубов, который затруднял речь актера. Чуткое ухо улавливало странный звук, проистекавший от трения каучукового нёба протеза о настоящее нёбо, и это мешало наслаждаться красотой исполняемых стихов.

Что касается бедняги Тальена, игравшего роль дока Гуритана, то его постоянно заносило не в ту сторону. Он понял свою роль совершенно превратно, и Виктору Гюго пришлось доходчиво и убедительно ему ее разъяснять. Тальен был добросовестным, упорным в работе, исполнительным актером, но он был глуп как пробка. Если что-то не доходило до него сразу, то не доходило уже никогда, и на этом можно было поставить крест. Но, будучи честным и порядочным человеком, он во всем полагался на автора и полностью слагал с себя ответственность. Он говорил: «Я понял это иначе. Но я сделаю все так, как вы скажете». И повторял слово в слово, жест за жестом требуемые интонации и движения.

Подобная покорность действовала на меня угнетающе, глубоко оскорбляя во мне чувство актерской гордости.

Я часто отзывала несчастного Тальена в сторону и подстрекала его к мятежу. Увы, все мои усилия были тщетны. Он был очень высоким, его руки казались слишком длинными, глаза смотрели устало. Огромный нос, словно удрученный собственными размерами, нависал над губой с тоскливой безнадежностью. Густая копна волос обрамляла его лоб, а едва заметный подбородок будто спешил улизнуть с этого несуразного лица.

Добродушие сквозило во всех чертах Тальена. Он был сама доброта, и нельзя было не полюбить его всей душой.

3

День 26 января 1872 года стал для «Одеона» подлинным праздником актерского искусства. Весь Париж, не пропускающий ни одной премьеры, Париж, пылкий, как юноша, собрался в его широком, торжественном и запыленном зрительном зале.

Ах! Что это было за великолепное, волнующее представление!

Какой триумф ждал бледного, сурового и зловещего Жеффруа, одетого в черный костюм дона Саллюстия! Меленг, игравший дона Сезара де Базана, несколько разочаровал публику, но публика была не права… Роль дона Сезара де Базана создает обманчивое впечатление удавшейся роли: она неизменно привлекает актеров своим блеском в первом действии, однако четвертый акт, написанный ради нее, удручает своей тяжеловесностью и никчемностью. Можно с легким сердцем выбросить его из пьесы, как улитку из раковины, и пьеса не станет от этого ни менее правдивой, ни менее убедительной.

В тот же день 26 января туманная завеса, дотоле застилавшая от меня будущее, спала, и я почувствовала, что рождена для славы. До сих пор я была лишь любимицей студентов, отныне я стала Избранницей Публики.

Задыхаясь от волнения, оглушенная и очарованная собственным успехом, я совсем потеряла голову в нескончаемом потоке поклонников и поклонниц.

Но внезапно толпа расступилась, люди выстроились в ряд, и я увидела направлявшихся ко мне Виктора Гюго и Жирардена. Тотчас же я припомнила все свои глупые предрассудки по отношению к этому величайшему гению. Мне пришла на память наша первая встреча, во время которой я держалась чопорно и подчеркнуто вежливо с этим неизменно добрым и снисходительным человеком. Меня подмывало теперь, когда моя судьба расправляла крылья для полета, во весь голос заявить ему о своем раскаянии и бесконечной признательности.

Но, опередив меня, он преклонил колено и, прильнув губами к моим рукам, прошептал: «Благодарю, благодарю».

И это он благодарил меня! Он, великий Виктор Гюго, со своей столь возвышенной душой, Виктор Гюго, чей универсальный гений объял целый мир! Он, чьи руки щедро осыпали милостью, словно драгоценными камнями, самых заклятых своих врагов!

Ах! В тот миг я чувствовала себя такой ничтожной, пристыженной и счастливой одновременно!

Поднявшись, он принялся пожимать тянувшиеся к нему отовсюду руки, и для каждого находилось у него подходящее

слово.

Он был прекрасен в тот вечер: от его высокого чела исходило сияние, густая шевелюра серебрилась, словно скошенная трава при лунном свете, а глаза смеялись и лучились.

Не решившись броситься в объятия Виктора Гюго, я упала в объятия Жирардена, который был мне с самого начала верным другом, и разрыдалась. Он увлек меня в мою гримерную со словами: «Теперь главное — не дать этому шумному успеху вскружить вам голову. Теперь, когда вы увенчаны лаврами, не нужно больше проделывать сальто-мортале. Нужно стать более гибкой, более покладистой и общительной».

Я посмотрела ему в глаза и ответила: «Дружище, я знаю, что никогда не буду ни гибкой, ни покладистой. Попробую стать общительной — вот все, что могу вам обещать. Что касается моего венца, клянусь вам, что, несмотря на все мои сальто-мортале, от которых я ни за что не откажусь, он не слетит у меня с головы, чует моя душа».

Поль Мёрис, присутствовавший при нашей беседе, напомнил мне о ней в день премьеры «Анжело» в театре Сары Бернар 7 февраля 1905 года.

Вернувшись домой, я долго беседовала с госпожой Герар и, когда она собралась уходить, упросила ее побыть со мной еще. Будущее, открывавшееся передо мной, сулило мне столько надежд, что я стала опасаться воров. «Моя милочка» осталась со мной, и мы проговорили до самого рассвета.

В семь часов мы сели в карету, и я отвезла мою дорогую подругу домой, а затем целый час гуляла пешком.

Я и прежде имела успех: в «Прохожем», «Драме на улице Мира», Анна Демби в «Кине», в «Жане-Мари», но я чувствовала, что мой успех в «Рюи Блазе» превзошел все и что отныне обо мне можно спорить, но пренебрегать мной уже нельзя.

Нередко поутру я отправлялась навестить Виктора Гюго; он был по-прежнему сама доброта и обаяние.

Когда я совсем освоилась, то поведала ему о своих первоначальных впечатлениях, обо всех своих дурацких взбалмошных выпадах против него, обо всем, что мне внушали и чему я верила из-за своего простодушного неведения в светских делах.

Однажды утром Мэтр беседовал со мной с особенным удовольствием. Он попросил позвать госпожу Друэ, чья кроткая душа была спутницей его гордой и мятежной души, и сказал ей с грустным смехом: «Злые люди сеют семена заблуждения в любую почву, не заботясь о всходах».

То утро навеки запечатлелось в моей памяти, ибо этот великий человек еще долго-долго говорил. Нет, он говорил не для меня, а ради тех, кого я представляла в его глазах. Быть может, я олицетворяла для него все то молодое поколение, чей разум, отравленный буржуазно-клерикальным воспитанием, был чужд всякой благородной идее, всякому стремлению к новому?

В то утро, покидая Виктора Гюго, я чувствовала себя более достойной его дружбы.

Я направилась к Жирардену. Его не было дома. Мне хотелось поговорить с кем-то, кто любит поэта. И я отправилась к маршалу Канроберу.

Там меня ждал большой сюрприз: спустившись из экипажа на землю, я едва не столкнулась с маршалом, как раз выходившим из дому.

— Что случилось? Все откладывается? — спросил он со смехом.

Ничего не понимая, я глядела на него несколько ошалело…

— Как, вы забыли, что пригласили меня на обед?

Я была в замешательстве. Как я могла об этом позабыть!

— Что ж, тем лучше! — сказала я наконец. — Мне страшно хотелось с вами поговорить. Садитесь, сейчас я отвезу вас к себе.

И я поведала о своем недавнем свидании с Виктором Гюго. Я пересказала ему прекрасные мысли, которыми он поделился со мной, не задумываясь о том, что многие из них противоречили взглядам маршала. Но этот замечательный человек умел восхищаться. И, хотя он не мог — а скорее не хотел — изменять своим убеждениям, он одобрил великие мысли, которые должны были привести к великим переменам.

Однажды, когда он был у меня в гостях вместе с Бюзнахом[55], возник довольно бурный политический спор. В какой-то миг я испугалась, что дело примет скверный оборот, поскольку Бюзнах был одним из самых умных и самых грубых во Франции людей. (Необходимо уточнить, что маршал Канробер, будучи вежливым и прекрасно воспитанным человеком, по уму ничуть не уступал Уильяму Бюзнаху.)

Бюзнах, раздосадованный насмешливыми ответами маршала, вскричал:

— Господин маршал, держу пари, что вы не посмеете изложить на бумаге гнусные утопии, которые вы только что защищали!

— О, господин Бюзнах, — холодно отвечал Канробер, — сталь, при помощи которой мы с вами пишем историю, разной закалки: вы используете перо, а я шпагу!

Обед, о котором я напрочь позабыла, был назначен еще

несколько дней назад. Дома нас поджидали гости: Поль де Ремюза, очаровательная мадемуазель Окиньи и молодой атташе посольства господин де Монбель. Я с грехом пополам объяснила свое опоздание, и день увенчался сладостным союзом душ. Никогда еще я не слушала с таким неизъяснимым наслаждением, как в тот день.

Во время одной из пауз мадемуазель Окиньи сказала, придвинувшись к маршалу:

— Не кажется ли вам, что наша юная подруга должна поступить в «Комеди Франсез»?

— О нет, нет! Я так счастлива в «Одеоне»! Я дебютировала в «Комеди», и все то недолгое время, что оставалась там, была столь несчастна…

— Вам придется, милый друг, придется туда вернуться. Поверьте, это случится рано или поздно. Но лучше раньше.

— Полноте! Не омрачайте моей радости, никогда еще я не была так счастлива, как сегодня!

Несколько дней спустя поутру горничная вручила мне письмо. На конверте я увидела широкую круглую марку, которую окаймляла надпись: «Комеди Франсез».

Я припомнила, как десять лет назад, почти что день в день наша старая служанка Маргарита вручила мне с ведома матушки письмо в таком же точно конверте. Тогда я раскраснелась от радости. Теперь я почувствовала, что легкая бледность выступила на моем лице.

Всякий раз, когда непредвиденные обстоятельства вторгаются в мою жизнь, я невольно отступаю назад. Какой-то миг я цепляюсь за что попало, а затем очертя голову бросаюсь в неизвестность, подобно акробату, который держится за свою трапецию перед тем, как с размаху ринуться в пустоту. В мгновенье ока сиюминутное становится для меня прошедшим, вызывая во мне чувство трогательной нежности как безвозвратно погибшее. Но я обожаю также то, что будет. Будущее влечет меня своей таинственной неизвестностью. Предчувствие всегда говорит мне, что меня ждет нечто невиданное. И вот, я вся дрожу в сладостной тревоге и нетерпении.

Я получаю множество писем, но мне всегда этого мало. Письма все прибывают, прибывают, словно волны морского прилива, и я гляжу на них как завороженная. Что несут они мне, эти таинственные посланцы, маленькие и большие, розовые и голубые, желтые и белые?

Что выбросят на скалы эти огромные яростные волны, опутанные мрачными водорослями? Труп какого-нибудь юнги? Обломки затонувшего корабля? А что выплеснут на берег те

низкие короткие волны, в которых отражается голубое небо, или те маленькие смешливые волны? Быть может, розовую морскую звезду? Или сиреневую актинию? А может быть, перламутровую ракушку?

Я никогда не распечатываю письма сразу же по получении. Сначала я долго разглядываю конверт, пытаясь узнать почерк писавшего, тщательно изучаю штемпель и, лишь окончательно убедившись, от кого это письмо, вскрываю конверт.

Неопознанные письма распечатывает мой секретарь либо моя милая подруга Сюзанна Сейлор. Друзья, зная за мной эту привычку, всегда пишут свои имена либо ставят инициалы в углу конверта. В то время у меня еще не было секретаря. Его заменяла «моя милочка».

Я долго изучала то самое письмо и наконец отдала его Герар.

— Это письмо от господина Перрена, директора «Комеди Франсез», — сказала она. — Он просит вас назначить ему час свидания во вторник или в среду пополудни в «Комеди» либо у вас.

— Спасибо. Какой сегодня день?

— Понедельник.

Я усадила Герар за письменный стол:

— Напиши ему, пожалуйста, что я приеду к нему завтра в три.

В то время я получала в «Одеоне» жалкие гроши. Я жила на средства, оставленные мне отцом, то есть на то, что удалось получить при помощи гаврского нотариуса, и эти деньги таяли на глазах.

Я разыскала Дюкенеля и показала ему письмо.

— Ну и что же ты собираешься предпринять? — спросил он.

— Ничего. Хочу посоветоваться с тобой.

— Что ж, советую тебе остаться в «Одеоне». К тому же срок твоего ангажемента истекает лишь через год, и я тебя не отпущу!

— В таком случае прибавь мне жалованье. В «Комеди» мне обещают двенадцать тысяч франков в год, дай мне пятнадцать тысяч, и я останусь, тем более что мне не хочется уходить.

— Послушай, — вкрадчиво сказал мне обворожительный директор. — Ты ведь знаешь, что я не могу решать это самолично. Но обещаю тебе сделать все, что в моих силах.

Дюкенель всегда держал свое слово.

— Зайди ко мне завтра по дороге в «Комеди», я передам тебе ответ Шилли. Но даже если он наотрез откажется прибавить тебе жалованье, не уходи! Мы найдем какой-нибудь другой способ. И потом… потом… Нет, больше ничего не могу тебе сказать!

На следующий день я снова пришла к нему, как было

условлено. В кабинете директора меня ждали Дюкенель и Шилли. Шилли сразу же набросился на меня:

— Дюкенель сказал мне, что ты собираешься уходить? Куда? Это глупо! Твое место здесь! Послушай, обдумай все хорошенько… В «Жимназ» играют только современные и костюмированные пьески. Это не для тебя. В «Водевиле» — то же самое. В «Гэте» ты сорвешь голос. Для «Амбигю» ты слишком хорошо воспитана…

Я молча глядела на него, понимая, что его компаньон не сказал ему о «Французском театре». От моего молчания ему стало неловко, и он пробормотал:

— Ну что? Ты согласна со мной?

— Нет! Ты забыл про «Комеди»!

Широкое кресло, в котором он сидел, сотряслось от его смеха.

— О нет, дружочек, об этом нечего и думать: в «Комеди» сыты по горло твоим строптивым норовом. Вчера вечером я ужинал с Мобаном. Кто-то сказал, что тебя должны взять в «Комеди Франсез», так он чуть было не задохнулся от ярости. Можешь мне поверить, он отзывался о тебе не слишком лестно, этот великий трагик.

— В таком случае ты должен был меня защитить! — вскричала я с досадой. — Ведь тебе известно, какие большие доходы я приношу театру.

— Я и защищал тебя, как мог. Я даже сказал, что в «Комеди» должны почесть за счастье заполучить актрису с такой волей, как у тебя, что, может быть, это внесет ноту разнообразия в монотонный стиль Дома. Я говорил то, что думаю. Но он, этот бедный трагик, был вне себя. Он считает тебя бесталанной. Во-первых, он утверждает, что ты не умеешь читать стихи, ты произносишь «а» слишком открыто… Наконец, исчерпав все доводы, он сказал, что тебя примут в «Комеди Франсез» только через его труп.

Некоторое время я молчала, взвешивая все «за» и «против» возможного исхода своей попытки. Наконец, решившись, я выдавила из себя, уже утратив прежний пыл:

— Значит, ты не хочешь прибавить мне жалованье?

— Нет, тысячу раз нет! — заорал Шилли. — Можешь шантажировать меня, когда истечет срок твоего ангажемента. Тогда будет видно. Пока же у меня есть твоя подпись, у тебя — моя, и я дорожу нашим договором. «Французский театр» — единственный театр, помимо этого, который тебе подходит. И с его стороны я не жду подвоха.

— Возможно, ты ошибаешься.

Он резко вскочил с места, встал против меня, держа руки в карманах, и сказал мне гнусным фамильярным тоном:

— Вот как! Ты, должно быть, принимаешь меня за дурака!

Я спокойно поднялась и, слегка отстранив его рукой, промолвила:

— Да, я считаю тебя трижды дураком!

И устремилась к лестнице, где меня настиг голос Дюкенеля. Его призывы были тщетны. Я уже летела вниз, прыгая через две ступеньки.

Под сводами «Одеона» меня остановил Поль Мёрис, который пришел пригласить от имени Виктора Гюго Дюкенеля и Шилли на ужин по случаю сотого представления «Рюи Блаза».

— Я только что от вас, — сказал он мне. — Я оставил вам записку от Виктора Гюго.

— Хорошо-хорошо, договорились.

И я вскочила в свою карету со словами:

— Свидимся завтра, дорогой друг.

— Боже мой, вы так спешите?

— Да-да. — И, подавшись вперед, я крикнула кучеру: — В «Комеди Франсез».

Мой прощальный взгляд упал на Поля Мёриса, который остался стоять на лестнице под сводами с открытым ртом.

Приехав в «Комеди», я отослала свою визитную карточку Перрену. Через пять минут я увидела ледяного истукана. В этом человеке уживались две совершенно разные личности: его собственная и та, которую он сотворил для служебных надобностей. Перрен был галантен, любезен, умен и несколько робок; истукан — холоден, высокомерен, молчалив и не прочь пустить пыль в глаза.

Именно тот, второй, встретил меня поначалу, почтительно склонившись, как подобает приветствовать женщину, и гостеприимно указал мне на кресло. Он подождал, пока я усядусь, прежде чем сесть самому. Затем, взяв нож для разрезания бумаги, чтобы чем-то занять руки, он проговорил бесстрастным голосом — голосом истукана:

— Вы все обдумали, мадемуазель?

— Да, сударь. И вот, я приехала подписать контракт.

Не ожидая его приглашения, я придвинула кресло к письменному столу, взяла перо и собралась поставить свою подпись. Однако я плохо обмакнула перо, и мне вновь пришлось тянуться через весь стол к чернильнице. Но на сей раз я переусердствовала и на обратном пути посадила на широкий чистый лист, лежавший перед истуканом, жирную кляксу.

Он склонил голову набок и бросил на меня косой взгляд,

словно птица, обнаружившая в просе конопляное семя. Увидев, что он собирается забрать испачканный лист, я выхватила у него грязную бумагу со словами: «Постойте, постойте, я только взгляну, правильно ли я сделала, что поставила сбою подпись. Если это бабочка, то я была права, если что-то другое, все равно что, то я ошиблась». И, сложив лист пополам в том месте, где чернело огромное пятно, я с силой прижала обе половинки.

Эмиль Перрен расхохотался, и маска истукана исчезла с его лица. Вместе со мной он склонился над бумагой, и мы развернули ее так же осторожно, как разжимают кулак, в котором сидит пойманная муха. Посреди белоснежного листа красовалась великолепная черная бабочка с распростертыми крыльями.

— Ну и как? — промолвил Перрен, окончательно превратившийся в человека. — Мы правильно сделали, что подписали!

И мы стали болтать как двое старых приятелей.

Этот человек был обаятелен и очень привлекателен, несмотря на его уродливую внешность. Мы расстались друзьями, в восторге друг от друга.

Вечером я играла в «Одеоне» в «Рюи Блазе». Около десяти ко мне в гримерную зашел Дюкенель.

— Ты довольно сурово обошлась с бедным Шилли. И право, ты была не очень любезна: тебе следовало вернуться, когда я тебя звал. Это правда, что ты сразу же отправилась во «Французский театр», как сказал нам Поль Мёрис?

— Возьми и прочти, — отвечала я, протягивая ему свой ангажемент с «Комеди».

Дюкенель взял ангажемент и, ознакомившись с ним, спросил:

— Ты не возражаешь, если я покажу его Шилли?

— Покажи.

Он приблизился ко мне и сказал наставительным и грустным тоном:

— Тебе не следовало этого делать, не предупредив меня. Я не заслужил такого недоверия.

Он был прав, но дело было уже сделано.

Минуту спустя примчался разъяренный Шилли. Он кричал, размахивая руками и задыхаясь от гнева:

— Какая низость! Какое предательство! Ты не имела права!.. Я заставлю тебя заплатить неустойку!..

Будучи не в духе, я отвернулась от него и извинилась, как могла, перед Дюкенелем.

Он был удручен, и я чувствовала себя неловко, ведь этот человек всегда делал мне только добро; именно он, наперекор Шилли и другим моим недоброжелателям, распахнул передо

мной дверь в будущее.

Шилли сдержал слово и возбудил против меня и «Комеди» процесс, который я проиграла и вынуждена была заплатить администрации «Одеона» шесть тысяч франков неустойки.

Несколько недель спустя Виктор Гюго устроил для актеров, занятых в «Рюи Блазе», званый ужин по случаю сотого спектакля. Это было для меня большой радостью, ведь я еще никогда не бывала на такого рода банкетах.

После той самой сцены я не разговаривала с Шилли, но в этот вечер он оказался за столом рядом со мной, и мы вынуждены были помириться. Я сидела по правую руку от Виктора Гюго. Слева от него находилась госпожа Ламбкен, которая играла Camerera Mayor, а возле нее — Дюкенель.

Напротив великого поэта сидел другой поэт — Теофиль Готье. Его львиная голова покоилась на слоноподобном теле; восхитительный ум и изысканная речь как-то не вязались с грубым смехом. На бледном, вялом, одутловатом лице выделялись зрачки под тяжелыми веками. Взгляд поэта был мягок и мечтателен.

В этом человеке чувствовалось восточное благородство, приглушенное модой и западными обычаями. Я знала наизусть почти все его стихи и смотрела на этого изнеженного любителя красоты с нежностью.

Мне доставляло удовольствие мысленно наряжать его в роскошные восточные одежды. Я представляла, как он возлежит на высоких подушках, небрежно перебирая своими точеными пальцами разноцветные драгоценные камни. Мои губы сами собой нашептывали его стихи, и я погружалась вместе с ним в нескончаемые грезы, как вдруг голос моего соседа Виктора Гюго заставил меня обратить на него свой взгляд.

Какой контраст! Он, великий поэт, внешне был самым заурядным человеком (его сияющее чело — не в счет): грузная, несмотря на всю подвижность, фигура, обыкновенный нос, игривый взгляд, невыразительный рот; лишь в голосе его были благородство и обаяние. Я предпочитала слушать его, глядя на Теофиля Готье.

Однако мне было неприятно смотреть в ту сторону, так как рядом с поэтом сидел отвратительный субъект по имени Поль де Сен-Виктор; его надутые щеки-пузыри лоснились от жира; крючковатый нос хищно выделялся на лице, а злые глазки так и впивались в собеседника; вдобавок у него были слишком короткие руки, слишком толстый живот и кожа желтушного цвета.

Он был очень умен и талантлив, но его ум и талант уходили

на то, чтобы сеять либо словом, либо пером больше зла, чем добра. Я знала, что этот человек меня ненавидит, и отвечала ему взаимностью.

Виктор Гюго произнес тост, в котором благодарил актеров к актрис за содействие в возрождении его пьесы на сцене, и все, с почтением внимавшие поэту, уже поднимали бокалы, как вдруг прославленный Мэтр обратился ко мне: «Что касается вас, сударыня…» В тот же миг Поль де Сен-Виктор так резко швырнул свой бокал на стол, что он разбился вдребезги. Возникло некоторое замешательство, но я тут же перегнулась через стол и протянула свой бокал Полю де Сен-Виктору со словами: «Возьмите мой бокал, сударь: выпив из него, вы узнаете мои мысли — в ответ на ваши, о которых вы столь красноречиво заявили». Злюка взял у меня бокал, испепелив меня при этом взглядом.

Тост Виктора Гюго потонул в аплодисментах и приветственных возгласах. Тотчас же Дюкенель отклонился назад и, шепотом позвав меня, попросил передать Шилли, что нужно ответить на тост Виктора Гюго.

Так я и сделала. Он посмотрел на меня каким-то зыбким взглядом и сказал безжизненным голосом: «Меня держат за обе ноги». Я пригляделась к нему внимательнее, в то время как Дюкенель требовал тишины для ответной речи господина Шилли, и увидела, что он судорожно сжимает вилку; кончики его пальцев побелели, и вся рука посинела. Я прикоснулась к его руке. Она была холодной как лед, а другая рука безвольно свешивалась со стола.

Наступила гробовая тишина. Все взгляды устремились на Шилли. «Вставай!» — прошептала я в испуге. Он дернулся и вдруг уронил голову на стол, угодив лицом прямо в тарелку.

Приглушенный гул пронесся по залу. Немногочисленные женщины окружили беднягу. Они твердили глупые, банальные, бесполезные слова заученно, словно молитву.

Тотчас же послали за сыном Шилли. Затем двое официантов унесли еще живое неподвижное тело и положили его в малом зале. Дюкенель остался подле него, отослав меня к гостям поэта.

Я вернулась в банкетный зал. Гости разбились на группы.

— Ну как? — спросили меня, как только я вошла.

— Он все так же плох. Только что прибыл врач, но он не может пока поставить диагноз.

— Всему виной плохое пищеварение! — вздохнул Лафонтен (Рюи Блаз), залпом осушив стопку водки.

— Это паралич мозга! — мрачно заключил Тальен (дон Гуритан), постоянно что-то забывавший.

Виктор Гюго подошел к нам и сказал просто: «Какая прекрасная смерть!» Затем, взяв меня за руку, он увлек меня в глубь зала и начал шептать мне комплименты и читать стихи, чтобы отвлечь меня от грустных мыслей.

Гнетущее ожидание продолжалось некоторое время, наконец появился Дюкенель.

Он был бледен, но надел маску светского человека и отвечал на все вопросы:

— Ну да… его только что увезли домой… кажется, все обойдется… два дня отдыха… Вероятно, ему продуло ноги во время ужина.

— Ну да! — вскричал один из приглашенных по случаю «Рюи Блаза». — Под столом был чертовский сквозняк!

— Да, — отвечал Дюкенель кому-то из гостей, донимавших его расспросами. — Да, без сомнения, голова распарилась…

— В самом деле, — прибавил другой гость, — в самом деле, голова чуть не расплавилась от этой проклятой духоты.

Казалось, еще немного, и все эти люди начнут упрекать Виктора Гюго за холод, жару, а также за те яства и вина, что съели и выпили во время банкета.

Дюкенель, раздраженный этими дурацкими предположениями, пожал плечами и, отозвав меня в сторону, промолвил: «Ему конец!» Я предчувствовала такой исход, и все же от этого известия щемящая тоска сдавила мне сердце. «Я хочу уехать! — сказала я Дюкенелю. — Будь добр, пошли за моей каретой».

По дороге в малый зал, служивший также гардеробом, я столкнулась со старой Ламбкен которая кружилась в вальсе с Тальеном, немного захмелев от жары и выпитого вина.

— Ах, извините, моя маленькая мадонна. Я чуть не сбила вас с ног, — сказала она.

Я привлекла ее к себе и, не раздумывая, шепнула ей на ухо:

— Не танцуйте больше, госпожа Ламбкен. Шилли умирает!

Краска вмиг отхлынула от ее лица, и оно сделалось белым как мел. Она силилась что-то сказать, но ее так трясло, что зуб на зуб не попадал. «Ах, бедная Ламбкен! Если бы я знала, что причиню вам такое горе…» Но она, не слушая меня, уже натягивала свое пальто.

— Вы уходите? — спросила она.

— Да.

— Не отвезете ли вы меня домой? Я вам расскажу по пути…

Она обвязала голову черным платком, и мы спустились по лестнице в сопровождении Дюкенеля и Поля Мёриса, которые усадили нас в карету.

Она жила в Сен-Жерменском предместье, я же на Римской улице. По дороге бедняжка поведала мне свою историю:

— Вам известно, милочка, что я помешана на всяческих сновидцах, карточных гадалках и прочих предсказательницах судьбы. Так вот, представьте себе, что не далее как в прошлую пятницу — ведь вы знаете, что я посещаю их только по пятницам, — одна карточная гадалка сказала мне: «Вы умрете восемь дней спустя после смерти немолодого мужчины, брюнета, который замешан в вашей жизни». Видите ли, душечка, я решила, что она меня дурачит, ведь в моей жизни не замешан ни один мужчина, поскольку я вдова и никогда не состояла в любовной связи. Тогда я принялась осыпать ее бранью, ведь, в конце концов, я плачу ей целых семь франков (вообще-то она берет десять, но с артистов только семь). Она же, рассердившись на то, что я ей не верю, взяла меня за руку и промолвила: «Зря вы так раскричались! Хотите, я скажу вам чистую правду: это тот мужчина, что вас содержит! Скажу вам больше: вас содержат двое мужчин — брюнет и блондин! Вот те крест!» Она еще не закончила последнюю фразу, как я закатила ей такую оплеуху, какую она никогда еще не получала, ручаюсь вам! Только потом, когда я ломала голову над тем, что хотела сказать эта мерзавка, до меня дошло: двое мужчин, брюнет и блондин, которые меня содержат, — это же наши директора Шилли и Дюкенель. И вот вы говорите мне, что Шилли…

Она смолкла, обессиленная своим рассказом, и ужас вновь объял ее.

— Я задыхаюсь, — выдавила она наконец, и, несмотря на ужасную стужу, мы опустили стекла.

Я помогла ей подняться на пятый этаж и, поручив ее заботам консьержки, которой, ради пущего спокойствия, дала луидор, вернулась домой, потрясенная всеми этими драматическими и столь непредвиденными событиями.

Три дня спустя, 14 июня 1872 года, Шилли скончался, не приходя в сознание.

А через двенадцать дней умерла моя бедная Ламбкен. Перед смертью она сказала священнику, отпускавшему ей грехи: «Я умираю оттого, что поверила дьяволу».

4

Я покидала «Одеон» с тяжелым чувством. Я преклонялась и по сей день преклоняюсь перед этим театром. Он совершенно неповторим, как какой-нибудь маленький провинциальный городок. Все в нем: гостеприимные своды, под которыми прогуливаются пожилые неимущие ученые, ища прохлады и защиты от солнца; обрамляющие его огромные плиты, в расщелинах между которыми пробивается низенькая желтая трава; высокие колонны, почерневшие от времени, прикосновений рук и дорожной грязи, которой обдают их проходящие мимо омнибусы, похожие на старинные дилижансы; вечный шум, царящий вокруг; встречи людей, связанных общим делом, — все, вплоть до ограды Люксембургского сада, придает ему своеобразный, ни с чем не сравнимый в Париже облик.

Кроме того, в «Одеоне» царит особая атмосфера, близкая к атмосфере школы. На его стенах — несмываемый налет юношеских надежд. Здесь не говорят беспрестанно о прошлом, как в других театрах. Молодые актеры, приходящие сюда, говорят о завтрашнем дне.

Когда я вспоминаю недолгие годы, проведенные в этом театре, меня охватывает детский восторг. Я вновь слышу смех публики, и мои ноздри раздуваются, жадно вдыхая аромат скромных, неловко связанных букетиков, хранящих свежесть полевых цветов, цветов, подаренных от пылкого сердца двадцатилетних, что покупают их на гроши из тощих студенческих кошельков.

Я не взяла с собой ничего. Всю обстановку своей гримерной я оставила одной милой актрисе. Я оставила также свои костюмы и туалетные безделушки. Я раздала все. У меня было предчувствие, что почва подготовлена для того, чтобы расцвели все мои мечты, но борьба за жизнь только начинается. Я не ошиблась.

Мой первый заход в «Комеди Франсез» окончился неудачей. Теперь я знала, что вхожу в клетку с хищниками.

У меня почти не было друзей в этом Доме, не считая Ларошa, Коклена и Муне-Сюлли. Двое первых были моими товарищами по Консерватории, а последний — по «Одеону».

Среди женщин я дружила еще с детства с Мари Ллойд и Софи Круазетт, а также со злой Жуассен, которая хорошо относилась лишь ко мне, и с очаровательной Мадлен Броан, восхищавшей своей добротой и умом, но ужасавшей своим безразличием.

Господин Перрен решил, что, согласно желанию Сарсея, я буду дебютировать в «Мадемуазель де Бель-Иль».

Репетиции начались в фойе, и я чувствовала себя там очень скованно.

Роль маркизы де При должна была играть Мадлен Броан. В то время она чудовищно заплыла жиром, а я была до того худосочной, что моя худоба вдохновляла сочинителей злых куплетов и художников-карикатуристов.

Глядя на нас, невозможно было представить, чтобы герцог Ришелье принял маркизу де При (Мадлен Броан) за мадемуазель де Бель-Иль (Сару Бернар) в смелой и убедительной сцене ночного свидания, назначенного маркизой герцогу. На протяжении свидания тот полагал, что сжимает в своих объятиях целомудренную мадемуазель де Бель-Иль.

Брессан, который играл герцога де Ришелье, на каждой репетиции останавливался в этом месте со словами: «Нет, это чертовски глупо! Мой герцог не может быть круглым идиотом». Мадлен уходила с репетиции и направлялась в кабинет директора с требованием снять ее с этой роли.

Перрен, который с самого начала думал о Круазетт, только того и ждал, но хотел, чтобы это исходило не от него, в силу одному ему известных маленьких хитростей, о которых другие могли только догадываться.

В конце концов замена состоялась, и начались серьезные репетиции. Премьеру назначили на 6 ноября 1872 года.

Меня всегда мучил и по сей день мучит дикий страх перед выходом на сцену, особенно если мне известно, как много от меня ждут. К тому же я знала, что билеты были распроданы задолго до представления, которому пресса предрекла бешеный успех, и Перрен рассчитывал благодаря ему сорвать изрядный куш.

Увы! Предсказания не сбылись, надежды пошли прахом, и мой повторный дебют в «Комеди» оказался далеко не блестящим.

Вот что писал по этому поводу в газете «Ле Тан» от 11 ноября 1872 года Франциск Сарсей, с которым я еще не была тогда знакома, но который следил за моей артистической деятельностью с большим интересом:

«В зале собрался цвет общества, поскольку этот дебют привлек внимание всех театралов. Следует отметить, нисколько не умаляя заслуг мадемуазель Сары Бернар, что ее личность с некоторых пор связана со множеством разноречивых, как ложных, так и правдивых, слухов, которые витают вокруг ее имени и возбуждают любопытство парижской публики. Выход актрисы вызвал всеобщее разочарование. Костюм, в который она была одета, чересчур подчеркивал изящество ее фигуры, изящество столь изысканное в просторных драпировках античных героинь и,

напротив, теряющее свою привлекательность в современной одежде. К тому же то ли грим был подобран не в тон лицу, то ли страх являлся причиной ее ужасной бледности, но впечатление было не из приятных: длинное и узкое черное платье актрисы (она напоминала в нем муравья) создавало резкий контраст с ее белым как мел, длинным лицом с потухшим взором, лицом, на фоне которого выделялись ослепительно сверкавшие зубы. В течение трех первых действий она вела свою роль с каким-то болезненным надрывом, и мы узнали прежнюю Сару Бернар — Сару времен „Рюи Блаза" — лишь по двум куплетам, которые она пропела своим чарующим голосом с изумительной мелодичностью, но ни один из ведущих пассажей ей не удался. Я сомневаюсь, чтобы мадемуазель Сара Бернар смогла когда-нибудь извлечь из своего восхитительного горлышка сильные и глубокие звуки, передающие бешеный накал страстей, звуки, способные привести зрительный зал в исступление. Если бы природа наделила ее подобным даром, она стала бы самой совершенной из актрис, когда-либо выходивших на подмостки. Холодный прием публики обескуражил мадемуазель Сару Бернар, и она полностью обрела силы лишь в пятом акте. Наконец-то мы узнали нашу Сару, Сару „Рюи Блаза", которой мы так восхищались в „Одеоне"» и т. д., и т. п.

Сарсей был прав: мой дебют провалился. Виной тому был не страх сцены, а беспокойство, которое вызвал во мне внезапный уход матушки, покинувшей свое место в ложе через пять минут после моего выхода.

Оказавшись на сцене, я бросила украдкой на нее взгляд, ее лицо показалось мне мертвенно-бледным. Когда она выходила, я сердцем почувствовала, что у нее один из тех приступов, которые подвергали ее жизнь смертельной опасности, и первый акт показался мне бесконечным. Я подавала реплику за репликой, наугад бормотала свой текст, думая только: поскорее узнать, что случилось.

О! Зритель и не подозревает, какие муки претерпевает стоящий перед ним на сцене несчастный актер, который жестикулирует и твердит роль, тогда как его сжатое тоской сердце уносится к дорогому ему страдающему существу. Почти всегда можно сбросить груз мелких неприятностей и житейских забот, чтобы на несколько часов отрешиться от собственного «я» и, надев чужую личину, позабыв обо всем, погрузиться в иную, призрачную жизнь. Но когда страдает любимый человек, это становится невозможным: вами овладевает тревога, которая заглушает добрые предчувствия и прислушивается к дурным, тревога, доводящая раздвоившийся разум до безумия, а бешено

бьющееся сердце до того, что оно готово выскочить из груди. Именно такие ощущения я испытывала во время первого действия.

Наконец я ушла со сцены. «Маменька, что случилось с маменькой?..» Никто не мог мне ничего ответить. Круазетт подошла ко мне и сказала: «Что с тобой? Я тебя не узнаю. Тебя словно подменили на сцене». В двух словах я поведала ей о том, что видела и чувствовала.

Фредерик Фебр тотчас же отправил посыльного, и вскоре врач театра прибежал с известием:

— Мадемуазель, с вашей матушкой случился обморок, и ее отвезли домой.

Я посмотрела ему в глаза:

— Сердце, не так ли, сударь?

— Да, — промолвил он. — У вашей матушки очень неспокойное сердце.

— Я это знаю, она серьезно больна.

И, не в силах больше сдерживать себя, я разрыдалась.

Круазетт помогла мне добраться до гримерной. Она была сама доброта, мы были знакомы с детства и любили друг друга. Ничто никогда не могло нас рассорить: ни злые сплетни завистников, ни терзания уязвленного самолюбия.

Моя милая госпожа Герар села в карету и помчалась к маменьке, чтобы потом сообщить мне о ее состоянии.

Я наложила на лицо немного рисовой пудры. Публика, не подозревавшая о том, что произошло, начала проявлять нетерпение, приписывая мне новую причуду, и встретила мое появление еще более холодно. Но мне было все равно, я продолжала думать о своем. Актриса Бернар твердила текст мадемуазель де Бель-Иль — глупую и ужасно занудную роль, — а я, Сара, тем временем ждала известий о маменьке, боясь пропустить возвращение «моей милочки», которой наказала: «Приоткрой дверь со стороны сада, как только вернешься, и покачай головой вот так… если дело идет на лад, и вот так… если дело худо».

Но за время ожидания я позабыла, какое из моих «вот так» означало «на лад», а какое «худо», и, увидев в конце третьего акта, как госпожа Герар приоткрывает дверь и качает головой сверху вниз, как бы говоря «да», я впала в совершенный маразм.

Это произошло во время большой сцены третьего действия, в которой мадемуазель де Бель-Иль упрекает герцога де Ришелье (Брессана) в том, что он ее окончательно погубил. Герцог отвечает: «Почему же вы не сказали, что кто-то прятался и подслушивал нас?» Я воскликнула: «Это Герар принесла мне

известие!» Зрители ничего не заметили, так как Брессан замял мою реплику и спас положение.

В роли леди Макбет

Изешль в пьесе А. Сильвестра и Е. Миранда

Феодора в спектакле по пьесе В. Сарду

В роли Жисмонды (В. Сарду «Жисмонда»)

По окончании сцены, после весьма вялых хлопков, я узнала, что матушке уже лучше, но у нее был очень сильный приступ. Бедная матушка! Она сочла меня такой уродливой, как только я вышла на сцену, что ее прекраснодушное безразличие сменилось мучительным изумлением, изумлением, которое переросло в

ярость, когда сидевшая рядом толстая дама проговорила с усмешкой: «Эта маленькая Бернар — просто костлявая головешка».

Я пришла в себя и в последнем действии играла уже уверенно. В тот вечер бешеный успех имела Круазетт — очаровательная маркиза де При.

Однако второй спектакль принес мне больший успех, который утвердился во время следующих представлений и вырос до того, что пошли слухи, будто я нанимаю клакеров. Посмеявшись от души, я даже не опровергала их, так как ненавижу попусту оправдываться.

Следующим моим дебютом была роль Юнии в «Британике», где Муне-Сюлли блистательно играл Нерона. Восхитительная роль Юнии принесла мне огромный, невиданный успех.

Затем, в 1873 году, я сыграла Керубино в «Женитьбе Фигаро». Сюзанну играла Круазетт, и этот обворожительный и веселый образ в исполнении столь прелестного создания доставлял зрителям истинное наслаждение. Роль Керубино стала для меня новой удачей.

В марте 1873 года Перрен решил поставить «Далилу» Октава Фейе.

Я играла тогда молоденьких девушек, юных принцесс либо юношей: мое тщедушное тело, бледное лицо и весь мой болезненный вид обрекали меня в то время на роли жертв. Внезапно Перрен, сочтя, что мои жертвы слишком умиляют зрителей, а я возбуждаю их симпатию только благодаря своему амплуа, распределил роли самым нелепым образом: я должна была играть Далилу, злую и жестокую темноволосую принцессу, а Софи Круазетт — белокурую умирающую идеальную деву.

Столь странное распределение ролей привело к провалу спектакля. Я насиловала свою природу, Изображая надменную и сладострастную сирену, набивала свой корсаж ватой, а бока юбки — конским волосом, но не могла скрыть своей болезненной худобы.

Круазетт была вынуждена сдавливать свой роскошный бюст бинтами, которые стесняли ее движения и затрудняли дыхание, но не могла скрыть своего круглого хорошенького личика с милыми ямочками. Я говорила более низким голосом, она — более высоким. Все это было бессмысленным. Спектакль почти не имел успеха.

Затем я получила роль в «Отсутствующем», одноактной пьесе в стихах Эжена Манюеля, и в очень смешной одноактной пьесе в стихах «У адвоката» Поля Феррье, где мы с Кокленом спорили до хрипоты. Далее, 22 августа, я сыграла с огромным успехом роль

Андромахи. Никогда не забуду первый спектакль, ставший для Муне-Сюлли[56] подлинным триумфом. Ах, до чего же прекрасен был Муне-Сюлли в роли Ореста! Его выход, неистовство, безумие и пластичная красота этого изумительного артиста — как это было прекрасно!

После Андромахи я сыграла Арикию в «Федре», и эта второстепенная роль принесла мне в тот вечер успех.

Вскоре мое положение в «Комеди» настолько упрочилось, что некоторых актеров охватило беспокойство. Это беспокойство перекинулось и на дирекцию. Господин Перрен, человек большого ума, о котором я вспоминаю теперь с самыми добрыми чувствами, был чудовищно деспотичен. Я не уступала ему в упорстве. Война между нами никогда не затихала. Он жаждал навязать мне свою волю, я же отказывалась ей подчиняться. Он охотно смеялся над моими проделками, когда они были направлены на других, и приходил в ярость, как только сам становился их жертвой.

Признаться, мне нравилось доводить Перрена до белого каления. Теперь я в этом раскаиваюсь. Он становился таким косноязычным, когда пытался говорить быстро, в то время как обычно взвешивал каждое слово; его часто нерешительный взгляд вдруг делался угрожающим, а бледное утонченное лицо покрывалось пунцовыми пятнами. Впадая в гнев, он поминутно снимал и надевал свой цилиндр, отчего его тщательно приглаженные волосы начинали топорщиться во все стороны.

Несмотря на свой далеко не ребяческий возраст, я предавалась этим жестоким забавам, как девчонка, и хотя впоследствии неизменно сожалела о своих проделках, но возобновляла их снова и снова. Даже сейчас, махнув рукой на прожитые дни, недели, месяцы и годы, я обожаю озорничать.

Между тем обстановка в «Комеди» начинала меня раздражать. Я хотела играть Камиллу в пьесе «С любовью не шутят», но роль получила Круазетт. Я хотела играть Селимену — роль опять получила Круазетт, в которой Перрен не чаял души. Он восхищался Круазетт, и молодая актриса, будучи чрезвычайно честолюбивой, очаровывала старого деспота своими деликатными манерами, обходительностью и показным смирением.

Таким образом Софи Круазетт достигала всего, что ей было угодно. Будучи открытой и прямой по натуре, она часто поучала меня в ответ на мои жалобы: «Бери пример с меня, будь более гибкой. Ты вечно бунтуешь, я же делаю вид, будто исполняю любую прихоть Перрена, но на самом деле это он исполняет каждый мой каприз. Попробуй то же самое».

Выслушав ее, я набралась храбрости и пошла к Перрену. Он,

как всегда, приветствовал меня своей дежурной фразой:

— О, здравствуйте, мадемуазель бунтовщица, вы наконец угомонились?

— Да, угомонилась, но, будьте любезны, выполните то, о чем я вас прошу!

И я принялась кокетничать, очаровывать его своим мелодичным голосом. В ответ он мурлыкал, острил (он был вообще очень остроумен), и с четверть часа мы были весьма довольны друг другом. Наконец я разрешилась своей просьбой:

— Позвольте мне сыграть Камиллу в пьесе «С любовью не шутят».

— Но это невозможно, деточка, Круазетт будет недовольна.

— Я с ней говорила, ей все равно.

— Вы не должны были с ней об этом говорить.

— Почему?

— Потому что распределение ролей — дело администрации, а не актеров.

Он уже не мурлыкал, а рычал, я же разозлилась и через минуту выбежала из комнаты, хлопнув дверью.

Я изводила себя, рыдая ночи напролет. Тогда же я сняла мастерскую для занятий скульптурой. Поскольку мои духовные силы и потребность в творчестве не находили выражения в театре, я приложила их к другому виду искусства, отдавшись ваянию со всем присущим мне неистовым пылом. И вскоре я достигла значительных успехов.

Я потеряла интерес к театру. В восемь утра я садилась на лошадь верхом, а в десять была в своей мастерской, на бульваре Клиши, 11.

Двойная нагрузка сказалась на моем хрупком здоровье. Я начала страшно харкать кровью и часами лежала без сознания. В «Комеди» я ходила лишь по долгу службы.

Мои друзья очень обеспокоились, и Перрен, извещенный о происходящем, а также под давлением прессы и министерства, решился дать мне роль в «Сфинксе» Октава Фейе. Главная роль предназначалась Круазетт, но во время читки я нашла свою роль очень милой и решила, что она также станет главной ролью — что тут такого, если в спектакле будут две главные роли?

Вначале репетиции проходили довольно спокойно, но, поскольку моя роль приобретала более важное значение, чем предполагалось, начались раздоры. Перрен злился, даже Круазетт занервничала, а меня все это ничуть не трогало. Октав Фейе, изящный, обаятельный, очень воспитанный и довольно ироничный человек, от души забавлялся нашими словесными перепалками.

Между тем грянула война. Первый удар нанесла Софи Круазетт. Я всегда прикалывала к своему корсажу три-четыре цветка розы, лепестки которых облетали в ходе действия. Как-то раз Софи Круазетт растянулась на сцене во весь рост. Будучи высокой и крупной, она упала некрасиво и поднялась без изящества. Приглушенные смешки обслуживающего персонала больно ее задели, и, повернувшись ко мне, она выпалила:

— Это все из-за тебя! Твои розы облетают, и люди падают!

Я рассмеялась:

— Моим розам недостает трех лепестков — они вон там, возле кресла, ближе ко двору, ты же упала со стороны сада, и, значит, не по моей вине, а из-за своей неловкости.

Мы продолжали свой спор на повышенных тонах. Вскоре образовались две партии: круазеттистов и бернаристов. Война была объявлена, но вовсе не между Софи и мной, а между нашими поклонниками. Эти небольшие стычки перекинулись из-за кулис в зрительный зал, и публика в свою очередь разбилась на группы. На стороне Круазетт выступали все банкиры и апоплексичные толстяки, я же собрала под свои знамена всех актеров, студентов, неудачников и умирающих от чахотки.

Война была объявлена, и вскоре противники перешли к боевым действиям. Первый, наиболее кровавый и решающий бой разгорелся из-за луны.

Начались заключительные генеральные репетиции. Действие третьего акта разворачивалось на лесной поляне. Посреди сцены возвышалась огромная скала, на которой Бланш (Круазетт) целовала Савиньи (Делоне), моего мужа. Я, Берта де Савиньи, должна была появиться со стороны мостика, перекинутого через ручей. Лунный свет заливал лужайку. Круазетт только что отыграла свою сцену. Ее наградили аплодисментами за очень смелый для тогдашней «Комеди Франсез» поцелуй. (Чего только не творят там теперь!) Внезапно крики «браво!» грянули с новой силой… На некоторых лицах было написано изумление. Перрен в ужасе поднялся с места. Я шла через мост, придерживая кончиками дрожащих пальцев сползавшую с плеч накидку; мое бледное лицо было искажено страданием, и падавший на него лунный свет производил, по всей вероятности, поразительный, захватывающий эффект.

Гнусавый резкий голос проскрежетал:

— Довольно! Уберите лунный свет с мадемуазель Бернар!

Я подскочила к краю сцены:

— Господин Перрен, вы не имеете права отнимать у меня луну! В рукописи значится: «Берта приближается, бледная, потрясенная, залитая лунным светом». Я бледна, я потрясена, и я

требую свою луну!

— Это невозможно! — зарычал Перрен. — Необходимо, чтобы реплика мадемуазель Круазетт «…ты меня любишь?» и ее поцелуй были освещены луной. Она играет Сфинкса, это главный персонаж, и для него предназначены самые лучшие эффекты!

— Что ж, сударь, дайте лунное сияние Круазетт, а мне оставьте хотя бы крошечную луну, все равно какую, но я хочу свою луну!

Из-за всех дверей зала, а также из-за кулис выглядывали любопытные лица актеров и технических служащих. Круазеттисты и бернаристы комментировали наш спор.

Октав Фейе, которого попросили высказаться, в свою очередь поднялся с места:

— Я считаю, что мадемуазель Круазетт очень красива при лунном сиянии, а мадемуазель Сара Бернар само совершенство в лунном свете! Следовательно, я прошу разделить луку между ними обеими!

Перрен не смог сдержать гнева. Разгорелся спор между автором и директором, между артистами, консьержем и журналистами, задававшими вопросы.

Репетиция была сорвана. Я заявила, что буду играть лишь в том случае, если мне вернут мою луну.

В течение двух дней я не получала репетиционный лист; от Круазетт я узнала, что мою роль — роль Берты — тайком передали молодой женщине, которую мы окрестили Крокодилом, ибо она вечно наблюдала за репетициями голодными глазами рептилии, плывущей за кораблем в надежде хоть чем-нибудь поживиться.

Октав Фейе не согласился на такую перестановку и разыскал меня вместе с Делоне, который уладил дело.

— Решено, луна будет светить вам обеим, — промолвил он, целуя мне руки.

Премьера «Сфинкса» стала для нас с Круазетт истинным триумфом.

Страсти между обеими партиями все еще бушевали. Это способствовало нашему успеху и ужасно нас забавляло. Круазетт всегда оставалась чудесной подругой и надежным товарищем. Она работала ради себя, но никогда не вставляла никому палок в колеса.

После «Сфинкса» я сыграла в милой одноактной пьесе юного студента Политехнического института Луи Денеруза, которая называлась «Прекрасная Поль». Молодой автор стал впоследствии выдающимся ученым и бросил поэзию.

Я попросила Перрена дать мне месячный отпуск, но он

наотрез отказался и заставил меня репетировать «Заиру» в течение самых тягостных месяцев лета — июня и июля, — а премьеру, не считаясь со мной, назначил на 6 августа. В тот год в Париже стояла страшная жара. Мне кажется, что Перрен, будучи не в силах меня укротить, вознамерился, без злого умысла, а из чисто авторитарных побуждений, обуздать меня хотя бы ценой моей гибели.

Доктор Парро явился к нему и объяснил, насколько я слаба, чтобы играть в такой ужасный зной. Перрен ничего не хотел слышать. Вне себя от ярости из-за упрямства и мещанской ограниченности этого человека, я поклялась играть до последнего вздоха.

Часто, будучи еще ребенком, я испытывала желание умереть, чтобы досадить окружающим. Помню, как однажды я даже выпила содержимое большой чернильницы, после того как меня силой заставили проглотить хлебную похлебку в присутствии маменьки, вбившей себе в голову, что хлебная похлебка необходима мне для здоровья. Наша горничная поведала ей о моем отвращении к этому блюду, добавив, что каждое утро содержимое моей тарелки выливалось в мусорное ведро.

Разумеется, у меня началась ужасная рвота. И в разгар пытки, которой я подвергла свой бедный желудок, я кричала обезумевшей от страха матушке: «Я умираю по твоей вине!» И моя бедная маменька рыдала… Она никогда не узнала правду, но никогда больше не заставляла меня глотать что бы то ни было.

И вот, после стольких лет, я снова ощутила то же детское упрямое желание. «Все равно, — убеждала я себя, — пусть я потеряю сознание, упаду, буду харкать кровью и, может быть, даже умру! Зато Перрен будет в ярости. Поделом ему!» Да, именно так я думала. Иногда я становлюсь совершенной дурой. Почему? Не могу этого объяснить, но просто констатирую факт.

И вот, знойным вечером шестого августа я вышла на сцену в роли Заиры. Битком набитый зал напоминал парилку, и я видела зрителей сквозь пелену. В спектакле были скверные декорации, но хорошие костюмы, и благодаря прекрасной игре Муне-Сюлли (Оросман), Лароша (Нерестан), а также моей (Заира) пьеса имела огромный успех.

Решив упасть в обморок, харкать кровью и умереть, чтобы вывести из себя Перрена, я выложилась полностью. Я рыдала, любила, страдала и, когда кинжал Оросмана пронзил мне сердце, закричала от неподдельной боли: я ощутила, как сталь клинка входит в мою грудь, и, упав с предсмертным хрипом на восточный диван, почувствовала, что и вправду умираю. До тех пор пока действие не закончилось, я не решалась пошевелить рукой, не

сомневаясь, что настал мой последний час, и, признаться, была напугана тем, что месть Перрену зашла так далеко. Каково же было мое изумление, когда, лишь только финальный занавес опустился, я живо поднялась и побежала к вызывавшим меня зрителям. Кланяясь публике, я не чувствовала ни слабости, ни усталости и была готова играть пьесу сначала!

Мне особенно запомнился этот спектакль, ибо в тот день я поняла, что мои жизненные силы всецело зависят от силы моего духа. Я хотела следовать велению разума, задачи которого, казалось, превосходили мои физические возможности. И вот, отдав все силы и даже более того, я обрела полное душевное равновесие.

Таким образом, я поняла, что будущее, о котором я мечтала, всецело зависит от меня.

Раньше, до вышеописанного представления «Заиры», я считала, поскольку мне говорили и писали об этом в газетах, что у меня красивый, но слабый голос, изящные, но неотточенные движения, что моей мягкой манере держаться не хватает значительности, а мой взгляд, витающий в облаках, не способен укротить хищника (публику). Теперь я призадумалась над этими словами.

Только что я убедилась в том, что могу рассчитывать на свои физические силы: я начала играть Заиру в таком немощном состоянии, что можно было дать руку на отсечение, что я упаду в обморок еще до конца первого действия. Кроме того, хотя моя роль и была спокойной, в нескольких местах требовалось кричать, что могло вызвать горловое кровотечение, которым я тогда страдала.

Итак, в тот вечер я убедилась в прочности своих голосовых связок, ибо испускала крики с неподдельной яростью и болью, в надежде что-нибудь у себя повредить и тем самым досадить Перрену.

Таким образом, задуманный мной фарс неожиданно обернулся для меня добром. Не сумев умереть по собственной воле, я передумала и решила стать сильной, крепкой, жизнестойкой и жить назло некоторым из моих современников, которые терпели меня лишь потому, что я должна была вскоре умереть, и возненавидели меня, как только стало ясно, что я еще долго протяну. Приведу в подтверждение лишь один случай, о котором поведал мне Александр Дюма-сын, присутствовавший при смерти своего близкого друга Шарля Нарре и запомнивший его последние слова: «Я умираю с радостью, ибо никогда больше не услышу ни о Саре Бернар, ни о Великом французе (Фердинанде де Лессепсе[57])».

Однако, поверив в свои силы, я стала еще мучительнее переносить то безделье, на которое обрек меня Перрен. После «Заиры» я «простаивала» по нескольку месяцев, играя там и сям ничтожные роли. Тогда же, отчаявшись, я охладела к театру и воспылала страстью к ваянию.

После прогулки верхом я некоторое время отдыхала, а затем бежала в мастерскую, где оставалась до самого вечера. Здесь меня навещали друзья: они рассаживались вокруг меня, пели, играли на фортепиано, затем мы яростно спорили о политике, ведь я принимала в своей скромной мастерской самых выдающихся представителей различных партий. Заходили ко мне на чашку чая и женщины. Это был ужасный, дурно заваренный и плохо сервированный чай, но мне было не до того. Я была поглощена своим чудесным искусством и не замечала или, вернее, не желала замечать ничего другого.

Я лепила в то время бюст очаровательной девушки, мадемуазель Эмми де… …Ее неторопливая, степенная манера говорить была исполнена неизъяснимого обаяния. Будучи иностранкой, она говорила на нашем языке столь безупречно, что я диву давалась. Она беспрестанно курила и глубоко презирала тех, кто был не способен ее разгадать. Я изо всех сил растягивала сеансы, так как чувствовала, соприкасаясь с этим тонким умом, как мне передается его умение постигать суть вещей. Впоследствии, в трудные минуты жизни, я часто спрашивала себя: «Что бы сделала… что бы подумала Эмми?..»

Однажды ко мне неожиданно явился Адольф де Ротшильд, чтобы заказать свой бюст. Я была несколько озадачена его просьбой, но тотчас же взялась за работу. Однако я плохо рассмотрела этого любезного человека: в нем не было ничего эстетического. Тем не менее я решила попытаться и собрала всю свою волю, чтобы исполнить первый заказ, которым была так горда.

Два раза я бросала начатый бюст и после третьей попытки, отчаявшись, пролепетала своему заказчику какие-то дурацкие извинения, которые, вероятно, не показались ему убедительными, так как он больше никогда ко мне не приходил. Когда мы встречались во время утренних прогулок верхом, он приветствовал меня холодно и даже немного сурово.

После этой неудачи я вылепила бюст прелестного ребенка, маленькой восхитительной американки по имени мадемуазель Малтон. Я встретила ее позднее в Дании, когда она была уже замужем, и убедилась, что она не утратила своей замечательной красоты.

Затем я выполнила бюст мадемуазель Окиньи, той самой очаровательной девушки, которая была прачкой интендантской службы в годы войны и оказывала мне неоценимую помощь по уходу за ранеными.

Потом я начала лепить бюст моей младшей сестры Режины, которая была, увы, неизлечимо больна чахоткой. Рука Творца никогда не создавала более совершенного лица: глаза львицы, обрамленные длинными-предлинными рыжеватыми ресницами, изящный нос с подвижными ноздрями, крошечный рот, волевой подбородок и перламутровая кожа. Ее голова была увенчана короной лунных лучей: ни у кого больше не встречала я столь ослепительно белокурых, блестящих и шелковистых волос. Но это изумительное лицо было начисто лишено обаяния: вечно хмурый взгляд, никогда не улыбавшиеся губы. Я билась изо всех сил, чтобы воссоздать его мраморно-холодную красоту, но для этого требовалось искусство большого мастера. Я же была лишь жалкой дилетанткой.

Когда я выставила бюст сестренки, ее уже пять месяцев как не было в живых. Ее медленное угасание, перемежавшееся отчаянными порывами к жизни, продолжалось полгода. Я забрала ее к себе в маленькую мансарду на Римской улице, 4, куда я переселилась после ужасного пожара, уничтожившего мою мебель, книги, картины — словом, все мое нехитрое имущество. Квартира на Римской улице была совсем маленькой, а моя комната просто крошечной. Большая кровать из бамбукового дерева занимала в ней все место. У окна стоял гроб, в котором я частенько устраивалась, когда мне нужно было разучить роль. И вот, взяв сестру к себе, я еженощно стала ложиться, без задних мыслей, в эту узкую постель с белой атласной изнанкой, которая станет когда-нибудь моим последним пристанищем, а сестру укладывала на свою бамбуковую кровать под кружевным балдахином.

Она тоже находила это вполне естественным, поскольку я не хотела оставлять ее на ночь одну, а втиснуть в нашу каморку вторую кровать было невозможно. Вскоре она совсем привыкла видеть меня в гробу.

Как-то раз моя маникюрша пришла, чтобы заняться моими руками. Сестра попросила ее не шуметь, входя в комнату, так как я еще спала. Переступив порог, женщина огляделась, думая, что я сплю в кресле, но, завидев меня в гробу, бросилась бежать, крича как оглашенная. Вскоре весь Париж узнал, что я сплю в гробу, и слухи, один нелепее другого, разлетелись во все стороны.

Я уже настолько привыкла к гнусным выпадам газетчиков в мой адрес, что ничему не удивлялась. Но после смерти моей

сестренки произошло еще одно трагикомическое происшествие. Когда служащие похоронного бюро вошли в комнату, чтобы вынести тело усопшей, они увидели два гроба, и, растерявшись, главный распорядитель спешно послал за вторым катафалком.

Я была в тот момент у матери, лежавшей без чувств, и вернулась как раз вовремя, чтобы не дать людям в черном унести мой гроб. Второй катафалк отпустили, но газеты раздули этот случай. Меня ославили, осудили и т. д.

Но в чем тут была моя вина?..

5

После смерти сестры я не на шутку захворала. Я ухаживала за ней дни и ночи напролет, переживала и в результате заболела малокровием. Меня отправили на два месяца на юг. Я пообещала поехать в Ментону, а сама тут же направилась в сторону Бретани — края, о котором давно мечтала.

Я взяла с собой моего маленького сына, а также дворецкого с его женой. Бедная Герар, которая помогала мне в уходе за сестрой, была прикована к постели, ее мучил флебит, и мне ужасно ее недоставало.

Ах, что это было за чудесное путешествие! В то время, тридцать пять лет тому назад, Бретань была диким и негостеприимным краем, но столь же прекрасным, возможно, даже более прекрасным, нежели теперь: проезжие дороги еще не избороздили ее вдоль и поперек, зеленые холмы не были так густо усыпаны белоснежными домишками, а ее обитатели не рядились в модные одежды: мужчины не надевали отвратительных брюк, женщины — нелепых шляпок с перьями. Вместо этого бретонцы гордо выставляли напоказ свои жилистые ноги в гетрах либо чулках в рубчик, обутые в кожаные башмаки с пряжками; длинные, зачесанные на виски волосы закрывали их оттопыренные уши и придавали лицу благообразие, утраченное из-за современной стрижки. Женщины в коротких юбках, не доходивших до тонких щиколоток, в черных чулках и раздувавшихся чепчиках на маленьких головках напоминали чаек.

Разумеется, это не относится к жителям Пон-Л'Аббе или местечка Бац, у которых совершенно другой облик.

Я объехала почти всю Бретань, но дольше всего прожила в Финистере. Меня пленила Разская коса. Два дня я провела в Одиерне, у папаши Батифулле, который был такой толстый-претолстый, что велел сделать в столе ложбину для своего огромного живота.

Каждое утро я уходила из дома в десять часов. Мой дворецкий, которого звали Клод, сам готовил мне обед и чрезвычайно аккуратно раскладывал его по трем корзиночкам. Затем мы садились в нелепый экипаж папаши Батифулле, которым правил мой мальчик, и отправлялись в бухту Усопших.

Ах, что это был за прекрасный и таинственный, ощетинившийся скалами берег, пепельно-серый и скорбный на вид!.. Сторож маяка, завидев меня издали, выбегал навстречу. Клод вручал ему наши припасы и давал тысячу советов

относительно того, как варить яйца, разогревать чечевичную похлебку и поджаривать хлеб. Сторож относил все к себе, а затем возвращался с двумя старыми посохами, к которым он прибивал гвозди, чтобы сделать из них альпенштоки, и мы начинали леденящее кровь восхождение на Разский пик. Он напоминал лабиринт, полный неприятных неожиданностей, вроде расщелин, через которые нужно было перепрыгивать, не обращая внимания на зиявшую внизу ревущую бездну, завалов, под которыми нужно было проползать, вжавшись в землю, в то время как над вами грозно нависала скала, обрушившаяся в незапамятные времена и непонятно как еще удерживавшаяся в равновесии.

Затем дорога внезапно превращалась в тропу, настолько узкую, что по ней невозможно было просто идти: приходилось прижиматься спиной к скале и, раскинув руки наподобие распятия, двигаться, цепляясь за редкие выступы.

Когда я вспоминаю об этих минутах, то вся дрожу, ибо я всегда ужасно боялась и до сих пор боюсь высоты, а тот путь пролегал по отвесной тридцатиметровой скале под адский аккомпанемент вечно бурлящего моря, яростно бившегося о несокрушимую громаду. И все же, должно быть, риск доставлял мне удовольствие: за одиннадцать дней я прошла по этому маршруту пять раз.

После головокружительного восхождения мы спускались вниз, в бухту Усопших. Искупавшись, мы обедали, а потом до самого заката я занималась живописью.

В первый день берег был безлюден. На другое утро появился какой-то малыш и стал глядеть на нас с любопытством. На третий день нас окружила ватага с десяток ребятишек, которые выпрашивали у нас мелкие монеты. Я неосмотрительно дала им деньги, и назавтра ватага насчитывала уже двадцать — тридцать человек, причем были в ней и шестнадцати — восемнадцатилетние парни.

Заметив возле своего мольберта физические проявления человеческой природы, я попросила кого-то из мальчишек убрать и выбросить их в море; за это я дала ему, кажется, пятьдесят сантимов. Когда на следующее утро я вернулась туда, чтобы закончить картину, то увидела, что вся близлежащая деревня избрала это место для удовлетворения своих естественных нужд. Едва завидев меня, те же самые мальчишки, которых стало еще больше, вызвались убрать ими же оставленные следы за денежное вознаграждение. Когда я попросила Клода и сторожа маяка прогнать банду маленьких мерзавцев, те принялись кидать в нас камнями. В ответ я прицелилась в них из ружья, и они разбежались с воплями. Только двое малышей лет шести-десяти

остались сидеть на берегу. Мы не придали им значения, и я обосновалась несколько дальше, под самой скалой, образовавшей навес. Сорванцы последовали за нами. Клод и сторож Лука были начеку на случай, если банда вернется.

Мальчишки уселись на корточках на самом краю скалы, нависшей над нашими головами. Они казались неподвижными, как вдруг моя юная горничная подпрыгнула с криком:

— Какой ужас! Мадам, какой ужас! Они бросают в нас вшей!

В самом деле, маленькие негодяи целый час выискивали у себя паразитов и швыряли их вниз, на наши головы. Я приказала поймать обоих хулиганов и задать им хорошую трепку.

В том месте была расщелина, которую окрестили «Преисподней Плогоффа». Мне безумно хотелось туда спуститься, но сторож все время отговаривал меня, упорно твердя о том, что не стоит рисковать и, если со мной что-нибудь случится, отвечать придется ему.

Однако я не сдавалась и в конце концов, после тысячи заверений, даже написала бумагу, в которой говорилось, что, несмотря на все увещевания сторожа и на то, что осознаю опасность, которой подвергаю свою жизнь, я все же решилась на этот шаг и т. д. и т. п. Наконец, дав славному малому пять луидоров, я получила все необходимое для спуска в «Преисподнюю Плогоффа», а именно толстый пояс, к которому была привязана крепкая веревка. Я обмотала пояс вокруг своей талии, которая была в то время такой тонкой (всего 43 см), что пришлось даже проделать в ремне дополнительные отверстия, чтобы застегнуть его. Затем сторож надел мне на руки тормозные башмаки, подошвы которых были подбиты толстенными гвоздями, торчавшими на два сантиметра. При виде этих башмаков я разинула рот от удивления и, прежде чем надеть их, попросила разъяснить мне, зачем они нужны.

— А затем, — сказал мне сторож Лука, — что вы легче рыбьей кости и, когда я примусь вас спускать, будете болтаться в расщелине, рискуя переломать себе ребра. Этими башмаками вы сможете отталкиваться от стены, протягивая то правую, то левую руку, смотря в какую сторону вас будет заносить… Не поручусь, что не набьете себе шишек, но пеняйте уж на себя, я вас туда не посылал. Теперь послушайте хорошенько, милая барышня: когда будете внизу, на средней скале, смотрите не поскользнитесь, там опасней всего. Если вдруг упадете в воду, я, само собой, дерну за веревку, но ни за что не поручусь. В этом чертовом водовороте вас того и гляди зажмет между камнями, и, сколько я ни тяни, веревка может порваться, и тогда вам крышка!

Внезапно сторож побелел, перекрестился и, наклонившись ко

мне, забормотал, точно в бреду:

— Там внизу, под камнями, полно утопленников. Они пляшут на берегу Усопших при лунном свете. Они развешивают липкие водоросли на прибрежных камнях. Путники скользят и падают, а они тут как тут и тащат их на дно морское.

Затем он посмотрел мне в глаза:

— Все-таки хотите спускаться?

— Ну да, папаша Лука, конечно, хочу, и немедленно.

Мой мальчик вместе с Фелиси строил на берегу песочные крепости и замки. Только Клод оставался со мной. Он помалкивал, зная мою безумную страсть к риску. Он проверил, хорошо ли закреплен мой пояс, и попросил разрешения обвязать бечевой крюк на ремне, затем несколько раз обмотал меня пеньковым тросом, не доверяя прочности кожи, и наконец я начала спускаться в черную пасть расщелины. Я отталкивалась от скалы то правой, то левой рукой, как учил меня сторож, и все же ободрала себе локти.

Поначалу мне казалось, что гул, который я слышала, проистекал от ударов башмаков о скалу, но внезапно моя голова начала раскалываться от страшного грохота, в котором слышались то залпы орудий и резкие, звонкие, жесткие удары бича, то жалобные крики и усталые «ух» сотни матросов, тянущих невод, полный рыбы, камней и водорослей. Все эти звуки сливались и усиливались в диком реве ветра.

Страх сковал меня, и я злилась, ругая себя за малодушие. Чем ниже я спускалась, тем оглушительнее звенел в моих ушах и в мозгу этот грозный рык, и мое сердце праздновало труса, собираясь выскочить из груди. В узкий туннель врывался ветер и пронизывал меня насквозь, леденя руки, шею, все тело. Кровь стыла в моих жилах. Я продолжала медленно спускаться, чувствуя при каждом небольшом толчке, как две пары рук, державших веревку там, наверху, наталкиваются на узел. Я попыталась припомнить количество этих узлов, так как мне казалось, что я совсем не продвигаюсь вперед. Я открыла было рот, чтобы крикнуть: «Поднимите меня!», но ветер, который кружился вокруг в бешеной пляске, тотчас же ворвался в мой жалобно открытый рот, и я чуть не задохнулась. Закрыв глаза, я отказалась от борьбы и даже не пыталась больше отталкиваться от скалы руками.

Но вскоре меня обуял непонятный страх, и я поджала мокрые ноги: море заключило их в свои ледяные объятия. Тем временем я собралась с духом, тем более что обрела наконец твердую почву. Мои ноги прочно стояли на прибрежном утесе, который и вправду был очень скользким.

Я уцепилась за большое кольцо, приделанное к своду скалы,

нависавшей над утесом, и огляделась. Узкая и длинная расщелина неожиданно расширялась у самого основания и образовывала просторную пещеру, которая выходила в открытое море.

Вход в пещеру надежно защищали большие и малые утесы, сливавшиеся с водой в миле от берега; именно этим объяснялись и страшный шум моря, бурлящего в лабиринте, и возможность «стоять на камешке», как говорят бретонцы, когда вокруг тебя пляшут волны.

Между тем я сознавала, что любой неверный шаг может оказаться роковым и увлечь меня в страшный водоворот волн, которые набегали издалека с головокружительной скоростью и разбивались о несокрушимую преграду, сталкиваясь при отливе с другими, шедшими за ними по пятам, волнами. Отсюда — бесконечные водные фонтаны, которые врывались в расщелину, окатывая вас с головы до пят.

Начинало смеркаться. Мне стало ужасно не по себе, когда я заметила на гребне одного из ближайших утесов пару огромных глаз, глядевших на меня в упор. Немного дальше, среди водорослей, прятались другие пристальные глаза. Я не видела ничего, кроме этих глаз, и не знала, каким существам они принадлежат.

На миг мне почудилось, что у меня кружится голова, и я до крови прикусила язык. Затем я с силой дернула за веревку в знак того, чтобы меня поднимали, и ощутила радостный трепет четырех рук моих ангелов-хранителей, увлекавших меня наверх. Глаза оживились, обеспокоенные моим бегством. И все то время, пока я качалась в воздухе, они преследовали меня, эти глаза, протягивавшие ко мне свои длинные щупальца. Я никогда не видела осьминогов и даже не подозревала о существовании подобных страшилищ. В течение подъема, показавшегося мне бесконечным, мне несколько раз привиделись эти чудища на склоне скалы, и, ступив на зеленый пригорок, я все еще стучала зубами. Я поведала сторожу о причине моего страха. Он перекрестился и промолвил:

— Это глаза утопленников. Нельзя туда ходить.

Я знала, что это ерунда, но не имела понятия, что же я видела. И тогда я решила, что повстречала каких-то никому неведомых зверей. Только в гостинице у папаши Батифулле я узнала о существовании осьминогов.

Последние пять дней отпуска я провела на Разском пике, сидя на выступе скалы, который окрестили впоследствии «креслом Сары Бернар». С тех пор туристы не упускают случая там посидеть.

Мой отпуск подошел к концу, и я возвратилась в Париж. Но, будучи еще очень слабой, я смогла приступить к работе лишь в начале ноября. Я по-прежнему была занята в различных постановках и досадовала на то, что мне не давали настоящей роли.

Однажды ко мне в мастерскую зашел Перрен. Он начал было распространяться о моих бюстах, сказав, что я должна вылепить его барельеф, и затем как бы невзначай спросил, не знаю ли я роль Федры. До сих пор я играла только Арикию, и роль Федры казалась мне недосягаемой. Все же я разучила ее ради собственного удовольствия.

— Да, я знаю роль Федры. Но если бы мне пришлось ее играть, я бы, наверное, умерла со страху.

Он рассмеялся своим крякающим смехом и промолвил, целуя мне руку (он был весьма галантен):

— Работайте над этой ролью, думаю, вы ее сыграете.

И правда, восемь дней спустя меня вызвали в кабинет директора, где Перрен известил меня о том, что он назначил премьеру «Федры» на двадцать первое декабря, день рождения Расина, и роль Федры будет играть мадемуазель Сара Бернар. Я чуть не упала в обморок.

— А как же мадемуазель Руссей? — спросила я.

— Мадемуазель Руссей просит у комитета подтверждения того, что ее изберут в январе «сосьетеркой», а комитет, который, конечно же, согласится, отказывается дать подтверждение на том основании, что ее просьба смахивает на шантаж. Возможно, теперь мадемуазель Руссей одумается, в таком случае вы будете играть Арикию, а я заменю афишу.

Выходя от Перрена, я столкнулась с господином Ренье[58]. Я поведала ему о своем разговоре с директором и поделилась своей тревогой.

— Да нет же, нет, — сказал мне этот великий актер, — не нужно ничего бояться! Я предвижу, что эта роль у вас выйдет на славу! Только не вздумайте насиловать свой голос. Делайте ставку на страдание, а не на ярость, от этого все будут в выигрыше, в том числе и Расин.

Тогда я взмолилась, воздев к нему руки:

— Милый господин Ренье, поработайте со мной над Федрой, и мне будет не так страшно.

Он посмотрел на меня с некоторым удивлением, ибо я всегда была строптивой и не слушала ничьих советов; теперь я признаю, что была не права, но ничего не могла с собой поделать. На сей раз я оробела от сознания ответственности, которая легла на мои плечи.

Ренье согласился, и мы условились встретиться на следующий день в девять часов утра. Розелия Руссей продолжала ходатайствовать перед комитетом о своей просьбе, и премьера «Федры» с мадемуазель Сарой Бернар, дебютирующей в главной роли, была объявлена на двадцать первое декабря.

Это известие наделало шума в артистическом мире и среди театралов. В тот же вечер в кассе объявили аншлаг, и более чем двумстам желающим купить билет пришлось отказать. Когда я узнала об этом, меня стала бить дрожь.

Ренье изо всех сил старался меня ободрить, внушая:

— Ну-ну, мужайтесь! Не вы ли любимица публики? Зрители сделают вам скидку ввиду вашей молодости, неопытности и т. д. и т. п.

Именно это и не стоило мне говорить. Я почувствовала бы себя куда уверенней, если бы знала, что публика настроена против меня, а не в мою пользу. Я принялась плакать так безутешно, как плачут только дети. Перрен, которого кто-то позвал, успокаивал меня как мог; он рассмешил меня, ткнув мне в нос тампоном с рисовой пудрой, да так неловко, что я на миг ослепла и закашлялась.

Весь театр, узнав о случившемся, собрался у дверей моей гримерной, горя желанием меня поддержать. Муне-Сюлли, который должен был играть Ипполита, сказал мне, что видел сон, как будто мы играли «Федру» и его освистали и прогнали со сцены, а сны всегда сбываются наоборот…

— Значит, — воскликнул он, — нас ждет полный успех!

Окончательно привел меня в доброе расположение духа славный Мартель, игравший Терамена, который примчался ко мне, решив, что я заболела, не закончив гримировать нос. Когда я увидела его серое лицо, разделенное надвое длинной розовой чертой, которая начиналась между бровей и тянулась вниз, почти до самой губы, оставив где-то там, позади, белый кончик носа с большими черными ноздрями, я не смогла удержаться от смеха. Нет, это лицо невозможно было описать! Дикий хохот охватил всех в гримерной. Мне было известно, что Мартель делал себе искусственный нос из воска, ибо я своими глазами видела, как этот нос оплывал во время второго представления «Заиры» под воздействием раскаленного воздуха. Однако я и не подозревала, насколько Мартель его удлинял. Появление приятеля, напомнившего мне об этом трагикомическом происшествии, вернуло мне всю мою веселость, и я окончательно взяла себя в руки.

Премьера стала для меня подлинным триумфом. Газеты единодушно осыпали меня похвалами, за исключением Поля де

Сен-Виктора, который, будучи очень дружен с сестрой Рашели, не мог простить мне, что у меня хватило наглости соперничать с великой усопшей: именно в таких выражениях он говорил об этом Жирардену, который затем передал мне его слова.

Как же он ошибался, бедный Сен-Виктор! Я никогда не видела Рашель, но я боготворила ее талант, ибо жила в окружении самых ревностных ее поклонников, которые и не думали равнять меня со своим кумиром.

Несколько дней спустя после премьеры «Федры» в театре устроили читку новой пьесы Борнье «Дочь Роланда». Мне была поручена роль Берты, и мы тут же начали репетировать эту прекрасную вещь, которая проникнута большим патриотическим чувством, хотя и написана довольно посредственным стихом.

В пьесе Борнье была сцена ужасной дуэли, которую зрители не видели. Они узнавали о ней из уст дочери Роланда Берты, несчастной возлюбленной, с замиранием сердца следившей за всеми перипетиями поединка из окна замка. Это была единственная значительная сцена в моей весьма плачевной роли.

Спектакль был уже готов к сдаче, когда Борнье попросил, чтобы его другу Эмилю Ожье[59] разрешили присутствовать на генеральной репетиции. По окончании спектакля ко мне подошел приветливый и слегка смущенный Перрен. Что касается Борнье, он пошел прямо на меня с решительным видом драчливого петуха. За ним следовал Эмиль Ожье. «Итак…» — начал было Борнье. Я посмотрела на него в упор, почуяв в нем врага. Он поперхнулся, почесал в затылке и, обернувшись к Ожье, проговорил:

— Прошу вас, дорогой учитель, объяснитесь с мадемуазель сами…

Эмиль Ожье был высоким и широкоплечим, ничем не примечательным с виду мужчиной. Он не выбирал выражений в разговоре. Во «Французском театре» с его мнением очень считались, ведь его пьесы шли тогда с успехом. Приблизившись ко мне, он промолвил:

— Мадемуазель, вы все делали совершенно правильно у того окна, но все это нелепо. Здесь нет вашей вины, виноват автор, написавший неправдоподобную сцену. Зрители животы надорвут от смеха. Нужно снять эту сцену.

Я повернулась к молчавшему Перрену:

— Вы тоже так считаете, господин директор?

— Я только что спорил с этими господами, но автор — хозяин своего творения.

Тогда я обратилась к Борнье:

— А вы, наш дорогой автор, что скажете вы?

Крошечный Борнье посмотрел на рослого Эмиля Ожье снизу вверх. В его жалобном, робко-просительном взгляде читались горестное сожаление по поводу того, что нужно убрать сцену, которой он дорожит, и одновременно боязнь не потрафить академику именно тогда, когда он собрался выставить свою кандидатуру на выборах в Академию.

— Снимайте! Снимайте, или вам крышка! — грубо бросил Ожье и отвернулся от него.

Услышав такой приговор, бедный Борнье, похожий на бретонского гнома, бросился ко мне (несчастный страшно чесался, так как был болен чесоткой). Он потерял дар речи. Его глаза вопрошали мои глаза, а на лице читалась мучительная тревога.

Перрен почувствовал, какая сильная драма разыгрывалась в душе кроткого Борнье, и прошептал мне на ухо: «Откажитесь наотрез». Мне тоже все стало ясно, и я сказала автору без обиняков, что если эту сцену снимут, то я откажусь от своей роли.

Услышав мои слова, Борнье бросился ко мне и принялся страстно целовать мне руки. Затем он побежал к Ожье, восклицая с комическим пафосом:

— Нет, я не могу ее снять, не могу! Она отказывается от роли, а послезавтра — премьера!

Ожье открыл было рот, но Борнье не дал ему заговорить:

— Нет! Нет! Отложить пьесу на восемь дней — значит ее убить! Я не могу снять сцену! Ах, Боже мой!

Он кричал, заламывал свои слишком длинные руки, топал коротенькими ножками и тряс косматой головой. Он был нелеп и трогателен одновременно.

Раздраженный Эмиль Ожье пошел на меня, как затравленный кабан на охотничью собаку:

— Возьмете ли вы на себя, мадемуазель, всю ответственность за то, что последует на премьере после этой абсурдной сцены у окна?

— Разумеется, сударь! И обещаю вам сделать все, чтобы эта сцена, которую я считаю превосходной, прошла с огромным успехом!

Он неучтиво передернул плечами, процедив сквозь зубы что-то оскорбительное в мой адрес.

Выходя из театра, я повстречала преобразившегося Борнье. Он рассыпался в благодарностях, ведь он так дорожил этой сценой, но боялся не угодить Эмилю Ожье. Мы с Перреном разгадали истинные чувства этого кроткого, прекрасно воспитанного, но довольно лицемерного поэта.

Пьеса прошла с полным успехом. А сцена у окна стала

триумфом премьеры. В пьесе содержалось множество намеков на события недавно окончившейся страшной войны 1870 года, и шовинистически настроенная публика приняла это произведение лучше, чем оно того заслуживало.

Я попросила позвать Эмиля Ожье. Он вошел в мою гримерную насупившись и закричал прямо с порога:

— Тем хуже для зрителей, это еще раз доказывает, что все они — болваны, раз им нравится такая гадость!

Выпалив это, он тут же выскочил вон.

Его выходка меня рассмешила. А после того, как меня несколько раз расцеловал торжествующий Борнье, моя кожа начала страшно зудеть.

Два месяца спустя я играла в «Габриэлле» — пьесе того же Ожье, и мы с ним беспрестанно ссорились. Я находила его стихи отвратительными. Коклен, игравший моего мужа, имел большой успех. Я же была там такой же бездарной, как и сама пьеса.

В январе меня приняли в члены актерского товарищества, и с тех пор мне стало казаться, что я в тюрьме, ибо я обязалась не покидать Дом Мольера на долгие годы вперед. Данное обстоятельство очень меня тяготило. Ходатайствовать о приеме в «сосьетерки» меня вынудил Перрен. И теперь я сожалела об этом.

В конце года я играла очень мало, от случая к случаю. В часы досуга я наблюдала за строительством хорошенького особняка, который возводили для меня на перекрестке авеню де Вилльер и улицы Фортуни.

Сестра моей бабушки оставила мне по завещанию кругленькую сумму, которую я употребила на покупку земельного участка. Я всегда мечтала иметь собственный дом, и вот моя мечта сбылась. Этот изумительный особняк строился по проекту зятя господина Ренье, Феликса Эскалье, очень популярного тогда архитектора. Я ужасно любила приходить с ним поутру на строительную площадку. Вскоре я уже карабкалась по шатким лесам и забиралась на самую кровлю. Новое занятие отвлекало меня от театральных неурядиц. И вот, о Господи, я уже подумывала сделаться архитектором, ни больше ни меньше!

Когда строительство дома было завершено, следовало позаботиться о его интерьере. Я изо всех сил старалась помочь моим друзьям-художникам, которые отделывали потолки в моей комнате, столовой и холле; Жоржу Клэрену[60], архитектору и талантливому живописцу Эскалье, Дюэзу, Пикару, Бютену, Жадену и Парро. Я веселилась от души. Вот какую шутку я сыграла с одной из моих родственниц.

Тетушка Бетси прибыла в Париж из своей родной Голландии на несколько дней и остановилась у моей матушки. Я пригласила

ее на обед в свой новый недостроенный дом. Пятеро моих приятелей-художников работали в разных комнатах.

Чтобы легче было лазить по высоким лесам, я облачилась в рабочую одежду, в которой занималась ваянием. Завидев меня в таком виде, тетушка была страшно шокирована и сделала мне выговор. Но я приготовила ей еще один сюрприз! Она приняла работавших в доме молодых людей за маляров и решила, что я слишком вольно себя с ними веду. Тетушка чуть не упала в обморок, когда ровно в полдень я бросилась к пианино и заиграла «Жалобу пустых желудков». Эту дикую песню сочинила группа художников, а мои друзья-поэты ее отредактировали. Вот она:

Эй, живописцы милейшей из дам,
Вы не устали скакать по лесам?
Кисти отбросьте и вниз веселей,
Пыль отряхните, обед на столе!

Дин-дон, дин-дон —
Же-луд-ков звон!
Дин-дон, дон-ди,
К столу иди!

Яйца, форель и грудинка косули
Скачут вовсю на жаровнях, в кастрюлях.
Ну а бутылка вина «Кот дю Рон»
Вмиг заглушит этот жалобный стон.

Дин-дон, дин-дон —
Же-луд-ков звон!
Дин-дон, дон-ди,
К столу иди!

Мы — живописцы милейшей из дам,
Нам надоело скакать по лесам!
Мы очень красивы, чисты и свежи,
Услышьте же крик нашей гордой души!

Дин-дон, дин-дон —
Же-луд-ков звон!
Дин-дон, дон-ди,
К столу иди!

Закончив наш импровизированный концерт, я перебралась в свою комнату и оделась к обеду, превратившись в «милейшую

даму».

Тетушка последовала за мной.

— Вот что, милочка, — сказала она, — вы сошли с ума, если думаете, что я стану обедать с вашими рабочими. Только в Париже, не иначе, благородная дама может себе позволить такое.

— Ну что вы, тетя, успокойтесь.

Переодевшись, я привела ее в столовую, самую обжитую комнату особняка.

Пятеро молодых людей приветствовали тетушку с почтением. Она сперва не узнала их, ведь они скинули рабочую одежду и превратились в чинных светских франтов. Госпожа Герар обедала вместе с нами. Вдруг в разгаре обеда тетушка воскликнула:

— Так ведь это ваши давешние рабочие!

Пятеро художников поднялись и низко ей поклонились. Тогда бедная тетушка признала свою ошибку и от смущения принялась извиняться на всех языках, какими только владела.

6

Однажды мне сообщили о приходе Александра Дюма-сына. Он принес добрую весть о том, что закончил для «Комеди Франсез» пьесу под названием «Иностранка», одна из ролей которой — роль герцогини де Сетмон — подойдет мне как нельзя лучше.

— Благодаря ей, — сказал он мне, — вы сможете добиться большого успеха!

Я от всего сердца выразила ему свою признательность.

Месяц спустя после его визита нас созвали в «Комеди» на читку «Иностранки». Читка пьесы прошла очень успешно; моя роль — роль Катрин де Сетмон — приводила меня в восторг. Впрочем, мне очень нравилась и роль Круазетт, которая должна была играть миссис Кларксон.

Тот раздал всем нам переписанные роли. Решив, что он ошибся, я передала Круазетт роль Иностранки, которую он только что мне вручил, со словами:

— Держи, Гот перепутал, вот твоя роль.

Она ответила мне сухо:

— Ничего он не перепутал, герцогиню де Сетмон буду играть я.

Меня охватил неудержимый смех, поразивший собравшихся. Когда раздраженный Перрен спросил, что именно меня так развеселило, я воскликнула:

— Да все вы: Дюма, Гот, Круазетт и те, кто состоял в этом тайном сговоре, рискуя поплатиться за свою мелкую подлость. Так вот, успокойтесь: я была в восторге от роли герцогини де Сетмон, но играть Иностранку в десять раз приятнее! А ты, милая Софи, ты у меня еще попляшешь, не жди никакой пощады, ведь ты тоже участвовала в этой жалкой комедии, предав кашу дружбу!

Репетиция проходила в атмосфере лихорадочного возбуждения обеих сторон. Перрен, являвшийся ярым круазеттистом, сетовал на недостаточную пластичность дарования Круазетт, так что однажды она вышла из себя и заявила ему:

— Что ж, сударь, следовало отдать эту роль Саре, у нее бы нашелся именно тот голос, который вам нужен для любовных сцен; я же не способна сыграть лучше. Мои нервы больше не выдерживают, с меня довольно!

И она убежала, рыдая, за кулисы, где с ней случилась форменная истерика.

Я последовала за ней и постаралась ее утешить. Среди судорожных рыданий она пробормотала, прижимаясь ко мне:

— Это правда… Именно они заставили меня подложить тебе свинью, а теперь измываются надо мной…

Круазетт говорила ужасные вещи и вдобавок отпускала соленые шутки. В тот день мы окончательно помирились.

За неделю до премьеры я получила анонимное письмо, извещавшее меня, что Перрен всячески обхаживает Дюма, чтобы заставить его изменить название пьесы. Он хотел бы, разумеется, чтобы пьеса называлась «Герцогиня де Сетмон».

Я помчалась в театр, дабы тотчас же разыскать там Перрена. У входа я столкнулась с Кокленом, игравшим герцога де Сетмона, роль, в которой он был великолепен. Я показала ему письмо. Он пожал плечами:

— Что за гнусность! А ты, как ты можешь верить анонимному письму? Это ниже твоего достоинства!

Пока мы беседовали внизу у лестницы, подошел директор.

— Ну-ка, покажи твое письмо Перрену, — сказал Коклен.

Он выхватил его у меня из рук и передал директору. Тот слегка покраснел.

— Узнаю этот почерк, — сказал он, — письмо писал кто-то из Дома…

Я быстро забрала у него письмо со словами:

— В таком случае этот «кто-то» неплохо осведомлен, и, быть может, он пишет правду? Скажите мне все, я вправе это знать.

— Презираю анонимные письма!

И, небрежно кивнув, он пошел вверх по лестнице, так и не удостоив меня ответом.

— Ах! Если это правда, — вскричал Коклен, — то она просто невероятна! Хочешь, я сейчас схожу к Дюма и все у него узнаю?

— Спасибо, не надо! Но ты навел меня на мысль… Я сама к нему поеду.

И, пожав ему на прощание руку, я отправилась к Дюма-сыну.

Он как раз выходил из дома.

— Ну?.. Скажите, что произошло? Ваши глаза так горят!

Мы прошли в гостиную, где прямо, без обиняков, я задала ему свой вопрос. Он был в шляпе и снял ее для приличия. Но не успел он вымолвить слово, как мною овладел неистовый гнев, один из тех, что находили на меня крайне редко и напоминали приступы бешенства. И вот все то зло, что я держала на этого человека, на Перрена и всех коллег по театру, которые должны были меня любить и поддерживать, а вместо этого предавали меня по всякому поводу, весь затаенный гнев, что скопился в моей душе за время репетиций, и чувство протеста против вечной

несправедливости обоих мужчин — Перрена и Дюма — все это я выплеснула на него лавиной резких, яростных, идущих от сердца фраз. Я напомнила ему его первоначальные обещания во время визита в мой особняк на авеню де Вилльер и то, как подло и скрытно он отрекся от меня по просьбе Перрена и требованию друзей Софи… Я говорила, говорила, не давая ему вставить слово.

Когда я выдохлась, то вынуждена была остановиться, пробормотав напоследок:

— Что?.. Что?.. Что вы на это скажете?..

— Милое дитя, — произнес он дрогнувшим голосом, — по совести говоря, мне следовало бы самому сказать себе всё, о чем вы только что говорили с таким красноречием! Теперь я вынужден признать, чтобы снять с себя часть обвинений, что полагал, будто театр вам глубоко безразличен и вы отдаете куда большее предпочтение вашим занятиям скульптурой и живописью, а также поклонникам. Мы с вами редко общались, и никто не открыл мне глаза. Баше неистовое отчаяние трогает меня до глубины души. Пьеса сохранит свое первоначальное название «Иностранка», даю вам честное слово! А теперь поцелуйте меня покрепче в знак того, что больше не сердитесь.

Я поцеловала его. С того самого дня мы стали добрыми друзьями.

Вечером я рассказала эту историю Круазетт и убедилась, что она ничего не знала о гнусных происках моих недругов. Это меня очень порадовало.

Пьеса прошла с триумфом. Наибольшим успехом в спектакле пользовались Коклен, Фебр и я.

В своей мастерской на бульваре Клиши я только что приступила к большой скульптурной группе, сюжет которой был подсказан мне трогательной историей одной бедной пожилой женщины, которую я часто встречала на исходе дня в бухте Усопших.

Как-то раз я подошла к ней с намерением заговорить, но ее блуждающий взгляд — взгляд сумасшедшей — до того напугал меня, что я тотчас же отошла. Сторож поведал мне следующее: у нее было пятеро сыновей-моряков, двое из которых были убиты немцами в 1870 году, а трое покоились на дне моря. Она воспитывала мальчика, ребенка своего младшего сына, вдали от моря, в тихой долине, внушая ему неприязнь к воде. Она не отходила от внука ни на шаг, но мальчик день ото дня становился все печальнее, так что даже заболел от своей печали. Он заявил, что умрет оттого, что никогда не видел моря.

— Что ж, поправляйся, — сказала ему растроганная бабка, — и мы с тобой поедем на него поглядеть.

Не прошло и двух дней, как ребенок был уже на ногах. Старушка с внуком покинули долину и отправились к морю, которое стало могилой для трех ее сыновей.

Стоял ноябрь. Низкое небо надвинулось на океан, простиравшийся до горизонта. Мальчик скакал от радости. Он прыгал, резвился, радостно смеясь и крича при виде набегавшей волны. Старушка, сидевшая на песке, закрывала глаза, полные слез, дрожащими руками; затем, удивленная внезапно наступившей тишиной, приподнялась и окаменела от ужаса: там, в море, виднелась лодка, уносимая все дальше от берега, а в лодке сидел ее восьмилетний внук, который, хохоча как сумасшедший, греб изо всех сил единственным веслом, с трудом удерживая его в руках, и кричал: «Щас гляну, что там, за туманом, и вернусь!» Но он не вернулся. И на следующий день люди видели, как бедная женщина перешептывалась с волнами, омывавшими ее ноги. С тех пор она каждый день приходит сюда, чтобы бросить в воду хлеб, который ей дают, и говорит волнам: «Отнесите это мальцу…»

Этот душераздирающий рассказ врезался мне в память. Женщина так и стояла у меня перед глазами: высокая, закутанная в бурый плащ с тяжелым капюшоном.

Я упорно работала над своей группой. Мне уже казалось: мое призвание — быть скульптором, и я начала пренебрегать театром. Он стал для меня повинностью, и при первой возможности я старалась оттуда улизнуть.

Я сделала несколько набросков, но ни один из них меня не удовлетворял. В тот миг, когда, отчаявшись, я собиралась выбросить свой последний эскиз, художник Жорж Клэрен, который как раз пришел, решительно этому воспротивился. И мой добрый, очень талантливый друг Матьё-Мёнье также был против уничтожения эскиза.

Воодушевленная их похвалами, я решила продолжить работу над скульптурой и сделать из нее большую группу. Я спросила у Мёнье, нет ли среди его знакомых пожилой, очень высокой и костлявой женщины; вскоре он прислал мне двух женщин, но они мне не подошли. Тогда я обратилась с той же просьбой к своим друзьям — художникам и скульпторам, и в течение восьми дней передо мной прошел весь Двор чудес[61].

Мой выбор пал на служанку лет шестидесяти. Это была великанша с грубыми чертами лица, Увидев ее в первый раз, я испытала некоторое чувство страха. Мысль о том, что придется провести с этим солдатом в юбке долгие часы, внушала мне

беспокойство. Однако, как только она заговорила, я успокоилась: слабый, неуверенный голос и робкие движения бедняги — движения юной дикарки — не соответствовали ее фактуре.

Увидев мой эскиз, она растерялась:

— Надо будет показывать шею и плечо? Ни за что…

Я убедила ее, что во время работы никто и никогда ко мне не заходит, и потребовала немедленно показать мне шею.

Ах, что это была за шея! Завидев ее, я захлопала в ладоши от радости. Шея была длинной, морщинистой, ужасной. На ней выделялась грудино-ключично-сосцевидная мышца, а кадык, казалось, сейчас пронзит кожу насквозь. Это было великолепно. Я подошла к ней и осторожно обнажила ее плечо. О! Какая радость! Какой восторг! Плечевая кость проступала под кожным покровом, а ключица выдавалась над широкой и глубокой впадиной. Это была не женщина, а мечта! Придя в волнение, я вскричала:

— Как это прекрасно! Что за рисунок! Это великолепно!

Великанша покраснела. Я хотела взглянуть на ее голые ступни. Она сняла грубые чулки и показала мне свою грязную и невзрачную ногу.

— Нет, спасибо, мадам, — сказала я ей, — ваши ступни слишком малы, я напишу только голову и плечо.

Сговорившись с ней об оплате, я наняла ее на три месяца! При мысли, что заработает за три месяца столько денег, бедная женщина расплакалась. Она внушила мне такую жалость, что я решила обеспечить ее на целую зиму, чтобы ей не пришлось той зимой искать работу, поскольку она рассказала мне, что полгода проводит на родине в Солони, у своих внуков.

«Старушка» была найдена, теперь требовался ребенок. Целая ватага маленьких итальянцев — профессиональных натурщиков прошествовала передо мной. Среди них попадались восхитительные дети, вылитые амурчики. В мгновенье ока мать раздевала малыша, который принимал всевозможные позы, выгодно демонстрировавшие его развитые мышцы и стройную фигуру. Я выбрала красивого мальчугана лет семи, казавшегося среди всех новичком.

Я наняла рабочих, и они соорудили по моему эскизу каркас, который должен был служить постаментом группы: огромные железные балки удерживались скобами, заливавшимися гипсом; повсюду можно было видеть деревянные и железные балки, к которым подвешивались «бабочки», то есть деревянные бруски длиной в три-четыре сантиметра, крепившиеся крест-накрест тонкой железной проволокой, ею были обмотаны все балки. Каркас большой группы напоминает гигантский капкан, поставленный для отлова тысячи крыс и мышей.

Я приступила к этому титаническому труду с дерзостью невежды. Ничто меня не пугало. Часто моя работа затягивалась до полуночи, иногда — до четырех часов утра. И поскольку газовый рожок давал мало света, я заказала себе корону — серебряный обруч, каждое из гнезд которого служило подсвечником, куда вставлялась свеча, причем задние свечи были на четыре сантиметра длиннее остальных; в таком «шлеме» я и работала не покладая рук.

У меня не было ни стенных, ни наручных часов: я хотела забыть о времени и вспоминала о нем только в день спектакля, когда за мной заходила горничная. Сколько раз я забывала пообедать и поужинать! Мне напоминали об этом голодные обмороки, и тогда я тотчас же посылала за пирожными.

Работа над скульптурной группой близилась к завершению, а я все еще не вылепила ни рук, ни ног бедной старушки. Она держала своего мертвого внука на коленях, но у ее рук не было ладоней, а у ног — ступней. Все мои поиски желанных — больших и костлявых — ладоней и ступней были тщетны.

Как-то раз, когда мой приятель Мартель пришел ко мне в мастерскую, чтобы увидеть группу, о которой столько говорили, меня осенила гениальная мысль. Мартель был очень высокого роста и таким тощим, что сама смерть могла бы ему позавидовать. Я смотрела, как он ходит вокруг моего творения, приглядываясь к нему с видом знатока. Я же в это время приглядывалась к нему. И неожиданно я сказала:

— Милый Мартель, прошу вас… умоляю вас… попозируйте мне, чтобы я могла завершить руки и ноги моей «старушки»!

Он рассмеялся, непринужденно сбросил свои башмаки и носки и уселся на место несколько раздосадованной великанши. Десять дней подряд он приходил в мастерскую, позируя мне по три часа ежедневно.

Благодаря ему я смогла закончить свою группу. Я отдала отлить ее форму и выставила в салоне в 1876 году, где на ее долю выпал несомненный успех.

Стоит ли упоминать, что меня обвинили в том, будто скульптура была сделана кем-то по моему заказу? Я отправила повестку в суд одному из критиков, небезызвестному Жюлю Кларети, заявившему, что мое произведение, в целом очень интересное, принадлежит другому автору. Жюль Кларети любезно извинился, и дело дальше не пошло.

Наведя справки, жюри удостоило меня награды, доставив мне тем самым безмерную радость.

Меня много критиковали, но и хвалили не меньше. Почти все критические замечания касались шеи моей старой бретонки. А я

столько любви вложила в эту шею!

Вот отрывок из статьи Рене Делорма: «Произведение мадемуазель Сары Бернар заслуживает детального рассмотрения. Голова старухи, очень изысканная, с резко очерченными морщинами, хорошо передает ее горе, бесконечное горе, рядом с которым меркнут чужие беды. Я бы упрекнул скульптора лишь в том, что она слишком сильно выделила сеть жил на тощей шее старухи. В этом чувствуется ее неопытность. Она довольна тем, что основательно проштудировала анатомию, и не прочь лишний раз это показать. Это…» — и т. д.

Конечно, этот господин был прав. Я изучала анатомию с неистовым усердием и довольно любопытным образом; уроки я брала у доктора Парро, который был очень добр ко мне. Я не расставалась с анатомическим атласом; придя домой, я вставала перед зеркалом и неожиданно спрашивала себя: «Что это такое?», дотрагиваясь пальцем до указанного места. Я должна была отвечать сразу, без запинки. Если же я колебалась, то в наказание заставляла себя вызубрить наизусть названия всех мышц головы или руки и ложилась спать лишь после выполнения добровольного штрафного задания.

Месяц спустя после выставки в «Комеди Франсез» состоялась читка пьесы Пароди «Побежденный Рим». Я отказалась от роли юной весталки Опимии, на которую была назначена, и решительно потребовала для себя роль семидесятилетней Постумии, старой, слепой, но гордой и очень благородной римлянки.

Без сомнения, в моей голове установилась ассоциативная связь между старой бретонкой, оплакивающей своего отпрыска, и величественной патрицианкой, требующей помилования своей внучки.

Перрен, сперва озадаченный таким желанием, в конце концов уступил. Однако его приверженность к порядку и страсть к симметрии внушили ему тревогу по поводу Муне-Сюлли, который должен был играть в той же пьесе. Он привык видеть Муне-Сюлли и меня в качестве пары жертв, пары героев либо любовников, что же придумать, чтобы и на сей раз мы стали парой… но кого? Эврика! В пьесе фигурировал сумасшедший старик по имени Вестепор, образ, не игравший никакой роли в развитии действия и, должно быть, пришедший в голову Пароди для спокойствия Перрена.

— Эврика! — вскричал директор «Комеди». — Муне-Сюлли будет играть старого безумца Вестепора.

Равновесие было восстановлено. Кумир мещан был доволен.

Премьера пьесы, на самом деле довольно посредственной,

прошла с исключительным успехом 27 сентября 1876 года. На мою долю выпал необыкновенный успех в четвертом действии. Публика определенно переходила на мою сторону вопреки всем и вся.

7

Постановка «Эрнани» позволила мне окончательно завоевать сердца зрителей.

Мне уже приходилось репетировать в присутствии Виктора Гюго, и почти ежедневные встречи с великим поэтом доставляли мне большую радость. Мы виделись очень часто, но мне никак не удавалось поговорить с ним с глазу на глаз. Его дом был вечно наводнен жестикулирующими мужчинами в красных галстуках либо декламирующими женщинами в слезах. Он выслушивал их всех с добродушным видом, прикрыв глаза и, должно быть, погружаясь в дремоту. Когда наступала тишина, он просыпался, говорил им что-то утешительное, но очень ловко уклонялся от определенного ответа: Виктор Гюго не любил ничего обещать зря и всегда держал свое слово.

Я же, напротив, даю обещание с твердой решимостью его исполнить, но не проходит и двух часов, как начисто о нем забываю. Если кто-нибудь из моего окружения напоминает мне об обещанном, я готова рвать на себе волосы от досады и, чтобы как-то загладить свою вину, выдумываю всякие истории, осыпаю человека подарками, словом, осложняю себе жизнь ненужными заботами. Так было всегда. И так будет, пока я жива.

Однажды я пожаловалась Виктору Гюго, что никак не могу с ним поговорить, и он пригласил меня на обед, пообещав, что после обеда мы останемся одни и сможем всласть наговориться. Кроме меня, на обеде присутствовали: Поль Мёрис, поэт Леон Кладель, коммунар Дюпюи, некая русская дама, имя которой я позабыла, Гюстав Доре и другие. Напротив Гюго сидела госпожа Друэ, не покидавшая его в дни невзгод.

Боже мой, что это был за отвратительный обед! До чего же скверно он был приготовлен, как дурно подан! Вдобавок у меня свело ноги из-за сквозняка, врывавшегося в щели трех дверей и гулявшего под столом с жалобным свистом.

Рядом со мной сидел немецкий социалист М. Х., ныне весьма преуспевающий деятель. У него были такие грязные руки и ел он так неаккуратно, что меня просто воротило. Позднее я встретила его в Берлине, он сделался очень опрятным, очень корректным и, на мой взгляд, жутким империалистом.

Все это — неприятное соседство, сквозняк, гулявший в ногах, смертная скука — превратило меня в безвольную жалкую куклу, и я упала в обморок.

Когда я пришла в чувство, то обнаружила, что лежу на диване, моя рука покоится в руке госпожи Друэ, а напротив сидит

Гюстав Доре и делает с меня наброски.

— О! Не двигайтесь, — воскликнул он, — вы были так прекрасны!

Эта неуместная фраза очаровала меня, и я подчинилась воле великого рисовальщика, который вошел в число моих друзей[62].

Я покинула дом Виктора Гюго, не попрощавшись с ним, так как чувствовала себя несколько неловко.

На другой день он пришел ко мне домой. Я придумала что-то, чтобы оправдаться перед ним в своем недомогании, и с тех пор виделась с ним лишь на репетициях «Эрнани».

Премьера «Эрнани», состоявшаяся 21 ноября 1877 года, стала триумфом как для автора, так и для всех исполнителей.

Пьесу Гюго ставили в «Комеди» десятью годами раньше, но Делоне, который играл тогда Эрнани, совершенно не подходил для этой роли. В нем не было ничего эпического, романтического и поэтического: он был невелик ростом, мил и обаятелен, с вечной улыбкой на губах и простоватыми жестами. Идеал для пьес Мюссе, находка для Эмиля Ожье, само совершенство в Мольере, он был противопоказан Виктору Гюго. Брессан, игравший Карла V, был ниже всякой критики. Его приятная и вялая дикция, лукавые глаза с морщинками от смеха возле век лишали его всякого величия. Его огромные ступни, обычно прикрытые брюками, бросались в глаза. Мой взгляд был прикован только к ним. Это были большие-пребольшие, плоские, слегка вывернутые внутрь, словом, просто ужасные, кошмарные ступни. Чудесный куплет, прославлявший Карла Великого, казался чепухой. Зрители кашляли, ерзали на месте, и у меня сердце обливалось кровью, когда я на это смотрела.

В постановке 1877 года роль Эрнани исполнял Муне-Сюлли, Муне-Сюлли во всем своем блеске и в расцвете своего таланта. Карла V играл Вормс, замечательный актер. Что это была за великолепная игра! Как виртуозно владел он стихом! Какая у него была безупречная дикция!

Как я уже говорила, премьера 21 ноября 1877 года стала подлинным триумфом. Я играла донью Соль, и на мою долю выпало немало зрительского успеха. Виктор Гюго прислал мне после спектакля такое письмо:

«Мадам! Вы были очаровательны в своем величии. Вы взволновали меня, старого бойца, до такой степени, что в одном месте, когда растроганные и очарованные зрители Вам аплодировали, я заплакал. Дарю Вам эти слезы, которые Вы исторгли из моей груди, и преклоняюсь перед Вами.

Виктор Гюго».

К письму была приложена коробочка, в которой лежала цепочка-браслет с бриллиантовой подвеской в форме капли. Этот браслет я потеряла в доме одного из богатейших набобов по имени Альфред Сассун. Он хотел подарить мне что-либо взамен, но я отказалась. Он был не в силах вернуть мне слезу Виктора Гюго.

Новый успех на, сцене «Комеди» окончательно сделал меня любимицей публики. Мои товарищи восприняли это не без ревности. Перрен не упускал случая меня уколоть. Он относился ко мне вполне дружелюбно, но не мог допустить, чтобы в нем не нуждались. Поскольку он мне во всем отказывал, я к нему не обращалась, а посылала записку в министерство и добивалась всего, что хотела.

Жажда перемен по-прежнему обуревала меня, и я решила заняться живописью. Я немного умела рисовать, и мне особенно удавался цвет. Для начала я сделала две-три небольшие картины, а затем написала портрет моей дорогой Герар.

Альфред Стевенс нашел, что он сделан очень умело, а Жорж Клэрен похвалил меня и посоветовал продолжать мои занятия. Окрыленная, я вся отдалась живописи и приступила к почти двухметровой картине под названием «Девушка и Смерть».

Тотчас же раздались негодующие вопли: «Почему она изменяет театру, ведь это ее призвание! Не для того ли, чтобы создать вокруг своего имени шумиху?»

Как-то раз, когда я лежала больная, меня навестил Перрен. Он начал читать мне мораль:

— Дитя мое, вы губите себя, зачем вам вся эта скульптура и живопись? Только для того, чтобы выказать свои способности?

— Нет же, нет! — вскричала я. — Только для того, чтобы покрепче себя привязать.

— Не понимаю… — промолвил Перрен, весь внимание.

— Все очень просто: мне ужасно хочется путешествовать, видеть что-то новое, дышать другим воздухом, смотреть на другое небо, не такое низкое, как наше, на другие деревья, выше наших, короче говоря, окунуться в иную жизнь! Потому-то я без конца ставлю перед собой разные цели, чтобы не дать себе сорваться с цепи, иначе моя любознательность занесет меня неизвестно куда и я наделаю глупостей.

Я и не подозревала, что несколько лет спустя эти слова обернутся против меня на судебном процессе, который затеет против меня «Комеди».

Выставка 1878 года окончательно настроила Перрена и

некоторых актеров «Французского театра» против меня. Мне всё ставилось в вину: занятия живописью, ваянием, хрупкое здоровье. В конце концов между Перреном и мной произошел ужасный скандал, поставивший точку в наших отношениях. С тех пор мы больше не разговаривали, ограничиваясь холодным кивком при встрече.

Поводом к этому разрыву послужила моя прогулка на воздушном шаре. Я всегда обожала и по сей день обожаю воздушные шары. Каждый день поднималась в воздух в привязном аэростате господина Жиффара. Подобное усердие удивило ученого, и как-то раз он пришел ко мне вместе с нашим общим другом.

— Ах, господин Жиффар, — вскричала я, — как бы мне хотелось совершить настоящий полет на воздушном шаре!

— Ну что же, мадемуазель, это нетрудно устроить, — отвечал любезный ученый.

— Когда же?

— Когда вам будет угодно.

Я готова была лететь сию же минуту, но Жиффар сказал, что должен сначала снарядить воздушный шар, ведь на нем лежит вся ответственность за безопасность путешествия. Полет был назначен на следующий вторник, ровно через восемь дней. Я попросила его никому ничего не говорить: если бы журналисты разнесли эту новость, мои близкие пришли бы в ужас и не разрешили мне лететь.

Бедняга Тиссандье, которому суждено было вскоре погибнуть в воздушном полете, вызвался меня сопровождать, но что-то ему помешало, и я лишилась приятного спутника. Вместо него восемь дней спустя в корзину «Доньи Соль», симпатичного воздушного шара оранжевого цвета, снаряженного специально для моего путешествия, поднялся юный Годар.

Принц Наполеон, который присутствовал при моем разговоре с Жиффаром, настаивал, чтобы его тоже взяли в полет, но он был тяжелым, неповоротливым и очень желчным; беседа с ним не доставляла мне удовольствия, несмотря на весь его ум; вдобавок он не ладил с императором Наполеоном III, которого я очень любила.

Мы отправились в путь без него, втроем: Жорж Клэрен, Годар и я. Слух о полете все же разнесся, но газеты не успели о нем сообщить[63].

Не прошло и пяти минут после моего подъема на шаре, как один из моих приятелей, граф де Монтескью, повстречал Перрена на мосту Сэн-Пэр.

— Ну-ка, — промолвил он, — взгляните на небо… Видите,

вон летит ваша звезда!

Перрен задрал голову и увидел воздушный шар, набиравший высоту.

— Кто же там? — спросил он.

— Сара Бернар! — последовал ответ.

Перрен побагровел и процедил сквозь зубы:

— Очередная выходка! Ну уж, она мне за это дорого заплатит!

И он удалился быстрыми шагами, даже не попрощавшись с моим юным приятелем, который не мог понять, из-за чего он вдруг так раскипятился. Но если бы Перрен знал, как счастлива я была в тот миг, когда ощутила невыразимую радость полета, он разошелся бы еще сильнее.

Мы улетели в половине шестого. Я простилась с немногочисленными друзьями, которые пришли меня проводить. Мои родные сидели дома и ни о чем не догадывались. У меня сжалось сердце, когда после возгласа «Пуск!» мы в один миг поднялись на высоту пятьдесят метров. Внизу раздавались крики:

— Берегите ее! Возвращайтесь поскорей!

Затем — тишина… тишина… Под нами — земля, над нами — небо. Неожиданно мы врезались в облака. Я оставила Париж в тумане, а здесь было голубое небо, лучезарное солнце. Вокруг вздымались густые облачные горы с радужными вершинами.

Наша корзина окунулась в теплый от солнца молочный пар. Изумительно! Восхитительно! Ни звука, ни дуновения! Шар почти не двигался. Лишь часам к шести мы ощутили, как воздушное течение подталкивает нас в спину, и полетели в восточном направлении.

На высоте 1700 метров мы увидели сказочное зрелище: толстые белые барашки облаков расстилались под нами ковром, тяжелые оранжевые портьеры с фиолетовой бахромой свешивались с солнца, теряясь в складках нашего облачного ковра.

Без двадцати семь мы были уже на высоте 2300 метров, где голод и холод давали о себе знать.

Мы плотно поужинали гусиной печенкой, свежим хлебом и апельсинами. Пробка от шампанского салютовала небу с приглушенным шумом. Мы подняли бокалы за здоровье господина Жиффара.

Пока мы болтали, ночь накинула себе на плечи тяжелое бурое манто, и стало очень холодно. Аэростат поднялся уже на 2600 метров от земли, и кровь бешено стучала у меня в висках. Я была не в своей тарелке и впала в дремоту, не в силах бороться со сном.

Жорж Клэрен встревожился, а юный Годар громко закричал, чтобы меня разбудить:

— Ну-ка, пора опускаться! Бросаем гайдроп!

Этот крик и в самом деле привел меня в чувство. Мне хотелось знать, что такое гайдроп. Я была все еще одурманена сном, и, чтобы растормошить меня, Годар дал мне в руки гайдроп. Это оказалась крепкая веревка длиной в сто двадцать метров с железными крючками на одинаковом расстоянии друг от друга. Мы с Клэреном со смехом принялись разматывать веревку, в то время как Годар, свесившись из корзины, глядел в подзорную трубу.

— Стоп! — внезапно закричал он. — Черт возьми! Сплошные деревья!

И правда, мы как раз пролетали над Феррьерским лесом. Но впереди виднелась небольшая долина.

— Нечего раздумывать! — воскликнул Годар. — Если мы не сядем здесь, то придется спускаться ночью в Феррьерском лесу, а это чертовски опасно.

И затем, повернувшись ко мне, сказал: «Вы не могли бы открыть клапан?» Я так и сделала. Газ вырвался на свободу с насмешливым свистом. Мне было приказано закрыть клапан, и мы качали быстро опускаться.

Внезапно ночное безмолвие огласил звук рожка. Я вздрогнула. Луи Годар достал из своего кармана — подлинного склада всякой всячины — рожок и дунул в него что было сил.

Резкий звук свистка ответил на наш зов, и мы увидели в пятистах метрах под нами человека в форме с галунами, который надсаживал горло, пытаясь до нас докричаться. Мы как раз подлетели к какому-то вокзальчику, и нетрудно было догадаться, что это начальник вокзала.

— Где мы? — прокричал Луи Годар в свой рожок.

— Ве… ве… ве… де… — отвечал человек.

— Непонятно. Где мы? — оглушительно гаркнул Жорж Клэрен.

— Ве… ве… ве… де… — завопил начальник вокзала, сложив руки рупором.

— Где мы? — пропела я как можно более звонко.

— Ве… ве… ве… ре… — твердил начальник, к которому присоединились все вокзальные служащие.

Мы ничего не расслышали.

Нужно было бросать якорь. Поначалу мы спускались слишком быстро и, поскольку ветер нес нас на деревья, были вынуждены вновь взмыть в небо. Через десять минут мы снова открыли клапан и начали спускаться. Тем временем аэростат переместился

вправо от вокзала, и мы потеряли из виду его любезного начальника. «Бросай якорь!» — крикнул командирским тоном юный Годар и с помощью Жоржа Клэрена спустил вниз новую восьмидесятиметровую веревку, к концу которой был привязан якорь внушительных размеров.

Мы наблюдали, как ватага разновозрастных ребятишек бежит за нашим шаром от самого вокзала. Когда мы спустились на высоту трехсот метров, Годар вновь прокричал в свой рожок: «Где мы?» «В Вершере!» — последовал ответ. Никто из нас никогда не слыхал о Вершере.

— Ладно, увидим. Продолжаем спускаться! Эй, вы, — закричал наш командир собравшимся внизу, — держите веревку! Только не слишком тяните!

Пятеро взрослых мужчин ухватились за канат. До земли оставалось чуть более ста метров, и я с любопытством смотрела по сторонам. Ночь размывала очертания предметов. Я задрала голову кверху и разинула рот, увидев, как обвис и сморщился наш полуспущенный шар. Зрелище было не из приятных.

Мы плавно приземлились, избежав встрясок и острых ощущений, которые рисовались в моем воображении. Земля встретила нас проливным дождем.

Молодой владелец соседнего замка прибежал вместе с крестьянами узнать, что случилось. Он предложил мне свой зонтик.

— О нет, сударь, — ответила я, — я такая тонкая, что не могу промокнуть, ведь я прохожу между струй.

Эти слова запомнили и разнесли повсюду.

— В котором часу поезд? — осведомился Клэрен.

— О, у вас есть еще время, — ответил кто-то густым тягучим басом. — Вы сможете уехать только десятичасовым поездом. Вокзал в часе ходьбы отсюда, но в такую слякоть госпоже потребуется не меньше двух часов, чтобы туда дойти.

Я пришла в замешательство и стала искать глазами хозяина замка с его зонтиком, который мог бы послужить мне тростью. Ни у Клэрена, ни у Годара ничего подобного не было. Я уже начала мысленно упрекать исчезнувшего, как вдруг он проворно выскочил из незаметно подъехавшего экипажа.

— Вот, пожалуйста, — сказал молодой человек, — карета для вас и ваших спутников, а вон еще одна для покойного аэростата.

— Клянусь честью, вы нас спасли! — вскричал Клэрен и пожал ему руку. — Дороги-то, наверное, совсем развезло.

— О! — воскликнул молодой человек. — Ножки парижанки не прошли бы и полпути. — И он попрощался с нами, пожелав нам счастливого путешествия.

Через час с небольшим мы добрались до вокзала Эмерэнвилля. Начальник вокзала, узнав, кто мы такие, принял нас очень радушно. Он извинился, что не смог докричаться до нас час назад, когда мы окликали его с борта нашего воздушного корабля. Он предложил нам скромное угощение: хлеб, сыр, сидр. Я терпеть не могла сыр и никогда его не ела, считая этот продукт слишком прозаическим, но я умирала с голоду.

— Отведайте, отведайте, — говорил мне Жорж Клэрен.

Я попробовала кусочек и нашла сыр превосходным.

Мы вернулись в Париж поздно ночью. Мои близкие места себе не находили от тревоги. Дома меня поджидала целая ватага друзей, пришедших узнать свежие новости. Это не вызвало у меня радости, так как я падала от усталости. Отослав всех с некоторым раздражением, я поднялась в свою комнату.

Раздевая меня, горничная сообщила, что несколько раз приходили из «Комеди Франсез».

— О Боже! — вскричала я в волнении. — Неужели спектакль не заменили?

— Думаю, что нет, — ответила молодая женщина. — Похоже, что господин Перрен разгневался и все они на вас рассердились. Кстати, вам оставили записку.

Я распечатала письмо. Меня вызывали в дирекцию театра.

На другой день, в точно назначенный час, я пришла к Перрену. Он встретил меня с подчеркнутой учтивостью, в которой сквозило явное неодобрение, и принялся осыпать упреками. Он припомнил мне все мои причуды, капризы и эксцентричные выходки, а в конце своей обвинительной речи приговорил меня к штрафу в тысячу франков за то, что я поднялась в небо без разрешения администрации.

Я прыснула со смеху:

— Статья «О воздушном шаре» еще не занесена в уголовный кодекс! С какой стати мне платить штраф? Вне стен театра я вольна делать все, что мне угодно, уважаемый господин Перрен, и вас это не касается, пока это не вредит моей службе, и вообще… вы мне надоели!.. Я подаю в отставку. Будьте здоровы!

И я удалилась, оставив его в замешательстве.

На следующий день я послала Перрену свое письменное заявление об уходе, а несколько часов спустя меня вызвали к министру господину Тюрке. Я отказалась к нему идти. Тогда ко мне прислали знакомого, который сообщил мне, что Перрен превысил свои полномочия, вопрос о штрафе снят, и я должна забрать свое заявление. Так я и сделала.

Но ситуация по-прежнему оставалась напряженной. Моя слава приводила в ярость моих врагов и, признаться, несколько

досаждала моим друзьям. Меня же вся эта кутерьма ужасно забавляла. Я палец о палец не ударила, чтобы привлечь к себе внимание, но мои причудливые вкусы, худоба и бледность, а также только мне присущая манера одеваться, презрение к моде и полное пренебрежение всеми правилами приличия делали меня существом исключительным.

Я и понятия об этом не имела, ведь я никогда не читала и не читаю газет. Таким образом, я не представляла, что хорошего либо плохого обо мне говорят, и жила среди своих солнечных грез в окружении свиты поклонников и поклонниц.

Все королевские особы и знаменитости, которые собрались в 1878 году на Выставку во Франции, нанесли мне визит. Меня очень забавлял весь этот парад. Наш театр был первым этапом паломничества всех выдающихся деятелей. Мы с Круазетт были заняты в спектаклях почти каждый вечер.

Играя в «Амфитрионе», я довольно тяжело заболела, и меня отправили на юг, где я провела два месяца. Я жила в Ментоне, но моей штаб-квартирой стал мыс Мартен. Я приказала разбить шатер в том самом месте, где впоследствии императрица Евгения построила себе роскошную виллу.

Мне не хотелось никого видеть. Я думала, что здесь, вдали от города, мне нечего опасаться визитеров. Ничего подобного! Однажды, когда мы с моим мальчиком обедали, я неожиданно услышала звук бубенцов и стук колес экипажа.

Дорога проходила как раз над нашим шатром, который был скрыт в зарослях кустарника. Внезапно послышался чей-то голос, который я никак не могла узнать. Голос вопрошал высокопарным тоном герольда:

— Не здесь ли остановилась госпожа Сара Бернар, актриса «Комеди Франсез»?

Мы замерли. Вопрос повторился. Мы молчали. Затем мы услышали треск сучьев, кусты раздвинулись, и в двух метрах от нас вновь прозвучал тот же, но уже насмешливый голос…

Нас обнаружили. В некотором раздражении я вышла из шатра и увидела мужчину в длинном плаще из тюсора и сером костюме, с биноклем через плечо. У него было красное веселое лицо и бородка в форме подковы. Он не был ни изыскан, ни вульгарен. Я сердито уставилась на самозванца.

Он приподнял свой котелок:

— Здесь ли госпожа Сара Бернар?

— Что вам от меня нужно, сударь?

— Вот моя визитная карточка, сударыня…

Я прочитала: «Гамбар, Ницца, Пальмовая вилла» — и посмотрела на него с удивлением.

Он был удивлен не меньше, заметив, что его имя мне ничего не говорит.

Он говорил с иностранным акцентом:

— Так вот, сударыня, я приехал, чтобы договориться с вами о покупке вашей группы «После бури».

Я рассмеялась:

— Право, сударь, не знаю, как быть: я веду переговоры с фирмой Зюсса. Мне предлагают за нее шесть тысяч франков, но, если вы дадите мне десять, она ваша.

— Прекрасно! — сказал он. — Вот десять тысяч франков. У вас есть чем писать?

— Нет, сударь.

— Ах, извините!

И он достал маленький футляр, в котором лежали перо и чернила. Я написала ему расписку, а также письменное подтверждение, чтобы он мог забрать скульптуру из моей мастерской в Париже. Мы распрощались, и я услышала мелодичный звук удалявшихся бубенчиков.

С тех пор я часто получала приглашения от этого чудака, который был одним из царьков Ниццы.

8

Вскоре я вернулась в Париж. В театре готовились к бенефису Брессана, который уходил со сцены. Было условлено, что мы с Муне-Сюлли сыграем один акт из «Отелло» Жана Экара.

Атмосфера в зале была чудесной, публика — доброжелательной, как всегда в таких случаях. Я улеглась в постель Дездемоны и вдруг услышала в зрительном зале смех — сперва тихий, затем неудержимый: Отелло вышел на сцену в ночной рубашке или в чем-то подобном, с фонарем в руке и направился к двери, скрытой под драпировкой.

Зрители, сливаясь в безликую массу, дают волю своим низменным чувствам, хотя каждый из них в отдельности постеснялся бы высказать те же мысли вслух.

Эта нелепая сцена, ставшая посмешищем для публики из-за неестественной игры актера, привела к тому, что репетицию пьесы отложили, и полностью «Отелло» был поставлен на сцене «Французского театра» лишь спустя двадцать долгих лет. Меня к тому времени там уже не было.

Сыграв с успехом Беренику в «Митридате», я вернулась к роли королевы в «Рюи Блазе». Пьеса имела здесь столь же длительный успех, что и в «Одеоне», а публика проявила по отношению ко мне, возможно, даже большую благосклонность. Рюи Блаза играл Муне-Сюлли. Он был великолепен в этой роли и давал сто очков вперед Лафонтену, который играл Рюи Блаза в «Одеоне». Фредерик Фебр, одетый в прекрасный костюм, предложил интересное решение образа, но играл слабее, чем Жеффруа, который был самым изысканным и самым зловещим из всех когда-либо созданных на сцене образов дома Саллюстия.

Мои отношения с Перреном становились все более натянутыми. Он был очень доволен моим триумфом, который отвечал интересам Дома, радовался великолепным сборам «Рюи Блаза», но предпочел бы, чтобы не я, а любая другая актриса срывала все эти аплодисменты. Моя независимость, мое упорное нежелание подчиняться, хотя бы для вида, страшно его злили.

Как-то раз ко мне вошел слуга и сказал, что какой-то старый англичанин добивается свидания со мной с такой настойчивостью, что он счел своим долгом предупредить меня, несмотря на заведенный порядок.

— Прогоните этого человека и дайте мне спокойно работать, — ответила я.

Я только что приступила к картине, которая меня захватила: это был портрет девочки, державшей в руках пальмовые ветви в

вербное воскресенье. Мне позировала маленькая итальянка — восхитительная девочка лет восьми. Вдруг она сказала мне:

— Он ругается, этот англичанин…

В самом деле, из прихожей доносился шум голосов, спорящих на все более повышенных тонах. Я вышла с палитрой в руке, намереваясь выпроводить самозванца, но в тот миг, когда я открыла дверь мастерской, прямо передо мной выросла долговязая фигура мужчины. От неожиданности я попятилась, и таким образом незнакомец проник в комнату. У него были светлые строгие глаза, волосы с проседью и тщательно ухоженная бородка. Он очень вежливо извинился и принялся восхищаться моими картинами, скульптурами, моей мастерской так непринужденно, как будто мы с ним сто лет были знакомы.

Прошло добрых десять минут, прежде чем мне удалось усадить его с просьбой поведать о цели своего визита. Мужчина начал говорить хорошо поставленным голосом, с сильным акцентом:

— Меня зовут господин Жарретт, я импресарио. Я могу помочь вам сколотить состояние. Не хотите ли поехать в Америку?

— Ни за какие деньги! — воскликнула я. — Ни за что! Ни за что!

— Да? Ну ладно. Не сердитесь. Вот мой адрес, не потеряйте его.

Затем, уже собираясь уходить, он сказал:

— Да, кстати, вы скоро поедете в Лондон с «Комеди Франсез». Не хотите ли заработать в Лондоне кругленькую сумму?

— Конечно, хочу, но каким образом?

— Играя в салонах. Я помогу вам сколотить небольшое состояньице.

— О, я не возражаю, если только я поеду в Лондон, это еще не решено.

— В таком случае вы не откажетесь подписать контрактик, к которому мы добавим и этот пункт?

И я не долго думая подписала контракт с незнакомцем, сразу же внушившим мне полное доверие, которое никогда не было обмануто.

Комитет вместе с господином Перреном заключил договор с Джоном Холлингсхедом, директором лондонского театра «Гэти». Они ни с кем не посоветовались, и я сочла их поведение несколько бесцеремонным. И когда нас известили о контракте, подписанном комитетом и директором, я не проронила ни звука.

Перрен, заволновавшись, отозвал меня в сторону:

— Что вы там замышляете?

— А вот что: я не поеду в Лондон на несправедливых условиях. На время гастролей я хочу быть членом труппы с отдельным паем.

Это требование взбудоражило весь комитет. На следующий день Перрен сказал мне, что мое предложение отклонили.

— Что ж, значит, я не поеду в Лондон! Мой ангажемент не обязывает меня к подобным передвижениям.

Комитет собрался снова, и Гот воскликнул:

— Раз так, пускай остается! Она уже надоела нам со своими причудами!

Итак, было решено, что я не поеду в Лондон. Но Холлингсхед и его компаньон Майер думали иначе. Они заявили, что если Круазетт, Коклен, Муне-Сюлли либо я не приедем, то договор будет расторгнут.

Распространители, которые приобрели заранее билеты на сумму в двести тысяч франков, решили, что без наших имен затея не стоит свеч.

Майер, заставший меня в глубоком отчаянии, ввел меня в курс дела. Он сказал:

— Мы расторгнем договор с «Комеди», если вы не приедете, ибо тогда мы прогорим.

Испугавшись последствий своего дурного настроения, я побежала к Перрену и заявила ему, что после недавнего разговора с Майером осознала свою вину, а также невольный ущерб, причиненный «Комеди» и моим товарищам, и добавила, что готова ехать на любых условиях.

Комитет как раз заседал. Перрен попросил меня подождать и вскоре вернулся. Круазетт и я были объявлены членами товарищества с отдельным паем не только на время гастролей в Лондоне, а навсегда. Каждый исполнил свой долг.

Растроганный Перрен раскрыл мне свои объятия:

— О, неукротимое милое созданье!

Мы поцеловались, и перемирие было заключено вновь.

Однако оно не могло продлиться долго. Через пять дней после нашего примирения, часов в девять вечера, мне доложили о приходе господина Эмиля Перрена. Я ужинала вместе с гостями и приняла его в холле. Он протянул мне газету со словами: «Прочтите это». И я прочла в лондонской «Таймс» абзац, который привожу ниже в своем переводе:

> «Салонные комедии мадемуазель Сары Бернар в постановке сэра… Бенедикта.
>
> Репертуар мадемуазель Сары Бернар состоит из комедий, одноактных пьес, скетчей и монологов,

написанных специально для нее и одного-двух актеров „Комеди Франсез"». Эти комедии играются без декораций и реквизита как в Лондоне, так и в Париже на утренниках и вечерних спектаклях в высшем обществе. Просьба обращаться за справками и заявками к господину Жарретту (секретарю мадемуазель Сары Бернар), в театр Ее Величества…»

Прочтя последние строки рекламы, я поняла, что Жарретт, узнавший о том, что я определенно приеду в Лондон, начал готовить почву для выступлений.

Я объяснилась с Перреном без обиняков.

— Почему вы против того, — сказала я ему, — чтобы в свободные вечера я зарабатывала деньги, раз мне это предлагают?

— Это не я против, а комитет, — ответил он.

— Ах, вот как! — вскричала я и позвала своего секретаря. — Принесите мне письмо Делоне, которое я отдала вам вчера на хранение.

— Вот оно, — промолвил он, вынимая письмо из одного из своих бесчисленных карманов.

И Перрен прочел: «Не угодно ли Вам сыграть „Октябрьскую ночь" у леди Дадли в четверг пятого июня? Мы получим пять тысяч франков на двоих. С дружеским приветом. Делоне».

— Оставьте мне это письмо, — сказал раздосадованный директор.

— Нет, не хочу. Но вы можете сказать Делоне, что я рассказала вам о его предложении.

В течение трех-четырех дней после этого в Париже только и было разговоров что о скандальном объявлении в «Таймс», о чем раструбили все газеты. Французы в то время не страдали англоманией и понятия не имели о нравах и обычаях англичан.

В конце концов вся эта шумиха стала действовать мне на нервы, и я попросила Перрена положить ей конец. На другой день, 29 мая, в газете «Насьональ» появилась заметка под названием «Много шума из ничего»: «В частной дружеской беседе было оговорено, что в часы, свободные от репетиций и спектаклей, каждый актер „Комеди Франсез" волен распоряжаться своим временем по собственному усмотрению. Таким образом, слухи о якобы имевшем место конфликте между театром и мадемуазель Сарой Бернар ни на чем не основаны. Актриса лишь воспользовалась своим законным правом, которого никто не собирается у нее отнимать, так же как у ее товарищей по сцене. Директор „Комеди Франсез" лишь попросил дам и господ актеров

не давать представлений в полном составе…»

Эта статья исходила из «Комеди», и члены комитета воспользовались случаем, чтобы сделать себе небольшую рекламу, сообщая, что они тоже готовы играть в салонах. Заметка была отослана Майеру с просьбой поместить ее в английских газетах. Я знаю об этом от самого Майера.

Покончив со всеми распрями, мы начали готовиться к отъезду. До сих пор я никогда не совершала морских путешествий. Сознательное безразличие французов ко всему заграничному в то время было еще более явным, чем сегодня.

Так, я заказала себе очень теплое пальто. Меня убедили в том, что рейс в Англию будет арктическим, хотя стояло жаркое лето, и я в это поверила.

Меня засыпали пастилками от морской болезни, таблетками с опием от головной боли, вощеной бумагой для компрессов, давящими повязками для брюшных припарок и гудронными стельками для обуви, чтобы, не дай Бог, не простудить ноги.

О, как это было нелепо и забавно! Я все принимала, выслушивала разные советы и верила всему.

Но самым неожиданным было то, что за пять минут до отплытия на борт судна подняли огромный и очень легкий ящик, который принадлежал высокому молодому человеку, ставшему впоследствии выдающейся личностью. Он увенчан сегодня всеми лаврами, увешан всевозможными крестами, наделен огромным состоянием и непомерным тщеславием. Но в то время это был робкий юноша, печальный и бедный изобретатель, занимавшийся абстрактными теориями и ничего не смысливший в жизни.

Он относился ко мне с восхищением, смешанным с некоторым страхом. Мое окружение окрестило его «Фрикаделькой». Он был длинным, тощим и бесцветным.

Он приблизился ко мне, еще более бледный, чем обычно, напуганный близящимся отплытием. Ветер раскачивал его из стороны в сторону, как былинку. Он подал мне некий таинственный знак.

Я последовала за ним вместе с «моей милочкой», а приятели смотрели нам вслед с усмешкой. Молодой человек открыл ящик и вытащил оттуда огромный спасательный жилет, который он изобрел.

Я несколько оторопела, ибо была новичком в морских путешествиях и мысль о возможности кораблекрушения за час пути мне и в голову не приходила.

«Фрикаделька» невозмутимо развернул спасательный жилет и надел его на себя, чтобы показать мне, как с ним обращаться. Облаченный в визитку, с цилиндром на голове, он напяливал на

себя это странное приспособление с серьезным и грустным видом. Трудно представить себе более нелепое зрелище!

Дюжина пузырей величиной с яйцо обрамляли жилет. В одиннадцати из них, заполненных воздухом, лежало по кусочку сахара, а в двенадцатом, совсем крошечном, было десять капель водки. В центре жилета находилась подушка, к которой были приколоты несколько булавок.

— Понимаете, — сказал он мне, — вы падаете в воду — паф! — и принимаете такое положение…

Он распластался в пространстве и принялся нагибаться и выпрямляться, как бы следуя движению волн, затем вытянул руки вперед, разгребая воображаемую воду и вертя головой, как черепаха, чтобы не захлебнуться.

— Видите ли, уже два часа как вы в воде, нужно восстанавливать силы. Итак, вы берете булавку, чтобы расколоть яйцо. Затем, — продолжал он, — вы берете кусочек сахара и съедаете его, это заменит вам четверть фунта мяса.

Выбросив проколотый пузырь за «борт», он вытащил из ящика другое «яйцо» и прикрепил его к жилету. Он все предусмотрел.

Один из наших импресарио, господин Майер, опасаясь непредвиденных последствий, попросил толпу разойтись. Я не знала, сердиться мне или смеяться, но насмешливый и несправедливый выпад одного из моих приятелей в адрес изобретателя вызвал у меня жалость к бедному «Фрикадельке».

Я живо представила себе, как долгими часами он корпел над своим нелепым аппаратом. Меня тронула нежная забота юноши о моей безопасности, которая подвигла его на сей бесплодный труд, и я протянула ему руку со словами:

— Ступайте скорей, судно сейчас отчалит!

Он поцеловал мою дружескую руку и убежал.

Я позвала своего управляющего:

— Прошу вас, Клод, как только мы отойдем подальше от берега, выбросьте этот ящик со всем его содержимым в море.

Судно отчалило, провожаемое криками: «Ура! До встречи! Счастливого плавания! Удачи!», прощальными взмахами рук, платков, воздушными поцелуями.

Но самое прекрасное, незабываемое впечатление оставило у меня прибытие в Фолкстон. На причале собрались тысячи людей, и впервые в моей жизни прозвучал возглас: «Да здравствует Сара Бернар!» Я повернула голову и увидела прямо перед собой бледного молодого человека — вылитого Гамлета, который вручил мне гардению. Позже я восхищалась им, Форбсом-Робертсоном, на сцене в роли Гамлета.

Мы шли сквозь строй людей, которые протягивали нам цветы

и пожимали руки. Тотчас же я заметила, что мне оказывают больше знаков внимания, чем другим.

Это смущало и радовало меня одновременно. Одна из находившихся рядом со мной актрис, которая меня недолюбливала, злобно прошипела:

— Скоро тебе выложат ковер из цветов!..

— А вот и он! — воскликнул какой-то молодой человек и швырнул мне под ноги охапку лилий.

Я смутилась и замедлила шаг, не решаясь ступать по белоснежным цветам, но сзади меня уже подталкивали, и мне пришлось идти дальше прямо по бедным лилиям.

— Гип-гип ура! Ура Саре Бернар! — вскричал пылкий юноша.

Его голова возвышалась над толпой, глаза его светились, а длинная шевелюра делала его похожим на немецкого студента. Это был один из величайших английских поэтов нашего столетия, гениальный, но, увы, страдавший душевной болезнью, которая в конце концов его сломила, поэт по имени Оскар Уайльд.

Толпа подхватила этот возглас, и мы садились в поезд под крики: «Гип-гип ура! Ура Саре Бернар! Гип-гип ура! Ура французским актерам!»

Около девяти поезд прибыл в Чаринг-Кросс с часовым опозданием.

Мне стало грустно. Погода была пасмурной, и, кроме того, я ожидала, что по приезде в Лондон нам снова устроят торжественную встречу. Я приготовилась к новым приветственным крикам. На платформе собрался народ, много народа, но никто, казалось, нас не ждал. Подъезжая к вокзалу, мы увидели роскошный ковер. Я решила, что он предназначен для нас, и не сомневалась в этом, так как прием, оказанный нам в Фолкстоне, вскружил мне голову. Но ковер был расстелен не для нас, а для Их Высочеств принца и принцессы Уэльских, отправлявшихся в Париж.

Это известие вызвало у меня недовольство и больно меня задело. Мне говорили, что Лондон дрожит от нетерпения в ожидании приезда «Комеди Франсез», и вот Лондон встречает нас с таким безразличием…

Толпа была многочисленной, но сдержанной. Я спросила Майера:

— Почему принц и принцесса Уэльские уезжают сегодня?

— Потому что они назначили на сегодня отъезд в Париж.

— Значит, их не будет на премьере?

— Нет. Принц забронировал ложу на целый сезон и заплатил за нее десять тысяч франков, но ее займет герцог де Коннот.

Я впала в отчаяние. Не знаю отчего, но я была в отчаянии.

Мне казалось, что все идет из рук вон плохо.

Слуга проводил меня до кареты. Я ехала по Лондону, и у меня скребли на сердце кошки. Я видела все в черном цвете. И когда мы приехали на Честер-сквер, 77, мне не хотелось выходить из кареты.

Но гостеприимно распахнутая дверь зазывала меня в сверкающий вестибюль, где благоухали цветы со всех уголков света, цветы в корзинах, букеты, охапки цветов. Я спустилась на землю и вошла в дом, где мне предстояло прожить шесть недель. Все цветы протягивали мне свои бутоны.

— У вас есть визитные карточки от этих букетов? — спросила я слугу.

— Да, — ответил он, — я положил их на блюдо. — Все эти цветы были присланы вчера из Парижа друзьями госпожи. Только один букет отсюда.

И он вручил мне огромный букет. Я взяла визитную карточку. На ней значилось: «Welcome![64] *Генри Ирвинг*»[65].

Я обошла вокруг дома и нашла его мрачным. Я отправилась в сад, но сырость пробрала меня до мозга костей. Я вернулась в дом, стуча зубами, и заснула с тоской в сердце, словно в предчувствии беды.

Следующий день был потрачен на встречи с журналистами. Я хотела принять их всех разом, но господин Жарретт этому воспротивился.

Он был подлинным гением рекламы. Тогда я еще не догадывалась об этом. Он сделал мне очень заманчивые предложения относительно турне в Америку и, несмотря на мой отказ, стал мне необходим благодаря своему уму, чувству юмора и моей потребности в надежном проводнике в незнакомой стране.

— Нет, — сказал он мне, — если вы примете их всех разом, они рассердятся и у вас будет плохая пресса. Надо принять их поочередно.

В тот день явилось тридцать семь человек, и Жарретт заставил меня говорить с каждым из них. Он не покидал меня и спасал положение всякий раз, когда я изрекала глупость. Я говорила по-английски очень плохо, некоторые из них так же плохо говорили по-французски, и Жарретт переводил мои ответы. Хорошо помню, что первым делом все они задавали мне один и тот же вопрос: «Ну, мадемуазель, что вы думаете о Лондоне?»

Я прибыла в английскую столицу накануне в девять часов вечера, а в десять утра следующего дня первый человек, с которым я беседовала, задал мне этот вопрос. Я только-только поднялась и, отдернув штору, увидела кусочек Честер-сквер — маленький квадратик темной зелени, посреди которой

возвышалась черная статуя, а на горизонте маячила какая-то уродливая церквушка. Вот и все, что я могла рассказать о Лондоне.

Однако Жарретт отразил удар, и на следующее утро газеты поведали мне о том, что я в восторге от Лондона и его достопримечательностей, которые уже успела обежать…

Около пяти часов очаровательная Гортензия Дамэн, любимица английского высшего света, зашла предупредить меня, что герцогиня де… и леди Р… явятся ко мне с визитом в половине шестого.

— Ох! Побудь со мной, — попросила я ее, — ты ведь знаешь, какая я дикарка. Мне кажется, я буду выглядеть глупо.

В назначенный час мне доложили о посетительницах. Это была моя первая встреча с английской аристократией, и у меня сохранились от нее самые теплые воспоминания. Леди Р… была женщиной редкой красоты, а герцогиня держалась с такой грацией, благородством и доброжелательностью, что я была глубоко тронута.

Несколько минут спустя явился лорд Дадли. Я его прекрасно знала: нас познакомил маршал Канробер, один из самых близких моих друзей. Лорд спросил, нет ли у меня желания покататься верхом завтра поутру. Я поблагодарила его и отказалась: мне хотелось поначалу отправиться на Роттен-роуд в карете.

В семь часов Гортензия Дамэн зашла за мной и мы поехали ужинать к баронессе де… Она жила в красивом доме на Принсесс-Гейт.

За ужином собралось человек двадцать, в том числе и художник Милле. Мне говорили, что в Англии скверная еда, но я нашла ужин превосходным. Мне говорили, что англичане холодны и чопорны, я же видела обаятельных, наделенных чувством юмора людей. Они все говорили по-французски, и мне было стыдно за свое незнание английского.

После ужина перешли к музыке и декламации. Я была чрезвычайно тронута обходительностью и тактом хозяев, которые даже не просили меня почитать стихи.

Я смотрела вокруг во все глаза. Английское общество ни в чем не походит на французское. Девушки развлекаются там сами по себе, причем веселятся от души. Они выходят в свет не за тем, чтобы ловить женихов.

Меня немного удивило декольте дам далеко не первой молодости. Я поделилась своими впечатлениями с Гортензией Дамэн.

— Это ужасно! — сказала я.

— Но в этом есть особый шик!

Моя подруга Дамэн была очаровательна, но признавала только «шик». Незадолго до моего отъезда из Парижа она прислала мне следующие наказы:

В Честер-сквере будешь жить
И на Роттен-роуд ходить
Да в Парламент заходить,
Вечеринки посещать,
На визиты отвечать,
Всем автографы давать
И Гортензии внимать,
Все советы выполнять.

Я посмеялась над этими наказами, но вскоре поняла, что, несмотря на шутливую форму, написаны они всерьез. Увы! Моя бедная подруга просчиталась: я терпеть не могла наносить визиты, писать письма, подписывать фотографии и особенно следовать чьим-либо советам.

Я очень люблю, когда меня навещают, но ненавижу ходить в гости. Обожаю получать письма, читать их, комментировать, но не люблю на них отвечать. Ненавижу места людных прогулок и обожаю пустынные дороги, уединенные уголки. Люблю давать советы и очень не люблю, когда их дают мне. Я долго упираюсь, прежде чем последовать чужому, даже мудрому совету. Усилием воли я заставляю себя признать справедливость этого совета и поблагодарить за него, ибо первым делом чувствую себя задетой.

Поэтому я не прислушалась ни к советам Гортензии, ни к советам Жарретта, и очень зря, так как вызвала у многих неудовольствие. В другой стране у меня появились бы враги.

Сколько писем, полученных в Лондоне, я оставила без ответа! Скольким очаровательным женщинам я не нанесла ответного визита! Сколько раз, приняв приглашение на ужин, я нарушала слово, даже не предупредив заранее! Это было отвратительно!

Когда меня приглашают, я легко соглашаюсь, обещая себе быть точной, но в назначенный час меня внезапно одолевает усталость, мне хочется помечтать, и данное обещание становится в тягость. Наконец, когда я готова решиться, время проходит, и вот уже слишком поздно предупреждать, слишком поздно ехать в гости, и я злюсь на себя, злюсь на других, злюсь на весь мир.

9

Гостеприимство — качество, слагаемое из первобытной простоты и античного величия.

На мой взгляд, английский народ — самый гостеприимный народ на свете. Его гостеприимство естественно и щедро. Если англичанин открыл перед вами дверь своего дома, то он уже никогда ее не закроет. Он прощает вам недостатки и принимает ваши причуды. Благодаря такой широте души я оставалась на протяжении четверти века любимицей и баловнем английской публики.

Первый же вечер в Лондоне привел меня в восторг. Я вернулась к себе в веселом настроении, сделавшись ярой англоманкой. Дома меня ждали мои парижские друзья, которые только что прибыли с судном и очень устали с дороги. Мой энтузиазм их разозлил, и мы проспорили до двух часов ночи.

На следующий день я отправилась на Роттен-роуд. Стоял чудесный день. Весь Гайд-парк казался одним огромным букетом, составленным из великолепно подобранных садовниками цветочных клумб, а также из пестревших там и сям разноцветных — голубых, розовых, красных, белых, желтых — зонтиков, защищавших от солнца светлые шляпы с цветами, под которыми сияли улыбками миловидные лица женщин и детей.

По кавалерийским дорожкам мчались головокружительным галопом на изящных чистокровных скакунах сотни хрупких, гибких и дерзких амазонок. Всадники — взрослые и дети — катались верхом на широкогрудых ирландских пони. Другие дети скакали на шотландских пони с длинной густой гривой. И встречный ветер трепал кудри детей и гривы лошадей.

По проезжей дороге между всадниками и пешеходами двигались коляски, почтовые кареты, догкары, экипажи на рессорах и элегантные кебы с напудренными лакеями на запятках, запряженные великолепными рысаками, которыми лихо правили леди и джентльмены спортивного вида.

Эта жизнерадостная, исполненная изящества и роскоши картина живо напомнила мне наш Булонский лес, столь же элегантный и оживленный еще несколько лет назад, когда улыбающийся и беззаботный Наполеон III проезжал по нему в карете, запряженной цугом. Ах, до чего же он был красив, наш Булонский лес! Как гарцевали офицеры по аллее Акаций и какими взглядами провожали их светские красавицы! Повсюду тогда била ключом жажда жизни, а желание любить придавало бытию бесконечное очарование…

Я закрыла глаза, и мое сердце сжалось при мысли о страшном 1870 годе. Его уже нет в живых, нашего кроткого императора с лукавой улыбкой; его армию разбили в бою, удача ему изменила, а страдание его погубило.

И вновь во Франции забурлила жизнь. Но элегантная, полная шарма и роскоши жизнь все еще носила траурные одежды. Ведь едва минуло восемь лет с тех пор, как война подкосила наших солдат, разбила наши надежды и уничтожила нашу славу.

За истекшее время сменились три президента. Подлый маленький Тьер с низкой, продажной душой, сточивший зубы о разные режимы — монархию Луи-Филиппа, империю Наполеона III и исполнительную власть Французской Республики, — палец о палец не ударил, чтобы воскресить наш дорогой Париж, сломленный множеством невзгод. На смену ему пришел добрый, славный и ничтожный маршал Мак-Магон, которого в свою очередь сменил Греви. Но Греви был скуп и считал, что оборона не нужна ни ему, ни его соотечественникам, ни стране. Париж по-прежнему был в печали, и язвы, которыми наградила его через свой огненный поцелуй Коммуна, никак не заживали.

Наш чудесный Булонский лес носил еще следы ран, нанесенных ему национальной обороной. И аллея Акаций оставалась безлюдной.

Я открыла глаза и сквозь пелену слез увидела, что все окружающее свидетельствует о торжествующей любви к жизни.

Я решила вернуться домой, так как вечером должна была впервые играть на английской сцене, но чувствовала себя не в своей тарелке, и мной овладело отчаяние.

На Честер-сквер меня поджидали несколько человек. Мне не хотелось никого видеть. Я выпила чашку чаю и отправилась в театр «Гэти», где нам предстояло впервые встретиться с английской публикой. Мысль о том, что зрители избрали меня своей любимицей, наполняла меня ужасом, ибо я всегда испытываю страх перед выходом на сцену…

Будучи дебютанткой, я испытывала робость, но не страх. Встречаясь взглядом с кем-либо из зрителей, я краснела как маков цвет и стеснялась говорить во весь голос перед толпой молчащих людей. Виной тому было мое монашеское воспитание. Но страха я в ту пору не ощущала.

Впервые я испытала это тяжелое чувство в январе 1869 года, на седьмом или восьмом представлении «Прохожего». У этого небольшого произведения был колоссальный успех, и роль Занетто, которую я исполняла, очаровала публику, в особенности студентов.

Когда я вышла в тот день на сцену, внезапно раздались

бурные аплодисменты. Я повернулась к королевской ложе, решив, что в ней появился император. Но ложа была пуста, и я убедилась, что все эти приветствия относились ко мне. Меня стала бить нервная дрожь, а глаза начало сильно пощипывать.

В тот вечер у меня был бешеный успех. Меня вызывали пять раз. И когда я выходила, студенты, выстроившись в два ряда, приветствовали меня, трижды прокричав мое имя.

Вернувшись домой, я бросилась в объятия моей слепой бабушки, которая жила у меня.

— Что с вами, милочка?

— Бабушка, я пропала, они хотят сделать из меня «звезду», а у меня еще не хватает для этого таланта. Вот увидите, они сбросят меня с пьедестала и поколотят под крики «браво».

Бабушка обхватила мою голову и устремила на меня невидящий взгляд своих больших светлых глаз.

— Вы мне говорили, милочка, что будете первой в своем деле, и вот, когда появляется шанс, вы чего-то боитесь? Мне кажется, что вы очень скверный солдат!

Я сдержала слезы и дала себе слово вынести с честью испытание успехом, который положил конец моему спокойствию, моей беззаботности и моему «наплевательству». Но с тех пор мной овладела тревога, и меня начал мучить страх сцены.

В таком расположении духа я готовилась ко второму действию «Федры», где должна была впервые появиться перед английской публикой. Три раза я румянила щеки, красила глаза тушью и три раза стирала грим губкой. Я казалась себе уродливой. Я казалась себе ниже ростом и более тощей, чем была на самом деле.

Закрыв глаза, я слушала свой голос. Мой диапазон умещается в слове «бал», которое я произношу низко с открытым «а»: «бааал», либо высоко с закрытым «а», делал упор на «л»: «баллл». О Господи! Я не могла произнести это слово ни высоко, ни низко: мой голос то хрипел, то звучал приглушенно, и я плакала от отчаяния.

Когда мне сообщили, что второе действие «Федры» начинается, я совсем потеряла голову. Я не находила ни вуали, ни колец. Я еще не надела ожерелье из камей, бормоча как в бреду:

> Вот он!.. Вся кровь на миг остановилась в жилах —
> И к сердцу хлынула… И вспомнить я не в силах
> Ни слова из того, что нужно мне сказать.[66]

Слова «и вспомнить я не в силах» засели у меня в мозгу: а

вдруг я забуду то, что мне нужно сказать? В самом деле… что я говорю?.. Не знаю, не понимаю… Что я должна сказать после слов «Вот он!..»? Никто не мог мне ответить. Моя нервозность приводила всех в ужас. Я услышала, как Гот процедил сквозь зубы: «Она сошла с ума!» Мадемуазель Тенар, которая играла мою старую кормилицу Энону, сказала мне:

— Успокойся, все англичане уехали в Париж, в зале одни бельгийцы!

Эта нелепая реплика направила мое беспокойство в другое русло.

— Ты говоришь глупости! — ответила я ей. — Ты ведь знаешь, какой страх я испытала в Брюсселе!

— Ну и напрасно, — возразила она холодно, — в тот день в зале сидели одни англичане.

Уже объявили мой выход, и я не успела ей ответить, но она изменила ход моих мыслей. Я по-прежнему испытывала страх, но не тот страх, что парализует, а тот, что сводит с ума. Это уже лучше, так как можно что-то делать, хотя бы лихорадочно.

Зрители встретили мой выход на сцену продолжительными аплодисментами, и, кланяясь публике, я говорила про себя:

Тобой я вся полна, и с сердцем ум в раздоре.[67]

Но я не владела собой и потому с самого начала сцены взяла слишком высокий тон, который была не в состоянии изменить. Я завелась, и ничто уже не могло меня остановить.

Я страдала, рыдала, взывала, кричала с неподдельным отчаянием, обливалась горючими слезами. Я вымаливала у Ипполита любовь, которая сводила меня с ума, протягивая к Муне-Сюлли свои руки — руки Федры, страстно жаждущие объятий. Бог не покинул меня.

Когда занавес опустился, я упала без чувств, и Муне-Сюлли отнес меня в гримерную. Зрители, не подозревавшие о том, что произошло, вызывали меня для поклона. Я также хотела вернуться, чтобы поблагодарить публику за ее внимание, доброжелательность и волнение. И я вновь вышла на сцену.

Вот что писал Джон Мюррей в «Ле Голуа» от 5 июня 1879 года: «Когда в ответ на громкие призывы появилась обессиленная мадемуазель Бернар, опираясь на Муне-Сюлли, ей устроили овацию, не имевшую аналогов в истории английского театра».

На следующий день «Дейли телеграф» заканчивала свою хвалебную критическую статью следующими строками:

«Clearly Mile Sarah Bernhardt exerted every nerve and

fibre and her passion grew with the excitement of the spectators, for when, after a recall that could not be resisted the curtain drew up, M. Mounet-Sully was seen supporting the exhausted figure of the actress, who had won her triumph only after tremendous physical exertion and triumph it was however short and sudden».[68].

«Стандард» заканчивала свою статью так:

> «The subdued passion, repressed for a time until at length it bursts its bonds, and the despairing, heart broken woman is revealed to Hippolyte, was shown with so vivid reality that a scene of enthousiasm such as is rarely witnessed in a theatre followed the fall of the curtain. Mlle Sarah Bernhardt in the few minutes she was upon the stage (and coming on it must be remembered to plunge into the middle of a stirring tragedy) yet contrived to make an impression which will not soon be effaced from those who were present»[69].

«Морнинг пост» писала:

> «Very brief are words spoken before Phedre rushes into the room to commence tremblingly and nervously, with struggles which rend and tear and convulse the system, the secret of her shameful love. As her passion mastered what remainded of modesty or reserve in her nature, the woman sprang forward and recoiled again with the movements of a panther, striving, as it seemed to tear from her bosom the heart which stifled her with its unholy longings, until in the end, when terrified at the horror her breathings have provoked in Hippolyte, she strove to puli his sword from its sheath and plunge it in her own breast she fell back in complete and absolute collapse. This exhibition marvellous in beauty of pose, in febrile force, in intensity, and in purity of delivery, is the more remarkable as the passion had to be reached, st to speak, at a bound, no performance of the first act having roused the actress to the requisite heat. It proves Mlle Sarah Bernhardt worthy of her reputation, and shows what may be expected from her by the public which has eagerly expected her coming».[70].

Первый спектакль в Лондоне оказался решающим для моего будущего.

10

Страстное желание завоевать английскую публику привело к тому, что я подорвала здоровье. Я полностью выложилась на первом же спектакле, и ночью у меня открылось такое сильное горловое кровотечение, что пришлось посылать в посольство за врачом.

Доктор Вэнтра, главный врач французской больницы в Лондоне, увидев меня в постели без признаков жизни, так испугался, что попросил вызвать всех моих близких. Я махнула рукой в знак протеста. Тогда мне принесли бумагу и карандаш, и, будучи не в силах говорить, я написала: «Телеграфируйте доктору Парро…» Вэнтра просидел подле меня полночи, каждые пять минут прикладывая к моим губам колотый лед. Наконец к пяти часам утра кровотечение прекратилось, и я заснула благодаря микстуре доктора Вэнтра.

Вечером мы должны были играть «Иностранку» в театре «Гэти». У меня была не слишком трудная роль, и мне хотелось-таки выйти на сцену, но мой лечащий врач, доктор Парро, решительно воспротивился. Он прибыл с четырехчасовым судном. Между тем я чувствовала себя гораздо лучше. Жар спал, и я собралась было встать с постели, но Парро вновь меня уложил.

Мне доложили о приходе доктора Вэнтра и господина Майера, импресарио «Комеди Франсез». Директор театра «Гэти» господин Холлингсхед остался в экипаже, дожидаясь известия о том, буду ли я играть в «Иностранке», как значилось в афише.

Я попросила доктора Парро пройти в гостиную к доктору Вэнтра и приказала пригласить ко мне в комнату господина Майера. Я сказала ему скороговоркой: «Мне уже лучше. Я еще очень слаба, но буду играть. Тсс! Ни слова здесь, предупредите Холлингсхеда и ждите меня в курилке, но никому ничего не говорите». Вскочив с постели, я оделась в мгновение ока с помощью моей горничной, которая обо всем догадалась и веселилась от души.

Закутавшись в пальто, опустив на лицо кружевную вуаль, я прошла в курительную комнату, где меня ждал Майер, а затем села вместе с ним в его роскошный кеб.

— Зайди за мной через час, — шепнула я своей камеристке.

Изумленный Майер спросил:

— Куда мы едем?

— В театр, да поживей!

Когда экипаж тронулся, я объяснила импресарио, что если бы я задержалась дома, то Парро и Вэнтра ни за что бы меня не

отпустили.

— Теперь, — заключила я, — жребий брошен, и мы скоро увидим, во что это выльется.

Приехав в театр, я спряталась в кабинете директора, опасаясь гнева моего обожаемого Парро. Я прекрасно понимала, до чего некрасиво обошлась с врачом, примчавшимся по первому моему зову, но мне ни за что не удалось бы убедить его в том, что мне действительно стало лучше, а если я и рискую жизнью, то разве я не вправе распоряжаться тем, что принадлежит мне?

Полчаса спустя горничная явилась ко мне с письмом от Парро, в котором он осыпал меня нежными упреками, снабжал настойчивыми советами и в заключение давал мне предписание на случай новой вспышки болезни. Часом позже он отбыл из Англии судном, даже не пожелав попрощаться со мной. Но я была уверена, что, когда вернусь, мы снова станем друзьями.

Я готовилась к выходу в «Иностранке». Одеваясь, я три раза теряла сознание, однако по-прежнему желание играть не покидало меня.

Опиум, содержавшийся в микстуре, которую меня заставили принять, затуманил мой разум Я вышла на сцену подобно лунатику. Публика встретила меня с восторгом. Я двигалась как во сне, с трудом различая окружающие предметы, и светлая пелена отделяла от меня зрительный зал Я порхала по сцене, не чувствуя под собой ног, и звук моего голоса доносился до меня откуда-то издалека. Я упивалась призрачным блаженством, в которое погружают нас хлороформ, морфий, опиум и гашиш.

Первый акт прошел как нельзя лучше, но в третьем действии, где я должна была рассказывать герцогине де Сетмон (Круазетт) о бедах, выпавших на мою, миссис Кларксон, долю, лишь только я начала свой нескончаемый рассказ, как вдруг начисто все позабыла. Круазетт подсказывала мне текст. Я видала, как шевелятся ее губы, но ничего не слышала. Тогда я спокойно обратилась к ней со словами: «Я пригласила вас сюда, сударыня, для того, чтобы разъяснить вам мотивы своих действий… Но я передумала и ничего вам сегодня не скажу».

Софи Круазетт посмотрела на меня с ужасом, встала и ушла со сцены с дрожащими губами, не сводя с меня глаз.

— Что с вами? — спросили ее за кулисами, когда она упала в кресло без сил.

— Сара сошла с ума! Говорю вам, что она помешалась. Она зарубила нашу сцену.

— Каким образом?

— Она выкинула двести строк!

— Но зачем?

— Не знаю. На вид она само спокойствие.

Этот разговор, который мне передали потом, на бумаге выглядит гораздо длиннее, чем в жизни. Коклен, которого оповестили о случившемся, вышел на сцену, чтобы закончить действие.

Когда занавес опустился, я пришла в смятение и отчаяние от того, что мне рассказали, Я ничего не заметила. Мне казалось, что я веду свою роль как надо, настолько сильно подействовал на меня опиум. В пятом акте у меня было чуть-чуть текста, и я превосходно с ним справилась.

На следующий день газеты и критики превозносили наш театр, но осуждали пьесу. Сначала я решила в испуге, что мой невольный пропуск большой сцены третьего акта повлиял на суровый тон прессы, но оказалось, что критики, много раз читавшие пьесу, обсуждали ее содержание и даже не упоминали о моей забывчивости. Только газета «Фигаро», настроенная в то время против меня, в номере от 3 июня высказалась следующим образом: «„Иностранка" не по вкусу английской публике, но зрители живо рукоплескали мадемуазель Круазетт, а также Коклену и Февру. Вот только у мадемуазель Сары Бернар, которая, как всегда, нервничала, начисто отшибло память…»

Писавший это Джонсон был в курсе моей болезни: он приходил ко мне, видел доктора Парро и знал, что я играла наперекор предписанию врачей, чтобы спасти сбор «Комеди». Но английская публика проявила ко мне такую симпатию, что труппа театра заволновалась. Тогда газета «Фигаро», будучи рупором «Французского театра», попросила Джонсона умерить свои похвалы в мой адрес, что он и делал в течение наших гастролей в Лондоне.

Этот мелкий факт сам по себе не заслуживает внимания. Я столь подробно рассказала о своей забывчивости для того, чтобы доказать, до какой степени заблуждаются авторы, стараясь разъяснить действия своих героев. Безусловно, Александр Дюма считал необходимым наглядно показать причину странных поступков миссис Кларксон. Он создал интересный, волнующий, динамичный образ, но уже в первом акте открыл публике секрет миссис Кларксон, которая говорит госпоже де Сетмон: «Я буду счастлива, сударыня, если вы изволите нанести мне визит. Мы поговорим об одном из ваших друзей, господине Жераре, которого я люблю, возможно, так же, как и вы, хотя, возможно, он и не любит меня так, как вас».

Этого было достаточно, чтобы привлечь зрительский интерес к обеим женщинам, воплощающим извечный конфликт добра и зла, греха и добродетели. Но Дюма счел данную коллизию

несколько вышедшей из моды и решил омолодить старый сюжет, попытавшись соединить в одном оркестре орган и банджо. В результате этого последовала жуткая какофония. Он создал чудовищную пьесу, которая могла бы стать прекрасной, ибо ее оригинальный стиль, достоверность и грубоватый юмор способны омолодить старую идею, на которой испокон веков строились все трагедии, комедии, романы, картины, поэмы и памфлеты: любовь между пороком и добродетелью.

Никто из зрителей, присутствовавших на премьере «Иностранки», среди которых французов и англичан было поровну, не сказал себе: «Позвольте, тут что-то пропущено… Мне не совсем понятно…»

Я спросила одного очень эрудированного француза:

— Вы не заметили провала в третьем акте?

— Нет.

— В большой сцене с Круазетт?

— Нет.

— Ну что ж, так прочитайте, что я пропустила.

Прочитав, мой друг воскликнул:

— Тем лучше! Этот запутанный кусок здесь ни к селу ни к городу. Характер персонажа обрисован достаточно ясно и без этой запутанной романтической истории.

Позже я извинилась перед Дюма-сыном за невольную купюру в тексте.

— Ах, деточка, — ответил он, — когда я пишу пьесу, она мне нравится, когда ее ставят, я нахожу ее глупой, а когда мне ее пересказывают, я вне себя от восторга, так как добрую половину текста забывают.

Публика по-прежнему валом валила в театр «Гэти» на спектакли «Комеди Франсез», и я оставалась ее любимицей. Упоминаю здесь об этом с гордостью, но отнюдь без тщеславия.

Я была счастлива своим успехом и чрезвычайно благодарна за него зрителям, но мои товарищи по сцене затаили на меня злобу. И тихо, исподтишка начали строить мне козни.

Мой агент и советчик господин Жарретт заверил меня, что я смогу продать кое-что из моих произведений, либо скульптуру, либо живопись. Я привезла с собой шесть скульптурных работ и десять картин и устроила выставку на Пикадилли.

Я разослала около сотни приглашений. Его Королевское Высочество принц Уэльский прислал мне ответ с уведомлением, что прибудет вместе с принцессой. Весь британский высший свет, все знаменитости Лондона съехались на открытие выставки. Я отправила сто приглашений, а явилось более тысячи человек. Я

была в восторге и прыгала от радости.

Господин Гладстон[71] почтил меня беседой, которая длилась более десяти минут. Этот человек с гениальным умом говорил обо всем с удивительным тактом. Он поинтересовался, что я думаю о нападках некоторых пасторов на «Комеди Франсез», а также на наше проклятое актерское ремесло.

Я ответила, что считаю наше искусство столь же благотворным для нравственности, как и проповедь любого католического либо протестантского священника.

— Объясните мне, пожалуйста, мадемуазель, какой же нравственный урок можно извлечь из «Федры»?

— Ох, господин Гладстон, вы меня удивляете «Федра» — античная трагедия, а тогдашние нравы и мораль нельзя рассматривать сквозь призму нравов и морали нашего общества. И все же я нахожу, что старая кормилица Энона, которая совершила ужасное преступление, оговорив невинного, понесла заслуженное наказание. Страсть Федры простительна: безжалостный рок тяготеет над всем ее родом, и она становится его жертвой Сегодня этот рок назвали бы атавизмом, ибо Федра является дочерью Миноса и Пасифаи. Что касается Тесея, то он искупил свой чудовищный приговор — вопиющий акт произвола — смертью горячо любимого сына, который был единственной и последней его надеждой и опорой. Никто и никогда не должен совершать непоправимых вещей!

— Ах, так вы против смертной казни? — спросил меня многозначительно этот великий человек.

— Да, господин Гладстон.

— Вы совершенно правы, мадемуазель.

Тут к нам присоединился Фредерик Лейтон и принялся расхваливать одну из моих картин, изображавшую девушку с пальмовыми ветвями. Это полотно было приобретено принцем Леопольдом.

На долю моей маленькой выставки выпал большой успех, но я не могла тогда и предположить, что она станет притчей во языцех, послужит поводом для стольких подлых выпадов в мой адрес и явится причиной моего окончательного разрыва с «Комеди Франсез».

Я не претендовала на звание живописца либо скульптора и выставила свои произведения на продажу, так как хотела приобрести двух львят, а у меня не хватало для этого денег. Я просила за свои картины то, что они стоили, то есть весьма умеренную цену.

Английская аристократка леди Ш… купила у меня группу «После бури», уменьшенную копию большой группы, которая

выставлялась двумя годами раньше в парижском Салоне и получила награду. Я хотела продать ее за четыре тысячи франков, но леди Ш… прислала мне десять тысяч вместе с восхитительной запиской, которую я позволю себе здесь воспроизвести: «… Сделайте мне одолжение, сударыня, примите эти четыреста фунтов за вашу чудесную группу „После бури" и окажите мне честь отобедать со мной сегодня. После обеда вы сами укажете наиболее выгодное место для скульптуры с точки зрения освещения… Этель Ш.».

Это случилось во вторник. Вечером я играла в «Заире», а в среду, четверг и пятницу оказалась свободна. Теперь у меня было на что приобрести львят. Ничего не сказав в театре, я направилась в Ливерпуль. Я знала, что там находится большой зверинец «Кросс-300», где можно найти львов.

Путешествие вышло очень веселым. Несмотря на то что я путешествовала инкогнито в сопровождении трех друзей, меня повсюду узнавали, оказывали мне знаки внимания и осыпали ласками. Тайная прогулка, заполненная разными выходками, удалась на славу. Я отправилась в путь с чистой совестью, поскольку дело было в среду, а играть мне нужно было лишь в субботу.

Мы выехали утром в пол-одиннадцатого, а в половине третьего были уже в Ливерпуле и тотчас же поспешили к Кроссу. Нам никак не удавалось отыскать вход в его дом, и мы обратились в ближайшую лавку на углу улицы. Лавочник указал нам на дверь, которую мы уже открывали и закрывали пару раз, не подозревая, что это и был вход. Я представляла себе большие решетчатые ворота, за которыми нашим взорам откроется просторный двор, а мы оказались перед крошечной дверцей, ведущей в крошечную пустую каморку, где нас встретил крошечный человечек.

— Господин Кросс?

— Он самый.

— Я хотела бы приобрести у вас львов.

Он покатился со смеху.

— Значит, это правда, мадемуазель, что вы так страстно любите животных? На прошлой неделе я ездил в Лондон, чтобы посмотреть, как играют в «Комеди Франсез», я видел вас в «Эрнани».

— Не там ли вы узнали, что я люблю животных? — парировала я.

— Нет. Торговец собаками с Сент-Эндрю-стрит рассказал мне, что вы купили у него двух псов, и добавил, что, не будь с вами джентльмена, вы наверняка приобрели бы пятерых.

Он говорил по-французски очень скверно, но чрезвычайно остроумно.

— Так вот, господин Кросс, сегодня я хочу купить парочку львов.

— Сейчас покажу вам, что у меня есть.

И мы отправились во двор, где содержались хищники.

О, что это были за великолепные животные! Два роскошных, только что привезенных африканских льва с блестящей шерстью и мощными хвостами, рассекавшими воздух со свистом, были в расцвете сил и полны дерзкой необузданной силы. Им была неведома покорность — ведущий отличительный признак цивилизованных существ.

— Ох, господин Кросс, они слишком велики. Мне нужны львята.

— У меня нет львят, мадемуазель.

— В таком случае покажите мне всех ваших зверей!

И я увидела тигров, леопардов, шакалов, гепардов и пум. Я задержалась около слонов. Я обожаю слонов! Но мне хотелось бы иметь карликового слона, и я лелею эту мечту по сей день. Быть может, когда-нибудь она осуществится, но Кросс не мог мне в этом помочь. Тогда я купила у него молоденького, очень забавного гепарда, который напоминал водосточную трубу средневекового замка. Я приобрела также белоснежного волкодава с густой шерстью, горящими глазами и острыми, как пика, зубами. На него было страшно смотреть.

Господин Кросс подарил мне шесть маленьких, похожих на ящериц хамелеончиков и одного чудесного сказочного хамелеона — подлинную китайскую безделушку, цвет которого менялся на глазах: от нежно-изумрудного до темно-бронзового. Это доисторическое животное то вытягивалось, превращаясь в изящный цветок лилии, то раздувалось, как жаба. Его глаза-лорнеты, подобно глазам омаров, смотрели в разные стороны: правый — вперед, а левый — назад. Я пришла в восторг от этого подарка и назвала своего хамелеона Кроссиком в честь его бывшего владельца, а также в знак признательности Кроссу.

Мы возвращались в Лондон с гепардом в клетке, волкодавом на привязи и шестью хамелеончиками в коробке. На моем плече восседал Кроссик, привязанный золотой цепочкой, которую мы приобрели у ювелира. Я не нашла львят, но тем не менее была довольна.

Однако мои домашние не разделяли моего восторга. У нас уже было три собаки: Минуччио, которого я привезла из Парижа, Булль и Флай, купленные в Лондоне, а также попугай Бизи-Бузу и обезьянка по кличке Дарвин.

Завидев новых четвероногих пришельцев, госпожа Герар разохалась. Мой дворецкий не решался подойти к волкодаву. Сколько я ни повторяла, что гепард не опасен, никто не захотел открыть его клетку, установленную в саду. Я попросила молоток и клещи, чтобы снять заколоченную гвоздями дверь, державшую бедного зверя в неволе. Тогда мои слуги решились наконец открыть клетку. Госпожа Герар со служанками смотрели на это из окна. Дверь отлетела, и гепард, вне себя от радости, выскочил из клетки, подобно тигру. Опьянев от обретенной свободы, он стал прыгать на деревья, а затем пошел прямо на собак, которые завыли в ужасе, хотя их было четверо. Попугай, разволновавшись, начал испускать пронзительные крики, а обезьянка принялась раскачивать свою клетку, яростно скрипя зубами.

Этот импровизированный концерт в тихом сквере произвел поразительный эффект: все окна разом распахнулись и над оградой моего сада показались две дюжины любопытных, испуганных, разъяренных физиономий.

Дикий хохот овладел всеми: мной, моей подругой Луизой Аббема[72], художником Ниттисом, который зашел меня навестить, и Гюставом Доре, ожидавшим меня в течение двух часов. Жорж Дешан, очень талантливый музыкант-любитель, попытался положить эту гофманиаду на ноты, а мой приятель Жорж Клэрен, трясясь от смеха, воспроизводил в то же время незабываемую сцену на бумаге.

На следующее утро весь Лондон судачил о шабаше, устроенном в доме 77 на Честер-сквер. Дело получило такую огласку, что наш старейшина господин Гот пришел ко мне с просьбой не устраивать больше подобных скандалов, которые бросают тень на «Комеди Франсез».

Я молча выслушала его слова, а затем, взяв за руку, сказала: «Пойдем, я покажу тебе этот скандал». Мы пошли в сад в сопровождении гостей и моих друзей.

— Выпустите гепарда! — крикнула я, стоя на лестнице, подобно капитану корабля, который кричит с мостика: «Взять рифы!» Гепарда выпустили, и вчерашняя дикая сцена повторилась.

— Видишь, господин старейшина, вот мой шабаш!

— Ты сумасшедшая! — сказал он, обнимая меня. — Но все это ужасно смешно.

И при виде голов, показавшихся над оградой, он покатился со смеху.

Тем временем враждебные выпады в мой адрес продолжались в виде мелких сплетен, которые передавались из уст в уста, из круга в круг и выплывали на страницах то французских, то

английских газет.

Несмотря на мое ровное настроение и презрение к слухам, я стала нервничать. Несправедливость всегда возмущала меня до глубины души. А она разгулялась не на шутку. Каждый мой шаг тут же подвергался обсуждению и осуждению.

Как-то раз я пожаловалась восхитительной Мадлен Броан, которую бесконечно любила. Актриса сжала мою голову руками и произнесла, глядя мне в глаза:

— Бедняжка моя, тут ничего не поделаешь! Ты оригинальна сама по себе: у тебя невероятная буйная и от природы кудрявая грива, ты необыкновенно изящна и вдобавок в твоей гортани спрятана подлинная арфа — все это делает тебя существом особым и оскорбляет посредственность одним лишь фактом твоего существования. Вот первый грех, связанный с твоим внешним обликом. Далее, ты не умеешь скрывать свои мысли, не можешь гнуть спину, не приемлешь компромиссов, не подвластна никакой лжи, — и тем самым наносишь обществу оскорбление. Это второй грех, связанный с твоей моралью. И ты хочешь ухитриться с такими-то данными не возбуждать зависти, не задевать самолюбия, не вызывать злобы? Если ты сейчас придешь в отчаяние от всех этих выпадов, ты пропадешь, ибо у тебя не останется сил для борьбы. В таком случае советую тебе хорошенько расчесать волосы и намазать их маслом, чтобы сделать их такими же гладкими, как у Корсиканца… хотя, пожалуй, нет: у него, Наполеона, они были до того прилизанными, что это смотрелось оригинально! Послушай, пусть они будут такими же гладкими, как у Прюдона (Прюдон — актер «Комеди Франсез»), и все твои проблемы сразу отпадут. Советую тебе также, — продолжала она, — поднакопить немного жира и сделать несколько пробоин в твоей арфе. Тогда уж ты никому не будешь мешать. Но если ты, моя дорогая, хочешь остаться собой, то не бойся взойти на пьедестал, который зиждется на сплетнях и небылицах, наветах, лести и подхалимаже, лжи и правде. Но, смотри, когда окажешься наверху, держись хорошенько и укрепляй его талантом, трудом и добротой. Тогда все злыдни, которые невзначай заложили первые камни в его основу, станут пинать его ногами, чтобы разрушить. Но, если ты захочешь, они окажутся бессильными. Именно этого я желаю тебе от всей души, милая Сара, ибо ты одержима жаждой Славы. Я же ничего в этом не смыслю и дорожу лишь покоем и тишиной.

Я смотрела на нее и завидовала ей. Она была так прекрасна: глаза с поволокой, чистые и спокойные черты лица, усталая улыбка. Я с тревогой спрашивала себя, не в этом ли спокойствии,

не в этой ли отрешенности и состоит счастье? И осторожно спросила ее об этом. Она ответила, что театр ей надоел, что у нее там сплошные неприятности. Ее брак? Она вспоминает о нем с отвращением. Материнство принесло ей только огорчения. Любовь разбила ей сердце и измучила тело. Ее прекрасные глаза того и гляди погаснут. Ее ноги распухли и носят ее с трудом. Она поведала мне об этом тем же самым спокойным, немного усталым тоном.

То, что еще недавно меня очаровывало, теперь приводило меня в ужас, ибо ее нелюбовь к движению проистекала от бессилия ее глаз и ног, а тяга к покою была не чем иным, как стремлением заживить раны, нанесенные жизнью, в общем-то уже прожитой.

Жажда жизни овладела мной сильнее, чем прежде. Я поблагодарила свою прекрасную подругу и воспользовалась ее советами: с того самого дня я вооружилась для борьбы, предпочитая погибнуть в бою, нежели умереть, сожалея о неудавшейся жизни. Я не хотела больше проливать слез из-за подлостей, которые мне устраивали. Я не хотела больше страдать от несправедливых нападок. Я решила защищаться. И случай для этого не замедлил представиться.

21 июня 1879 года давали второе утреннее представление «Иностранки». Накануне я предупредила Майера, что мне нездоровится, и, поскольку вечером я должна была играть в «Эрнани», попросила, если возможно, заменить утренний спектакль. Но кассовый сбор превысил четыреста фунтов, и в «Комеди» ничего не хотели слушать.

— Ну что ж, — ответил Гот Майеру, — мы заменим Сару Бернар, если она не может играть, в спектакле заняты также Круазетт, Мадлен Броан, Коклен, Фебр и я. Черт побери, все вместе мы уж как-нибудь стоим одной мадемуазель Бернар!

Коклену поручили попросить Ллойд меня заменить, поскольку она уже играла эту роль в «Комеди» во время моей болезни. Но Ллойд, испугавшись, отказалась. Тогда решили заменить «Иностранку» на «Тартюфа».

Однако зрители почти поголовно потребовали вернуть свои деньги, и сбор вместо ожидавшихся пятисот фунтов составил лишь восемьдесят восемь фунтов.

Злоба и зависть вспыхнули с новой силой. Вся «Комеди» (особенно мужчины, за исключением одного, господина Вормса) ополчилась на меня дружной шеренгой. В одном строю с моими недругами шагал новоявленный тамбурмажор Франциск Сарсей, не выпускавший из рук своего зловещего пера.

Дикие небылицы, глупейшие наветы и гнуснейшие

измышления вылетали, подобно стае диких уток, и брали курс на вражеские редакции.

В газетах рассказывали, что за шиллинг меня можно увидеть в мужской одежде[73], что я курю толстые сигары на балконе своего дома, беру свою горничную на светские вечера, где играю сайнеты, чтобы она подавала мне реплики, занимаюсь фехтованием в саду в костюме белого Пьеро, а также беру уроки бокса, на одном из которых даже сломала своему бедному тренеру два зуба!

Приятели советовали мне не придавать значения всем этим гнусностям, уверяя в том, что публика все равно им не поверит, но они жестоко ошиблись: публика предпочитает верить скорее дурным слухам, чем хорошим, ведь это ее забавляет. Вскоре я убедилась в том, что английская публика прислушивается к россказням французских газет.

Я получила письмо от некоего портного, который просил меня, когда я буду переодеваться мужчиной, носить сшитый им фрак, добавляя при этом, что он не только не возьмет с меня денег, но даст мне в придачу сто фунтов в случае моего согласия. Этот портной был грубияном, но он не кривил душой.

Я получила также множество пачек сигар, а тренеры по боксу и фехтованию наперебой предлагали мне свои услуги безвозмездно.

Все это до такой степени меня разозлило, что я решила положить этому конец. Статья Альбера Вольфа в «Фигаро» побудила меня к решительным действиям. Вот ответ, который я отправила после появления статьи в «Фигаро» от 27 июня 1879 года:

«Париж, „Фигаро", Альберу Вольфу.

А Вы, дорогой господин Вольф, Вы тоже верите этим бредням? Кто же мог дать Вам столь искаженную информацию? Да, я считаю Вас моим другом, ибо, несмотря на все гадости, которые могли Вам наговорить, Вы еще сохранили ко мне немного доброжелательности. Так вот, даю Вам честное слово, что здесь, в Лондоне, я ни разу не переодевалась мужчиной. Я даже не захватим с собой рабочей одежды скульптора. Категорически опровергаю эту клевету. Я была всего лишь раз на своей маленькой выставке, всего лишь раз, и в тот день я разослала только несколько частных приглашений на ее открытие. Следовательно, никто не платил и шиллинга, чтобы увидеть меня. Я играю в свете, это правда. Но Вам известно, что я одна из самых низкооплачиваемых актрис „Комеди Франсез" и, значит, имею право несколько поправить это положение.

Я выставляю десять картин и восемь скульптур. Это тоже верно. Но поскольку я привезла их для продаж, то должна их показывать.

Что касается почтения к Дому Мольера, то я считаю, вряд ли кто-либо воздает ему должное больше моего, ведь я не способна сочинять подобные наветы, чтобы устранить одного из его знаменосцев.

Теперь, в случае если парижане, наслушавшись глупых россказней на мой счет, по возвращении устроят мне дурной прием, не желаю заставлять кого-либо идти на подлость. И посему заявляю «Комеди Франсез» о своей отставке. Если лондонской публике надоест вся эта кутерьма и она захочет сменить милость на гнев, прошу «Комеди» позволить мне покинуть Англию, дабы избавить театр от печального зрелища освистанной и осмеянной актрисы.

Посылаю это письмо телеграфом, так как очень дорожу общественным мнением, и это дает мне право на подобное безумство. Прошу Вас, дорогой господин Вольф, удостоить мое письмо той же чести, какой Вы удостаивали измышления моих врагов.

Дружески жму Вашу руку. Сара Бернар».

Эта депеша заставила пролить море чернил. В основном все признавали мою правоту, считал меня при этом избалованным ребенком.

В «Комеди» стали проявлять по отношению ко мне больше любезности. Перрен написал мне проникновенное письмо с просьбой отказаться от намерения покинуть театр. Женщины всячески выказывали мне свои дружеские чувства. Круазетт явилась ко мне с распростертыми объятиями: «Ты этого не сделаешь, правда, моя милая глупышка? Ты ведь не подашь в отставку на самом деле? К тому же ее не примут, ручаюсь!»

Муне-Сюлли говорил со мной об искусстве и честности… его речь носила налет протестантизма: у него в семье было несколько протестантских пасторов, и это невольно наложило отпечаток и на него.

Делоне по прозвищу Папаша Чистое Сердце торжественно известил меня о том, что моя депеша произвела дурное впечатление. Он сообщил мне, что «Комеди Франсез» является министерством со своим министром, секретарем, начальниками отделов и служащими, где каждый обязан подчиняться распорядку и вносить свою лепту в общее дело посредством таланта либо труда… и т. д. и т. п.

Вечером я встретила в театре Коклена. Он подошел ко мне с

распростертыми объятиями: «Знаешь, я не хвалю тебя за твое сумасбродство, к счастью, мы заставим тебя передумать. Уж коли ты имеешь честь и счастье принадлежать к „Комеди Франсез", тебе следует оставаться здесь до конца своей артистической карьеры».

Фредерик Фебр заметил, что я должна остаться в «Комеди» из-за того, что она делает для меня сбережения, на что я сама не способна. «Поверь, — сказал он, — раз уж мы попали в „Комеди", надо за нее держаться, это верный хлеб на черный день».

Наконец ко мне подошел наш старейшина Гот:

— Знаешь, как называется то, что ты делаешь, подавая в отставку?

— Нет.

— Дезертирство.

— Ты ошибаешься, — ответила я, — я не дезертирую, а меняю казарму!

Были и другие. И все давали мне советы со своей колокольни: Муне как верующий и ясновидец, Делоне как бюрократ, Коклен как политикан, хулящий чужую идею, чтобы впоследствии поднять ее на щит ради собственный выгоды, Фебр как любитель респектабельности, Гот как старый черствый служака, признающий лишь инструкцию и продвижение по иерархической лестнице. Вормс спросил меня, как всегда, меланхолично:

— Разве в другом месте лучше?

У Вормса была самая возвышенная душа и самый честный характер во всей нашей именитой компании. Я бесконечно его любила.

Мы собирались вскоре вернуться в Париж, и до тех пор мне не хотелось ни о чем думать. Я колебалась и отложила окончательное решение на более поздний срок. Поднятая вокруг меня шумиха, все хорошее и плохое, что было сказано и написано в мой адрес, привело к тому, что в театре запахло порохом.

Мы собирались вернуться в Париж. Приятели были обеспокоены приемом, который меня там ждет. Зрители полагают в святой простоте, что шумиха, поднятая вокруг знаменитых актеров, организуется последними сознательно; встречая с раздражением повсюду одно и то же имя, они обвиняют впавшего в немилость либо обласканного актера в неистовой погоне за рекламой.

Увы, увы и еще раз увы! Актеры — жертвы рекламы. Те, что познают радости и тяготы славы после сорока лет, умеют обороняться: им известны все ловушки, все рытвины, скрытые под цветами; они могут обуздать чудище рекламы, этого спрута с бесчисленными щупальцами, который выбрасывает свои липкие

отростки направо-налево, вперед-назад, вбирая в себя с помощью тысяч своих ненасытных насосов всякую всячину: сплетни, наветы, похвалы, с тем чтобы изрыгнуть все это на публику вместе с черной желчью. Но те, что попадаются на удочку славы в двадцать лет, ничего еще не знают и не умеют.

Помню, когда ко мне впервые пришел репортер, я встрепенулась и зарделась от радости, словно петушиный гребешок. Мне было семнадцать лет, и я играла в свете «Ришелье» с огромным успехом. Тот господин явился в дом моей матери и начал спрашивать меня о том о сем, потом опять о том… Я охотно отвечала. Меня распирало от гордости и волнения. Он записывал за мной. Я смотрела на маменьку, и мне казалось, что я стала выше ростом. Я должна была поцеловать маменьку, чтобы не потерять голову и скрыть свою радость. Наконец господин поднялся, протянул мне руку и удалился. Я принялась прыгать и кружиться по комнате, повторяя: «Три пирожка, горит моя рубашка», как вдруг дверь распахнулась и тот же господин сказал маменьке: «Ах, сударыня, я забыл: вот квитанция на подписку, сущая безделица, всего шестнадцать франков в год».

Маменька скачала не поняла. Я же так и осталась стоять с открытым ртом, не в силах переварить свои «пирожки». Маменька заплатила шестнадцать франков и принялась утешать меня, гладя по голове, так как я расплакалась.

С тех пор я была отдана во власть чудища, и по сей день меня все еще обвиняют в том, что я обожаю рекламу.

Подумать только, ведь я заслужила право на рекламу своей чудовищной худобой и хрупким здоровьем! Не успела я дебютировать, как на меня посыпались эпиграммы, каламбуры, шаржи. Стало быть, я сделалась такой тонкой, тщедушной и слабой лишь для того, чтобы создать себе рекламу? И ради этого же я по полгода валялась в постели, напускала на себя хворь? Нет, мое имя прогремело куда раньше, чем я приобрела подлинную известность.

Как-то раз в день открытия сезона в «Одеоне» давали «Мадемуазель Айссе». Флобер, близкий друг автора пьесы Луи Буйе, представил мне атташе английского посольства.

— О, да я вас давно знаю, мадемуазель! — сказал тот. — Ведь вы та самая палочка с губкой на конце!

Он намекал на только что опубликованную карикатуру, которая вдоволь повеселила ротозеев.

В то время я была еще ребенком и ни от чего не переживала, ни о чем не тревожилась. К тому же врачи подписали мне смертный приговор. Поэтому мне было все равно, но врачи обманулись, и двадцать лет спустя мне пришлось сразиться с

чудищем.

11

Возвращение «Комеди» в родные пенаты стало событием, но событием тайным. Наш отъезд из Парижа был шумным, веселым и широко разрекламированным; наше возвращение — конспиративным: печальным для неоцененных, досадным для неудачников.

Не прошло и часа после того, как я переступила порог своего дома, как мне доложили о визите нашего директора Перрена. Он принялся ласково журить меня за то, что я махнула рукой на свое здоровье, а затем заметил, что я устраиваю вокруг себя шумиху.

— Да разве я виновата, — вскричала я, — что я такая худышка, что у меня такая шапка волос, да к тому же еще курчавая, и что вдобавок у меня на все есть свое мнение?! Допустим, что в течение месяца я буду глотать мышьяк и раздуюсь как бочка, потом обрею голову на манер арабов и на все ваши речи буду отвечать только «да» — ведь и тогда все скажут, что я стараюсь ради рекламы!

— Нет, деточка, — ответил Перрен, — вы не правы: люди могут быть и толстыми, и тонкими, и бритыми, и косматыми, и отвечать и «да», и «нет».

Я была ошеломлена справедливостью этого утверждения и внезапно осознала ответ на все свои «почему», которыми задавалась долгие годы. Я была так безнадежно далека от золотой середины: всего у меня было либо «слишком много», либо «слишком мало». И я чувствовала, что с этим ничего не поделаешь. Я открылась Перрену, признав его правоту.

Он воспользовался моим порывом благоразумия, чтобы прочитать мораль, и напоследок посоветовал мне не появляться в «Комеди Франсез» на церемонии по случаю возвращения. Он опасался выпадов в мой адрес.

— Люди настроены против вас, зря или не зря, как сказать, и там, и здесь есть доля истины, — говорил он с присущим ему лукавым и любезным видом.

Я слушала без возражений, и это несколько озадачило его, ибо наш директор был спорщиком, а не оратором.

Когда он закончил, я промолвила:

— Вы сказали мне слишком много вещей, которые меня возбуждают, дорогой господин Перрен, ведь я обожаю драку. Я приду на церемонию. Смотрите, меня уже предупредили: вот три анонимных письма. Прочтите-ка вон то, самое миленькое.

Он развернул бумагу, надушенную амброй, и прочел следующее:

«Несчастная скелетина, не вздумай казать своего жуткого жидовского носа на послезавтрашнюю церемонию. А то как бы он не послужил мишенью для всех яблок, что запекают сейчас в нашем славном городе Париже по твою душу. Скажи, чтобы в газетах написали, что ты харкаешь кровью, и лежи себе в постели, раздумывая о последствиях наглой рекламы. Зритель».

Перрен брезгливо отшвырнул письмо.

— А вот и два других, — сказала я ему, — но они слишком грубые, я пощажу вас. Я буду на церемонии.

— Ладно! — промолвил Перрен. — Завтра мы репетируем. Придете?

— Приду.

На следующий день во время репетиции актеры и актрисы не горели желанием выходить на сцену вместе со мной, хотя очень любезно скрывали это.

Но я заявила, что хочу выйти одна, вразрез с заведенным порядком, ибо никто, кроме меня, не должен страдать от дурного настроения публики и козней моих врагов.

Зал был битком набит.

Занавес поднялся, и начало церемонии было встречено бурными овациями. Зрители были рады вновь увидеть своих любимых артистов. Актеры выходили по двое, держа пальмовую ветвь или венок, предназначавшиеся для украшения бюста Мольера.

Когда настал мой черед, я вышла одна, бледная как смерть, но преисполненная боевого пыла. Я медленно приближалась к рампе, но вместо того, чтобы поклониться зрителям, как мои товарищи по сцене, осталась стоять, глядя прямо в устремленные на меня глаза. Меня предупредили о грядущем сражении. Я не хотела вызывать огонь на себя, но и не желала отступать.

Я выждала только миг, чувствуя, как трепещет наэлектризованный зал; затем внезапно напряжение сменилось всеобщим воодушевлением, и по залу прокатился гром аплодисментов и криков «браво». Публика, готовая любить и жаждущая любви, упивалась собственным восторгом. Несомненно, это был один из самых славных моментов моей артистической жизни.

Некоторые актеры, особенно женщины, остались очень довольны. В нашей профессии есть любопытная закономерность: мужчины завидуют женщинам гораздо сильнее, чем женщины завидуют друг другу. У меня всегда было множество врагов среди актеров и почти не было их среди актрис.

Думаю, что драматическое искусство преимущественно женское искусство. В самом деле, желание украшать себя, прятать истинные чувства, стремление нравиться и привлекать к себе внимание — слабости, которые часто ставят женщинам в укор и к которым неизменно проявляют снисходительность. Те же самые недостатки в мужчине вызывают отвращение.

Тем не менее актер должен придать своей внешности как можно более привлекательный вид, прибегая для этого к гриму, накладным бородам и парикам, чему угодно. Будучи республиканцем, он должен горячо и убежденно отстаивать монархистские взгляды; будучи консерватором — анархистские, если такова воля автора.

Бедный Мобан, один из самых заядлых радикалов «Французского театра», из-за своего роста и красивого лица был обречен вечно играть королей, императоров и тиранов. Во время репетиций можно было услышать, как Карл Великий или Цезарь поносили тиранов, проклинали завоевателей и требовали для них самой суровой кары. Я с любопытством наблюдала, как мучительно борются в Мобане человек и лицедей.

Быть может, постоянная отрешенность от собственного «я» феминизирует в какой-то степени актерскую натуру. Однако несомненно, что актеры завидуют актрисам. Их обходительность хорошо воспитанных мужчин улетучивается при виде рампы. Актер, который в повседневной жизни окажет любую услугу женщине, попавшей в беду, и не подумает помочь ей на сцене. Он будет рисковать собой, чтобы спасти женщину в случае автомобильной катастрофы, аварии на железной дороге или кораблекрушения, но на подмостках и бровью не поведет, если актриса забыла текст, а если бы она оступилась, он с удовольствием подтолкнул бы ее. Если я и преувеличиваю, то не слишком сильно.

Моими партнерами были знаменитые актеры, которые играли со мной злые шутки. Но среди них встречались чудесные люди, которые и на сцене оставались прежде всего мужчинами. Пьер Бертон, Вормс и Гитри были и всегда останутся примером дружески-покровительственного отношения к актрисе. Я сыграла с каждым из них множество спектаклей. Будучи ужасной трусихой, я всегда чувствовала себя в безопасности с этими тремя актерами, которых отличал высокий ум. Они относились к моей боязни сцены с пониманием и готовы были поддержать меня в минуту душевной слабости, проистекавшей от этого страха.

Пьер Бертон и Вормс, два великих, величайших артиста, ушли со сцены в разгар актерской зрелости, в расцвете сил: первый — чтобы посвятить себя литературе, второй — неизвестно

почему… Что касается Гитри, самого молодого из них, он и поныне остается лучшим артистом французской сцены, ибо является одновременно замечательным актером и большим артистом. Я знаю чрезвычайно мало артистов как во Франции, так и за рубежом, которые сочетали бы в себе оба эти качества.

Генри Ирвинг — чудесный артист, но не актер. Коклен — чудесный актер, но не артист. Муне-Сюлли блещет своей гениальностью то как артист, то как актер, но иногда настолько теряет чувство актерской и артистической меры, что поклонники Красоты и Истины готовы кусать локти от досады. Барте — прекрасная актриса с обостренным артистическим чутьем. Режан, актриса милостью Божией, становится артисткой, лишь когда пожелает. Элеонора Дузе скорее актриса, чем артистка: она выбирает избитые пути. Правда, она никому не подражает, ибо сажает цветы на месте деревьев, а деревья на месте цветов, но ей не удалось воплотить ни одного оригинального, только ей присущего образа, создать персонаж либо явление, которые увековечили бы ее память. Дузе носит чужие перчатки, надевая их наизнанку с необыкновенным изяществом и непринужденностью. Это великая, величайшая актриса, но отнюдь не великая артистка.

Новелли — актер старой школы, мало заботившейся об артистизме. Но он прекрасно смеется и плачет. Беатрис Патрик-Кэмпбелл — прежде всего артистка: ее талант полон обаяния и мысли. Она избегает проторенных дорог. Она стремится творить, и она творит.

Антуану часто изменяет его же природа: у него глухой голос и довольно заурядные манеры, а также ему недостает актерского мастерства, но он остается выдающимся артистом, которому наше искусство обязано многим в своем приближении к достоверности. Кроме того, он лишен зависти к актрисам.

12

После возвращения «Комеди» в родные пенаты обстановка в театре особенно накалилась. Мои нервы были напряжены до предела. Наш директор вознамерился укротить меня, и тысячи мелких булавочных уколов, которыми он ежедневно истязал меня, ранили меня больнее, чем удары ножа. (Так, по крайней мере, мне казалось.)

Я стала нервной, раздражительной и злилась по малейшему поводу. Моя всегдашняя веселость сменилась грустью, а и без того шаткое здоровье в результате всех перипетий оказалось еще сильнее подорвано.

Перрен назначил меня на роль Авантюристки. Мне не нравилась эта роль, я ненавидела пьесу, а ее бездарные, ужасно бездарные стихи внушали мне отвращение. Я не умею притворяться и потому прямо сказала об этом Эмилю Ожье в порыве гнева. Он подло отомстил мне, как только представился случай.

Этот случай привел к моему окончательному разрыву с «Комеди Франсез» на следующий день после премьеры «Авантюристки», которая состоялась в субботу 17 апреля 1880 года.

Я не была готова к этой роли. Мне было плохо, и в подтверждение этого привожу здесь письмо господину Перрену от 14 апреля 1880 года.

«…Мне очень жаль, господин Перрен, но у меня так заложило горло, что я совсем не могу говорить. Я вынуждена лежать в постели. Прошу простить меня. Я простудилась в воскресенье на проклятом Трокадеро. Я очень переживаю, понимая, что ставлю Вас в затруднительное положение. Ничего страшного, к субботе я все же оправлюсь. Тысяча извинений и дружеских приветов. Сара Бернар».

В самом деле, вылечив горло, я была готова играть.

Будучи не в силах говорить и вставать с постели, в течение трех дней я не могла репетировать. В пятницу я стала просить Перрена перенести спектакль на следующую неделю. Он ответил, что это невозможно, так как плата за аренду помещения уже внесена, и спектакль должен состояться в первый вторник месяца, являвшийся абонементным днем.

Я позволила себя убедить, веря в свою счастливую звезду. «Ба! — сказала я себе. — Как-нибудь выкрутимся».

Но мне не удалось выкрутиться, вернее, удалось с большим трудом. У меня был неудачный костюм, он сидел на мне очень скверно. Моя худоба стала притчей во языцех, а в нем я была похожа на английский чайник. Моя хрипота еще не прошла, и это меня несколько лишало уверенности. Я сыграла первую часть роли очень плохо, вторую лучше. Во время сцены насилия я стояла, опершись обеими руками на стол с зажженным подсвечником. Вдруг в зале раздался крик: мои волосы вспыхнули, охваченные пламенем. На другой день какая-то газета написала, что, почуяв партию проигранной, я решила поджечь свои волосы, чтобы избежать полного провала. Это был верх глупости.

Пресса не была благосклонной. И она была права. Я показала себя бездарной, уродливой, раздражительной, но считала, что обо мне судили неучтиво и предвзято. Огюст Витю в «Ле Фигаро» от 18 апреля 1880 года заканчивал статью следующей фразой:

> «У новой Клоринды (Авантюристки) в течение двух последних актов были такие движения тела и рук, как будто она заимствовала их у Виржини из „Западни" что не подобает актрисе „Комеди Франсез"».

Единственный недостаток, которого у меня никогда не было и не будет, — это вульгарность. Таким образом, этим несправедливым обвинением мне умышленно наносили оскорбление. Впрочем, Витю никогда не был мне другом.

По этим нападкам мне стало ясно, что гремучая ненависть поднимает свою змеиную голову. Под моими цветами и лаврами копошился подлый гадючник, мне давно это было известно. Порой я даже слышала за кулисами звонкий стук чешуйчатых колец. Я решила доставить себе удовольствие и заставить их разом зазвенеть. Я выбросила все мои лавры и цветы на ветер и внезапно разорвала контракт, который связывал меня с «Комеди Франсез» и через нее с Парижем.

Целое утро я просидела взаперти и после долгих споров с самой собой решилась заявить театру о своем уходе. В тот же день, 18 апреля 1880 года, я написала господину Перрену следующее письмо:

«Господин директор!

Вы принудили меня играть, хотя я не была к этому готова. Вы согласились лишь на восемь репетиций на сцене, а в целом пьесу репетировали только трижды. Я не решалась появиться перед публикой, но Вы настояли. Случилось то, что я предвидела. Однако последствия превзошли мои ожидания. Один из критиков заявил,

что я играла Виржини из «Западни» вместо донны Клоринды из «Авантюристки». Пусть простят меня Золя и Эмиль Ожье. Это мой первый провал в «Комеди», он же станет последним. Я предупреждала Вас в день генеральной репетиции, но Вы не придали этому значения. Я сдержу слово. Когда Вы получите это письмо, меня уже не будет в Париже. Извольте принять, господин директор, мою незамедлительную отставку и позвольте заверить Вас в самых искренних чувствах. Сара Бернар».

Не желая, чтобы вопрос о моей отставке обсуждался комитетом, я послала копии письма в газеты «Ле Фигаро» и «Ле Голуа».

Не успел Перрен прочитать мое письмо, как оно уже было опубликовано. Затем, дабы не поддаться чужому влиянию, я уехала со своей горничной в Гавр. Я приказала не сообщать никому о месте моего пребывания и в первый вечер по прибытии сохраняла строгое инкогнито. Но на следующее утро меня узнали и телеграфировали в Париж. Репортеры начали осаждать меня со всех сторон.

Я убежала в сторону мыса Ля-Эв, где целый день пролежала на каменистом пляже, невзирая на холодный, не прекращавшийся ни на миг дождь. Продрогнув, я вернулась в отель «Фраскати», и ночью меня охватил такой сильный жар, что пришлось посылать за доктором Жильбером.

Обеспокоенная камеристка позвала ко мне госпожу Герар, и еще два дня кряду я лежала с высокой температурой. В то же время газеты без устали проливали на бумагу мутные потоки чернил, которые тут же превращались в желчь: меня обвиняли во всех смертных грехах.

«Комеди» прислала судебного исполнителя в мой особняк на авеню де Вилльер, и тот заявил, что стучал в дверь три раза, но никто не отозвался; он оставил копию и т. д. и т. п.

Этот человек сказал неправду. В особняке находились мой сын со своим наставником, мой управляющий, муж моей горничной, дворецкий, кухарка, кухонная прислуга, вторая горничная и еще пять собак, но роптать на представителя закона было бесполезно…

Согласно установленным правилам, театр должен был сделать мне три предупреждения, но не сделал ни одного, прежде чем против меня был возбужден процесс. Его итог был заведомо известен.

Мэтр Аллу, адвокат «Комеди Франсез», выдумывал скверные байки, чтобы выставить меня в самом невыгодном свете. У него была большая подборка моих писем Перрену, писем, которые я

всегда писала в минуту умиления либо в порыве гнева. Перрен сохранил все мои письма, вплоть до малюсеньких записок. У меня же не сохранилось ни одного из писем директора, и те немногие из его писем ко мне, что были опубликованы, он сам передал в печать, порывшись в своей подшивке копий. Разумеется, Перрен выбирал только те письма, которые давали читателям представление об отеческой заботе, которую он проявлял по отношению ко мне…

Адвокат Аллу вел защиту со знанием дела: он потребовал взыскать с меня триста тысяч франков в качестве возмещения убытков и, кроме того, удержать в пользу «Комеди» причитающиеся мне сорок три тысячи франков.

Моим адвокатом был мэтр Барду, близкий друг Перрена. Он вел защиту спустя рукава и проиграл дело. Согласно приговору я должна была выплатить «Комеди Франсез» сто тысяч франков неустойки и вдобавок теряла свои сорок три тысячи франков, вверенные дирекции.

По правде говоря, я махнула рукой на этот процесс.

Через три дня после моей отставки передо мной вновь предстал Жарретт. Он в третий раз предложил мне подписать американский контракт. На сей раз я прислушалась к его предложению. До этого мы ни разу не касались материальной стороны. Вот что он мне предложил: пять тысяч франков за каждое представление и половину сбора от излишков, если сбор будет превышать сумму в пятнадцать тысяч франков. Следовательно, в случае, если сбор будет составлять двадцать тысяч франков, я смогу получить семь тысяч пятьсот франков. Кроме того, он обещал мне тысячу франков в неделю на гостиничные расходы, специально оборудованный пульмановский вагон для передвижения по стране, состоящий из комнаты для меня, салона с фортепиано, купе для прислуги и двух поваров, которые будут готовить во время пути. Сам Жарретт должен был получать десять процентов от любой заработанной мной суммы. Я приняла все условия. Мне хотелось поскорее уехать из Парижа.

Жарретт тут же послал телеграмму господину Аббе, известному импресарио Америки, и две недели спустя тот прибыл во Францию. Жарретт досконально обсудил с ним каждый пункт, и после этого я подписала контракт: взамен мне выдали сто тысяч франков в качестве аванса на дорожные расходы.

Я должна была играть восемь пьес: «Эрнани», «Федру», «Адриенну Лекуврер», «Фруфру», «Даму с камелиями», «Сфинкса», «Иностранку» и «Принцессу Жорж».

Я заказала двадцать пять светских туалетов для себя у Лаферьера, у которого тогда одевалась, а у Барона — шесть

костюмов для «Адриенны Лекуврер» и четыре костюма для «Эрнани». Я заказала молодому художнику по костюмам Леполю костюм Федры. Эти тридцать шесть костюмов обошлись мне в шестьдесят одну тысячу франков. Один лишь костюм Федры, созданный юным Леполем, стоил четыре тысячи франков. Бедный художник вышивал его собственными руками.

Костюм Федры был подлинным чудом. Он был доставлен ко мне за два дня до отъезда. Я вспоминаю этот трогательный эпизод с неизменным волнением. Нервничая из-за задержки, я села писать художнику гневное послание, как вдруг он пожаловал собственной персоной. Я встретила юношу неприветливо, но у него был такой страдальческий вид, что я усадила его и осведомилась, почему он так плохо выглядит.

— Мне нездоровится, — произнес он таким слабым голосом, что я почувствовала к нему огромную жалость. — Я спешил закончить работу и три ночи не спал. Но взгляните, до чего же прекрасен ваш костюм!

И он разложил его передо мной с благоговением.

— Смотрите, — заметила Герар, — здесь пятнышко!

— Ах, это я укололся, — поспешно ответил бедный художник.

Но я уже успела заметить в уголке его рта капельку крови. Он быстро смахнул ее рукой, чтобы не посадить на роскошный костюм еще одно пятно.

Я вручила модельеру четыре тысячи франков Он взял их с трепетом, пробормотал что-то невразумительное и убежал.

— Унесите этот костюм! Унесите его! — закричала я «моей милочке» и горничной и разразилась такими безудержными рыданиями, что весь вечер потом меня мучила икота.

Никто не понимал причины моего горя. Я же проклинала себя в глубине души за то, что измучила бедного юношу. Было ясно, что он скоро умрет. И я оказалась — в силу того, что в цепи обстоятельств мне пришлось собственноручно выковать первое из звеньев, — соучастницей убийства этого двадцатидвухлетнего ребенка, художника с большим будущим.

Я ни разу не надела этот костюм, и он до сих пор лежит в той же пожелтевшей коробке. Его золотая вышивка потускнела от времени, а кровавое пятнышко слегка источило ткань.

Что касается бедного художника, то я узнала о его смерти в мае, во время пребывания в Лондоне.

Перед тем как уехать в Америку, я подписала с Холлингсхедом и Майером — английскими импресарию «Комеди» — контракт, согласно которому оставалась в их распоряжении с 24 мая по 27 июня 1880 года.

В то же время проходил процесс, который возбудила против меня «Комеди Франсез». Мэтр Барду ни о чем мне не сообщил, и мой успех в Лондоне без «Комеди» окончательно настроил против меня комитет, прессу и публику.

Мэтр Аллу утверждал в своей обвинительной речи, что лондонская публика очень скоро разочаровалась во мне и не желала посещать спектакли «Комеди» с моим участием. Вот прекрасное опровержение измышлений мэтра Аллу:

Представления, которые дала «Комеди Франсез» в театре «Гэти» (* обозначены спектакли с моим участием).

Репертуар
1879 год

Июнь		Сбор во франках
2	Мизантроп (пролог) Федра (акт II); Смешные жеманницы*	13 080
3	Иностранка*	12 565
4	Внебрачный сын	9 300
5	Капризы Марианны; Пугающая радость	10 100
6	Лжец; Лекарь поневоле	9 530
7	Маркиз де Вильмер	9 960
7	утро: Тартюф; Пугающая радость	8 700
9	Эрнани*	13 600
10	Полусвет	11 425
11	Мадемуазель де Бель-Иль; Держи дверь настежь либо на замке	10 420
12	Постскриптум; Зять господина Пуарье	10 445
13	Федра*	13 920
14	Скрипичный мастер из Кремоны; Сфинкс*	13 350
14	утро: Мизантроп; Сутяги	8 800
16	Дружище Фриц	9 375
17	Заира; Смешные жеманницы*	13 075
18	Игра любви и случая; Не клянись ничем	11 550
19	Полусвет	12 160
20	Семья Фуршамбо	11 200
21	Эрнани*	13 375
21	утро: Тартюф; Держи двери настежь либо на замке	2 215
23	Гренгуар; С любовью не шутят	11 080
24	У адвоката; Мадемуазель де ля Сеглиер	9 960
25	утро: Иностранка*	11 710
25	Севильский цирюльник	9 180
26	Андромаха; Сутяги*	13 350
27	Скупой; Искра	11 775
28	Сфинкс; Любовная досада*	12 860
28	утро: Эрнани*	13 730

30	Рюи Блаз*	13	660
Июль			
1	Меркаде; Лето св. Мартина	9	850
2	Рюи Блаз*	13	160
3	Свадьба Викторины; Проделки Скапена	10	165
4	Ученые женщины; Искра	11	960
5	Семья Фуршамбо	10	700
5	утро: Федра, Пугающая радость*	14	265
7	Маркиз де Вильмер	10	565
8	Дружище Фриц	11	005
9	Эрнани*	14	275
10	Сфинкс*	13	775
11	Филиберта; Вертопрах	11	500
12	Рюи Блаз*	12	660
12	утро: Гренгуар, Эрнани (акт V); Благословение; Давенан; Искра*	13	725
Общая сумма сбора		492	150

В среднем сбор составил около 11 175 франков. Эти цифры свидетельствуют, что из сорока трех представлений «Комеди Франсез» восемнадцать с моим участием собрали в среднем 13 350 франков каждое, в то время как остальные двадцать пять спектаклей — в среднем 10 000 франков.

В Лондоне я узнала, что проиграла процесс по следующим причинам, на следующих основаниях:

«Таким образом, мадемуазель Сара Бернар объявляется лишенной всех прав, привилегий и выгод, которые предоставлял ей ангажемент с „Комеди Франсез" от 24 марта 1875 года, и приговаривается к выплате истцу суммы в сто тысяч франков в качестве возмещения убытков…»

Я давала последний спектакль в Лондоне в тот день, когда газеты огласили этот несправедливый приговор. Публика устроила мне овацию и осыпала меня цветами.

Я привезла с собой в качестве актеров госпожу Девойо, Мэри Жюльен, Кальба, мою сестру Жанну, Пьера Бертона, Трэна, Тальбо, Дьёдонне; все они были одаренными актерами.

Я показала весь репертуар, который должна была играть в Америке.

Витю, Сарсей, Лапоммерэ вылили на меня столько грязи, что я не поверила своим ушам, когда Майер сообщил мне об их приезде в Лондон для того, чтобы присутствовать на моих спектаклях. Это было выше моего разумения. Я была уверена, что парижские газетчики наконец-то вздохнули с облегчением, а вместо этого мои самые заклятые враги отправляются за море, чтобы увидеть и услышать меня еще раз. Может быть, они надеялись увидеть, как укротителя слопают его собственные хищники?

Витю заканчивал свою гневную статью в «Фигаро» следующими словами: «И потом, довольно, не так ли? Довольно говорить о мадемуазель Саре Бернар! Пусть она радует иностранцев своим монотонным голосом и мрачными причудами! Нас же она ничем больше не удивит — ни своим талантом, ни своими капризами» — и т. д. и т. п.

Сарсей, разразившийся громогласной статьей по поводу моего ухода из «Комеди», так завершал свою статью: «Пора укладывать непослушных детей».

Что касается тихого Лапоммерэ, он осыпал меня яростными нападками, заимствованными у своих сотоварищей по перу. Но, поскольку его всю жизнь упрекали в мягкости, он решил доказать, что и его перо способно источать яд, и прокричал мне на прощание: «Скатертью дорога!»

И вот сия святая троица объявилась, а вслед за ней множество других… И уже на следующий день после первого представления «Адриенны Лекуврер» Огюст Витю передавал в «Ле Фигаро» по телеграфу длинную статью, в которой критиковал мою игру в ряде сцен, высказывал сожаление по поводу того, что я не следую духу Рашели (которую я никогда в жизни не видела). Однако он заканчивал свою статью таким образом:

«Никто не усомнится в искренности моего восхищения, если я скажу, что в пятом акте Сара Бернар поднялась на недосягаемую высоту по драматической силе и художественной достоверности. Она сыграла длинную и жестокую сцену, в которой Адриенна, отравленная герцогиней де Буйон, борется со страхом мучительной смерти, — сыграла не только с невиданным мастерством, но и проявила поразительное знание композиции пьесы. Если бы парижская публика слышала, если она когда-нибудь услышит вчерашний душераздирающий крик мадемуазель Сары Бернар: „Я не хочу умирать, я не хочу умирать!" то разразится рыданиями и овациями».

Сарсей заканчивал свою замечательную рецензию словами: «Она — чудо из чудес…» А Лапоммерэ, снова ставший кротким, умолял меня вернуться в «Комеди», которая якобы только и ждет

возвращения блудной дочери, чтобы закатить пир в ее честь.

Сарсей в своем обзоре «Ле Тан» от 31 мая 1880 года на пяти столбцах осыпал меня похвалами и в заключение указывал:

«Ничто, ничто в „Комеди" никогда не сравнится с последним актом „Адриенны Лекуврер": «Ах, если бы она осталась в „Комеди"! Да, я снова за свое, ибо это выше моих сил. Что поделать, мы потеряли не меньше ее. Да-да, я знаю, мы напрасно повторяем: „У нас есть мадемуазель Дадли". О, ее-то у нас никто не отнимет! Но я не могу смириться с нашей потерей. Какая жалость! Какая жалость!»

Восемь дней спустя, 7 июня, он писал в своем театральном обзоре о премьере «Фруфру»:

«Не думаю, что когда-нибудь в театре волнение достигало большего накала. Это те редкие в драматическом искусстве минуты, когда актеры превосходят самих себя, повинуясь внутреннему „демону" (я бы сказал: „Богу"), который диктовал Корнелю его бессмертные стихи… Итак, после спектакля я сказал мадемуазель Саре Бернар: «Вот вечер, который вновь откроет перед вами, если вы того пожелаете, двери „Комеди Франсез"». — „Не стоит об этом говорить", — ответила она. „Хорошо, не стоит. Но какая жалость! Какая жалость!"».

Мой огромный успех во «Фруфру» заполнил пустоту и смягчил предательский удар Коклена, который, подписав с разрешения Перрена договор с Майером и Холлингсхедом, неожиданно заявил, что не сможет выполнить своих обязательств. Этот вероломный удар был подстроен Перреном, который надеялся таким образом повредить моим лондонским гастролям.

Незадолго до этого он подослал ко мне Гота, который принялся заискивающе вопрошать меня, не решила ли я вернуться в «Комеди Франсез». Он сулил, что мне разрешат совершить турне в Америку и все утрясется, когда я вернусь. Но ко мне следовало прислать не Гота, а Вормса либо Папашу Чистое Сердце (Делоне). Первый, возможно, убедил бы меня своими искренними и ясными доводами, второй — ложными аргументами, которые он преподносил с таким обволакивающим обаянием, что трудно было перед ним устоять.

Тот заявил, что мне очень захочется вернуться в театр по возвращении из Америки. «Потому что, знаешь, малышка, — добавил он, — ты там себя надорвешь. И если ты оттуда возвратишься, то, возможно, будешь счастлива вернуться в „Комеди Франсез", так как будешь порядком разбита и тебе потребуется время, чтобы прийти в себя. Послушай меня, подпиши! И ведь не мы от этого выиграем в первую очередь…» «Благодарю тебя, — ответила я. — Но скорее уж я выберу

больницу, когда вернусь. А теперь оставь меня в покое». Возможно, я даже сказала ему: «Проваливай!»

Вечером он присутствовал на представлении «Фруфру». Он явился ко мне в гримерную со словами: «Подпиши! Послушай меня! И вернись с „Фруфру" Обещаю тебе славное возвращение!» Я отказалась и закончила лондонские гастроли без Коклена.

Наш сбор составил в среднем девять тысяч франков. И я покидала Лондон с сожалением, в отличие от первых гастролей, когда уезжала из него с радостью.

Лондон — особый город, обаяние которого открывается далеко не сразу. Первое впечатление француза — это ощущение гнетущей тоски и смертной скуки. Его большие дома, окна без штор, ощетинившиеся фрамугами; уродливые памятники, заросшие черной, вязкой грязью и покрытые серой пылью; цветочницы на каждом углу с печальными, как осенний дождь, лицами, в жалких лохмотьях, но в шляпах с перьями; черное месиво под ногами; всегда низко нависшее небо; женщины навеселе, пристающие к не менее пьяным мужчинам; неистовые танцы растрепанных тощих девчонок, отплясывающих джигу вокруг шарманщиков, вездесущих как омнибусы, — все это четверть века назад наводило на душу парижанина бесконечное уныние.

Но мало-помалу множество ласкающих взор хорошо ухоженных скверов и красота местных аристократок сглаживают первое впечатление, вытесняя из памяти мрачные образы цветочниц. Головокружительная экспрессия Гайд-парка и особенно Роттен-роуд наполняют душу радостью.

Сердечное английское гостеприимство растапливает лед первого рукопожатия; ум англичан, ни в чем не уступающий уму французов, с их учтивостью, куда более изысканной и оттого более лестной, заставляют позабыть общеизвестную французскую галантность.

Но я отдаю предпочтение нашей светлой грязи перед их черной и нашим окнам перед их ужасными окнами с фрамугами. Ничто, по-моему, лучше, чем окна, не передает различий в наших национальных характерах. Французские окна открываются настежь. Солнце проникает в самую душу нашего home[74], и свежий воздух выветривает из него пыль и микробов. Закрываются они без всяких хитростей, так же просто, как открываются.

Английские окна открываются лишь наполовину, вверх либо вниз. Можно открыть окно чуть-чуть и кверху, и книзу, но никогда полностью. Солнце не может пробиться в комнату. Воздух не способен освежить помещение. Коварное окно

ревностно оберегает свою неприкосновенность. Я ненавижу английские окна.

Но я обожаю Лондон и, разумеется, его жителей. Я приезжала туда после первых гастролей с «Комеди» более двадцати раз, и зрители неизменно встречали меня с радостью и любовью.

13

После этой первой самостоятельной пробы сил я обрела уверенность в будущем, которое хотела создать собственными руками. Я была очень хилой от природы, но возможность располагать собой по своему усмотрению, без постороннего вмешательства благотворно подействовала на мою нервную систему, она обрела равновесие и, укрепившись, вскоре восстановила здоровье всего организма, пошатнувшееся от постоянных волнений и перенапряжения. Я почила на лаврах, которыми меня увенчали, и мой сон стал спокойнее. А спокойный сон способствовал улучшению аппетита. Каково же было удивление моей свиты, когда ее кумир вернулся из Лондона с округлившимися румяными щечками!

Я провела в Париже несколько дней, а затем отправилась в Брюссель, где мне предстояло играть в «Адриенне Лекуврер» и «Фруфру».

Бельгийский зритель — я имею в виду брюссельцев — сродни нашему зрителю. Будучи в Бельгии, я не чувствую себя за границей. Здесь говорят на нашем языке так же безупречно, как запрягают лошадей; местные дамы высшего света похожи на наших великосветских дам, а кокотки, как и у нас, встречаются на каждом шагу; брюссельские гостиницы не лучше парижских, а у лошадей, что развозят наемные экипажи, такой же жалкий вид; в здешних газетах ничуть не меньше желчи. Брюссель — это Париж-сплетник в миниатюре.

Я играла в театре «Ла Моннэ» впервые, и поначалу мне было не по себе в его огромном холодном зале. Но воодушевление и доброжелательность публики согрели меня, и наши четыре спектакля стали незабываемыми вечерами. Затем я отправилась в Копенгаген, где я должна была дать в «Королевском театре» пять представлений.

По приезде, которого, без сомнения, очень ждали, я пережила сильный испуг. Более двух тысяч человек встречали меня на вокзале, и, как только наш поезд остановился, грянуло такое оглушительное «ура!», что я растерялась, не в силах понять, в чем дело. Вскоре ко мне в купе зашли директор «Королевского театра» господин де Фальзен и первый камергер короля и попросили меня показаться в окне, чтобы удовлетворить дружеское любопытство публики. Ужасное «ура!» грянуло снова, и лишь тогда я все поняла.

И тут мной овладело ужасное беспокойство. Никогда, говорила я себе, никогда, как бы я ни старалась, я не смогу

оправдать их ожиданий. Моя тщедушная фигура вызовет жалость у всех этих бравых парней и роскошных блестящих дам.

Сравнение было явно не в мою пользу, и я настолько упала в собственных глазах, что сошла на перрон, чувствуя себя обессиленной, как дуновение ветерка.

Я увидела, что толпа по приказу полицейских послушно расступилась, оставив посередине широкую дорогу для моего экипажа. Я проехала мелкой рысцой между двумя плотными рядами людей, которые бросали мне цветы, посылали воздушные поцелуи и сдержанно либо горячо махали шапками в знак приветствия.

С тех пор за годы долгой карьеры у меня было немало успехов, торжественных приемов и оваций, но встреча, которую устроили мне датчане, остается одним из самых дорогих моих воспоминаний. Шеренга людей выстроилась до самого отеля «Англетер», где я остановилась. Выйдя из экипажа, я еще раз поблагодарила всех этих симпатичных людей.

Вечером король и королева со своей дочерью, принцессой Уэльской, присутствовали на премьере «Адриенны Лекуврер».

Вот что писала «Фигаро» 16 августа 1880 года:

> «Сара Бернар только что с огромным успехом сыграла „Адриенну Лекуврер" перед блестящей публикой. Королевская семья, король и королева Греции, а также принцесса Уэльская присутствовали на спектакле. Королевы бросали французской актрисе букеты цветов под звуки оваций и крики „браво!" Это беспрецедентный успех. Публика вне себя от восторга. Завтра — „Фруфру"…»

Представления «Фруфру» прошли с не меньшим успехом. Поскольку я играла через день, то решила посетить Эльсинор. Король приказал дать в мое распоряжение судно.

Я пригласила в это маленькое путешествие всю свою компанию. Господин Фальзен, директор «Королевского театра», угостил нас великолепным обедом; в сопровождении самых влиятельных людей Дании мы посетили могилу Гамлета, источник Офелии и замок Мариенлиста, а затем отправились в замок Кронборга.

Я была разочарована Эльсинором: в моих мечтах он был куда прекраснее. Так называемая могила Гамлета, на которой водружен уродливый приземистый, слегка прикрытый зеленью памятник, наводит уныние своей безыскусной ложью.

Мне дали выпить воды из так называемого источника Офелии, после чего барон де Фальзен разбил стакан, чтобы никто

больше не пил из источника.

Я возвращалась из этого жалкого путешествия опечаленной. Опершись на поручни, я смотрела на воду и вдруг заметила на ее поверхности несколько лепестков розы, которых невидимое глазом течение прибило к борту нашего судна. Затем я увидела тысячи лепестков. И тут тишину таинственного солнечного заката огласили мелодичные песни детей Севера, напоминавшие приглушенные звуки фанфар.

Я подняла глаза. Невдалеке качалось на волнах, подгоняемое ветром, красивое судно с поднятыми парусами; десятка два молодых людей, распевая чудесные былины минувших веков, швыряли с его борта в воду охапки роз, лепестки которых плыли к нам по течению. И все это было ради меня: все эти розы, вся эта любовь и поэзия в музыке. И мне захотелось, чтобы и закат тоже сиял ради меня.

В этот короткий миг, открывший мне все очарование жизни, моя душа ощутила совсем рядом присутствие Бога.

На следующий день после представления король приказал позвать меня в королевскую ложу, где вручил мне почетный орден страны, усыпанный бриллиантами.

Он задержал меня на некоторое время в своей ложе и принялся расспрашивать на разные темы, затем меня представили королеве, у которой, как я тотчас же убедилась, было плохо со слухом. Я несколько смешалась, но тут мне на помощь пришла королева Греции. Она была прекрасна, но насколько же она уступала в красоте своей невестке принцессе Уэльской! О, что это было за восхитительное, пленительное лицо: тревожные глаза дочери Севера и классические, исполненные целомудренной чистоты черты, длинная гибкая шея, словно созданная для царственных поклонов, и мягкая, почти застенчивая улыбка. Принцесса излучала такое сияющее очарование, что я не могла оторвать от нее глаз; боюсь, что после нашей беседы в ложе королевские пары Дании и Греции составили весьма невысокое мнение о моем уме.

Накануне моего отъезда был дан торжественный ужин. Господин де Фальзен взял слово и в чрезвычайно изысканных выражениях поблагодарил нас за неделю французской культуры, подаренную датчанам.

Роберт Уолт произнес очень теплую, короткую и милую речь от имени прессы. Наш посол весьма учтиво в нескольких словах поблагодарил Роберта Уолта. Каково же было изумление присутствующих, когда барон Магнус, посланник Пруссии, поднялся и громогласно провозгласил, обернувшись ко мне: «Я пью за Францию, которая дарит нам столь великих артистов! За

Францию, прекрасную Францию, которую мы все горячо любим!»

Едва минуло десять лет со времени ужасной войны, истерзавшей сердца французов и француженок. Наши раны еще не успели зарубцеваться. Барон Магнус, очень любезный и приятный человек, прислал мне в день приезда в Копенгаген цветы со своей визитной карточкой. Я отправила цветы обратно и попросила атташе английского посольства, кажется сэра Фрэнсиса, передать немецкому барону мою просьбу не утруждать себя более. Барон, который слыл добряком, не воспринял это всерьез и дождался меня у выхода из гостиницы. Он подошел ко мне с распростертыми объятиями и начал говорить что-то любезно-рассудительное. Все взгляды были прикованы к нам, и я чувствовала себя неловко. Было видно, что этот человек движим добрыми побуждениями. Я поблагодарила барона, невольно тронутая искренностью его заверений, и поспешила уйти. Меня одолевали противоречивые чувства. Барон дважды возобновлял свои визиты, но я не принимала его и лишь здоровалась с ним при встрече. Однако настойчивость этого любезного дипломата несколько раздражала меня.

Во время ужина, завидев, что он встает в позу оратора, я почувствовала, как кровь отхлынула от моих щек. Не успел он закончить свое короткое выступление, как я вскочила с места и воскликнула: «Что ж, выпьем за Францию, но только за всю Францию, всю целиком, господин министр Пруссии!» Мой голос дрожал от волнения, я нервничала и держалась неестественно. Это было как удар молнии.

Придворный оркестр, находившийся на верхнем балконе, грянул «Марсельезу». В ту пору датчане ненавидели немцев. Банкетный зал обезлюдел как по мановению волшебной палочки.

Я поднялась к себе, чтобы избежать расспросов. Гнев вывел меня из себя и заставил перегнуть палку. Барон Магнус не заслуживал подобного выпада. Кроме того, чутье подсказывало мне, что моя выходка не обойдется без последствий. Я бросилась на кровать, проклиная себя, барона и весь свет.

Под утро, часов в пять, лишь только я задремала, меня разбудило ворчание собаки. Затем я услышала стук в прихожей. Я позвала горничную, которая разбудила своего мужа, и тот пошел открывать дверь.

Это был атташе из французской миссии, который добивался немедленного свидания со мной. Я набросила горностаевую накидку и вышла к гостю.

— Умоляю вас, — промолвил он, — напишите немедленно записку в подтверждение того, что ваши слова имеют совсем не то значение, которое им хотят придать. Барон Магнус — мы все

его любим — поставлен в очень затруднительное положение, и мы страшно огорчены. Канцлер Бисмарк не любит шутить, и для барона это может плохо обернуться.

— Боже мой, сударь, я огорчена в сто раз больше вашего, ибо это милый и добрый человек. Ему изменило политическое чутье, и его вполне можно простить, ведь я так далека от политики. Мне же изменила выдержка. Я отдала бы на отсечение свою левую руку, которая как-никак мне еще нужна, чтобы исправить положение.

— Мы не требуем от вас таких жертв. К тому же это повредило бы красоте ваших жестов…. — (Ах, черт возьми, он был подлинным французом!) — Вот черновик письма: извольте прочитать, переписать, подписать, и дело с концом!

Но это было невозможно. Черновик содержал скользкие и довольно трусливые объяснения. Я воспротивилась и после нескольких тщетных попыток отказалась писать наотрез.

На том ужине присутствовало триста человек, не считая королевского оркестра и слуг. Барон произнес свой любезный, но неуместный тост во всеуслышание. Я выпалила свою реплику одним духом. Публика и пресса были свидетелями перепалки; наша глупость связала нас с бароном по рукам и ногам. Сегодня я не придала бы значения общественному мнению и нашла бы способ спасти этого славного учтивого человека, даже если бы пришлось выставить себя на посмешище. Но в то время моя нервозность и шовинизм не знали границ. Кроме того, быть может, я воображала себя тогда важной персоной.

Впоследствии жизнь показала мне, что если кому-то и написано на роду стать важной персоной, то судить об этом следует только после смерти.

Сегодня, перевалив вершину своего пути и спускаясь вниз по другому склону, я весело вспоминаю все бесчисленные пьедесталы, на которые мне довелось взойти, пьедесталы, разрушенные теми же руками, что их воздвигли. Их обломки служат мне надежной опорой, на которой я беспечально вспоминаю о том, что было, и прислушиваюсь к тому, что ждет меня впереди.

Мое глупое тщеславие причинило зло человеку, который не сделал мне ничего плохого, и до сих пор из-за этого меня страшно мучит совесть.

Я покидала Копенгаген под гром оваций и бесконечных возгласов «Да здравствует Франция!». Над всеми окнами развевались французские флаги, полотнища которых хлопали на ветру с яростным треском, но не в мою честь, а в знак ненависти к Германии. Мое присутствие послужило лишь предлогом.

Прошло время, немцы и датчане тесно сплотились, и я не ручаюсь, что кое-кто из датчан не имеет на меня зуб из-за истории с бароном Магнусом.

Я вернулась в Париж, чтобы закончить последние приготовления к большому путешествию в Америку. Мое отплытие было назначено на 15 октября.

Как-то раз в августе я, как обычно, принимала в пять часов своих друзей, которые спешили повидать меня до того, как я надолго покину Францию. Среди них были Жирарден, граф Капнист, маршал Канробер, Жорж Клэрен, Артюр Мейер, Дюкенель, прекрасная Августа Холмс, Раймон де Монбель, Норденшельд, О'Коннор и другие мои приятели. Я была ужасно рада вновь оказаться в кругу чутких, тонких интеллектуалов и болтала без умолку.

Жирарден старался изо всех сил отговорить меня от вояжа в Америку. Он был другом Рашели и поведал мне грустную эпопею ее путешествия за океан. Артюр Мейер считал, что я должна следовать только велению сердца. Другие оспаривали это.

Маршал Канробер, замечательный человек, перед которым всегда будет преклоняться Франция, сожалея о наших дружеских вечерах, говорил:

— Однако у нашей юной подруги — бойцовский характер. И мы не имеем права в силу нашей любви, которую мы питаем к ней, эгоистично сдерживать ее волевые порывы.

— О да! — вскричала я. — Да, я чувствую, что рождена для борьбы. Мне становится особенно весело, когда нужно покорить публику, которую газетные побасёнки и сплетни настроили против меня. И мне очень жаль, что я не смогу показать Франции, но не Парижу, две свои большие удачи: Адриенну и Фруфру.

— За этим дело не станет! — воскликнул Феликс Дюкенель. — Милая Сара, со мной ты узнала первый успех, не хочешь ли со мной изведать и последний?

Все ахнули, а я подпрыгнула.

— Подожди, — прибавил он, — последний… до твоего возвращения из Америки. Если ты согласна, я все возьму на себя. Через неделю труппа будет в сборе. Я договорюсь во что бы то ни стало с театрами самых крупных городов, и мы дадим в сентябре двадцать пять представлений. Что касается денежной стороны, нет ничего проще: двадцать пять спектаклей — это пятьдесят тысяч франков. Завтра же я вручу тебе половину суммы и дам подписать контракт, чтобы ты не передумала.

Я захлопала в ладоши от радости.

Все мои друзья, присутствовавшие при этом, попросили

Дюкенеля ознакомить их как можно скорее с маршрутом гастролей, ибо каждый жаждал увидеть меня в спектаклях, которые прошли с огромным успехом в Англии, Бельгии и Дании.

Дюкенель пообещал разработать маршрут; было решено написать названия пьес и городов с датой прибытия на бумажках и тянуть жребий.

Через неделю, после того как контракт был подписан, Дюкенель представил мне подробный маршрут и полный состав труппы. Это казалось чудом.

Гастроли должны были начаться в субботу 4 сентября и продлиться, включая день отъезда и день приезда, двадцать восемь дней. Вследствие этого наше турне окрестили «Двадцать восемь дней Сары Бернар», по аналогии со сроком обязательной военной службы призывника.

Гастроли имели потрясающий успех. Никогда еще у меня не было столько развлечений, как во время этой поездки: Дюкенель без конца устраивал экскурсии и загородные пикники. Чтобы доставить мне удовольствие, он заранее позаботился о посещении музеев. Еще из Парижа он известил о дне, дате и времени нашего приезда, и хранители музеев сами вызвались показать мне наиболее ценные экспонаты. Мэры городов готовы были организовать для нас осмотр церквей и других достопримечательностей. Накануне отъезда, когда он показал нам ворохи писем с любезными ответами его адресатов, я запричитала, что терпеть не могу ходить в музей с экскурсоводами… Я побывала почти во всех музеях Франции, но посещала их, когда мне хотелось, с избранными друзьями. Что касается церквей и прочих памятников старины, я предпочитаю обходить их стороной. Я ничего не могу с собой поделать. Это меня угнетает!

Разве что полюбоваться силуэтом собора, четко вырисовывающимся на фоне заходящего солнца, — большего от меня нельзя требовать. Но стоять под мрачными сводами, выслушивая очередную нелепую нескончаемую историю, задирать голову, чтобы рассмотреть роспись на потолке, скользить по надраенному до блеска полу, разделять восторги по поводу тщательно отреставрированного крыла, мысленно желая, чтобы оно рассыпалось в пух и прах; наконец, заглядывать в глубокие рвы, которые некогда были до краев полны воды, а ныне сухи, как северные и восточные ветры… — все это до того меня угнетает, что я готова завыть от тоски!

С самого детства я питаю отвращение к домам, замкам, церквам, башням — короче, ко всем зданиям выше мельницы. Я люблю хижины, низкие фермы и обожаю мельницы, потому что

эти невысокие постройки не заслоняют горизонта. Не хочу плохо говорить о пирамидах, но, по правде сказать, я предпочла бы, чтобы их не возводили.

Я упросила Дюкенеля тотчас же разослать телеграммы всем его любезным адресатам. Мы посвятили два часа этой работе, и третьего сентября я уехала, чувствуя себя свободной, радостной и умиротворенной.

В каждом городе, где я играла согласно избранному маршруту, друзья наносили мне визиты, и мы совершали долгие прогулки по окрестностям.

Вернувшись в Париж тридцатого сентября, я стала спешно готовиться к турне в Америку. Не прошло и недели после моего приезда, как ко мне явился господин Бертран, тогдашний директор «Варьете», брат которого руководил театром «Водевиль» вместе с Раймоном Деландом. Я не была знакома с Эженом Бертраном, но тотчас же приняла его, так как знала, что у нас есть общие друзья.

— Что вы будете делать по возвращении из Америки? — спросил он, едва мы поздоровались.

— Ну… не знаю… Ничего… Я об этом не думала.

— Ну что ж, зато я подумал за вас. Если вам угодно вернуться на парижскую сцену в пьесе Викторьена Сарду, я немедля подпишу с вами контракт для «Водевиля».

— Ах, — воскликнула я, — для «Водевиля»! Подумайте хорошенько! Ведь там директором Раймон Деланд, а он смертельно обижен на меня из-за того, что я сбежала из «Жимназ» на другой день после премьеры его пьесы «Муж выводит в свет жену». Пьеса была глупой, но моя роль еще глупее. Я играла там русскую девушку, которая обожает танцы и бутерброды. Этот человек ни за что меня не примет.

Он разулыбался:

— Мой брат — компаньон Раймона Деланда. Мой брат… короче, это я! Все наши деньги — это мои деньги! Я — единственный хозяин! Сколько вы хотите получать?

— Я… Я не знаю…

— Хотите тысячу пятьсот франков за спектакль?

Я смотрела на него ошалело, спрашивая себя, все ли у него в порядке с головой.

— Но, сударь, если меня постигнет неудача, вы потерпите убытки, а этого я не могу допустить.

— Не волнуйтесь. Я ручаюсь вам за успех… колоссальный успех! Подпишите, пожалуйста. Хотите, я оплачу вам пятьдесят представлений?

— Ну нет! Увольте! Я с радостью подпишу, ибо ценю талант

Викторьена Сарду, но мне не нужны никакие гарантии. Успех зависит от него. И затем — от меня! Вот! Я подписываю и благодарю вас за доверие.

Я показала друзьям на нашей традиционной встрече в пять часов свой новый контракт, и они единодушно решили, что удача как будто сопутствует моему безумному шагу, то бишь моей отставке.

Через три дня мне предстояло покинуть Париж. Мое сердце обливалось кровью при мысли о том, что нужно расстаться с Францией в силу горьких причин… Но я не хочу касаться в этих мемуарах того, что непосредственно связано с моей личной жизнью. Это мое другое, домашнее «я», которое живет своей жизнью, и его ощущения, радости и горести касаются лишь очень узкого круга близких сердец.

И все же мне хотелось подышать другим воздухом, увидеть другое небо и оказаться в ином, более широком пространстве.

Я расставалась с моим мальчиком, которого доверила своему дяде, отцу пятерых сыновей. У его жены, довольно строгой протестантки, было доброе сердце, а их старшая дочь Луиза, моя кузина, очень умная и толковая девушка, обещала присматривать за сыном и дать мне знать при малейшем поводе для тревоги.

Вплоть до последнего часа в Париже не верили в этот отъезд за океан. Я была такой хилой, что мое решение было воспринято как чистой воды безумие. Но когда известие о моем отъезде подтвердилось, затаивший дыхание гадючник разом встрепенулся и настроил свои шипящие инструменты для концерта. Ах, что это был за славный концерт!

Передо мной лежит куча газетных вырезок, полных глупостей, лжи, клеветы, бреда, дурацких советов, шутовских портретов, мрачных шуток и напутствий Любимой! Идолу! Звезде! — и т. д. и т. п.

Все это было настолько нелепо, что я до сих пор не перестаю удивляться. Я не читала большинства из этих заметок, но моему секретарю было поручено вырезать и наклеивать в тетрадках все то, что писали обо мне дурного и хорошего.

Мой крестный начал эту работу, когда я поступила в Консерваторию, и после его смерти я велела продолжить дело.

К счастью, в моей коллекции можно найти и прекрасные, достойные страницы, написанные рукой Ж. Ж. Вейса[75], Золя, Эмиля де Жирардена, Жюля Валлеса, Жюля Леметра[76] и других, а также стихи, исполненные красоты, изящества и правды за подписью Виктора Гюго, Франсуа Коппе[77], Ришпена[78], Арокура, Анри де Борнье, Катулла Мендеса[79], Пароди и позднее Эдмона Ростана.

Я не могла и не хотела погибнуть от яда лжи и клеветы, но, признаться, благожелательные и восторженные отзывы высоких умов всегда были для меня источником неисчерпаемой радости.

14

Пароход, которому суждено было доставить меня к берегам иных надежд, иных ощущений и успехов, назывался «Америка». Это было проклятое судно, судно, где водились привидения. На его долю выпадали всяческие испытания, и ни один шторм не обошел его стороной.

Несколько месяцев «Америка» простояла в доке с задранным кверху носом. Исландская шхуна пробила ей корму, и она затонула, кажется, возле берегов Новой Земли, но была поднята на поверхность. Во время стоянки на рейде в Гаврском порту на ее борту вспыхнул пожар, который, впрочем, не причинил ей большого ущерба.

В довершение всего после одной истории, получившей огласку, несчастное судно стало притчей во языцех. В 1876 или 1877 году на его борт была доставлена новая противопожарная система, применявшаяся на английских судах, но еще неизвестная на французском флоте. Капитан, как водится, решил испробовать действие насосов, чтобы научить команду обращению с ними на случай пожарной тревоги. Эксперимент продолжался всего несколько минут, как вдруг капитану доложили, что трюм по непонятным причинам заполняется водой.

— Тревога, ребята! — закричал капитан. — Откачивайте, откачивайте воду!

И насосы заработали с таким яростным рвением, что вскоре трюм был затоплен окончательно, капитан был вынужден покинуть судно, переправив пассажиров на спасательных шлюпках.

Два дня спустя мимо проходило английское китобойное судно. Китобои включили насосы, которые работали превосходно, но только… в обратном направлении.

Эта ошибка стоила трансатлантической компании тысячу двести франков, и, чтобы задействовать судно, забракованное пассажирами, она предложила моему импресарио господину Аббе зафрахтовать его на очень выгодных условиях. Тот согласился, и был прав, несмотря на мрачные пророчества окружающих. Судно справилось со своей задачей с честью.

Впервые мне предстояло совершить настоящее морское путешествие, и я не помнила себя от радости.

Пятнадцатого октября 1880 года в шесть часов утра я вошла в свою просторную каюту, обитую светло-гранатовым репсом с

моими инициалами — бесконечным множеством С. Б. …Огромная кровать сияла начищенной медью, и повсюду благоухали цветы.

Рядом находилась очень уютная каюта «моей милочки», а следующая за ней была предназначена моей горничной с мужем. Остальная часть моего персонала разместилась на другом конце парохода.

Небо было окутано мглой, и серое море простиралось, насколько хватало глаз. Мой путь лежал туда, за пелену тумана, слившего небо и воду в одну таинственную преграду.

Суматоха отплытия захватила всех. Гул машины, призывные свистки, звонки, рыдания, смех, скрежет снастей, резкие звуки команд, испуганные вопли запоздавших пассажиров, крики «Оп! Оп-ля! Держи!» грузчиков, с размаху швырявших тюки в трюм, веселый плеск волн о борт судна — все это сливалось в страшный грохот, который угнетал ум, не давая ему разобраться в своих истинных ощущениях.

Я принадлежу к числу тех, кто до последней минуты спокойно обменивается прощальными напутствиями, рукопожатиями, поцелуями, планами на будущее, но, лишь только провожающие скроются из виду, теряет голову от горя и разражается рыданиями.

Три дня я предавалась безысходному отчаянию и плакала навзрыд горькими, жгучими слезами, затем усилием воли преодолела себя и успокоилась.

На четвертый день, часов в семь утра, я встала и пошла подышать свежим воздухом на палубу. Стоял собачий холод.

Прогуливаясь, я повстречала даму, одетую в траур, с выражением скорбного смирения на лице. Бесцветное море казалось совершенно спокойным, но оно только затаилось. Внезапно яростный вал обрушился на наше судно с такой силой, что мы обе были сбиты с ног. Я уцепилась за край скамьи, а бедная женщина была отброшена вперед.

Вскочив на ноги, я успела ухватить ее за подол. Мне на помощь пришли моя горничная и какой-то матрос, и все вместе мы удержали женщину от падения с трапа.

С грустью и некоторым смущением она поблагодарила меня таким тихим голосом, что мое сердце забилось в волнении.

— Вы могли бы разбиться, сударыня, на этой проклятой лестнице.

— Да, — промолвила она со вздохом сожаления, — но Господь не захотел этого.

Затем она взглянула на меня:

— Вы не госпожа Эсслер?

— Нет, сударыня. Меня зовут Сара Бернар.

Она отшатнулась от меня, побледнев и нахмурившись, и проронила скорбным, безжизненным голосом:

— Я — вдова Линкольна…

Я тоже отступила назад. Сильная боль пронзила меня до глубины души: я спасла ее от смерти и тем самым оказала несчастной единственную услугу, которой не стоило ей оказывать. Ее муж, президент Авраам Линкольн, погиб от руки актера Бута. И рука актрисы помешала ей последовать за дорогим ее сердцу покойным.

Я заперлась в своей каюте и не выходила оттуда два дня, опасаясь вновь встретить эту славную женщину, с которой больше не осмелилась бы заговорить.

Двадцать второго октября на наше судно обрушилась страшная снежная буря.

Меня позвали в спешном порядке к капитану Жукла́. Я надела широкую меховую накидку и поднялась на мостик. Что это было за ослепляющее, ошеломляющее, феерическое зрелище! Тяжелые, оледеневшие хлопья снега сталкивались с шумом и кружились по воле ветра в неистовом вальсе. Белая лавина отгородила от нас небо и наглухо; закрыла горизонт. Я стояла лицом к морю, и капитан Жукла заметил, что видимость упала до ста метров. Обернувшись, я увидела, что наш корабль стал белым, как чайка. Снасти, тросы, релинги, лацпорты, ванты, шлюпки, палуба, паруса, трапы, трубы, люки — все было белым! Море и небо были чернее ночи, и наш белоснежный корабль парил в этой бездне.

Высокая труба, изрыгавшая черный дым в лицо ветру, который со свистом врывался в ее распахнутую глотку, соперничала с издававшей пронзительный вой сиреной. Контраст между девственной белизной судна и этим адским шумом был настолько разителен, как если бы я увидела ангела, бьющегося в истерике.

Вечером того же странного дня доктор известил меня, что одна из моих подопечных эмигранток разрешается от бремени. Я тотчас же побежала к ней, чтобы помочь бедному маленькому существу появиться на свет. О, мне никогда не забыть тех заунывных стонов в ночи! И — первый пронзительный крик ребенка, заявившего о своем решении жить посреди нищеты, всеобщих страданий, тревог и надежд.

Все смешалось в этом человеческом муравейнике: мужчины, женщины и дети, тряпки и банки консервов, апельсины и лоханки, косматые головы и лысины, приоткрытые рты девушек и плотно сжатые губы старых мегер, белые чепчики и красные платки, руки, протянутые к надежде, и кулаки, готовые отразить удар судьбы.

Я видела едва прикрытые лохмотьями револьверы и ножи, спрятанные за пазухой. Судно качнуло, и какой-то головорез выронил сверток, обмотанный тряпками, из которого показались небольшой топор и кастет. Один из матросов тут же подхватил оружие, чтобы отнести его комиссару. Мне не забыть пристального взгляда, которым окинул его владелец оружия. Без сомнения, он хорошо запомнил матроса. И я пожелала про себя, чтобы им не довелось встретиться в глухом месте.

К горлу подступила тошнота, когда доктор передал мне младенца для омовения, и теперь я вспоминаю об этом с угрызениями совести.

«Неужели это крошечное красное грязное сморщенное и орущее существо — тоже человек, наделенный душой и разумом?» — думала я. И всякий раз, когда я видела этого ребенка, крестной которого стала, ко мне возвращалось первоначальное ощущение.

Когда молодая мать заснула, я решила вернуться в свою каюту, опершись на руку доктора. Волнение моря настолько усилилось, что мы с трудом пробирались между эмигрантами с их тюками. Несколько человек, сидевших на корточках, молча смотрели, как мы спотыкаемся и шатаемся, точно пьяные.

Меня раздражали эти косые насмешливые взгляды. Один из мужчин окликнул нас:

— Скажите-ка, доктор, что, морская вода пьянит не хуже вина? У вас и вашей дамы такой вид, словно вы идете домой со свадьбы!

Какая-то старуха ухватилась за мою руку:

— Скажите, госпожа, мы не перевернемся, раз так качает? Господи Боже мой!

Рыжий бородатый детина подошел к старухе и бережно уложил ее со словами:

— Спи спокойно, мать, если мы перевернемся, то, клянусь тебе, здесь спасется больше народу, чем там, наверху.

Затем, приблизившись ко мне, он бросил с вызовом:

— Богачи пойдут первыми… в воду! Эмигранты следом… в лодки!

И тут я услышала тихий, сдавленный смех, который раздавался повсюду: впереди, за моей спиной, где-то сбоку и даже у моих ног, отзываясь гулким эхом вдалеке, как это бывает в театре.

Я прижалась к доктору. Он почувствовал мое беспокойство и сказал со смехом:

— Ба! Мы будем защищаться!

— Но, доктор, сколько пассажиров можно спасти в случае

реальной опасности?

— Двести… самое большое… двести пятьдесят, если спустить на воду все шлюпки, при условии, что все они доберутся до берега.

— Но на борту, как сказал мне комиссар, семьсот шестьдесят эмигрантов, а нас, пассажиров, примерно сто двадцать. Сколько офицеров, членов экипажа и персонала насчитывается на судне?

— Сто семьдесят, — ответил доктор.

— Значит, в общей сложности нас тысяча пятьдесят человек, а вы можете спасти только двести пятьдесят?

— Да.

— В таком случае мне понятна ненависть эмигрантов, которых вы грузите на судно, точно скот, и обращаетесь с ними как с неграми. Они знают, что в случае опасности именно их вы принесете в жертву!

— Но их тоже спасут в свой черед.

Я смотрела на своего собеседника с ужасом. У него было честное лицо, и он верил в то, что говорил.

Значит, эти бедняги, обманутые жизнью, униженные обществом, имеют право на жизнь только после других, более удачливых? О, как я понимала теперь головореза с топором и кастетом! В этот миг я говорила «да» револьверам и ножам, спрятанным за пазухой. Он был прав, тот рыжий детина: раз мы всюду хотим быть первыми, и только первыми, что ж, и на сей раз мы пойдем в первую очередь… хоп! прямо в воду!

— Ну как, вы довольны? — спросил меня капитан, который как раз выходил из своей каюты. — Все кончилось хорошо?..

— Отлично, капитан. Но я возмущена!

Жукла сделал шаг назад.

— Боже мой! Чем же?

— Тем, как вы обращаетесь со своими пассажирами… — Он хотел перебить меня, но я продолжала: — Как, вы обрекаете нас в случае кораблекрушения…

— Кораблекрушения не будет!

— Хорошо. В случае пожара…

— Пожара здесь никогда не будет!

— Хорошо. В случае затопления судна…

Он засмеялся:

— Допустим. Так на что же вас обрекают, сударыня?

— На худшую из смертей: от удара топором по голове, от ножа в спину или же просто от кулака, который — хоп! — столкнет тебя в воду…

Тут он снова попытался вставить слово…

— Там, внизу, семьсот пятьдесят эмигрантов, нас же,

пассажиров первого класса и членов экипажа, почти триста человек. Шлюпки могут забрать лишь двести…

— И что же?

— А как же эмигранты?

— Мы будем спасать их прежде экипажа!

— Но после нас?

— Ну да, после вас!

— И вы думаете, что они это допустят?

— У нас есть ружья для острастки!

— Ружья… ружья против женщин и детей?

— Нет, женщины и дети пойдут в шлюпки в первую очередь!

— Но это глупо! Это абсурдно! Стоит ли спасать женщин и детей, чтобы сделать из них вдов и сирот? И вы думаете, что эти парни отступят перед вашими ружьями?.. Их много! Они вооружены! Они должны взять у жизни реванш! Они имеют такое же право, как и мы, защищать свою жизнь! У них столько мужества, что они не должны проиграть и выйдут из борьбы победителями! И я нахожу несправедливым и подлым тот факт, что вы обрекаете на верную гибель нас, а их толкаете на вынужденное и оправданное преступление!

Капитан попытался что-то сказать.

— …И даже если мы ее потерпим крушения… Представьте, что несколько месяцев мы будем носиться по воле волн по бурному морю… Ведь у вас не хватит съестных припасов для тысячи голодных на два-три месяца?..

— Разумеется, нет, — сухо ответил комиссар, очень любезный и чувствительный человек. — В таком случае что бы вы сделали?

— Ну… а вы? — спросил капитан Жукла, забавляясь обиженным видом комиссара.

— Я бы сделала одно судно для эмигрантов, а другое — для пассажиров: по-моему, это было бы справедливо!

— Да, но в таком случае мы бы разорились.

— Нет. Богатые пассажиры поплывут на пароходе вроде этого, а эмигранты — на парусном судне.

— Однако, милостивая сударыня, это тоже будет несправедливо, ибо пароход идет куда быстрее, чем парусник.

— Это не имеет никакого значения, капитан: богачи всегда торопятся, а несчастным некуда спешить, учитывая то, куда они едут, и то, что их там ждет…

— Земля обетованная!

— О! Страдальцы, страдальцы! Земля обетованная… Дакота или Колорадо! Днем там палящее солнце, от которого плавятся мозги, трескается земля, пересыхают источники, а мириады

мошек высасывают кровь и последнее терпение! Земля обетованная!.. По ночам там дикий холод, который щиплет глаза, сводит руки и ноги, поражает легкие! Земля обетованная!.. Это смерть в какой-нибудь дыре после тщетных призывов к совести соотечественников, смерть со слезами на глазах и со страшными, полными ненависти проклятиями! Бог должен принять их души, ведь страшно подумать, что все эти несчастные, связанные страданием и надеждой по рукам и ногам, попадают в лапы торговцев белым товаром! И когда я думаю, что в вашей кассе, господин комиссар, лежат деньги, заработанные на работорговле, деньги, собранные мозолистыми, дрожащими руками по грошику, омытые потом и слезами этих несчастных! Когда я думаю об этом, мне хочется, чтобы мы потерпели крушение, чтобы мы все погибли, а они все были спасены!

И я отправилась плакать в свою каюту, охваченная бесконечной любовью к человечеству и безутешным горем от сознания собственного бессилия… полнейшего бессилия.

На следующее утро я проснулась поздно, поскольку долго не могла заснуть. Моя каюта была заполнена посетителями, и каждый из них держал небольшой сверток. Я терла глаза спросонья, не в силах понять причины этого нашествия.

Госпожа Герар приблизилась ко мне и поцеловала меня со словами:

— Милая Сарочка, не надейтесь, что любящие вас позабыли о дне вашего праздника.

— Ах, — воскликнула я, — неужели сегодня двадцать третье?

— Да. И прежде всего подарок от тех, кто далеко.

Мои глаза увлажнились, и сквозь слезы я увидела портрет юного существа, которое было мне дороже всего на свете, и несколько слов, написанных его рукой… Затем шли подарки друзей, безделушки скромных влюбленных.

Мой новорожденный крестник предстал передо мной в корзине, убранной апельсинами, яблоками и мандаринами. На его лбу сияла золотая звездочка, вырезанная из позолоченной фольги от шоколада.

Моя горничная Фелиси и ее муж Клод, два нежных и преданных сердца, вручили мне свои милые и неожиданные подарки.

В дверь постучали. «Войдите!» И я увидела с удивлением, как в каюту вошли трое матросов. Они преподнесли мне от имени экипажа роскошный букет. Я была вне себя от восторга. Как удалось им сохранить цветы в таком прекрасном состоянии?

Взяв в руки огромный букет, я тотчас же расхохоталась: все цветы были вырезаны из овощей с таким искусством, что издали

казались живыми: великолепные пунцовые розы из морковки, камелии из репы, бутоны из редиски, нанизанные на длинные, окрашенные в зеленый цвет будылья лука-порея. Искусно разбросанная повсюду морковная ботва имитировала зелень наших элегантных букетов. Стебли стягивала трехцветная лента. После взволнованной речи одного из матросов, поблагодарившего меня от имени своих товарищей за оказанное им внимание, крепкого рукопожатия и моего дружеского «спасибо» в каюте «моей милочки» начался концерт: две скрипки и флейта давно репетировали там тайком. В течение часа меня баюкала восхитительная музыка, которая перенесла меня к моим близким, в мой дом, столь далекий от меня в этот час.

Этот почти семейный праздник и музыка оживили в памяти моей тихий родной уголок, и я заплакала без боли и горечи, не скрывая слез. Я плакала от умиления, усталости, раздражения и тоски, и больше всего мне хотелось закрыть глаза и отдохнуть. Я заснула в слезах, и вздохи и рыдания сотрясали мне грудь.

15

Наконец 27 октября, в полседьмого утра, наше судно бросило якорь. Я еще спала, утомленная яростным штормом, бушевавшим трое суток кряду. Моя горничная долго не могла меня разбудить. Я не верила в наше прибытие и до последней минуты не хотела вставать. Но мне пришлось признать очевидность: судно прекратило свой ход. До меня доносился шум бесконечно повторявшихся глухих ударов.

Я высунула голову в иллюминатор и увидела людей, которые прокладывали нам проход по замерзшей реке. Дело в том, что воды Гудзона были скованы льдом, и без помощи заступов, разрубавших огромные глыбы, тяжелое судно не могло бы сдвинуться с места.

Это неожиданное прибытие наполнило меня радостью. В один миг все переменилось, и я начисто позабыла о своих недомоганиях и тоске одиннадцатидневного морского перехода.

Бледное розовое солнце поднималось, рассеивая туман, и заливало светом лед, рассыпавшийся под ударами рабочих на тысячи сверкающих кусочков. Я вступала в Новый Свет посреди ледового фейерверка. Это было волшебное, несколько странное зрелище, и я сочла его добрым предзнаменованием.

Я настолько суеверна, что, если бы мне довелось сойти на берег в пасмурный день, уныние и тревога не покидали бы меня вплоть до первого представления. Сущая пытка — быть суеверкой до такой степени, и, к несчастью, сегодня я в десять раз суевернее, чем тогда, ибо, объехав множество стран, я переняла все присущие им предрассудки, присовокупив их к суевериям моей отчизны. Они живы во мне, все до единого, и в трудные минуты жизни ополчаются на меня либо за меня! Я не в состоянии сделать ни шага, ни движения, не могу ни сесть, ни лечь, ни встать, ни взглянуть на небо или землю без того, чтобы не найти повода для надежды либо отчаяния. Это продолжается до тех пор, пока, разозлясь на собственный разум, воздвигающий на моем пути столько добровольных препон, я не брошу вызов всем своим суевериям и не начну действовать по собственной воле.

Обрадовавшись доброму, по всей видимости, признаку, я весело занялась своим туалетом.

Господин Жарретт постучал в мою каюту:

— Сударыня, умоляю вас поторопиться: несколько кораблей под французским флагом идут нам навстречу.

Выглянув в иллюминатор, я увидела пароход, на палубе

которого яблоку было негде упасть, а вслед за ним — еще два небольших судна, также переполненных людьми до отказа. Солнечные блики играли на французских флагах.

Мое сердце забилось от волнения, ведь почти две недели у меня не было никаких известий из дома. («Америке» потребовалось без малого две недели, чтобы пересечь океан, несмотря на все усилия нашего славного капитана.)

Какой-то человек прыгнул на палубу. Я подбежала к нему с протянутой рукой, не в силах вымолвить ни слова. Он вручил мне пакет с корреспонденцией, и я тут же позабыла обо всем. Среди вороха телеграмм я искала одну. Наконец-то, вот она, долгожданная, радостная, трепетная весть за подписью: Морис! Наконец! Я закрыла глаза и тотчас же увидела дорогой моему сердцу образ, ощутив при этом бесконечную нежность.

Открыв глаза, я почувствовала себя неловко: меня обступили какие-то молчаливые и доброжелательные люди, смотревшие на меня с нескрываемым любопытством. Чтобы выбраться из толпы, я взяла Жарретта под руку, и он повел меня в салон.

Не успела я переступить порог, как грянула «Марсельеза», и наш консул коротко приветствовал меня, вручив при этом цветы.

Группа представителей французской колонии преподнесла мне приветственное послание. Затем главный редактор газеты «Курьер Соединенных Штатов» господин Мерсье произнес речь во французском духе, в которой мысль и чувство соперничали друг с другом. И наконец настал ужасный миг представлений.

Ох, что это было за тяжкое испытание для ума, силившегося понять и запомнить все эти имена. Пэмберст, Харстем… «С придыхательным „h", мадам…» Я споткнулась на первом же слоге, а второй слог затерялся в чаще проглоченных гласных и свистящих согласных… На двадцатом имени я перестала слушать и только шевелила уголками губ и щурила глаза, машинально подавала кому-то руку и отвечала рукопожатием со словами:

— Очень приятно. Сударыня… О да, конечно! О да! О нет… Ах… ах… Ох… ох!

Я устала стоять как истукан, бессмысленно хлопая глазами. Мне хотелось лишь одного: стащить свои кольца с пальцев, которые отекли от бесконечных рукопожатий.

Мои глаза смотрели с ужасом на дверь, через которую продолжали прибывать жаждавшие меня видеть люди. Снова придется выслушивать все эти имена… пожимать руки… опять шевелить уголками губ… Холодный пот выступил у меня на лбу. Мои нервы были на пределе, и я начала заикаться:

— О, сударыня! О!.. Мне оч-чень при-я-я-я-тно…

Это было выше моих сил. Я уже была готова рассердиться

либо разреветься, одним словом, выкинуть что-нибудь несуразное, но предпочла упасть в обморок. Взмахнув безвольной рукой, я открыла рот… закрыла глаза… и плавно опустилась в объятия Жарретта.

— Откройте окно, живо! Врача! Бедная девушка! До чего она бледна! Снимите с нее шляпу! Корсет!

— Она его не носит.

— Расстегните ей платье.

Я испугалась, но прибежавшие на шум Фелиси и «моя милочка» воспротивились моему раздеванию. Доктор принес флакон эфира, но Фелиси выхватила у него флакон со словами:

— Ах нет, доктор, только не это! Когда госпожа здорова, она теряет сознание от запаха эфира!

Это была правда. Я решила, что пора приходить в чувство.

Появились репортеры, человек двадцать, если не больше. Но растроганный Жарретт попросил их прийти в «Альбемарль-отель», где я должна была остановиться.

Я наблюдала, как каждый из репортеров отводил Жарретта в сторону. Когда я попросила его раскрыть секрет всех этих перешептываний с глазу на глаз, он флегматично ответил:

— Я назначил им всем встречу начиная с часа дня, из расчета по десять минут на каждого.

Я смотрела на него с ужасом. Он выдержал мой испуганный взгляд и проговорил:

— О yes, это было необходимо!

Приехав в «Альбемарль-отель», я почувствовала такую страшную усталость, что должна была побыть одна.

Я тотчас же скрылась в одной из комнат своих апартаментов и заперла все двери. На одной из дверей не было засова, и мне пришлось придвинуть к ней мебель. На все просьбы открыть я отвечала решительным отказом.

В салоне собралось человек пятьдесят, но я была настолько разбита, что ради часа отдыха не остановилась бы ни перед чем. Я жаждала растянуться на ковре, раскинуть руки и, запрокинув голову, закрыть глаза. Мне не хотелось ни говорить, ни улыбаться, ни даже просто смотреть.

Я бросилась на пол, не обращая внимания на стук в дверь и мольбы Жарретта. Мне не хотелось вступать в переговоры, и я хранила молчание.

До меня доносились гул недовольных голосов посетителей и отзвуки юлящих речей Жарретта, старавшегося удержать гостей. Затем я услышала шорох бумаги, которую просунули под дверь и шепот госпожи Герар, отвечавшей разъяренному Жарретту:

— Вы плохо ее знаете, господин Жарретт. Если вы только

попытаетесь взломать дверь, забаррикадированную мебелью, она выпрыгнет в окно.

— Нет, мадам, — отвечала Фелиси какой-то француженке, проявлявшей настойчивость, — это невозможно! У госпожи будет ужасная истерика! Ей нужен час отдыха. Что ж, придется подождать!

Еще какое-то время до меня доносились отголоски неясных слов, а затем я забылась чудесным и беззаботным сном, смеясь в душе при мысли о рассерженных и озадаченных лицах моих мучителей… простите… моих посетителей.

Я пробудилась час спустя, ибо обладаю драгоценным даром засыпать по собственной воле на десять минут, четверть часа или час и просыпаться без усилий в точно назначенное время. Ничто не действует на меня так благотворно, как этот добровольный и четко дозированный отдых души и тела.

Зачастую я вытягивалась на медвежьих шкурах перед большим камином, в кругу моих домашних, и, попросив их продолжать свой разговор, не обращая на меня внимания, засыпала на час.

Иногда, проснувшись, я находила в комнате двух-трех новых гостей, которые присоединились к общей беседе. Оберегая мой сон, они ждали моего пробуждения, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение.

И теперь еще в маленьком салоне стиля ампир, примыкающем к моей артистической уборной, стоит широкий массивный диван, на котором я лежу и сплю, в то время как ко мне вводят друзей и артистов, которым я назначила свидание. Открыв глаза, я вижу вокруг доброжелательные лица друзей, довольных, что я хорошо отдохнула, и протягивающих мне руки для сердечных рукопожатий. И тогда мой спокойный и ясный ум легко впитывает все прекрасные замыслы, которыми со мной делятся, и так же легко отвергает все бредовые идеи, которыми меня потчуют.

Итак, час спустя я пробудилась на коврах «Альбемарль-отеля».

Открыв дверь, я увидела милых Герар и Фелиси, сидевших на чемодане.

— Гости еще не разошлись?

— Ох, госпожа, — сказала Фелиси, — их теперь целая сотня!

— Живо! Помоги мне переодеться и дай мне белое платье.

Через пять минут все было готово. И, оглядев себя, я осталась довольна своим видом. Когда я вошла в салон, где меня ожидало столько незнакомых людей, Жарретт бросился мне навстречу, но, завидев мой красивый наряд и смеющееся лицо, отложил свою

отповедь на другое время.

Пришло время подробнее рассказать моим читателям о Жарретте, ибо это был человек незаурядный. В ту пору ему было лет шестьдесят пять — семьдесят. Высокого роста. Его лицо, напоминающее царя Агамемнона, венчала серебристая шевелюра, какой я не встречала больше ни у одного мужчины. Голубые глаза были такими светлыми, что, когда в них вспыхивал гнев, он казался слепым. Если Жарретт спокойно отдыхал или любовался природой, его лицо было прекрасным, но, если на него нападала веселость, он принимался дико фыркать, и верхняя губа его задиралась, обнажая зубы, а улыбка напоминала хищный оскал зверя, который навострил острые уши, почуяв добычу.

Этот человек был ужасен. Наделенный недюжинным умом, он был вынужден с детства вести борьбу за существование и проникся неистребимым презрением к человеческому роду. Настрадавшись за свою жизнь, он не знал жалости к страждущим, утверждая, что всякий самец наделен когтями, чтобы защищаться. Он жалел женщин, хотя и не любил их, но легко мог их обидеть.

Жарретт был очень богат и очень бережлив, но не скуп. Он часто говорил мне: «Я пробил себе в жизни дорогу двумя средствами: честностью и револьвером. В делах самое грозное оружие против мошенников и хитрецов — это честность: первые с ней не знакомы, вторые в нее не верят, а револьвер изобретен для того, чтобы принуждать негодяев держать данное слово».

Он рассказывал мне о своих захватывающих, леденящих кровь приключениях. Под правым глазом у него белел глубокий шрам. Дело было так: во время бурного спора по поводу условий контракта знаменитой певицы Женни Линд Жарретт сказал своему собеседнику:

— Посмотрите-ка на этот глаз хорошенько, сударь, — и он указал на свой правый глаз, — он читает в ваших мыслях все то, о чем вы умалчиваете!

— Он читает из рук вон плохо, — отвечал тот, — ибо не предусмотрел вот это!

И тут же выстрелил из револьвера, целясь ему в правый глаз.

— Сударь, — промолвил Жарретт, — вот как следовало стрелять, чтобы закрыть его навеки!

И он всадил пулю между глаз противника, который упал замертво.

Когда Жарретт рассказывал об этом случае, его губа ощеривалась и верхние резцы, казалось, перемалывали слова с наслаждением, а раскаты сдавленного смеха напоминали клацанье челюстей. Но этот человек был неподкупно честен; я очень его любила и с любовью храню память о кем.

Войдя в салон, который я еще не видела, я захлопала в ладоши: его вид доставил мне удовольствие. Бюсты Расина, Мольера и Виктора Гюго, стоявшие на подставках, были убраны цветами. Широкая комната была обставлена диванами с мягкими подушками, и огромные пальмы раскинули над ними свои ветви, воссоздавая атмосферу моего парижского жилища.

Жарретт представил мне создателя этого роскошного интерьера, очень милого человека по имени Кнэдлер. Я пожала ему руку, и мы сразу же сделались добрыми друзьями.

Посетители мало-помалу расходились, но репортеры и не думали двигаться с места. Они расселись повсюду: кто на подушках, а некоторые даже на подлокотниках кресел.

Один из них восседал по-турецки на медвежьей голове, прижавшись спиной к раскаленной каминной трубе; он был тщедушен, бледен и все время кашлял. Я приблизилась к нему, но лишь только я открыла рот, чтобы заговорить, несколько задетая тем, что он продолжает сидеть, как репортер спросил меня грубым голосом:

— Какую роль, сударыня, вы любите больше всего?

— Это вас не касается! — отрезала я и, повернувшись к нему спиной, тотчас же столкнулась с другим, более вежливым репортером.

— Что вы обычно едите по утрам, сударыня?

Я собиралась ответить ему в том же духе, что и первому, но Жарретт, которому с трудом удалось унять гнев тщедушного журналиста, быстро проговорил: «Oat meal»[80].

Я не знала, что это за блюдо.

— А днем? — продолжал допытываться настырный репортер.

— Мидии! — воскликнула я.

И он преспокойно записал: «Целый день одни мидии…»

Я направилась к двери, как вдруг женщина-репортер с короткой стрижкой спросила меня нежным мелодичным голосом: «Вы иудаисткатолич-протестант мусульман буддист атеистзороастротеистка или деистка?»

Я остолбенела. Она выпалила свою чудовищную бессвязную фразу одним духом, проглатывая окончания, и мне стало как-то не по себе рядом с этой тихой и странной особой.

Мой взгляд, в котором читалась тревога, упал на пожилую женщину, которая весело болтала посреди маленького кружка людей. Она поспешила мне на помощь и проговорила на безукоризненном французском языке:

— Эта девушка спрашивает, вас, мадам, кто вы — иудаистка, католичка, протестантка, мусульманка, буддистка, атеистка,

последовательница Заратустры, теистка или деистка?

У меня подкосились ноги, и я рухнула на диван.

— Господи! Неужели так будет в каждом из городов, где мне придется выступать?

— О нет! — ответил невозмутимый Жарретт. — Ваши интервью будут переданы по телеграфу на всю Америку.

«А как же мидии?» — пронеслось у меня в голове.

И я рассеянно ответила:

— Я католичка, мадемуазель!

— Римской или… православной церкви?

Я подскочила на месте. Это уж было слишком!

Какой-то совсем зеленый юнец робко приблизился ко мне со словами:

— Не позволите ли мне закончить рисунок, сударыня?

Я повернулась к нему в профиль, как он того хотел. Когда он закончил, я попросила посмотреть на его работу. И он без тени смущения протянул мне свой чудовищный рисунок, на котором красовался скелет в завитом парике.

Я разорвала эту мазню и швырнула клочки бумаги в лицо юнцу. А на другой день рисунок появился во всех газетах с неприятной подписью.

К счастью, я смогла поговорить о моем искусстве с несколькими честными и умными журналистами.

Двадцать семь лет назад репортаж ценился в Америке больше, чем серьезная статья, и публика, далеко не столь просвещенная, как теперь, охотно повторяла гнусные вымыслы досужих газетчиков. Думаю, что вряд ли найдется человек, который с тех пор, как был изобретен репортаж, настрадался бы от него в такой степени, как я, во время моих первых гастролей за океаном.

Все пошло в ход: самые подлые наветы моих врагов, известные задолго до моего прибытия в Америку; вероломные измышления подруг по «Комеди Франсез» и поклонников, которые жаждали, чтобы я потерпела фиаско на гастролях и вернулась поскорее в родные пенаты с повинной головой и сломленной волей; кричащая реклама — дело рук моего импресарио Аббе и моего поверенного Жарретта, нелепая реклама, зачастую носившая оскорбительный характер, реклама, истинный источник которой стал мне известен гораздо позже, когда было, увы, слишком поздно переубеждать публику, уверенную в том, что я сама спровоцировала всю эту шумиху.

Я отказалась от борьбы. Какая мне разница, чему они верят! Жизнь слишком коротка, даже для долгожителей. Жить стоит лишь для тех, кто хорошо вас знает и ценит и, когда судит, всегда

оправдывает, для тех, к кому вы относитесь с той же нежностью и тем же снисхождением. Все остальное — это толпа, веселая или грустная, преданная или вероломная, от которой следует ждать лишь преходящих чувств, приятных или неприятных эмоций, которые не оставляют никакого следа.

Не стоит слишком много ненавидеть, ибо это утомительное занятие. Надо сильно презирать, часто прощать и никогда не забывать. Простить — не значит забыть, во всяком случае для меня.

Я не воспроизвожу здесь некоторых оскорбительных и подлых нападок: это сделало бы слишком много чести негодяям, которые лепили их из чего придется, обмакивая перья в желчь своих подлых душонок.

Но я утверждаю: убивает одна только смерть. И каждый человек, который хочет защитить себя от клеветы, способен это сделать! Для этого надо жить. А уж это зависит не от нас, а от воли Бога, который все видит и судит!

Перед тем как отправиться в театр, я отдыхала в течение двух дней. Я все еще была во власти морских впечатлений: моя голова немного кружилась, а потолок то и дело ходил ходуном. Две недели, проведенные в море, нарушили мое душевное равновесие.

Я послала режиссеру записку с уведомлением, что репетиция состоится в среду. И сразу же после обеда направилась в «Буф-театр», где должны были проходить наши представления.

Возле служебного входа я увидела плотную толпу озабоченных, размахивающих руками странных людей, не похожих ни на актеров, ни на репортеров.

Увы! Я слишком хорошо знала последних и не могла ошибиться.

Это не была толпа зевак: у них был слишком деловой вид. К тому же толпа состояла исключительно из мужчин.

Когда моя коляска остановилась, один из мужчин бросился к дверце и обернулся к остальным с крикам: «Вот она! Это она!»

И все эти ничем непримечательные люди с руками сомнительной чистоты, но в белых галстуках, в расстегнутых куртках, засаленных и потертых на коленях брюках устремились вслед за мной по узкому коридору, ведущему к лестнице.

Мне было не по себе, и я поднялась по лестнице с быстротой молнии. Наверху меня ждали несколько человек: гг. Аббе, Жарретт, вездесущие, увы, репортеры, двое джентльменов и очаровательная изысканная дама, с которой я подружилась, хотя она недолюбливала французов.

Я увидела, как надменный, сдержанный Аббе любезно и

почтительно раскланялся с одним из моих преследователей. Затем оба направились на середину сцены в сопровождении всей неприятной и шумной компании.

И тут моим глазам предстало неимоверно странное зрелище: на сцене были выставлены сорок два моих чемодана, а между ними по знаку старшего выстроились двадцать человек — по одному на каждые два чемодана. Затем молниеносным движением они стали откидывать крышки чемоданов: правую крышку — правой рукой, левую — левой.

Жарретт, нахмурив лоб и сжав губы, держал ключи, которые он попросил у меня утром для таможенного досмотра.

— О, это ерунда… — говорил он. — Не беспокойтесь.

И я не беспокоилась, привыкнув к тому, что во всех странах с моим багажом обращались крайне бережно.

Главарь банды приблизился ко мне вместе с Аббе. Жарретт только что ввел меня в курс дела: это была таможня, гнусное заведение вообще, а здесь особенно.

Я запаслась терпением и очень приветливо встретила этих игроков на нервах путешественников. Главарь приподнял свой котелок и сказал мне, не вынимая сигары изо рта, нечто невразумительное; затем, обернувшись к своей команде, он резко махнул рукой, отдал короткий приказ, и двадцать пар грязных рук набросились на мои кружева, атлас и бархат.

Я устремилась вперед, чтобы уберечь мои бедные платья от надругательства, и приказала костюмерше вынимать наряды поочередно с помощью моей горничной, которая плакала при виде столь варварского обращения с этими изумительными хрупкими вещами.

Затем появились две суетливые шумные особы Одна из них была толстой и приземистой, с круглыми пустыми глазами, носом, который начинался от корней волос, и выпяченными губами; ее руки робко прятались за тяжелой отвисшей грудью, а бесстыжие колени выпирали прямо из паха, придавая ей сходство с сидящей коровой.

Другая походила на морскую черепаху: ее маленькая и злобная головка сидела на кончике длиннющей, очень жилистой шеи, которая с невероятной быстротой то вытягивалась, то пряталась обратно в меховое боа; прочие ее формы были выпуклыми… как доска…

Обе восхитительные особы были портнихами, которых таможня призвала, чтобы оценить наши костюмы. Завидев мои платья, они окинули меня быстрым косым взглядом, полным испепеляющей ненависти и черной зависти, и я поняла, что в полку моих врагов прибыло.

Эти гнусные мегеры принялись трещать без умолку, спорить до хрипоты, теребить и мять мои платья и пальто, испуская при этом восторженные, полные пафоса возгласы: «О, какая красота! Какое великолепие! Какая роскошь! Все наши заказчицы захотят иметь такие же платья! Но мы никогда не сможем их сшить! Это разорило бы нас, бедных американских портних!..»

Они раззадоривали «тряпичный трибунал» своими стонами и восторгами, призывая защитить их от иностранного вторжения. И мерзкая банда была на их стороне, сплевывая на пол с решительным видом.

Внезапно черепаха бросилась к одному из инквизиторов со словами: «О, какая красота! Смотрите, смотрите!» И она схватила платье из «Дамы с камелиями», расшитое жемчугом.

— Это платье стоит по меньшей мере десять тысяч долларов! — вскричала она. И, подлетев ко мне, спросила: — Сколько вы заплатили за это платье, мадам?

Я промолчала скрепя сердце, мечтая о том, чтобы черепаха очутилась в одной из огромных кастрюль на кухне «Альбемарль-отеля».

Часы пробили половину шестого. Мои ноги окоченели. Я не помнила себя от усталости и с трудом сдерживала гнев.

Продолжение осмотра было перенесено на завтра. Мерзкая банда предложила убрать все обратно в чемоданы, но я отказалась и послала купить пятьсот метров голубого тарлатана, чтобы прикрыть гору платьев, шляп, манто, туфель, кружев, белья, чулок, мехов, перчаток и прочих вещей.

Меня заверили в том, что ничего не пропадет (хорошенькое обещание!), но я оставила своего дворецкого, мужа Фелиси, в качестве сторожа, и ему установили кровать прямо на сцене.

Я до того разнервничалась, что почувствовала потребность развеяться.

Один из приятелей предложил показать мне Бруклинский мост.

— Когда вы увидите этот шедевр американского гения, то позабудете мелкие пакости наших крючкотворов, — мягко уверял он меня.

И мы отправились на Бруклинский мост. Его строительство было еще не завершено, и для осмотра требовалось специальное разрешение. Но экипажи уже пробирались туда тайком. О, этот Бруклинский мост, что за чудовищное изумительное грандиозное сооружение! Гордость переполняет тебя, когда думаешь о том, что человеческий разум создал эту подвешенную на высоте пятидесяти метров от земли невероятную конструкцию, которая способна выдержать разом с десяток набитых до отказа поездов,

дюжину трамваев, сотню колясок, кебов, повозок и тысячи пешеходов в придачу[81].

Все это движется в сопровождении адской музыки кричащего, скрипящего, стонущего, грохочущего под неимоверной тяжестью живого и неживого груза металла.

У меня закружилась голова от ужасного мельтешения машин, трамваев и экипажей, вздымающих на ходу вихри пыли, от которой я начала задыхаться.

Я попросила остановить карету и закрыла глаза. Меня охватило странное неизъяснимое чувство всемирного хаоса.

Когда я открыла глаза, немного успокоившись, то увидела, что Нью-Йорк, простиравшийся передо мной вдоль реки, уже облачился в свой ночной наряд, сверкавший под его мантией из тысячи огней, как небосвод под звездным хитоном.

Я вернулась в гостиницу примиренной с этим великим народом.

Я заснула с тяжестью в теле, но с ясной головой. Мне снились чудесные сны, и наутро я встала в прекрасном настроении. Я обожаю сны, и, когда мне ничего не снится, свет становится мне не мил. Если бы можно было вызывать сновидения по своей воле!.. Сколько раз я пыталась продолжить счастливый день во сне. Засыпая, я вызывала в памяти образы дорогих мне людей. Но, увы, мой разум неизменно сбивался с пути и уносил меня в другую сторону. И все же я предпочитаю сны, какими бы страшными они ни были, полному их отсутствию.

Сон доставляет телу бесконечное наслаждение. Но сон разума — это сущая пытка. Все мое существо восстает против подобного отрицания жизни. Я готова умереть, когда пробьет мой час, но увольте меня от жалкого подобия смерти, каким является ночь без сновидений.

Лишь только я проснулась, как горничная объявила мне, что Жарретт ждет меня, чтобы отправиться в театр и закончить досмотр моих костюмов. Я передала Жарретту, что уже достаточно насмотрелась на банду таможенников, и попросила избавить меня от этого зрелища, взяв с собой госпожу Герар.

В течение двух последующих дней черепаха и сидящая корова вместе со всей бандой подсчитывали размер пошлины, а также срисовывали наши модели для газет и заказчиц.

Я нервничала, так как пора было приступать к репетициям.

Наконец, в четверг утром, я узнала, что работа окончена, но я получу свои чемоданы лишь после того, как уплачу таможне двадцать восемь тысяч франков. И тут меня охватил такой дикий смех, что, взглянув на меня с испугом, бедный Аббе заразился им тоже, и даже Жарретт обнажил свои страшные клыки.

— Мой добрый Аббе, — вскричала я, — уладьте-ка это дело! Я должна дебютировать в понедельник 8 ноября. Сегодня четверг. В понедельник я приеду в театр одеваться. Заполучите назад мои чемоданы, ибо расходы на таможню не предусмотрены контрактом. Тем не менее я заплачу половину от внесенной вами суммы.

Двадцать восемь тысяч франков были вручены атторнею, который возбудил от моего имени дело против таможенной службы.

Мне вернули мои чемоданы, и мы приступили к репетициям в «Буф-театре».

В понедельник 8 ноября в половине девятого занавес поднялся, и началось первое представление «Адриенны Лекуврер». Зал был набит битком. Билеты, проданные и перепроданные втридорога, стоили бешеных денег.

Меня ждали с нетерпением и любопытством, но без доброжелательства.

В зале не было ни одной девушки, поскольку спектакль сочли слишком безнравственным. (Бедная Адриенна Лекуврер!)

Публика вежливо приветствовала артистов моей труппы и проявляла нетерпение в ожидании выхода обещанной им странной особы.

По воле автора первый акт пьесы проходит без участия Адриенны. Некий раздосадованный зритель явился к Анри Аббе со словами: «Я требую свои деньги, так как Бернар играет не во всех актах!» Аббе отказался вернуть деньги этому чудаку. И когда после антракта занавес поднялся, тот побежал опять на свое место.

Мой выход был встречен шквалом аплодисментов, оплаченных, как я полагаю, Аббе и Жарреттом. Я начала читать басню «Два голубя», и нежный звук моего голоса сотворил чудо. Весь зал разразился криками «браво!».

Между мной и зрителями установился контакт. Вместо обещанного истеричного скелета перед ними предстало очень хрупкое существо с нежным голосом.

Четвертый акт потонул в овациях. Бунт Адриенны против принцессы де Буйон потряс весь зал.

И наконец пятый акт, в котором несчастная актриса мучительно умирает от яда соперницы, вылился во взволнованную демонстрацию чувств. После третьего акта, насколько я помню, дамы послали своих кавалеров задействовать всех свободных музыкантов. И трудно передать словами мое изумление и радость, когда, приехав в отель, я услышала в свою честь дивную серенаду.

Целая толпа собралась под окнами «Альбемарль-отеля». И мне пришлось несколько раз выходить на балкон, чтобы приветствовать и благодарить публику, которую мне расписали как холодную в общем и настроенную против меня в частности.

Я выразила также горячую признательность всем своим хулителям и клеветникам, которые заставляли меня сражаться, вселяя радостную уверенность в победе. Победа оказалась прекраснее, чем я предполагала.

Я дала в Нью-Йорке двадцать семь представлений. Это были: «Адриенна Лекуврер», «Фруфру», «Эрнани», «Дама с камелиями», «Федра», «Сфинкс», «Иностранка». Средний сбор составил двадцать тысяч триста сорок два франка за спектакль, включая утренники.

Последнее представление состоялось утром 4 декабря, так как вечером того же дня моя труппа отправлялась в Бостон. Я выкроила этот вечер для визита к Эдисону в Менло-Парк, где меня ждал сказочный прием.

О, мне никогда не забыть утреннего спектакля б субботу 4 декабря! Я приехала в театр в полдень, чтобы успеть загримироваться, так как спектакль начинался в половине второго. Мой экипаж остановился, не доехав до театра: вся улица была заставлена стульями из соседних магазинов и складными, принесенными из дома, стульчиками, на которых восседали дамы. (В тот день давали «Даму с камелиями».) Мне пришлось выйти из экипажа и пройти метров двадцать пешком до служебного входа. Это заняло у меня почти полчаса. Все пожимали мне руки и просили приезжать еще. Одна из женщин сняла с себя брошь и приколола к моему пальто. Это была скромная брошь из аметистов, обрамленных мелким жемчугом, но для этой женщины она представляла несомненную ценность.

Меня останавливали на каждом шагу. Какая-то дама вытащила свою записную книжку и попросила вписать в нее мое имя. Другие тут же последовали ее примеру. Совсем молодые люди, которые пришли со своими родителями, подставляли мне для автографов манжеты. Я выбивалась из сил под тяжестью охапок цветов. Вдруг я почувствовала, что кто-то довольно сильно дергает меня сзади за перо шляпы. Я живо обернулась и увидела женщину с ножницами в руках, которая пыталась срезать у меня прядь волос, а отрезала мое перо.

Жарретт покрикивал и махал руками, но все было тщетно: проход был закрыт. Тогда нам на помощь позвали полицейских, которые принялись разгонять толпу, не церемонясь ни с моими поклонницами, ни со мной. Я потеряла много времени и начала сердиться.

Мы сыграли «Даму с камелиями». Меня вызывали семнадцать раз после третьего акта и двадцать девять после пятого. Из-за аплодисментов и многократных выходов спектакль продолжался на час больше обычного. Я не чуяла под собой ног от усталости.

Я уже собиралась садиться в экипаж, чтобы вернуться в отель, но тут пришел Жарретт и предупредил меня, что у входа собралось более пяти тысяч человек. У меня подкосились ноги, и я упала на стул в отчаянии:

— Ах, я подожду, пока толпа схлынет. У меня нет больше сил…

И вдруг Генри Аббе осенило.

— Послушайте, — сказал он моей сестре, — наденьте-ка шляпу мадам, ее боа и возьмите меня под руку. Ах да! Захватите также эти букеты, давайте я вам помогу… А теперь пройдем в экипаж вашей сестры и поприветствуем публику.

Он произнес все это по-английски, а Жарретт перевел его слова моей сестре, которая охотно приняла участие в этом розыгрыше. А мы с Жарреттом тем временем сели в двухместную карету Аббе, которая стояла перед фасадом театра, где нас никто не ждал. К счастью, наш маневр удался. Моя сестра вернулась в «Альбемарль-отель» только час спустя, очень усталая, но довольная. Наше сходство, мои шляпа и боа, а также сумерки сделали свое дело в маленькой комедии, обманувшей восторженную публику.

В девять часов мы должны были отбыть в Менло-Парк. Следовало одеться по-походному, так как на следующий день, в воскресенье, мы собирались ехать в Бостон; мои чемоданы отправились туда, вместе со всей труппой в тот же вечер.

Наш ужин был, как всегда, отвратителен, ибо пища в Америке была в ту пору совершенно несъедобной. В десять часов мы сели в увешанный гирляндами цветов и украшенный флагами поезд, который любезно выделили специально для меня. Но путешествие оказалось очень утомительным, так как наш состав то и дело останавливался, пропуская проходящие поезда и локомотивы либо ожидая перевода стрелки.

Только в два часа ночи мы прибыли на конечную станцию — Менло-Парк, где находилась резиденция Томаса Эдисона. Стояла глубокая темная ночь. Тяжелые хлопья снега бесшумно падали на землю. Поджидавшая нас карета освещала нам путь своим слабым огоньком — все электрические фонари на станции были погашены.

Я брела, опираясь на руку Жарретта, в сопровождении нескольких друзей, следовавших за нами от самого Нью-Йорка. Падавший снег замерзал от сильного холода, и мы ступали по

острым и хрупким льдинкам.

Позади легкого кабриолета стояла более тяжелая коляска без фонаря, запряженная одной лошадью. Она могла вместить пять-шесть человек, а нас было десять. Жарретт, Аббе и мы с сестрой сели в первый экипаж, а все остальные забрались в другой.

Мы были похожи на заговорщиков: две загадочные кареты под покровом ночи в гробовой тишине, которую нарушало лишь шуршание наших меховых одежд, беспокойные взгляды по сторонам — все это придавало нашему визиту к великому Эдисону водевильный характер.

Экипажи тронулись, увязая в снегу. Нас ужасно трясло, и каждый миг мы ждали какого-нибудь трагикомического происшествия.

Сколько времени продолжался наш путь, не могу сказать точно. Плавное покачивание кареты убаюкало меня, и я мирно дремала, закутанная в свои жаркие меха, как вдруг мощное «Гип-гип-ура!» заставило меня и всех моих спутников, не исключая кучера и лошадей, вздрогнуть от неожиданности. Внезапно местность осветилась. Все вокруг — кроны и подножия деревьев, кусты и дорожки аллей — было залито ослепительным торжествующим светом.

Колеса совершили еще несколько оборотов, и мы оказались перед домом знаменитого Томаса Эдисона.

На веранде нас встречали несколько человек: четверо мужчин, две дамы и молодая девушка.

Мое сердце забилось: кто же из мужчин — Эдисон? Я никогда не видела фотографии этого гениального человека.

Я спрыгнула на землю. Благодаря ослепительному электрическому свету ночь превратилась в яркий день. Я приняла букет из рук госпожи Эдисон и, обратившись к ней со словами благодарности, продолжала искать глазами великого изобретателя. Четверо мужчин дружно направились ко мне. Один из них слегка покраснел, и по особенно тревожному блеску его голубых глаз я узнала в нем Эдисона.

Я смутилась, чувствуя себя неловко оттого, что причиняю этому человеку беспокойство. Он расценивал мой визит как простое любопытство жадной до рекламы иностранки, уже предвидя завтрашние интервью со всеми глупостями, которые будут из него вытягивать, и заранее страдал от моих праздных вопросов и собственных вежливых разъяснений — в эту минуту Томас Эдисон смотрел на меня с неприязнью.

В голубых глазах застенчивого ученого, светившихся ярче всех его раскаленных ламп, я без труда прочла его сокровенные мысли и призвала на помощь все свои чары, чтобы покорить этого

чудесного человека.

Я так старалась, что полчаса спустя мы стали лучшими друзьями. Он показывал мне свои владения, и я карабкалась вслед за ним по узким и отвесным, словно трапы, лестницам, переходила мосты, висевшие над сущей преисподней, и слушала его разъяснения. Ничто не ускользало от моего внимания, и он, этот простой и обаятельный король света, восхищался мной все больше и больше.

В то время как мы стояли на легком шатком мосту над страшной пропастью, в которой вращались со скрежетом огромные колеса, стянутые широкими ремнями, он отдавал приказы своим четким голосом, и свет вспыхивал со всех сторон — то в виде зеленоватых шипящих фонтанов, то быстрых зарниц, а порой огненные ручьи струились лентами серпантина.

Я смотрела на этого человека среднего роста с массивной головой и благородным профилем и вспоминала Наполеона I. Без сомнения, между ними было большое физическое сходство, и я уверена, что в их мозгу нашлись бы тождественные клетки. Разумеется, я не сравниваю обоих гениев — «гения разрушения» и «гения созидания». Но, питая отвращение к войнам, я страстно люблю победу и посему, невзирая на все ошибки Наполеона, воздвигла в своем сердце алтарь этому богу смерти и славы!

Я смотрела на Эдисона в глубокой задумчивости, мысленно сопоставляя его с образом великого покойного.

От оглушительного грохота машин и ослепляющих вспышек света у меня закружилась голова и чувство опасности притупилось во мне до такой степени, что, позабыв обо всем, я беззаботно свесилась над бездной. Сознание вернулось ко мне лишь в кресле соседней комнаты, куда силой увлек меня Эдисон. Я ничего не помнила, и он рассказал мне немного погодя, что со мной случился легкий обморок.

Любезно показав нам свои изобретения, в том числе удивительный фонограф, Эдисон повел меня под руку в столовую, где собралась вся его семья.

Я очень устала и отдала должное радушно приготовленному для нас ужину.

Я покидала Менло-Парк в четыре часа утра. На сей раз вся местность, дороги и станция были освещены a giorno[82] тысячами огней гостеприимного ученого. Ночь проделала со мной странную шутку: мне показалось, что мы совершили долгий путь по непроторенной дороге, а оказалось, что наш путь был совсем близким и дороги прекрасными, хотя и засыпанными снегом. Моя фантазия разыгралась по пути к дому Эдисона, но реальность вернула все на круги своя по дороге на станцию.

Изобретения великого ученого привели меня в восторг, а его мягкое, застенчивое, учтивое обхождение и страстная любовь к Шекспиру вконец меня очаровали.

16

Назавтра, точнее, в тот же день, так как было уже четыре часа утра, я отправилась в Бостон.

Мой импресарио господин Аббе оборудовал для меня дивный вагон, правда, несколько уступавший великолепному пульмановскому вагону, в котором мне предстояло продолжать гастрольную поездку после Филадельфии. Тем не менее, войдя в свое купе, я испытала подлинное эстетическое наслаждение: широкая мягкая кровать в центре сияла начищенной медью; кресло, хорошенький туалетный столик и корзинка с бантами для моей собачки радовали глаз; повсюду были цветы, цветы с приятным нерезким запахом.

В соседнем купе разместился с комфортом мой персонал.

Я заснула умиротворенной и проснулась уже в Бостоне. На вокзале нас встречала большая толпа: репортеры и множество зевак обоего пола. Это была скорее любопытствующая, нежели дружелюбная публика, которая не проявляла к нам ни добрых чувств, ни восторга.

Целый месяц общественное мнение Нью-Йорка было приковано ко мне: меня то критиковали, то превозносили до небес и на мою голову был вылит целый ушат глупой, грязной клеветы Некоторые осуждали меня за презрение, которым я отвечала на эти гнусные нападки. Наконец все признали, что последнее слово осталось за мной, и я одержала верх вопреки всем и вся.

Бостонцы слышали, как протестантские пасторы вещали с кафедры, будто я послана Старым Светом с целью развратить Новый, поскольку мое искусство — дело рук дьявола, и т. д. Это было известно, но публика хотела увидеть все своими глазами.

Бостон принадлежит женщинам. Легенда гласит, что женская нога ступила первой на землю этого города. Женщины составляют в нем большинство; их отличает пуританство без фанатизма и независимость без крайностей.

Я прошла сквозь эту странную, любезную и сдержанную толпу и уже собиралась садиться в карету, как вдруг ко мне подошла незнакомая дама.

— Добро пожаловать в Бостон, мадам! Добро пожаловать, мадам! — произнесла она, протягивая мне свою маленькую мягкую руку (у американок вообще прелестные руки и ноги). За ней с улыбками потянулись и другие. Мне пришлось ответить на множество рукопожатий. Я сразу же прониклась к этому городу нежностью. Однако вскоре я пережила сильный испуг: на

подножку увозившего меня экипажа вскочил репортер, превзошедший всех в наглости и упорстве. Я оттолкнула нахала со злостью, но Жарретт, предвидевший мой порыв, удержал его за воротник, иначе тот шлепнулся бы на мостовую (чего и заслуживал!).

Этот подозрительный субъект выпалил на чистейшем французском языке: «В котором часу вы пойдете завтра на кита?» Я была ошарашена.

— Это сумасшедший, — прошептала я Жарретту.

Но репортер услыхал мои слова и ответил:

— Нет, мадам, я не сумасшедший, и мне хотелось бы знать точно, в какое время вы отправитесь завтра утром к киту. Может быть, лучше было бы пойти к нему сегодня вечером, так как есть опасение, что кит умрет этой ночью, и будет очень жаль, если вы не застанете его в живых.

Незнакомец тем временем уже почти уселся рядом с Жарреттом, который все еще держал его за воротник, чтобы тот не выпал из кареты.

— Но, сударь, — вскричала я, — что это еще за сказки про кита?

— Ах, мадам, это замечательный кит! Огромный кит! Он лежит в бассейне, и день и ночь рабочие обкалывают вокруг него лед!

Внезапно, вытянувшись на подножке во весь рост, он ухватился за кучера: «Стойте, да стойте же! Эй, Генри, идите сюда! Вот, мадам, вот и он!»

Карета остановилась. Спрыгнув на землю, репортер бесцеремонно втолкнул в мое ландо маленького квадратного человечка в меховой шапке, надвинутой на глаза, на галстуке которого сверкал огромный бриллиант. Незнакомец являл собой странный тип янки старой закваски. Не говоря ни слова по-французски, он развалился рядом с Жарреттом как у себя дома, в то время как репортер сохранял свою полувисячую позу.

Мы выехали с вокзала втроем, а приехали в отель «Ван-дом», где множество людей ждали моего прибытия, впятером. Я стыдилась своего нового спутника. Он кричал, хохотал, кашлял, плевался, говорил со всеми сразу и приглашал всех подряд. И все, казалось, были от этого в восторге.

Юная девушка умоляла отца: «Ну, папа, прошу тебя, давай туда сходим». «Хорошо, — отвечал тот, — но сначала нужно спросить разрешения у мадам». И он обратился ко мне с изысканной учтивостью:

— Не будете ли возражать, сударыня, если завтра мы присоединимся к вашим друзьям, чтобы посмотреть на кита?

— Сударь, — ответила я, радуясь в душе, что наконец-то имею дело с хорошо воспитанным человеком, — я не знаю, о чем идет речь. Уже четверть часа этот репортер вместе с вон тем странным человеком толкуют мне о каком-то ките и утверждают, что я должна нанести ему визит, а я и понятия ни о чем не имею. Эти господа взяли мою карету штурмом, расселись в ней без моего разрешения и, как вы видите, приглашают от моего имени незнакомых мне людей отправиться вместе со мной в неведомое мне место в гости к киту, который якобы ждет меня не дождется, чтобы отдать Богу душу.

Любезный джентльмен подал знак своей дочери следовать за нами, и вместе с Жарреттом и госпожой Герар мы вошли в лифт, который привез нас к дверям моих апартаментов.

Они были украшены ценными картинами, восхитительными безделушками и великолепными статуями. Увидев среди этих прекрасных произведений искусства две-три очень редкие и дорогостоящие вещи, я почувствовала беспокойство за их сохранность и поделилась своими опасениями с хозяином гостиницы. В ответ он сказал:

— Господин…, которому принадлежат эти вещи, хочет, чтобы они оставались у вас, мадемуазель, до конца вашего пребывания. Я выразил ему те же опасения, но он ответил, что это его не волнует.

Картины являлись собственностью двух бостонских богачей. Одна из них принадлежала кисти Милле, и мне очень хотелось ее заполучить.

Налюбовавшись чудесными вещами и выразив свою признательность, я попросила прояснить мне историю с китом. Господин Макс Гордон, отец девочки, перевел мне слова человечка в меховой шапке. Он являлся владельцем нескольких судов, которые вели лов трески, что приносило ему немалую прибыль. На одном из них поймали огромного кита, раненного двумя гарпунами. Обессилевшее животное, которое билось в нескольких милях от берега, стало легкой добычей и было доставлено с триумфом судовладельцу Генри Смиту.

Что навело этого человека на мысль использовать кита и мое имя в целях обогащения, остается для меня загадкой. Он проявил в этом деле такую неистощимую изобретательность и страстную настойчивость, что на следующий день, в семь часов утра, пятьдесят человек дружно направились под проливным дождем к портовому бассейну. Господин Гордон велел запрячь свою карету четверкой прекрасных лошадей и уселся на место кучера. Его дочь, Жарретт, моя сестра, госпожа Герар и пожилая дама, имя которой я позабыла, сели вместе с нами. Следом ехали еще семь

экипажей. Мы веселились от души.

На пристани нас встречал нелепый Генри, на сей раз с головы до пят закутанный в шубу, в больших шерстяных рукавицах. Только глаза и огромный бриллиант сверкали из-под его мехов.

Сгорая от любопытства, я спустилась на пристань. Там столпились репортеры и несколько зевак.

Внезапно мохнатая лапа Генри схватила меня за руку и потащила за собой. Раз десять на пути к лестнице я могла бы сломать себе шею, он подтолкнул меня, и, кубарем скатившись по ступенькам бассейна, я очутилась на спине кита, который как будто еще дышал… Бедное животное слегка покачивалось на воде, накатывавшей на него с тихим плеском. Кит был покрыт корочкой льда, и два раза я растянулась на его спине. Теперь мне смешно, но тогда я была в ярости.

Между тем вокруг раздавались призывы вырвать у несчастного узника ус, один из тех, что используют в женских корсетах. Меня охватило беспокойство. Я боялась причинить лишние страдания бедному гиганту, по спине которого мы втроем — Генри, маленькая мисс Гордон и я — катались уже десять минут! Наконец я решилась, вырвала у кита короткий ус и поднялась по лестнице со своим печальным трофеем. Меня тут же обступили со всех сторон и принялись пожимать мне руки.

Я нервничала и сердилась на Генри Смита. Мне не хотелось снова садиться в карету Гордона, и я решила спрятать свое дурное настроение в глубине одного из сопровождавших нас мрачных ландо, но маленькая мисс Гордон спросила: «Почему?», и ее улыбка вмиг растопила мой гнев.

— Не хотите ли править экипажем? — сказал мне ее отец.

— О да, с удовольствием!

Заслышав это, Жарретт принялся спускаться с предельной скоростью, на какую был способен.

— Если вы будете править, я лучше сойду, — сказал он и пересел в другую карету.

Я решительно уселась на место Гордона и взяла в руки поводья, но не проделали мы и ста метров, как лошадей занесло на тротуар и наша карета въехала в аптеку на набережной. Если бы не быстрые и энергичные действия господина Гордона, мы все бы погибли.

Вернувшись в отель, я пролежала в постели до начала представления.

Вечером мы играли «Эрнани». Зал был полон. Места продавались с аукциона, и стоимость их достигла внушительных размеров. Мы дали в Бостоне пятнадцать представлений, и средний сбор с каждого составил девятнадцать тысяч франков.

Я уезжала из Бостона с сожалением. Я провела в этом городе две чудесные недели, с удовольствием общаясь с его жительницами, которые, будучи пуританками до мозга костей, начисто лишены фанатизма и нетерпимости. Больше всего меня поразили гармоничность их жестов и мелодичность голосов.

Воспитанная в самых строгих и суровых правилах, бостонская порода представляется мне наиболее благородной и таинственной из всех американских пород. Женщины составляют здесь большинство, и многие из них остаются старыми девами. Они употребляют все свои жизненные силы, не нашедшие выхода в любви и материнстве, на то, чтобы укреплять и поддерживать красоту своего тела с помощью спортивных упражнений, которые не наносят ущерба их грации. Они предаются также интеллектуальным занятиям и от всей души обожают музыку, театр, литературу, живопись и поэзию. Бостонские женщины целомудренны и сдержанны, они всё понимают, всё знают, смеются негромко и говорят вполголоса. Они столь же далеки от латинской расы, как северный полюс от южного, но это интересные, прелестные и пленительные женщины.

Итак, я покидала Бостон с тяжелым сердцем. Мой путь лежал в Нью-Хейвен. Прибыв в нью-хейвенский отель, я столкнулась там, к своему великому изумлению, с Генри Смитом, хозяином кита.

— О Господи! — вскричала я, падая в кресло. — Что еще нужно от меня этому человеку?

Ответ не замедлил последовать. Заслышав адский грохот барабанов, труб и, кажется, кастрюль, я бросилась к окну и увидела карету необъятных размеров, окруженную группой негров. На карете красовалась чудовищная пестрая афиша, изображавшая мой поединок с китом, а точнее, тот миг, когда я вырываю у него ус. За ней следовали люди с плакатами на груди и спине, на которых значилось следующее: «Спешите видеть огромного кашалота, убитого Сарой Бернар, которая вырвала у него усы для своих корсетов, сшитых госпожой Лили Ноэ. Ее адрес…» и т. д.

На других плакатах можно было прочесть: «Кит чувствует себя не хуже, чем при жизни! У него в желудке — на пятьсот долларов соли! Каждый день под ним меняют лед на сумму в сто долларов!»

Я побелела и, стуча зубами от ярости, не могла вымолвить ни слова.

Когда Генри Смит приблизился ко мне, я дала ему пощечину и убежала в свою комнату, где разрыдалась от усталости и отвращения.

Я решила тотчас же вернуться в Европу, но Жарретт указал мне на контракт. Я требовала запретить гнусное зрелище, и мне пообещали это, чтобы успокоить, но все осталось по-прежнему. Два дня спустя, когда я приехала в Хартфорд, кит был уже тут как тут: он совершал турне по тому же маршруту. В него сыпали все больше соли, подкладывали под него все больше льда. И он шел за мной по пятам, преследуя меня даже во сне. Каждый раз, приезжая в новый город, я затевала против Смита судебное дело. В любом другом государстве суд был бы на моей стороне, но в этой стране были свои законы.

По прибытии в очередной отель я неизменно находила у себя в номере огромный букет с гнусной визитной карточкой вездесущего судовладельца. Я швыряла цветы на пол и топтала их ногами, несмотря на всю свою любовь к цветам.

Жарретт встретился с этим человеком и попросил его не присылать мне больше цветов. Но это не помогло: Смит мстил мне за пощечину.

К тому же он не мог взять в толк, отчего я рассердилась. Он делал бешеные деньги и даже предложил мне часть процентов от прибыли. Ах, с каким удовольствием я убила бы ненавистного Смита, который отравил мне жизнь! Во всех городах я видела одно и то же. Я выходила из отеля с закрытыми глазами только тогда, когда нужно было ехать в театр. Заслышав звуки труб, я подпрыгивала и менялась в лице. Я чуть было не заболела. Даже ночью мне снился один и тот же бесконечный кошмар.

Наконец я покинула Хартфорд, предварительно посетив большой завод, на котором делают знаменитые кольты.

Я купила там два пистолета.

Жарретт поклялся, что ноги Генри Смита не будет в Монреале, сославшись на его внезапную болезнь. Подозреваю, что мой импресарио подсунул ему какое-то сильнодействующее слабительное: в пути этот суровый джентльмен то и дело покатывался со смеху. Я не знала, как его благодарить за то, что он наконец-то избавил меня от моего мучителя.

17

И вот наконец-то мы — в Монреале.

Очень давно, с раннего детства, я мечтала о Канаде.

Я слышала то и дело, как мой крестный с негодованием сетовал на Францию, уступившую эту территорию Англии. Я слушала, не очень-то понимая, о чем идет речь, как он перечисляет преимущества Канады: денежные выгоды, бесценные богатства, скрытые в ее недрах, и т. д. И эта далекая страна стала для меня желанной землей.

Проснувшись от пронзительных гудков паровоза, я спросила, который час. Мне ответили, что уже одиннадцать часов вечера.

До прибытия оставалось не более четверти часа. Черное небо нависло над нами словно щит. Редкие семафоры высвечивали белизну слежавшихся сугробов.

Неожиданно поезд остановился, а затем возобновил свой ход, но так медленно и робко, точно боялся сойти с рельсов. И тут до моего слуха донесся приглушенный, нараставший с каждой минутой шум. Вскоре шум превратился в музыку, и оглушительные, грянувшие разом из тысячи глоток крики «Ура! Да здравствует Франция!» вместе с неистовыми звуками оркестра, яростно игравшего «Марсельезу», приветствовали наше прибытие в Монреаль.

В ту пору местный вокзал был очень тесным. Узкая платформа была отгорожена довольно высокой насыпью.

С площадки своего вагона я наблюдала, волнуясь, странное зрелище: насыпь ощетинилась вставшими на дыбы медведями, державшими в лапах зажженные фонари. Их было несколько сотен. И на перроне тоже толпились огромные медведи и совсем маленькие медвежата! Я спрашивала себя с тревогой, каким образом доберусь до своих саней…

Жарретт и Аббе заставили толпу отступить, и я спустилась на землю. Тут же один депутат, фамилии которого я не могу разобрать в своих записях (спасибо моему почерку!), приблизился ко мне, чтобы вручить адрес, подписанный знатными людьми города.

Я по благодарила его от всей души и приняла великолепный букет от имени тех, кто подписал адрес. Поднеся цветы к лицу, чтобы вдохнуть их аромат, я слегка поранилась о прелестные лепестки, обледеневшие на морозе.

Между тем мои руки и ноги совсем окоченели. Стужа пронизывала меня насквозь — такой холодной ночи, по-видимому, не было здесь уже много лет.

Женщины, пришедшие встречать французских актеров, были вынуждены укрыться в помещении вокзала, за исключением госпожи Жос. Дутр, которая вручила мне букет редких цветов и расцеловала меня.

На градуснике было минус двадцать два. Я прошептала на ухо Жарретту: «Пойдемте, иначе я превращусь в ледышку. Через десять минут я не смогу сдвинуться с места». Жарретт перевел мои слова Аббе, который обратился к начальнику полиции. Тот отдавал приказы по-английски, а другой полицейский переводил его на французский язык. Но мы смогли проделать лишь несколько метров. Вокзал был еще далеко, а толпа становилась все гуще. В какой-то миг я почувствовала, что теряю сознание. Я собрала свою волю в комок, держась или, точнее, цепляясь за Жарретта и Аббе. Каждую секунду я боялась упасть, так как платформа превратилась в сплошной каток.

Однако вскоре нам пришлось остановиться. Свет сотен фонарей, которые держали студенты, ударил нам в лицо. Высокий юноша отделился от толпы и направился ко мне с длинным свитком в руках. Он развернул его и воскликнул звонким голосом: «Саре Бернар!»

Далее последовало длинное стихотворное послание в мою честь, которое сочинил Луи Фрешетт[83].

Он читал превосходно, но эти стихи, обрушившиеся при двадцатидвухградусном морозе на голову несчастной женщины, оглушенной неистовой «Марсельезой» и тысячекратным «ура!» исступленных патриотов, переполнили чашу терпения.

Я старалась изо всех сил держаться, но усталость взяла верх, и все вокруг закружилось в ритме бешеной фарандолы. Я почувствовала, как меня подхватили на лету, и услышала голос как бы из другого мира: «Дорогу! Дорогу нашей француженке!» Тут я потеряла сознание и очнулась уже в комнате отеля «Виндзор».

Моя сестра Жанна была отрезана от меня людским потоком, но поэт Фрешетт, французский канадец, взял ее под свою опеку и доставил чуть позже в отель в целости и сохранности. Она была смертельно перепугана из-за меня и рассказала следующее:

«Представь себе, что в тот миг, когда на тебя наступала толпа, я увидела, как ты закрыла глаза, склонившись на плечо Аббе. Меня охватил ужас, и я закричала: „На помощь! Мою сестру убивают!" Я совсем потеряла голову. И тут какой-то мужчина огромного роста, который уже давно следовал за нами, сдерживая локтями и спиной бешеный натиск исступленной толпы, резким рывком бросился к тебе, чтобы задержать твое падение. Этот человек, лицо которого было почти полностью скрыто от меня его

меховой шапкой-ушанкой, подхватил тебя как пушинку и обратился к толпе по-английски. Я ничего не поняла из его слов, но они подействовали на канадцев, и толпа тут же прекратила напирать и образовала два плотных ряда с проходом посередине. Уверяю тебя, это было очень трогательное зрелище: ты, такая хрупкая и слабая, с запрокинутой назад головой, на руках у этого Геркулеса. Я следовала за вами, стараясь не отстать, но наступила на подол своей юбки и вынуждена была остановиться. Этого мига было достаточно, чтобы нас разлучить. Толпа, пропустив тебя, вновь встала неприступной стеной. Милая сестра, мне стало не по себе, но меня спас господин Фрешетт…»

Я пожала руку этому любезному человеку и поблагодарила его, на сей раз от чистого сердца, за посвященное мне произведение. Затем я заговорила с ним о его стихах, сборник которых приобрела только в Нью-Йорке, так как, к своему стыду, до отъезда из Франции ничего не слышала о Фрешетте, хотя он был уже немного известен в Париже. Я отметила наиболее понравившиеся мне строфы, и он был очень тронут моим отзывом. Поэт поблагодарил меня, и мы расстались друзьями.

На следующее утро не пробило и девяти, как мне принесли визитную карточку, на которой было написано: «Сударыня, тот, кто имел счастье Вас спасти, умоляет уделить ему минуту внимания». Я велела ввести посетителя в гостиную и, предупредив Жарретта, разбудила сестру со словами: «Пойдем со мной». Она накинула китайский пеньюар, и мы направились в огромную гостиную — по моим апартаментам, состоявшим из нескольких комнат, гостиной и столовой, следовало разъезжать на велосипеде, до того они были необъятны.

Я открыла дверь и замерла, пораженная красотой стоявшего передо мной человека. Высокого роста, широкоплечий, с небольшой головой и густой курчавой шапкой волос, этот смуглый мужчина с твердым взглядом был красив какой-то тревожащей красотой. Завидев меня, он слегка покраснел. Я выразила ему признательность, извинившись за свою досадную слабость, и с радостью приняла из его рук букет фиалок.

Уходя, он сказал мне вполголоса:

— Сударыня, если вы когда-нибудь узнаете, кто я такой, поклянитесь мне помнить лишь о той небольшой услуге, которую я вам оказал.

В тот же миг вошел Жарретт, бледный как смерть. Он приблизился к незнакомцу и заговорил с ним по-английски, но все же я смогла разобрать несколько слов: «Детектив… дверь… убийство… невозможность… Новый Орлеан…»

Смуглое лицо гостя стало белее мела. Он поглядывал на

дверь, и его ноздри раздувались от волнения. Затем, убедившись, что бежать невозможно, он смерил Жарретта взглядом, проронил резким бесстрастным голосом: «Well!» — и направился к двери.

Мои пальцы разжались от испуга, и я выронила свой букет. Незнакомец подобрал цветы и посмотрел на меня умоляюще-вопросительно. Я поняла его без слов и громко произнесла: «Клянусь вам, сударь».

Мужчина исчез, унося с собой цветы. Я слышала гомон людей за дверью и шум толпы на улице, но ни о чем не спрашивала. Моя романтичная взбалмошная сестрица попыталась поведать мне ужасную историю, но я заткнула уши. Когда четыре месяца спустя мне хотели огласить обвинительный акт этому человеку, приговоренному к смертной казни через повешение, я отказалась слушать.

И сегодня, двадцать шесть лет спустя, я не желаю вспоминать ни о чем, кроме оказанной мне услуги и данного мной слова.

Этот случай навеял на меня печаль. Но гнев епископа Монреаля вернул мне мою веселость. Почтенный прелат, заклеймив с кафедры безнравственную французскую литературу, запретил своей пастве появляться в театре. Он прочел страстную и гневную проповедь в адрес современной Франции.

Что касается пьесы Скриба «Адриенна Лекуврер», он разгромил ее в пух и прах, обрушившись на якобы аморальную любовь актрисы и героя, а также на преступную страсть принцессы де Буйон. Но истина пробилась на свет вопреки всем его усилиям, и он закричал с удвоенной яростью: «Придворный аббат, действующий в данном гнусном сочинении французских авторов, является, вследствие бесстыдства его речей, прямым оскорблением всего духовенства!»

А в довершение всего он предал анафеме покойного Скриба и Легуве, а заодно и меня со всей моей труппой.

В результате этого публика хлынула в театр со всех сторон, и четыре представления: «Адриенна Лекуврер», «Фруфру», «Дама с камелиями» (утренний спектакль) и «Эрнани» прошли с колоссальным успехом, принеся невиданные сборы.

Поэт Фрешетт и банкир, имени которого я не помню, позвали меня посмотреть на ирокезов. Я с радостью согласилась и отправилась в путь со своей сестрой, Жарреттом и Анжело, сопровождавшим меня во всех рискованных предприятиях, ибо я чувствовала себя в безопасности рядом с этим мужественным, хладнокровным артистом, наделенным геркулесовой силой. Для полного совершенства ему недоставало лишь таланта, которого он был начисто лишен.

Река Св. Лаврентия почти полностью замерзла, и мы

перебрались через нее в четырех экипажах по дороге, обозначенной двумя рядами прутьев, воткнутых в лед.

Поселок Кангнанвага расположен в пяти километрах от Монреаля. Дорога к ирокезам была просто изумительной. По прибытии меня представили вождю, отцу и главе всех ирокезских племен. Увы! Этот так называемый вождь, одетый в поношенные европейские тряпки сын Большого Белого Орла, прозванный в детстве Ночным Солнцем, занимался торговлей спиртным, нитками, иголками, пенькой, свиным жиром, шоколадом и тому подобным.

Когда-то он бегал нагишом по девственным лесам своей еще свободной от рабства земли, а теперь от его вольного бега осталось лишь тупое недоумение быка со скрученными рогами. Сегодня он продает водку и припадает, подобно другим, к этому источнику забвения.

Ночное Солнце представил мне свою дочь лет восемнадцати — двадцати, лишенную всяческой привлекательности и грации. Она села за пианино и сыграла какой-то популярный мотивчик.

Я поспешила покинуть эту лавку — пристанище двух жертв цивилизации[84].

Посещение Кангнанваги не доставило мне никакого удовольствия и навеяло на меня тоску. Я возмутилась низостью людей, скрывавших под именем цивилизации вопиющие и узаконенные преступления, и вернулась в город усталой и опечаленной.

Наши четыре представления прошли в Монреале с небывалым успехом в немалой степени благодаря шумному и веселому присутствию студентов. Ежедневно двери театра открывались для них за час до спектакля. И они устраивались на галерке по своему усмотрению.

Наделенные в большинстве превосходными голосами, студенты делились на группы в зависимости от песен, которые собирались петь. Затем они готовили из крепких бечевок воздушный путь, по которому корзины с цветами спускались с их райка на сцену, а также повязывали на шеи голубкам ленты с пожеланиями, сонетами, изречениями.

Цветы и голубки сбрасывались во время вызовов и падали к моим ногам: первые — благодаря безотказному действию воздушной дороги, вторые — вследствие птичьего испуга. Каждый вечер я получала эти милые посылки.

На первом же спектакле я испытала сильное волнение. Маркиз де Лорн, зять королевы Виктории, отличался королевской точностью, и студентам это было известно. Зал содрогался от гула. Сквозь щель занавеса я пыталась определить состав

публики. Внезапно без всякого видимого повода установилась полная тишина, и несколько сотен молодых горячих голосов запели «Марсельезу».

Губернатор с предупредительностью, исполненной величия, поднялся с места при первых звуках нашего государственного гимна. В один миг весь зал был на ногах, и великолепное пение звучало в наших сердцах зовом родины. Никогда еще исполнение «Марсельезы» не приводило меня в такое волнение.

Как только пение закончилось, раздались аплодисменты, не смолкавшие до тех пор, пока по короткому взмаху руки губернатора оркестр не заиграл «God Save the Queen!»[85].

Я никогда не видела более гордого и благородного жеста, чем тот, которым маркиз де Лорн подал знак дирижеру. Он позволил сыновьям покоренных французов выразить свое сожаление и призрачную надежду и, первым поднявшись с места, почтительно слушал их громкий стон, но заглушил его финальное эхо звуками государственного гимна Великобритании. Будучи англичанином, он, бесспорно, имел на это право.

Наш последний спектакль — «Эрнани» — пришелся на 25 декабря, день Рождества.

Монреальский епископ все еще метал громы и молнии против меня, Скриба, Легуве и моих бедных актеров, требуя во что бы то ни стало отлучить всех нас от церкви. В ответ на его яростные нападки поклонники Франции и ее искусства распрягли моих лошадей, и огромная толпа, среди которой были депутаты и другие почетные лица города, подхватила мои сани.

Достаточно взять в руки тогдашние газеты, чтобы убедиться, какой потрясающий эффект произвело это торжественное шествие к моему отелю.

На следующее утро, в воскресенье, я отправилась с Жарреттом и сестрой на прогулку вдоль берега реки Св. Лаврентия.

Вскоре я остановила карету, чтобы немного размяться. Сестра предложила мне, смеясь:

— А что, если нам взобраться на ту большую льдину, которая того и гляди расколется?

Сказано — сделано. И вот мы уже расхаживаем по льдине, пытаясь ее отколоть. Вдруг страшный крик Жарретта дал нам понять, что мы преуспели в своей затее. В самом деле, наш ледовый ялик, подгоняемый течением, уже вовсю разгуливал по узкому фарватеру реки. Мы вынуждены были сесть, так как льдина раскачивалась из стороны в сторону, и разразились безудержным смехом.

На крики Жарретта сбежался народ. Мужчины, вооруженные

баграми, пытались задержать наше движение, но не могли подойти ближе из-за того, что лед был слишком непрочным. Затем нам бросили веревки, и мы ухватились за одну из них обеими руками, но наши спасатели так резко дернули за другой конец, что наш и без того хрупкий плот налетел на другие льдины и раскололся пополам. На сей раз мы не на шутку перепугались, ведь мы остались на меньшей части льдины. Нам было не до смеха: мы плыли все быстрее и быстрее по расширявшемуся фарватеру. Но, к счастью, в том месте, где река делала изгиб, нас зажало между двумя гигантскими глыбами, и это спасло нам жизнь.

Мужчины, отважно следовавшие за нами, взобрались на эти глыбы, и один из них с замечательной ловкостью метнул гарпун в наш ледяной обломок, чтобы удержать его на месте: сильное подводное течение грозило утащить нас дальше.

Лестница, придвинутая к одной из глыб, подставила нам свои спасительные ступени. Сестра поднялась первой, и я последовала за ней, стыдясь глупого положения, в которое мы попали.

Пока мы добирались до берега, Жарретт догнал нас в экипаже. Он весь побелел, но не от страха за мою жизнь, а при мысли, что в случае моей гибели придется прервать гастроли. Он сказал мне совершенно серьезно:

— Если бы вы погибли, сударыня, это было бы нечестно с вашей стороны, ибо вы умышленно расторгли бы наш контракт.

Мы едва успели на вокзал, чтобы сесть в поезд, отправлявшийся в Спрингфилд.

Огромная толпа канадцев напутствовала нас на прощание с той же неистовой любовью, с какой встречала наше прибытие.

18

После шумного Огромного успеха в Монреале нас неприятно удивил ледяной прием публики Спрингфилда.

Мы играли «Даму с камелиями», которую почему-то окрестили в Америке «Камиллой». Пьеса, на которую зрители валили толпой, оскорбляла воинствующих пуритан американской глубинки. Критики крупных городов вели споры об этой Магдалине наших дней, а их собратья из провинциальных городов сразу же принялись швырять в нее камни.

Мы то и дело сталкивались в малых городах с предубежденностью чопорной публики против «порочной» Маргариты Готье. Спрингфилд, насчитывавший в ту пору около тридцати тысяч жителей, не был в этом отношении исключением.

Прибыв в Спрингфилд, я отправилась к оружейному мастеру, чтобы купить у него охотничье ружье. Продавец привел меня в длинный, очень узкий двор, где я перепробовала множество ружей. Увлекшись, я не сразу заметила двух джентльменов, с любопытством наблюдавших за моей стрельбой. Мне стало неловко, и я собралась убежать, но тут один из них приблизился ко мне со словами: «Не хотите ли пострелять из пушки, сударыня?» Я едва не упала от удивления и на миг потеряла дар речи, а затем воскликнула: «Да, хочу!»

Мой собеседник оказался директором оружейного завода фирмы «Кольт», и мы тотчас же договорились о встрече. Через час я была на месте, где меня поджидало более тридцати приглашенных по такому случаю, что не вызвало у меня восторга.

Я вдоволь настрелялась из недавно изобретенной пушки-пулемета, не испытав при этом никаких эмоций.

Вечером после спектакля, прошедшего в ледяном молчании зала, мы помчались на всех парах в Балтимор, чтобы догнать поезд, который отправился раньше, чем закончился наш спектакль.

Оба двигателя моего особого поезда, состоявшего из трех тяжелых вагонов, работали на полную мощность, и мы развили такую бешеную скорость, что то и дело подпрыгивали на ходу и каким-то чудом падали обратно на рельсы.

В конце концов нам удалось догнать экспресс, оповещенный о нашем приближении по телефону. Он задержался ровно настолько, чтобы успеть кое-как прицепить наши вагоны, и вскоре мы прибыли в Балтимор, где за четыре дня дали пять представлений.

В этом городе меня поразили две вещи: смертельный холод,

царивший в гостиницах и театрах, и красота женщин. Здесь же меня охватила жуткая тоска, ведь мне пришлось встречать Новый год вдали от дорогих мне людей. Проплакав всю ночь, я дошла до той степени отчаяния, когда остается лишь умереть.

Однако в том же милом городе на нашу долю выпал огромный успех, и я покидала Балтимор с сожалением. Мой путь лежал в Филадельфию, где нам предстояло провести неделю.

Мне не понравился этот город, хотя он и очень красив. Публика принимала меня с восторгом, несмотря на замену спектакля в первый же вечер из-за двух актеров, опоздавших на поезд. Вместо «Адриенны Лекуврер» нам пришлось играть «Федру», единственную пьесу, где не были заняты опоздавшие.

Мое пребывание в Филадельфии было омрачено письмом, извещавшим о смерти моего друга Гюстава Флобера, который, как никто из писателей, заботился о красоте нашего языка.

Затем мы отправились в Чикаго. На вокзале меня встречала делегация женщин Чикаго, и очаровательная молодая женщина госпожа Лили В… преподнесла мне букет редких цветов.

Жарретт отвел меня в одно из вокзальных помещений, где меня ждали французские представители.

Наш консул произнес короткую, но горячую речь, которая вызвала у всех добрые чувства. Я уже собиралась покинуть вокзал, как вдруг остолбенела. Черты моего лица исказились таким страданием, что все решили, что мне стало дурно, и устремились мне на помощь. Но тут внезапная ярость пронзила меня как молния, и я решительно шагнула навстречу ужасному призраку, который вновь предстал передо мной.

Это был не кто иной, как тот же гнусный Смит хозяин кита. Он был закутан в меха, и на каждом его пальце сверкало по бриллианту. Я отказалась принять от него цветы и оттолкнула его изо всех сил, удвоенных яростью. Поток бранных слов сорвался с моих побелевших губ. Но эта сцена привела Смита в восторг: он уже предвкушал, как раздутые слухи поползут из уст в уста и у кита прибавится посетителей.

Я остановилась в «Палмер-Хауз», одном из самых великолепных отелей той эпохи, владелец которого господин Палмер был безупречным, обходительным и щедрым джентльменом. Он украсил мои необъятные апартаменты самыми редкими видами цветов и ухитрялся угощать меня на французский лад, что было непросто в ту пору.

Мы собирались пробыть в Чикаго две недели. Успех превзошел всеобщие ожидания, и эти дни показались мне лучшими за все мое пребывание в Америке. Меня удивила жизненная сила города, жители которого вечно спешат куда-то с

озабоченным видом. Сталкиваясь, они даже не замедляют шага и не подумают обернуться на крик или предупреждение об опасности. Их не волнует то, что происходит у них за спиной, не интересует, чем был вызван тот или иной возглас, у них нет времени на то, чтобы соблюдать осторожность: их влечет цель.

Местные женщины не работают, как и повсюду в Америке, но не расхаживают по улицам прогулочным шагом, как в других городах, а тоже спешат, спешат к развлечениям.

Я уходила на целый день далеко за город, чтобы не видеть увешанных плакатами людей, зазывавших публику на кита.

В один из дней я отправилась с сестрой и приятелем-англичанином на свиную бойню. Ах, что это было за чудовищное и незабываемое зрелище!

Прибыв туда, мы увидели шествие сотен спешащих, хрюкающих и фыркающих свиней по узкому, приподнятому над землей мостику. Наш экипаж проехал под этим мостом и остановился возле группы поджидавших нас людей. Директор бойни повел нас осматривать свои владения.

Войдя в огромный ангар, грязные и забрызганные окна которого едва пропускали свет, мы почувствовали одуряющий запах, преследовавший нас потом несколько дней. Вокруг клубился кровавый пар, подобный легкому облаку, парящему над косогором в лучах заходящего солнца. Наши барабанные перепонки едва не лопнули от адского шума, в котором слышались почти человеческие стоны забиваемых свиней, резкий свист рубящих члены ножей; уханье потрошителей, которые одним ударом тяжелого топора с размаху рассекали пополам подвешенную на крюке тушу бедного животного; непрерывный скрежет вращающейся бритвы, вмиг обривавшей обрубки туш; шипение кипящей воды, в которой отпаривались головы животных; плеск спускаемой воды, гудки паровозиков, увозящих под гулкие своды вагоны, груженные окороками, колбасами и т. д. И все это сопровождалось музыкой паровозных колоколов, предупреждавших об опасности, которая в этом страшном месте казалась погребальным звоном по убиенным душам…

Тогда чикагские скотобойни были сущим адом. С тех пор некоторое подобие человечности проникло в этот храм свиных жертвоприношений.

Я вернулась в отель совершенно разбитая. Вечером давали «Федру». Я вышла на подмостки в крайне возбужденном состоянии, стараясь отогнать от себя недавние жуткие видения, и отдалась игре с таким самозабвением, что к концу четвертого акта упала на сцене в полном изнеможении.

В день нашего последнего представления мне вручили от

имени женщин Чикаго великолепное жемчужное ожерелье.

Я полюбила этот город с озером величиной с маленькое море, а также его жителей, и особенно восторженную публику. Всё, абсолютно всё пришлось мне здесь по душе, за исключением ужасных боен.

Я даже не сердилась на местного епископа, который, подобно священникам других городов, обрушился на мое искусство, а заодно и на всю французскую литературу. К тому же он создал нам такую рекламу своими гневными проповедями, что Аббе даже написал ему следующее письмо: «Ваше высокопреосвященство, будучи в Вашем городе, я, как правило, трачу на рекламу четыреста долларов. Но поскольку Вы сделали ее за меня, посылаю Вам двести долларов для Ваших нищих. Генри Аббе».

Покинув Чикаго, мы отправились в Сент-Луис и проделали путь в 283 мили за четырнадцать часов.

По дороге Аббе и Жарретт показали мне балансовый итог шестидесяти двух представлений за время наших гастролей: он составил 227 459 долларов или 1 137 280 франков, в среднем 18 343 франка за спектакль.

Я порадовалась за Генри Аббе, который обанкротился в предыдущем турне с труппой замечательных оперных артистов, а еще больше за себя, поскольку получала львиную долю сбора.

Мы провели в Сент-Луисе целую неделю, с 24 по 31 января. Признаться, этот чисто французский город понравился мне меньше других американских городов из-за своей грязи и убогих гостиниц.

С тех пор город преобразился благодаря немцам. Но в то время, в 1881 году, он был чудовищно грязным.

Увы, мы были тогда плохими колонизаторами, и все города, где господствовали французы, отличались бедностью и отсталостью.

Томясь в Сент-Луисе от скуки, я решила уехать раньше, выплатив директору неустойку. Но неподкупный Жарретт, суровый человек долга, сказал мне, потрясая контрактом:

— Нет, мадам. Надо остаться. Умереть со скуки, но остаться.

Чтобы меня развлечь, он повез меня в знаменитую пещеру, где обитали миллионы безглазых рыб. Свет никогда не проникал под ее своды, и древним рыбам не требовалось зрение.

Мы решили осмотреть пещеру и стали осторожно спускаться, карабкаясь на четвереньках, как кошки. Путь продолжался бесконечно. Наконец проводник сказал: «Мы пришли».

В этом месте своды были достаточно высокими, и можно было выпрямиться во весь рост. Но в кромешной тьме ничего не

было видно. Я услышала, как чиркнули спичкой, и в тусклом свете зажженного фонаря увидела перед собой, у самых ног, довольно глубокий естественный водоем.

— Видите, — преспокойно заявил проводник, — вот водоем. Но в данный момент в нем нет ни воды, ни рыбы; нужно прийти сюда через три месяца.

Жарретт скорчил такую рожу, что, глядя на него, я разразилась истерическим хохотом с рыданиями и икотой и едва не задохнулась. Я спустилась в водоем в надежде найти хоть какой-нибудь предмет, рыбью косточку или что-нибудь другое, но там было пусто… абсолютно пусто…

Возвращаться пришлось также на четвереньках. Я шла следом за Жарреттом, и, глядя на его широкую согбенную спину, изрыгавшую проклятья вперемежку с ворчанием, до того развеселилась, что все мои сожаления как рукой сняло. Я дала нашему проводнику десять долларов, чем привела его в неописуемое изумление.

Когда мы вернулись в гостиницу, я узнала, что меня уже два часа дожидается ювелир.

— Ювелир! Но я не собираюсь покупать украшений, у меня их и так больше чем достаточно!

Но Жарретт подмигнул стоявшему рядом Аббе, и мы вошли в комнату. Я сразу же поняла, что оба моих импресарио в сговоре с ювелиром. Мне разъясняют, что мои украшения необходимо почистить, и ювелир готов их обновить и подремонтировать для выставки!

Я протестую, но это не помогает. Жарретт уверяет меня, что дамы Сент-Луиса жаждут этого зрелища, которое послужит мне прекрасной рекламой, что мои украшения потускнели, к тому же ювелир заменит недостающие камешки почти даром… Какая экономия, только представьте себе… И я сдаюсь, утомленная бесплодными спорами.

Два дня спустя дамы города сходились к сверкающей витрине ювелирного магазина полюбоваться моими украшениями. Но бедная Герар, которая тоже пошла туда, вернулась сама не своя.

— Они добавили к вашим украшениям шестнадцать пар сережек, два ожерелья и тридцать колец, а также лорнет, весь в жемчугах и рубинах, золотой портсигар, обрамленный бирюзой, маленькую трубку, янтарный чубук, который усыпан бриллиантовыми звездами, шестнадцать браслетов, зубочистку с сапфиром в виде звезды и очки с золотыми дужками и жемчужными наконечниками! Они изготовили их специально, потому что никто не носит таких очков! А внизу — подпись: «Рабочие очки госпожи Сары Бернар!»

Нет, это было уж слишком: ради рекламы меня заставляли курить трубку и носить очки!.. Я села в коляску и отправилась к ювелиру, но, приехав, уткнулась в запертую дверь. Дело было в субботу, в пять часов вечера, и в лавке было темно и пусто.

Вернувшись в гостиницу, я высказала свое недовольство Жарретту. Тот спокойно ответил:

— Ну и что же, сударыня? Множество девушек носят очки. Что касается трубки, то ювелир сказал мне, что уже получил пять заказов, и это скоро войдет в моду. И вообще, какой смысл сердиться: показ окончен, сегодня вечером вы получите назад свои украшения, а послезавтра нас здесь не будет.

В самом деле, в тот же вечер ювелир вернул мне мои обновленные и начищенные до блеска драгоценности. Среди них был и тот самый золотой портсигар в бирюзовой оправе, который красовался на выставке. Я была не в силах втолковать что-либо этому человеку, добродушие и радость которого растопили мой гнев.

Но реклама едва не стоила нам жизни: несколько злоумышленников, привлеченных таким количеством драгоценностей, собрались нас ограбить. Они думали, что драгоценности находятся в большом мешке, который всегда носил мой управляющий.

В воскресенье 30 января, в восемь часов утра, мы покинули Сент-Луис и направились в Цинциннати. Я ехала в том же благоустроенном пульмановском вагоне. По моей просьбе он был последним в нашем поезде, чтобы я могла наслаждаться с его площадки красотой проносившихся мимо изумительных разнообразных пейзажей.

Не прошло и десяти минут после нашего отъезда, как один из охранников свесился с площадки и, тут же выпрямившись, взял меня за руку и прошептал по-английски с тревогой:

— Мадам, прошу вас вернуться в купе!

Я поняла, что мне грозит реальная опасность, и быстро вернулась. Он дернул «стоп-кран» и, прежде чем поезд остановился, подал знак второму охраннику. Сделав предупредительный выстрел, оба полезли под поезд.

Жарретт, Аббе и вся труппа столпились в узком коридорчике. Я присоединилась к ним, и мы с изумлением увидели, как охранники вытащили из-под моего вагона вооруженного до зубов мужчину.

Когда ему приставили по револьверу к обоим вискам, он признался, что является членом банды, готовившей в Сент-Луисе похищение моих драгоценностей — реклама ювелира сделала-таки свое дело! — и ему было поручено отцепить мой вагон от

состава по дороге между Сент-Луисом и Цинциннати, в местечке под названием Птит-Монте. Это должно было произойти ночью, и, поскольку мой вагон шел последним, не было ничего проще: стоило только приподнять огромный крюк и вытащить его из кольца.

Бандит, который примостился под моим вагоном, был настоящим гигантом. Мы осмотрели его приспособления: толстенные ремни шириной в полтора метра, которыми он был привязан к перегородкам между колесами. Его руки оставались при этом совершенно свободными. Мужество и хладнокровие гиганта были просто поразительны.

Он рассказал, что семеро вооруженных мужчин поджидают нас в Птит-Монте. Если бы мы не оказали им сопротивления, они не причинили бы нам зла, а только забрали бы мои драгоценности и деньги, хранившиеся у секретаря, — две тысячи триста долларов.

О, этот человек знал буквально все!

Он проговорил на ломаном французском языке:

— Вам, мадам, не сделали бы ничего плохого, и даже ваш хорошенький револьвер остался бы при вас.

Таким образом, вся шайка знала, что мой секретарь едет в одном со мной вагоне, имея при себе сумму в две тысячи триста долларов и не представляет для них никакой опасности (бедный Чэттертон!), а также что у меня есть очень хорошенький револьвер, украшенный камнем «кошачий глаз».

Бандит был крепко связан, и к нему приставили обоих охранников, а наш поезд дал задний ход и покатил обратно в Сент-Луис (мы находились в пути не более четверти часа). Из полиции нам прислали пятерых сыщиков, и с получасовым интервалом перед нами пустили товарный состав с восемью полицейскими, которые должны были сойти в Птит-Монте. Наш гигант был передан в руки правосудия, и мне обещали оказать ему снисхождение ввиду сделанных им признаний. Вскоре я узнала, что обещание было выполнено, и преступника выслали на родину, в Ирландию.

После этого случая каждую ночь мой вагон стали цеплять между двумя другими вагонами, а днем мне разрешали ехать в хвосте состава при условии, что на моем наблюдательном пункте будет находиться вооруженный полицейский, причем за мой же счет.

Мы выехали примерно через двадцать пять минут после товарного состава. Ужин прошел очень весело, и все были возбуждены. Что касается охранника, который обнаружил под поездом бандита, то мы с Аббе так щедро его отблагодарили, что

он напился и то и дело являлся целовать мне руки, роняя пьяные слезы и повторяя без умолку: «Я спас француженку! Я — настоящий джентльмен!»

Когда мы наконец подъехали к Птит-Монте, было уже совсем темно, и машинист решил проскочить это место на полном ходу. Но не проехали мы и пяти миль, как под колесами поезда стали взрываться петарды, и пришлось сбавить скорость. Что же за новая опасность нас подстерегала? Всем стало не по себе. Женщины заволновались, а некоторые заплакали. Мы ехали черепашьим шагом и вглядывались во тьму, силясь различить в свете сигнальных ракет силуэт человека либо группы людей.

Аббе считал, что нужно прибавить ходу, поскольку, по его мнению, эти петарды были подложены бандитами для того, чтобы подстраховать гиганта на случай, если он не сумеет отцепить наш вагон. Но машинист отказался увеличить скорость на том основании, что это предупредительные сигналы железнодорожной администрации и он не может рисковать нашими головами из-за простого предположения.

Он был, несомненно, прав, этот отважный человек. «Мы сумеем справиться с горсткой бандитов, — говорил он, — но я не отвечаю за вашу жизнь, если поезд сойдет с рельсов или свалится в пропасть».

Мы двигались еле-еле, потушив в вагоне все огни, чтобы видеть, оставаясь незамеченными. Мы скрывали правду от труппы, за исключением трех мужчин, которых я позвала на помощь. Актерам нечего было опасаться грабителей. Речь шла только обо мне. Чтобы избежать вопросов и уклончивых ответов, мой секретарь сказал труппе, что на дороге ведется ремонт и поэтому пришлось сбавить ход, а также что вышла из строя газовая труба и через некоторое время свет будет включен опять. Затем мы оборвали связь с моим вагоном.

Минут через десять поезд затормозил перед большим семафором, и к нам устремились какие-то люди, которых мы поначалу с перепугу приняли за бандитов. Но это была ремонтная бригада железнодорожников, и я до сих пор вздрагиваю при мысли, что они едва не погибли от наших рук.

Раздался первый выстрел, и если бы наш отважный машинист не прокричал «стоп!», разразившись страшным ругательством, двое-трое из них были бы ранены. Я тоже схватилась за револьвер. Но, прежде чем я нажала на курок, меня можно было обезоружить, связать и убить раз сто.

Всякий раз, когда я собираюсь в какое-нибудь незнакомое место, я беру с собой пистолет. Я называю его револьвером, но на самом деле это обыкновенный пистолет устаревшего образца с

такой тугой гашеткой, что мне приходится нажимать на нее обеими руками. Я стреляю неплохо для женщины, но мне нужно время, чтобы прицелиться, а это не очень-то удобно, когда имеешь дело с грабителями. И все же я всегда ношу пистолет с собой. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, он лежит на моем столе в своей тесной кобуре. И если бы сейчас передо мной появился убийца, мне пришлось бы сначала отстегнуть тугую кнопку, потом кое-как вытащить пистолет из тесной кобуры и наконец взвести неподатливый курок и обеими руками нажать на спуск.

Но человек такое странное существо, что эта крошечная и до нелепости бесполезная штука кажется мне надежной защитой. И я, пугливая, как трясогузка, чувствую себя в безопасности рядом со своим маленьким другом, который, должно быть, покатывается со смеху, глядя на меня из своего укрытия.

Наконец нам сообщили, что товарный поезд, отправленный перед нами, сошел с рельсов, но, к счастью, при этом никто не пострадал. Бандиты из Сент-Луиса всё предусмотрели и подготовили крушение поезда в двух милях от Птит-Монте на случай, если их собрат, спрятавшийся под моим вагоном, не сможет его отцепить. Когда произошло крушение, злоумышленники бросились к поезду (моему поезду, как они полагали) и были окружены группой полицейских. Говорят, бандиты отбивались как черти. Один из них был убит на месте, двое ранены, а остальные взяты под стражу.

Несколько дней спустя главарь шайки был повешен. Это был двадцатипятилетний парень по имени Альберт Виртц, бельгиец по национальности. Я сделала все, чтобы его спасти, ибо чувствовала, что невольно толкнула его на преступление.

Если бы Аббе и Жарретт так не гнались за рекламой и не добавили к моим украшениям другие драгоценности на сумму более полумиллиона франков, этот несчастный, возможно, не вздумал бы их украсть. Кто знает, какие мысли бродили в его юной бедной и, быть может, талантливой голове?

Возможно, проходя мимо витрины ювелирного магазина, он сказал себе: «Здесь украшений на миллион франков, если бы они были моими, я обратил бы их в деньги, вернулся бы в Бельгию и доставил радость моей бедной матушке, которая портит себе глаза за работой при свете лампы, а еще выдал бы замуж сестру». Возможно, он был изобретателем и думал: «Ах, если бы у меня было столько денег, я смог бы самостоятельно внедрить мое изобретение, а не продавать патент какому-нибудь заслуженному мерзавцу за кусок хлеба. Зачем ей столько, этой артистке? Ах,

если бы у меня были эти деньги!» Быть может, он даже заплакал от бессильной ярости при виде стольких богатств, принадлежащих одному-единственному человеку! Не исключено, что преступный замысел созрел в чистой, незапятнанной душе…

Кто ответит, куда может завести юношу надежда? Все начинается с прекрасной мечты и кончается бешеным желанием претворить задуманное в жизнь. Красть чужое добро нехорошо, но это не должно караться смертью! Убийство двадцатипятилетнего человека куда более страшное преступление, нежели кража драгоценностей и даже вооруженный разбой. Общество, которое совершает коллективное убийство именем правосудия, заслуживает куда большего презрения, чем несчастный вор или убийца-одиночка!

Да, я оплакивала этого незнакомца, который был негодяем либо героем, а скорее всего, обыкновенным грабителем, но ему было только двадцать пять лет, и он имел право на жизнь.

Я ненавижу смертную казнь! Это дикий и варварский пережиток прошлого, и цивилизованные страны должны устыдиться своих виселиц и гильотин! Каждая человеческая душа способна на жалость и слезу сострадания, и эта слеза может оросить доброе семя, которое даст ростки раскаяния!

Ни за что на свете я не хотела бы оказаться в числе тех, кто осудил преступника на смерть. И не странно ли, что среди них немало добрых людей, которые, вернувшись домой, нежно целуют жену и строго журят малыша, оторвавшего голову кукле?..

Я присутствовала при четырех смертных казнях: один раз в Лондоне, один раз в Испании и дважды в Париже.

В Лондоне я видела казнь через повешение, самую гнусную и лицемерную из всех казней. Смертнику было лет тридцать. У него было мужественное, волевое лицо. На миг мы встретились с ним глазами, и он пожал плечами, окинув меня, зеваку, взглядом, полным презрения. Я почувствовала, насколько возвышеннее строй его мыслей, и подумала, что сам он куда значительнее как личность всех собравшихся на казнь. Быть может, это было вызвано тем, что он стоял у порога великой тайны. Мне даже показалось, что он улыбался, когда ему надевали на голову колпак. Я была так потрясена увиденным, что убежала, не дождавшись конца.

В Мадриде я увидела варварскую казнь через удушение, после чего не могла опомниться от ужаса в течение нескольких недель. Осужденного обвинили в убийстве собственной матери и приговорили к смерти, не представив ни одного вещественного доказательства вины. В тот миг, когда его усадили, чтобы подвергнуть гарроте, несчастный закричал: «Матушка, я иду к

тебе, и ты скажешь мне, что они солгали!» Эти слова, произнесенные по-испански дрожащим голосом, перевел мне атташе английского посольства, который присутствовал вместе со мной на казни. В этом душераздирающем крике было столько неподдельной искренности, что невозможно было не поверить в невинность осужденного. Таково же было мнение всех моих спутников.

Две другие казни, на которых я присутствовала, происходили в Париже на площади Рокетт. Во время одной из них казнили молодого студента-медика, который вместе с товарищем убил старую торговку газетами. Это было гнусное и бессмысленное преступление, но человек, совершивший его, был не в своем уме. Наделенный недюжинными способностями, он поступил в институт досрочно, перетрудился и тронулся умом. Его следовало отправить в загородную больницу, вылечить и вернуть науке.

Это была незаурядная личность. Он так и стоит у меня перед глазами, этот бледный несчастный юноша с печальным блуждающим взором. Да-да, я знаю, он зарезал бедную беззащитную старуху, и это ужасно! Но ему было только двадцать три года, и у него было непомерное честолюбие. К тому же, работая в морге, он привык резать руки и ноги, вскрывая трупы женщин, мужчин и детей. Все это, конечно, не оправдывает его чудовищного поступка, но следует учитывать и эти обстоятельства, которые способствовали падению его морали, и без того пошатнувшейся от непосильного труда и нищеты. Я считаю, что люди, навсегда погасившие этот разум, который еще мог бы принести пользу науке и человечеству, совершили преступление против общества.

Последняя казнь, которую мне довелось увидеть, — казнь анархиста Вайяна. Это был энергичный и мягкий человек с очень передовыми идеями, впрочем не более передовыми, чем идеи тех, кто с той поры пришел к власти.

Будучи слишком бедным, чтобы позволить себе роскошь дорогих зрелищ, он часто просил у меня билеты в мой тогдашний театр, «Ренессанс». Ах, бедность — плохая советчица! Сколько же терпения нужно тем, кто страдает от нищеты…

Как-то раз, когда я играла в «Лорензаччо», Вайян зашел ко мне в гримерную.

— О! — сказал он мне. — Этот Флорантэн такой же анархист, как и я, но он убил тирана, а не тиранию! Я буду действовать иначе!

Несколько дней спустя он бросил бомбу в общественном месте, а именно в Палате депутатов. Несчастный оказался не столь ловким, как презираемый им Флорантэн, и никого не убил,

причинив вред только себе.

Я попросила, чтобы меня известили о дне его казни. И однажды вечером, в театре, кто-то из приятелей сказал мне, что казнь назначена на понедельник, семь часов утра.

После спектакля я отправилась на улицу Мерлен, что пересекается с улицей Рокетт. Дело было в скоромное воскресенье, и в городе царило оживление. Повсюду пели, смеялись и плясали.

Я не смогла добиться свидания в тюрьме и прождала всю ночь, сидя на снятом мной балконе первого этажа. Промозглая туманная ночь окутала меня своей тоской. Я не ощущала холода, так как кровь бурлила в моих жилах Церковные часы лениво отбивали время: час умер! Да здравствует новый час! До меня доносились неясные, приглушенные звуки шагов и голосов, треск дерева. Утром я поняла, что означал этот странный таинственный шум: посреди площади Рокетт был возведен эшафот.

Какой-то человек пришел потушить ночные фонари. Малокровное небо разливало над нами свой чахоточный свет. Понемногу собралась толпа. Люди сбились в одну кучу. Дороги были перекрыты. Время от времени невозмутимые люди быстро проходили сквозь толпу, показывали удостоверения стражу порядка и скрывались под сводами тюрьмы. Это были журналисты. Я насчитала их более десяти. Затем парижские гвардейцы, которых было вдвое больше обычного, так как опасались налета анархистов, выстроились вдоль мрачного сооружения. По сигналу они обнажили шпаги, и двери тюрьмы отворились. На пороге появился бледный, но энергичный и отважный Вайян. Он прокричал уверенным мужественным голосом: «Да здравствует анархия!» Ответом ему было молчание. Смертника схватили и повалили на доски эшафота. Нож гильотины упал с беззвучным шумом, и мертвое тело опрокинулось. В один миг эшафот был разобран, площадь вычищена, перекрытия сняты, и толпа, хлынувшая на площадь, чтобы вдохнуть запах только что разыгравшейся трагедии, тщетно искала на земле следы пролитой крови.

Женщины, дети и старики копошились на тесной площади, где только что погиб ужаснейшей из смертей человек, радевший за эту чернь, требовавший для нее равных прав, привилегий и свобод!

Закрыв лицо вуалью, чтобы меня не узнали, я смешалась с толпой, опираясь на руку друга. Мое сердце обливалось кровью: я не услышала ни одного слова благодарности в адрес этого человека, ни малейшего намека на протест, призыв к отмщению… Мне хотелось крикнуть: «Вы, стадо баранов! Вы должны целовать

камни, омытые кровью несчастного безумца, погибшего из-за вас, ради вас, в надежде на вас!» Но меня опередил какой-то мерзавец с воплем: «Спрашивайте… последние минуты Вайяна! Спрашивайте… Спрашивайте подробности! Спрашивайте… Спрашивайте!»

О, бедный Вайян! Его обезглавленное тело увозили в сторону Кламара. А легкомысленная толпа, ради которой он страдал, боролся и погиб, уже расходилась, позевывая. Бедный Вайян! Он был одержим безумными, но благородными идеями!

19

Мы добрались до Цинциннати без происшествий, дали там три представления и отправились в Новый Орлеан.

Наконец-то, думала я, мы увидим солнце и отогреемся после трехмесячной жестокой стужи! Мы распахнем окна настежь и будем дышать чистым воздухом, а не удушливой, пагубной для здоровья гарью.

Я засыпаю, убаюканная жаркими благоухающими мечтами, но внезапно меня будит сильный стук в дверь; мой пес, навострив уши, принюхивается под дверью, но не ворчит и не лает. Значит, это кто-нибудь из наших. Открыв, я вижу Жарретта с Аббе. Жарретт прикладывает палец к губам: «Тсс-тсс!», входит в комнату на цыпочках и осторожно прикрывает за собой дверь.

— Что? Что это значит?

— А вот что, — отвечает Жарретт, — из-за проливных дождей, не прекращающихся без малого две недели, уровень воды в заливе Сент-Луис поднялся настолько, что понтонный мост, по которому поезд мог бы доставить нас в Новый Орлеан за час-два, того и гляди рухнет под натиском стихии. Слышите, как ревет ветер за окном? Если же мы повернем обратно, то потратим на дорогу еще три-четыре дня.

Я так и подскочила:

— Как, три-четыре дня? Снова возвращаться к сугробам? Ну нет! Ни за что! Солнца! Я хочу солнца! Неужели нельзя проехать? О Боже! Что же делать?

— Ладно, слушайте: наш машинист считает, что еще можно успеть, но он только что женился и согласен рискнуть при условии, что вы дадите ему две тысячи пятьсот долларов (двенадцать тысяч пятьсот франков). Он тут же отошлет их в Мобил, где живут его отец и жена. Если мы переберемся на другой берег, он вернет вам эти деньги, если, же нет, то у его семьи останутся хоть какие-то средства.

Признаться, я была поражена безумной отвагой этого человека и вскричала с воодушевлением:

— Да-да, дайте ему скорее двенадцать с половиной тысяч франков и поехали!

Я уже упоминала, что обычно совершала свои переезды в особом поезде, состоявшем лишь из трех вагонов и паровоза. Ничуть не сомневаясь в успехе нашей безумной затеи, я предупредила об опасности только своих близких: сестру, милую Герар и верную мне чету Клода и Фелиси. Актер Анжело, который на этом участке пути жил в купе Жарретта, тоже был извещен о

происходящем, поскольку был смел и верил в мою счастливую звезду.

Машинист-механик получил причитавшуюся ему сумму и, не мешкая, отправил ее в Мобил.

В момент отправления я внезапно осознала всю меру взятой на себя ответственности: я рисковала без спроса жизнью тридцати двух человек! Но отступать было поздно — наш поезд, разогнавшись что было сил, уже подлетал к понтонному мосту.

Усевшись на своем наблюдательном пункте, я смотрела, как мост прогибается и раскачивается под стремительным напором поезда, словно гамак.

Когда мы добрались до середины, он осел настолько, что сестра схватила меня за руку и прошептала в испуге:

— Сестра, мы тонем… все кончено…

Она закрыла глаза, не отпуская моей руки, но готова была встретить смерть достойно. Я тоже решила, что пробил мой последний час. К своему стыду, я даже не вспомнила о своих полных жизни, ни о чем не подозревавших спутниках, которым суждено было стать жертвами моего легкомыслия. Все мои помыслы устремились только к одному юному родному существу, которому придется вскоре меня оплакивать.

Подумать только, мы носим в себе нашего злейшего врага — разум, который, будучи в вечном разладе с нашими действиями, то и дело ополчается на нас с необузданной злобой и коварством. Слава Богу, мы не всегда следуем его указке, но он, этот мучитель, неустанно преследует и изводит нас своими советами. Какие только черные мысли не осаждают нас и каких усилий стоит нам отделаться от этих детищ нашего ума!

Гнев, честолюбие, жажда мести порождают в нас самые отвратительные мысли, которых мы стыдимся как чужого греха, ибо они являются к нам без спроса, но все же они нас порочат, и мы приходим в отчаяние от того, что не владеем безраздельно ни собственной душой и сердцем, ни телом и разумом.

Но мой последний час еще не значился в книге судеб.

Мост выровнялся, и мы кое-как добрались до другого берега. Позади нас раздался страшный грохот, и в небо взметнулся водяной столб — это обрушился наш мост.

Целую неделю после этого поезда с севера и востока не могли попасть в город.

Я оставила храброму машинисту деньги, которые он заслужил, но на душе у меня скребли кошки, и долго еще по ночам меня мучили жуткие кошмары. Когда кто-нибудь из артистов принимался рассказывать мне о своих детях, матери или муже, встречи с которыми так ждет, я бледнела, сердце мое

сжималось от тоски, и меня пронзала острая жалость к самой себе.

Выходя из поезда, я едва дышала от пережитого волнения, и торжественная встреча на вокзале, устроенная соотечественниками, была мне в тягость. Сгибаясь под тяжестью цветов, я села в карету и направилась в гостиницу.

Дороги превратились в настоящие реки даже в верхней части города, где мы находились. «Нижний город, — поведал нам кучер (на французском языке чистокровного марсельца), — нижний город затоплен по самые крыши. Среди негров — сотни жертв».

Нью-орлеанские гостиницы были в ту пору омерзительно грязными, неудобными и вдобавок кишмя кишели тараканами. Лишь только зажигали свечи, как комнаты наводнялись полчищами жирных мух, которые жужжали у нас над ухом и падали нам на головы, путаясь в волосах. О! Я до сих пор вспоминаю об этом с дрожью.

Одновременно с нами в городе гастролировала оперная труппа, примадонной которой была очаровательная женщина по имени Эмили Амбр, едва не ставшая однажды королевой Голландии.

Это был бедный край, как и повсюду в Америке, где хозяйничали французы. Ах, мы отнюдь не колонизаторы!

Оперная труппа делала жалкие сборы. Наш сбор был немногим лучше. Шести спектаклей было более чем достаточно для этого города, мы же дали в нем восемь представлений. Тем не менее я прекрасно провела там время. Нью-Орлеан полон очарования. У всех его жителей, будь то негры или белые, улыбающиеся лица, и все здешние женщины необычайно прелестны. Лавочки радуют взор красочной пестротой своих витрин. Уличные торговцы перекидываются веселыми шутками. За все время солнце не выглянуло ни разу, но нью-орлеанцы сами излучали солнечный свет.

Я не могла понять, почему никто не пользовался для передвижения лодками. Лошади ступали по колено в воде, и, не будь тротуары высотой с метр, а то и больше, невозможно было бы забраться в карету.

Поскольку наводнения случались здесь каждый год, жители даже не пытались с ними бороться, возводя плотины на реке и через залив, а попросту делали повсюду высокие тротуары и строили подвесные мосты.

Чернокожие ребятишки забавлялись ловлей раков в ручьях и продавали их прохожим. Порой здесь можно было увидеть целое семейство водяных змей, проплывавших с гордо поднятой головой, извиваясь всем телом и переливаясь, подобно узорчатым

сапфирам.

Спустившись в нижнюю часть города, я увидела удручающее зрелище: негритянские лачуги смыло наводнением и сотни их обитателей ютились на зыбких обломках. Глаза их лихорадочно блестели, а ослепительно белые зубы стучали от холода и голода. В мутных водах плавали, то и дело натыкаясь на деревянные сваи, трупы с вздутыми животами. Белые дамы, раздававшие пищу, пытались увести оставшихся в живых с места бедствия, но они отказывались уходить, повторяя с глуповатой улыбкой:

— Вода уйти. Дом найти. Я — чинить.

И женщины качали головами в знак согласия.

Громадные аллигаторы, приплывшие с приливом, утащили двоих детей. Одно из чудищ откусило четырнадцатилетнему пареньку ступню по самую лодыжку. Раненого увезли в больницу, а его семья пришла в неописуемую ярость: черный знахарь утверждал, что вылечил бы его за два дня, а белые знахари (читай: врачи) продержат его в постели целый месяц.

И все же я покидала этот город, не похожий ни на один из доселе виденных мной городов, с сожалением.

Странно было после стольких опасностей сохранить всю труппу в полном составе.

Один лишь парикмахер по имени Ибе никак не мог прийти в себя от смертельного испуга, пережитого им на второй день после нашего приезда. Обычно он ночевал в театре, укладываясь спать, как это ни странно, в огромном чемодане для париков. Первая ночь прошла спокойно, но на следующую театр огласился страшными криками, которые переполошили весь квартал. Бедняга спал сном праведника, как вдруг был разбужен странной возней под матрацем. Решив, что в чемодан забралась кошка либо собака, он приподнял постель и увидел… двух змей, свившихся в клубок в пылу битвы или, быть может, любовной игры. Змеи были достаточно внушительных размеров, чтобы нагнать страх на людей, сбежавшихся на крик перепуганного цирюльника.

Ибе был бледен как полотно, когда садился в лодку, которая должна была доставить нас к поезду. Отозвав его в сторону, я попросила поведать мне о перипетиях той зловещей ночи. Во время рассказа парикмахер показал мне свои мощные икры со словами: «Они были вот такой толщины, мадам, да-да, именно такой…» — и вновь затрясся от страха. Я подумала, что на самом деле змеи были обхватом в четверть его ноги, но этого было вполне достаточно, чтобы перепугаться не на шутку, ведь это были не безобидные водяные змеи, укусы которых не ядовиты.

Мы прибыли в Мобил ближе к вечеру. Мы уже останавливались в этом городе по дороге в Нью-Орлеан, и у меня

были связаны с ним неприятные воспоминания из-за бесцеремонности его жителей. Я смертельно устала и дремала в своем купе, строго-настрого приказав никого к себе не впускать, а эти люди явились, невзирая на поздний час, и принялись распевать под окнами моего вагона и барабанить в стекла. В конце концов мое терпение лопнуло, и, резко открыв окно, я вылила им на голову кувшин воды. Несколько человек, в том числе и журналисты, оказались обрызганы и страшно рассердились.

Раздутые слухи об этой истории расползлись по всему городу. Но среди репортеров нашлось немало воспитанных людей, которые отказались беспокоить даму в неурочный час. Они-то и взяли меня под свою защиту.

Страсти накалились до предела, когда я предстала перед публикой Мобила, горя желанием подтвердить доброе мнение моих сторонников и разбить доводы моих противников.

Однако судьба распорядилась иначе. Импресарио предпочитали обходить этот город стороной. В Мобиле имелся только один театр, да и тот был арендован трагиком Барретом, который должен был приехать через неделю. Оставался лишь крохотный зальчик, не выдерживавший никакой критики.

Мы играли «Даму с камелиями». По ходу действия Маргарита Готье приказывает накрыть стол к ужину. Слуги притащили стол и попытались внести его в дверь, но не тут-то было. Бедняги двигали его и так и эдак, но все их усилия были тщетны.

Публика надорвала животы, глядя на их мучения. Один из зрителей смеялся особенно заразительно. Это был юный негр лет двенадцати-четырнадцати, тайком пробравшийся в театр. Он стоял на стуле с открытым ртом и, перегнувшись пополам, хлопал себя ладонями по коленкам, беспрерывно заливаясь таким звонким смехом с ровными переливами, что меня тоже обуял хохот. Мне даже пришлось уйти за кулисы, чтобы успокоиться, пока разбирали заднюю часть декораций.

Наконец мы расселись вокруг стола, и ужин прошел спокойно. Затем слуги вошли, чтобы убрать стол, и тут один из них зацепился за наспех прилаженную декорацию, и весь задник рухнул нам на головы. В то время декорации делались в основном из бумаги, и поэтому они тут же порвались. Мы оказались в бумажных ошейниках, сковавших наши движения, и сидели на сцене с глупейшим видом.

Юный негр принялся заливаться пуще прежнего, и тут мой подавленный смех вырвался наружу и закончился истерикой, которая довела меня до изнеможения.

Зрители получили назад свои деньги, а мы лишились более

чем пятнадцатитысячного сбора.

В этом городе меня преследовал злой рок. Он едва не настиг меня здесь и во время третьего приезда, о чем я расскажу во втором томе мемуаров[86].

В ту же ночь мы покинули Мобил и отправились в Атланту, сыграли там «Даму с камелиями» и тотчас же после спектакля отбыли в Нэшвилл.

Затем мы провели один день в Мемфисе, где дали два представления, и в час ночи уехали в Луисвилл.

По дороге из Мемфиса в Луисвилл нас разбудил шум, сопровождавшийся криками и бранью. Приоткрыв дверь своего купе, я сразу же узнала эти голоса. В тот же миг вышел Жарретт, и мы с ним поспешили на шум. В тамбуре вагона происходил поединок между капитаном Хайне и Маркусом Майером. Они дрались с револьверами в руках. У Маркуса Майера был подбит глаз, а лицо капитана было залито кровью. Не раздумывая, я бросилась разнимать драчунов. Завидев женщину, они тут же прекратили борьбу с неловкой, но трогательной учтивостью истинных североамериканских джентльменов.

Мы совершали головокружительное турне по американской глубинке: приезжали в город в три, четыре, а то и шесть часов вечера и сразу же после спектакля отправлялись дальше. Я покидала вагон только для того, чтобы ехать в театр, и вскоре возвращалась опять в свою миниатюрную, но изысканную спальню.

Я сплю в поезде как убитая и обожаю быструю езду. Сидя, а вернее, полулежа в кресле-качалке на внешней площадке вагона, я любовалась проносившимся мимо меня калейдоскопом американских лесов и равнин.

Мы оставили позади Луисвилл, Цинциннати, где уж раз побывали, Колумбус, Дейтон, Индианаполис и Сент-Джозеф, славящийся на весь мир своим пивом. В Сент-Джозефе мне пришлось задержаться из-за ремонта колеса моего вагона, и в местной гостинице меня пытался похитить какой-то пьяный танцор, явившийся туда на бал.

Он схватил меня в тот миг, когда я выходила из лифта, и потащил, испуская при этом торжествующие вопли голодного зверя, наконец-то поймавшего добычу. Моя собака, взбешенная моим криком, кусала пьяного молодчика за ноги что было сил, но это его только подстегивало. Меня с трудом вырвали из его лап.

Затем мне подали ужин. Что это был за ужин!.. К счастью, я могла запивать жуткие яства легким и светлым пивом…

Бал в гостинице продолжался всю ночь под звуки револьверной пальбы.

После Сент-Джозефа мы посетили Ливенворт, Уинсор и Спрингфилд, но не тот, что в Массачусетсе, а тот, что в штате Иллинойс.

По дороге из Спрингфилда в Чикаго нас задержали снежные заносы.

Резкие жалобные гудки паровоза разбудили меня среди ночи. Я позвала своего верного Клода, который сообщил мне, что мы остановились в ожидании подмоги.

Наскоро рдевшись с помощью Фелиси, я хотела сойти с поезда, но сугробы доходили до самой платформы, и мне оставалось лишь любоваться волшебной ночью, закутавшись в меха.

Суровое беззвездное небо едва излучало свет. Я смотрела с задней площадки на огни семафоров, предупреждавших следовавшие за нами поезда об опасности. Поезда тормозили, когда у них под колесами начинали взрываться петарды, и останавливались у ближайшего семафора, где железнодорожники объясняли, в чем дело. Каждый вновь прибывавший состав (а их было за нами уж четыре) зажигал такие же сигнальные огни и подкладывал на рельсы взрывные шашки для следующего поезда.

Мы были отрезаны от мира. Мне пришло в голову зажечь на кухне огонь и вскипятить побольше воды, чтобы растопить верхний слой снега с той стороны, где я решила спуститься. Сказано — сделано. Клод и негры сошли на землю и кое-как расчистили небольшой участок.

Спустившись с поезда, я тоже начала сгребать снег, и вскоре мы с сестрой стали бросаться снежками. К нам присоединились Аббе, Жарретт, мой секретарь и несколько актеров, и все мы отлично разогрелись в этой игре.

Затем мы позабавились стрельбой из кольтов и револьверов по ящику из-под шампанского, который служил нам мишенью. За этим занятием и застала нас заря. Наконец мы услышали приглушенный снегом далекий шум и поняли, что к нам спешит помощь.

В самом деле с противоположной стороны прибыли на полном ходу два локомотива с рабочими, вооруженными лопатами, баграми и ломами. Они были вынуждены остановиться за километр, и рабочие принялись расчищать рельсы от снега. В конце концов они добрались до нас. Мы дали задний ход и повернули в западном направлении.

Бедные артисты, надеявшиеся пообедать в Чикаго, куда мы должны были прибыть в одиннадцать часов, принялись вздыхать и причитать, ибо, следуя по вынужденному маршруту, мы приезжали в Милуоки в половине второго, а в два часа нам уже

предстояло играть «Даму с камелиями». Я распорядилась, чтобы мои черные слуги приготовили более, или менее сносный обед и артисты остались очень довольны.

Спектакль, начавшийся только в три часа, закончился в половине седьмого, а в восемь часов мы уже играли «Фруфру».

Сразу же после спектакля мы отправились в Гранд-Рапидс, Детройт, Кливленд и Питсбург, где я должна была встретиться с одним из моих американских приятелей, который, как я надеялась, поможет мне осуществить давнишнюю мечту.

Мой друг вместе со своим братом являлся владельцем сталелитейного завода и нескольких нефтяных скважин. Мы познакомились еще в Париже и встретились снова в Нью-Йорке, где он вызвался отвезти меня в Буффало, чтобы посетить, вернее, совершить паломничество к Ниагарскому водопаду, к которому он относился со страстным благоговением. Оглушительный шум водопада казался ему музыкой после пронзительного боя кузнечных молотов по наковальне, а чистота серебряных каскадов радовала глаз и освежала легкие, уставшие дышать нефтяной гарью.

Коляска моего друга, запряженная парой великолепных рысаков, неслась во весь опор, обрызгивая нас грязью, и летевший в лицо снег слепил нам глаза.

В 1881 году Питсбург был не таким, как сегодня, но и тогда его деловой размах поражал воображение. Дождь шел уже целую неделю, и улицы были залиты непролазной грязью. Клубы густого черного маслянистого дыма окутали небо, но, несмотря на это, город был преисполнен величия благодаря царившему здесь трудовому подъему. По улицам Питсбурга сновали поезда, груженные бочками с нефтью либо набитые до отказа каменным и древесным углем. Пароходы и баржи с лесом, сцепленные друг с другом брусами, сплавлялись вниз по течению величавой реки Огайо, образуя гигантские плоты, туда, где их поджидали владельцы. Грузы были помечены, хотя никто и не пытался завладеть чужим добром. К сожалению, я слышала, что лесосплав не осуществляется больше подобным способом.

Карета мчала нас по улицам и площадям, пересеченным рельсами железных дорог, а над нами нависало небо, изборожденное электрическими проводами. Перебравшись через хрупкий подвесной мост, мы прибыли во владения моего друга. Он представил мне своего брата, милого, вежливого, сдержанного и удивительно молчаливого человека.

— Мой брат глух, — сказал мне мой спутник.

А я-то уже пять минут рассыпалась перед ним в любезностях! Я смотрела на этого несчастного миллиардера, который жил

посреди адского грохота, не слыша даже малейшего его отзвука, и не знала, завидовать ему или сочувствовать.

Меня повели смотреть раскаленные печи и кипящие котлы. В одном из цехов мне показали остывавшие стальные диски, похожие на заходящее солнце. Горячий воздух обжигал легкие, и мне казалось, что мои волосы того и гляди загорятся.

Мы шли гуськом по узкой пешеходной тропинке между рельсами вдоль улицы, по которой двигались небольшие составы, груженные необработанным и горячим, отливавшим всеми цветами радуги металлом.

Мне было не по себе, и мое сердце билось учащенно. Поезда проносились так близко, что встречный ветер хлестал нас по щекам, и я прижимала к себе подол юбки, чтобы не быть задетой. Я боялась оступиться на скользкой, заваленной углем дороге, и каждый шаг на высоких каблуках причинял мне мучение. Короче, я пережила весьма неприятные минуты и была очень рада, когда нескончаемая улица привела нас к безбрежному полю, где было свалено для ремонта множество рельсов.

Я падала с ног от усталости и мечтала об отдыхе. Мои спутники привели меня к какому-то жилому дому. Нам открыли вышколенные слуги в ливреях. Повсюду царила странная тишина.

Брат моего друга говорил так тихо, что его трудно было понять. Я заметила, что, когда мы спрашивали его о чем-то жестами и пытались расслышать ответ, неуловимая улыбка пробегала по его каменному лицу. Вскоре я поняла, что он ненавидел людей и отыгрывался на них таким образом за свою ущербность.

Ленч был сервирован в зимнем саду, волшебном уголке, благоухавшем цветами. Не успели мы сесть за стол, как отовсюду грянуло пение множества птиц — под широкими листьями деревьев были спрятаны невидимые клетки с пленниками семейства канареек.

Я попыталась заглушить эти пронзительные звуки и заговорила как можно громче, но пернатые кричали как оглашенные. Лицо глухого прояснилось, и он злорадно посмеивался в своем кресле-качалке. В тот миг, несмотря на весь свой гнев, я прониклась жалостью к этому злому человеку с его ребяческой местью и перешла со своим стаканом чая в другой конец оранжереи.

Я смертельно устала, и, когда приятель предложил мне показать свои нефтяные скважины, находившиеся в нескольких милях от города, я посмотрела на него с таким нескрываемым ужасом и отчаянием, что он поспешил извиниться с добродушной улыбкой.

Было пять часов, и на улице уже сгущались сумерки. Я решила вернуться в отель. Мой друг попросил разрешения доставить меня туда окольной дорогой через холмы, чтобы я смогла увидеть Питсбург с высоты птичьего полета.

Мы вновь сели в коляску, запряженную свежими рысаками, и отправились в путь. Через несколько минут я уже чувствовала себя Прозерпиной, летящей вместе с богом ада Плутоном на крылатых конях через свои огненные владения. Все вокруг было объято пламенем. Кровавое небо было затянуто длинными черными шлейфами, напоминавшими вдовий траур. Земля ощетинилась железными руками, которые тянулись к небу с немой угрозой, извергая фейерверк дыма и пламени, падавший на землю звездным дождем.

Коляска мчалась через холмы. Мы дрожали от холода и лихорадочного возбуждения.

И тогда мой друг поведал мне о своей страстной любви к Ниагарскому водопаду. Он бывал там только в одиночестве, но для меня готов был сделать исключение. Он говорил о водопаде, как о любимой женщине, с таким пылом, что в мою душу закрались опасения относительно его рассудка. Он правил лошадьми, не разбирая дороги, прямо по камням, и мне стало не по себе. Взглянув украдкой на его спокойное лицо, я заметила, что его нижняя губа слегка подрагивает, так же как и у его глухого брата.

Я разнервничалась. Холод, огонь, бешеная езда, грохот молотов по наковальне, напоминавший подземный погребальный звон, свистящие звуки кузнечных горнов, звучавшие в ночи отчаянной мольбой о помощи, трубы, изрыгавшие дым с надсадным хрипом, и поднявшийся ветер, который то бросал в небо скрученные клубы дыма, то вдруг направлял их нам в лицо, — этот неистовый разгул стихии взбудоражил мои нервы. Пора было возвращаться в гостиницу.

Я вышла из кареты и попрощалась с моим другом. Мы договорились с ним встретиться в Буффало. Увы! Мне не довелось больше его увидеть. В тот же день он простудился и слег. А годом позже я узнала, что он разбился о скалы, когда решил преодолеть пороги водопада. Он пал жертвой собственной страсти.

Труппа ждала меня в гостинице. Я забыла, что репетиция «Принцессы Жорж» была назначена на полпятого. Среди актеров я заметила незнакомого человека. Мне сказали, что это рисовальщик, рекомендованный Жарреттом, который хотел сделать с меня несколько набросков. Я посадила его в стороне и

забыла о нем. Мы торопились провести репетицию, чтобы успеть в театр к вечернему представлению «Фруфру».

Скомканная репетиция быстро закончилась, и незнакомец попрощался, отказавшись показать свои рисунки, которые якобы следовало отретушировать.

Представьте мою радость, когда на следующее утро разгневанный Жарретт влетел ко мне со свежим номером питсбургской газеты, в котором незнакомец, оказавшийся не кем иным, как журналистом, повествовал о генеральной репетиции «Фруфру». Этот простофиля писал: «В пьесе „Фруфру" есть важная сцена: сцена между двумя сестрами. Мадемуазель Сара Бернар меня не удивила. Что касается актеров труппы, то я нахожу их посредственными. Костюмы некрасивы, и в сцене бала никто не носил фрак».

Жарретт метал громы и молнии. Я же не помнила себя от радости. Он знал о моей ненависти к репортерам и сам же ввел ко мне одного из них обманным путем в целях рекламы. Журналист решил, что мы репетируем «Фруфру», а мы репетировали «Принцессу Жорж» Александра Дюма. Он принял сцену между принцессой Жорж и графиней де Термонд за сцену между сестрами из третьего акта «Фруфру». Актеры играли в своих дорожных костюмах, а он удивлялся, отчего мужчины не во фраках, а женщины не в бальных платьях. Ах, какой повод для веселья и всей труппе, и всему городу, а также что за великолепная мишень для острот газетам-конкурентам!

Мне предстояло играть в Питсбурге два дня, а затем наш путь лежал в Брэдфорд, Эри и Торонто. Наконец, в воскресенье, мы прибыли в Буффало.

Я хотела подарить актерам день праздника и сводить их к водопаду, но Аббе тоже решил их пригласить. Между нами разгорелся спор, который чуть не принял дурной оборот. Ни один из нас не хотел уступать другому, и ради этого мы готовы были даже пожертвовать самим водопадом. Но Жарретт убедил нас, что из-за нашего деспотизма актеры лишатся веселого праздника, о котором они столько наслышаны и которого так ждут. Мы сдались и пошли на компромисс, поделив труппу пополам.

Артисты с любезной готовностью приняли наши приглашения. Мы сели в поезд и в шесть часов утра прибыли в Буффало, предварительно послав телеграмму с просьбой заказать для нас экипажи, завтрак и обед: привезти тридцать два человека без предупреждения в воскресенье в чужой город было бы сущим безумием.

Наш поезд, украшенный цветочными гирляндами, мчался полным ходом, и ничто не сдерживало его движения.

Детская радость молодых актеров, россказни тех, кто уже побывал в Буффало, и толки тех, кто был об этом наслышан, букетики цветов, подаренные женщинам, сигареты и сигары, розданные мужчинам, — все это способствовало веселому расположению духа, и все казались счастливыми.

На вокзале нас уже ждали экипажи. Они отвезли нас в отель «Англетер», где нам были поданы кофе, чай, шоколад. Все быстро расселись за столы, украшенные цветами, и завтрак прошел очень оживленно.

Затем мы отправились к водопаду: Больше часа я любовалась, стоя на балконе, выбитом в скале, величественным зрелищем, которое взволновало меня до слез.

Все вокруг было залито ярким солнцем и расцвечено мягкими серебристыми цветами радуги, а огромные сосульки, свисавшие со скал, переливались подобно драгоценным камням.

Мне было жаль уходить со своей обзорной площадки.

Затем тесные подъемники плавно спустили нас в трубу, помещавшуюся в расщелине огромной скалы. Водопад ревел у нас над головами, и его разноцветные брызги летели нам в лицо. Напротив, заслоняя нас от водопада, возвышалась одинокая ледяная горка. Мы решили взять ее штурмом. На середине пути я снимаю свое тяжелое меховое манто и кладу его на ледовый склон. Оно плавно съезжает к подножию горы, а я остаюсь в белом суконном платье и легкой сатиновой блузке. Все ахают, Аббе накидывает мне на плечи свое пальто, но я тут же сбрасываю его, и оно летит вниз к моей шубе. Бедный импресарио готов расплакаться. Он немало выпил и ковыляет по льду, падая и поднимаясь как ванька-встанька. Все смеются. Мне не холодно. Мне никогда не холодно на свежем воздухе. Я ощущаю озноб только, в доме, когда сижу без движения.

Наконец мы добираемся до вершины ледника; водопад грозно нависает, обдавая нас холодным паром своего шумного дыхания. Я зачарованно гляжу на стремительное движение воды, которая падает словно широкий серебристый занавес и разбивается с неслыханным грохотом, вздымая тучи брызг.

Я легко подвержена головокружениям и, будь моя воля, осталась бы здесь навечно, не в силах оторвать взгляда от летучей водной глади, околдованная этим чарующим шумом, и оцепенела бы от пронизывающего холода.

Меня увели оттуда почти насильно.

Спускаться было труднее, чем подниматься. Я взяла у одного из моих спутников трость, уселась на лед и съехала вниз, держа палку наперевес.

Все последовали моему примеру. Это было смешное зрелище:

тридцать два человека катились кубарем с ледяной горы на естественной точке опоры, с хохотом сталкиваясь друг с другом.

Четверть часа спустя все были в гостинице, где для нас накрыли обед. Мы страшно проголодались и замерзли, а в ресторане было тепло и вкусно пахло.

После обеда хозяин гостиницы провел меня в небольшой салон, где меня ждал сюрприз: на столе под стеклом я увидела Ниагарский водопад в миниатюре — камни изображали скалы, большое стекло — водную гладь, а сам водопад был сделан из фигурного стекла. Кое-где виднелся орнамент в виде зеленых листьев, а на ледяном холме стояла моя фигурка! Все это было страшно безвкусно.

Натянуто улыбаясь, я собиралась похвалить хозяина гостиницы за хороший вкус, как вдруг с изумлением увидела слугу моих питсбургских друзей братьев Т… Они-то и прислали мне эту чудовищную пародию на одно из самых замечательных чудес света.

Слуга вручил мне письмо, и, прочитав его, я смягчилась: мои друзья приложили столько стараний, чтобы осуществить свой замысел и тем самым доставить мне радость!

Передав слуге ответное письмо, я попросила хозяина гостиницы тщательно упаковать подарок и отправить его в Париж, надеясь в душе, что по прибытии от него останутся одни осколки. Я была не в силах понять, каким образом страсть моего друга к водопаду могла сочетаться с идеей подобного дара. Почему он не возмутился при виде столь гротескной имитации своей мечты и как решился преподнести ее мне? Напрашивается вопрос: чем была вызвана его любовь к водопаду и каким образом воспринимал он это величественное чудо? Со времени его гибели я сотни раз задавалась этим вопросом и до сих пор не могу поверить, что он видел водопад таким, каким он был, во всей его красоте.

К счастью, меня окликнули. Мои спутники ждали меня в коляске. Мы тотчас тронулись с места, и лошади повезли нас ленивой прогулочной рысцой на канадский берег.

Выйдя из экипажа, мы натянули на себя желтые и черные резиновые костюмы и стали походить на неповоротливых моряков-крепышей, впервые напяливших уродливые штормовки.

Две хибарки служили раздевалками для женщин и мужчин. Спрятав волосы под капюшоном, который крепко затягивается под подбородком, надев широченный плащ и засунув ноги в меховые ботинки со шпорами, предохраняющими от падения… да вдобавок утонув в необъятных резиновых штанах, которые топорщатся во все стороны, самая очаровательная и стройная

женщина превращается в огромного неуклюжего медведя. Изящный ансамбль дополняется дубинкой с железным набалдашником.

Я смотрелась нелепее остальных, так как не стала прятать волосы, кокетливо прицепила к своей резиновой груди несколько бутонов розы и, кроме того, стянула свой плащ широким серебряным ремнем.

Завидев меня, женщины разразились восторженными возгласами: «О, до чего же она мила в этом костюме! Никто не выглядит так шикарно!», а мужчины галантно целовали мои медвежьи лапы и приговаривали вполголоса:

— Как всегда, несмотря ни на что, наша королева, фея, богиня, дивная… и т. д.

Я довольно мурлыкала до тех пор, пока, проходя мимо стойки девушки, раздававшей билеты, не узрела в зеркале свое гигантское отражение с нелепыми розами на груди и курчавыми прядями, выбивавшимися из-под грубого капюшона наподобие козырька.

Я казалась толще всех из-за пояса, который стягивал мою талию, образуя на боках резиновые складки. Мое худое лицо было сплющено капюшоном, а нависавшие волосы закрывали глаза. Только резко выделявшийся крупный рот позволял признать в этой ходячей бочке одушевленное существо.

Ругая себя за неуместное кокетство и стыдясь собственной слабости, из-за которой попалась на удочку грубой лести насмехавшихся надо мной людей, я решила ничего не менять в наряде, в отместку своей дурацкой спеси. Среди нас было множество иностранцев, которые толкали друг друга в бок, указывая на меня, и тихо посмеивались над моим нелепым видом. Это было для меня хорошим уроком.

Спустившись по лестнице, высеченной в ледяной глыбе, мы оказались под канадским водопадом. И тут же перед нами открылось странное, невообразимое зрелище: над нашими головами парил в пустоте гигантский ледяной купол, лишь одним концом цеплявшийся за край скалы. С купола свисали тысячи сосулек самой причудливой формы: драконы, стрелы, кресты, веселые и страдальческие маски, шестипалые руки, уродливые ноги, бесформенные тела, длинные женские волосы…

Перед нами возвышались, вонзая в небо свои прямые гордые шпили, ледяные колокольни и минареты, ждавшие своих муэдзинов. Призвав на помощь фантазию, пристальный взгляд сквозь приспущенные ресницы мгновенно завершал неясный набросок, в то время как в душе вереницей проносились реальные и призрачные образы — порождения здравого ума либо

горячечного воображения.

С правой стороны водопад окрасился в лучах заходящего солнца в розовый цвет.

Мы были забрызганы с ног до головы, и вместе с водой то и дело в нас летели крошечные серебристые рыбки, угодившие в водопад по воле злого рока. Потрепыхавшись, они застывали на наших плащах, словно завороженные ослепительной красотой заката.

Одна глыба напоминала носорога на водопое.

— Хочу забраться наверх! — воскликнула я.

— Но это невозможно! — ответил кто-то из моих друзей.

— Невозможно? О, ничего невозможного нет! Стоит рискнуть. Расщелина, которую нужно преодолеть, не более метра шириной.

— Да, но зато она очень глубока, — возразил находившийся среди нас художник.

— Ну что ж, у меня только что умерла собака. Ставлю на любого пса на свой вкус, что заберусь наверх!

Аббе, за которым послали, застал меня уже в полете.

Прыгая через расщелину, я едва не угодила в пропасть. Спина «носорога» была до того гладкой и скользкой, что, забравшись на нее, я не смогла удержаться на ногах и уселась верхом, держась за небольшой выступ на голове глыбы. Я была не в силах сдвинуться с места и сказала, что если меня не снимут, то я останусь здесь навечно. Внезапно мне показалось, что мой «носорог» зашевелился, и у меня закружилась голова. Я выиграла пари, но весь мой азарт пропал. Мне было страшно, и мои спутники, остолбеневшие у подножия глыбы, усугубляли этот страх. С сестрой случилась истерика, а бедная Герар душераздирающе охала: «О Господи, моя бедная Сара! Ах, Боже мой!» И только художник спокойно делал свои наброски.

Тем временем, к счастью, собралась вся труппа, спешившая увидеть водопад. Аббе принялся меня упрашивать… Жарретт умолял… Но у меня по-прежнему кружилась голова, и я была не в силах пошевелиться. Наконец Анжело перепрыгнул через расщелину и, стоя на краю, попросил принести доску и топор.

— Браво! — воскликнула я со спины «носорога». — Браво!

Тотчас же принесли доску, старую, потемневшую от времени трухлявую доску, которая не внушила мне доверия. Топорик сделал зарубку в хвосте «носорога», и Анжело приладил доску, а Жарретт, Аббе и Клод навалились на нее с другой стороны. Проехав по спине глыбы, я вступила не без опаски на шаткую доску, такую узкую, что мне пришлось переставлять ноги след в след.

Я вернулась в гостиницу в лихорадочном возбуждении.

Художник показал мне довольно смешные эскизы, которые он успел набросать, и, наскоро перекусив, мы поспешили к дожидавшемуся нас поезду. Вся труппа была уже в сборе.

Я уезжала, так и не повидав то место, где мой питсбургский друг нашел свой конец.

20

Наше большое путешествие подходило к концу. Это было мое первое путешествие, и поэтому я называю его большим. Оно продолжалось семь месяцев. Последующие гастроли длились от одиннадцати до шестнадцати месяцев.

После Буффало мы посетили Рочестер, Ютику, Сиракьюс, Олбани, Трой, Уорчестер, Провиденс, Ньюарк и ненадолго остановились в Вашингтоне, чудесном, но удручающе унылом в ту пору городе. Это был последний город на моем пути. Мы дали там два представления, которые прошли с замечательным успехом, и сразу же после ужина в посольстве отправились в Балтимор, Филадельфию и Нью-Йорк, где завершалось наше турне.

По просьбе творческой интеллигенции Нью-Йорка мы сыграли утренний спектакль. Выбор пал на «Принцессу Жорж».

О, это было прекрасное незабываемое представление. Ни одна деталь не ускользнула от наметанного глаза искушенной публики, состоявшей из актеров, актрис, художников и скульпторов.

По окончании спектакля мне вручили золотой гребень, на котором были высечены дата и имена большей части моих зрителей.

Я получила в подарок от Сальвини хорошенькую шкатулку из лазурита, а девятнадцатилетняя Мэри Андерсон, ослеплявшая своей молодостью и красотой, преподнесла мне небольшой медальон с надписью «Не забывайте меня!», выполненный из бирюзы. Я насчитала в своей гримерной сто тридцать букетов.

Вечером мы завершили гастроли спектаклем «Дама с камелиями». Меня вызывали на сцену четырнадцать раз.

Среди шквалов аплодисментов и возгласов «браво!» я слышала какой-то отрывистый, дружный крик, возобновляющийся тотчас же, как я выходила из-за кулис. Не в силах понять, что он означает, я была в недоумении.

Подоспевший Жарретт вывел меня из замешательства: «Они просят речь». Я смотрела на него оторопело, и он пояснил:

— Ну да, они хотят, чтобы вы сказали небольшую речь.

— Ну нет! — воскликнула я и в очередной раз направилась на сцену. — Нет! — И, кланяясь публике пролепетала: — I can't speak; but I can tell you: thank you! thank you! with all my heart![87]

Я покидала театр под гром аплодисментов и криков «Гип-гип, ура! Да здравствует Франция!».

В среду, четвертого мая, я поднялась на борт «Америки», того

самого злополучного корабля-призрака, которому мое присутствие приносило удачу.

На судне был новый капитан по имени Сантелли. Маленький и белобрысый, он являл собой полную противоположность прежнему капитану — высокому брюнету, но был таким же обаятельным и приятным собеседником. Капитан Жукла пустил себе пулю в лоб после того, как в пух и прах проигрался в карты.

Мою каюту отделали заново, и на сей раз ее деревянные панели были покрыты небесно-голубой обивкой.

Поднявшись на борт судна, я обернулась к толпе провожавших меня друзей и послала им воздушный поцелуй. Грянуло дружное: «До свидания!»

Затем я направилась в свою каюту. У двери меня поджидал элегантный мужчина в костюме стального цвета, остроносых ботинках, шляпе по последнему слову моды и перчатках из собачьей кожи… То был владелец кита Генри Смит собственной персоной! У меня вырвался крик раненого зверя. С радостной улыбкой Смит вручил мне ларец для украшений. Я приняла дар, чтобы выбросить его через открытый иллюминатор в море, но Жарретт схватил меня за руку и отобрал, шкатулку. Открыв ее, он воскликнул: «Великолепно!» А я закрыла глаза, заткнула уши и крикнула Смиту: «Убирайтесь! Негодяй! Скотина! Проваливайте! Желаю вам умереть в страшных муках! Убирайтесь прочь!»

Когда я открыла глаза, его уже не было. Жарретт заговорил со мной о подарке, но я оборвала его:

— Ради всего святого, господин Жарретт, оставьте меня в покое! И раз вам так нравится этот ларец, отдайте его вашей дочери, и забудем об этом.

Так мы и порешили.

Накануне отъезда из Америки я получила длинную телеграмму от председателя Гаврского общества спасателей господина Грозоса, который просил меня по прибытии дать представление для спасателей. Я согласилась с несказанной радостью по возвращении на любимую родину совершить этот акт благотворительности.

Суматоха отплытия осталась позади, и пятого мая, в четверг, наше судно покинуло Нью-Йорк.

Я ненавижу морские путешествия из-за того, что подвержена морской болезни, но на сей раз я поднялась на борт с легким сердцем, преисполненная презрения к мучительному недугу.

Не прошло и двух суток после нашего отплытия, как внезапно судно остановилось. Соскочив с кровати, я бросилась на палубу, опасаясь, что с нашим кораблем-призраком случилось какое-

нибудь новое несчастье. Напротив нас стояло французское судно, и с его борта нам подавали сигналы с помощью то поднимавшихся, то опускавшихся флажков. Капитан, по приказу которого передавались ответные сообщения, подозвал меня, чтобы разъяснить азбуку этого языка. К своему стыду, я все начисто позабыла.

С французского судна была спущена на воду шлюпка, в которую сели двое матросов и бледный юноша в поношенной одежде. Когда шлюпка причалила, наш капитан приказал подать трап, и молодой человек поднялся на борт в сопровождении двух матросов. Один из них вручил офицеру, стоявшему на вахте у трапа, письмо. Тот прочитал его, поглядел на юношу и тихо сказал ему: «Следуйте за мной».

Шлюпка вернулась обратно, и матросы поднялись на борт. Вновь заработали двигатели, и оба судна, обменявшись прощальными гудками, последовали своим курсом.

Молодого человека повели к капитану, а я попросила комиссара поведать мне, если это не секрет, причину его внезапной пересадки. Но мне рассказал об этом сам капитан.

Это был бедный художник, который занимался резьбой по дереву. Он пробрался тайком на судно, отходившее в Нью-Йорк, поскольку у него не хватало денег даже на самый дешевый палубный билет. Он спрятался в куче тряпья, надеясь остаться незамеченным, но по дороге заболел, принялся кричать в бреду и тем самым себя выдал. Беднягу поместили в санчасть, где он во всем признался.

Капитан пообещал мне убедить художника принять от меня деньги на поездку в Америку. Слухи об этом мгновенно разнеслись по судну, другие пассажиры внесли свои пожертвования, и юный гравер внезапно стал обладателем тысячи двухсот франков. Через три дня он принес мне небольшую деревянную резную шкатулку, которую изготовил своими руками.

Эта шкатулка сейчас доверху наполнена сухими лепестками. Каждый год, седьмого мая, я получала от него букетик с неизменной запиской: «С благодарностью и преданностью». Я обрывала лепестки и складывала их в шкатулку. Вот уже семь лет, как он перестал присылать мне цветы. Не знаю, что тому виной: смерть или просто забывчивость?..

Эта шкатулка всегда навевает на меня грусть, ибо забвение и смерть являются неизменными спутниками каждого человека. Забвение поселяется в нашей памяти и душе, а смерть караулит за углом, следит за каждым нашим шагом и строит свои козни, злорадно посмеиваясь, когда мы погружаемся в сон — преддверие того небытия, что станет когда-нибудь реальностью.

Других происшествий за время нашего пути не было.

Я проводила каждую ночь на палубе, вглядываясь в даль в надежде приблизить к себе берег, где меня ждали родные сердца. Утром я возвращалась к себе в каюту и спала целый день, чтобы убить время.

В ту пору скорость судов была не такой, как теперь, и часы тянулись невыносимо долго. Мне так не терпелось поскорее ступить на землю, что я попросила врача продлить мой сон до восемнадцати часов в сутки. Он дал мне сильную дозу снотворного, и я стала спать по двенадцать часов. Это придало мне спокойствие и уверенность в том, что я выдержу радость предстоящей встречи.

Сантелли обещал, что мы прибудем в порт четырнадцатого вечером. Я приготовилась и целый час не находила себе места, пока один из офицеров не пригласил меня подняться на капитанский мостик.

Мы с сестрой помчались туда со всех ног, но вскоре я поняла из уклончивых и сбивчивых речей любезного Сантелли, что мы еще слишком далеко и нечего надеяться встать на рейд этой ночью.

Я разрыдалась. Мне казалось, что мы никогда не увидим берега, и я поверила в торжество злых духов.

Капитан тщетно старался меня вразумить. Я спустилась на палубу как выжатый лимон и упала в соломенный шезлонг, где и провела всю ночь, дрожа от холода. Я очнулась в пять часов утра. До берега оставалось еще не менее двадцати миль. Между тем солнце стало пригревать, оживляя белые, легкие, как хлопья снега, облака. Мысль о любимом юном существе вернула мне мужество. Я вернулась в каюту и тщательно занялась туалетом, чтобы скоротать время. В семь часов я отправилась к капитану.

— Осталось двенадцать миль, — объявил он. — Через два часа мы будем на берегу.

— Клянетесь?

— Клянусь!

Я вернулась на палубу и, облокотившись о поручни, вперила взгляд в пространство.

На горизонте показался какой-то пароходик, которому поначалу я не придала значения. Внезапно я заметила на его палубе множество белых флажков. Я приложила к глазам бинокль и тут же выпустила его из рук с радостным криком. Силы оставляют меня, и к горлу подступает комок. Я пытаюсь что-то сказать, но не могу вымолвить ни слова… Мое лицо, ставшее белее мела, пугает окружающих. Сестра Жанна плачет, протягивая руки к далекому видению.

Меня усаживают, но я вырываюсь из рук и цепляюсь за поручни. Мне суют флакон с нюхательной солью, и в то время, как заботливые руки растирают мои виски, я не выпускаю из вида приближающийся пароход.

Там меня ждет мое счастье! Моя радость! Моя жизнь! Всё-всё и даже больше!

«Бриллиант» (так назывался пароход) приближается. Мост любви связывает маленький корабль с большим, невидимый мост, сотканный из ударов наших сердец и поцелуев, которые мы берегли столько долгих дней. Наконец спущенные на воду шлюпки доставляют к нам на судно самых нетерпеливых. Они поднимаются по трапу и бросаются со слезами на глазах в раскрытые им объятья.

«Америка» захвачена. Вот они, мои дорогие верные друзья. Они привели моего юного сына Мориса! Ах, что за дивная минута! Ответы опережают вопросы. Смех звучит сквозь слезы. Все пожимают друг другу руки и обнимаются, охваченные безудержной нежностью. Между тем наше судно продолжает свой путь.

«Бриллиант» исчез, увезя с собой почту. По мере приближения к берегу нам все чаще встречаются небольшие суда, украшенные флагами, сотни судов и даже больше.

— Сегодня праздничный день? — спрашиваю я у Жоржа Буайе, корреспондента «Фигаро», который встречал меня в числе моих друзей.

— Ну да, сударыня, сегодня в Гавре большой праздник, ибо ожидается возвращение феи, которая уехала семь месяцев тому назад.

— Неужели все эти прекрасные парусники распустили свои крылья и украсили мачты ради меня? О, как я счастлива!

В этот миг мы подошли к молу. На нем собралось около двадцати тысяч человек, которые разом прокричали: «Да здравствует Сара Бернар!»

Я была поражена, ибо не ожидала столь торжественной встречи. Я понимала, что завоевала сердца жителей Гавра своим обещанием дать спектакль для спасателей, но мне сказали, что из Парижа пришли полные поезда с людьми, которые хотят поздравить меня с возвращением.

Я щупаю свой пульс… это я… и это не бред.

Корабль останавливается напротив шатра из красного бархата, откуда доносятся звуки невидимого оркестра. Звучит мелодия из «Шале»: «Остановимся здесь…» Эта чисто французская шалость вызывает у меня улыбку. Спустившись по трапу, я прохожу сквозь толпу улыбающихся приветливых людей

и моряков, которые осыпают меня цветами. Под сводами шатра меня ждут спасатели, увешанные своими славными медалями.

Президент общества господин Грозос обращается ко мне со следующей речью:

— Сударыня! Мне как президенту выпала честь представить вам делегацию общества спасателей Гавра, собравшихся, чтобы поздравить вас с прибытием и засвидетельствовать свою глубокую признательность за участие, которое вы так горячо выразили в вашей депеше из-за океана. Мы пришли также, чтобы поздравить вас с огромным успехом, который вы завоевали повсюду за время вашего дерзновенного путешествия. Ныне вы снискали на обоих континентах не просто известность, но бесспорную артистическую славу, и ваш замечательный талант вкупе с личным обаянием еще раз подтвердил за рубежом репутацию Франции как отчизны искусства, колыбели изящества и красоты.

Далекое эхо ваших слов, произнесенных в Дании по поводу минувшего печального события, все еще звучит в наших ушах. Оно напоминает нам, что ваше сердце, так же как и ваш талант, принадлежит Франции, ибо даже самый бурный и пламенный театральный успех никогда не умалял вашего патриотизма.

Наши спасатели поручили мне выразить свое восхищение очаровательной феей, которая милостиво протянула свою щедрую руку нашему бедному, но благородному обществу. Они хотят вручить вам эти цветы, выросшие на нашей родной земле, на земле Франции, где их можно встретить на каждом шагу. Но они заслуживают того, чтобы вы приняли их благосклонно, ибо их вручают вам самые храбрые и верные из наших спасателей…

Моя ответная речь была, судя по отзывам, очень красноречивой, но мне кажется, что ее произносил за меня кто-то другой.

Мои чувства пришли в лихорадочное возбуждение. Я не могла ни есть, ни спать. Мое сердце неустанно выбивало в груди нервную радостную дробь, а голова трещала от обилия скопившихся за полгода фактов, которые я выложила слушателям за два часа. И вдобавок столь торжественный прием, которого я никак не ожидала ввиду недоброжелательства парижской прессы, осудившей мой отъезд и превратно толковавшей на страницах некоторых газет различные перипетии моих гастролей…

Все эти события были настолько несоизмеримы, что как-то не укладывались в моей голове.

Представление принесло спасателям обильный урожай. Впервые после возвращения я играла во Франции «Даму с камелиями». На меня снизошло вдохновение. И ручаюсь, что те, кто побывал на этом спектакле, постигли квинтэссенцию моего

искусства. Я провела ночь в усадьбе Сент-Адресс, а на другой день отбыла в Париж, который встретил меня неповторимыми овациями.

Три дня спустя я принимала в своем особняке на улице де Вилльер Викторьена Сарду, который пришел прочесть мне свою замечательную пьесу «Федора».

Великий артист! Бесподобный актер! Великолепный автор! Он прочел мне пьесу на одном дыхании, играя сразу за всех, и я тут же представила, что из этого можно сделать.

— Ах! — воскликнула я после читки. — Дорогой мэтр, спасибо вам за прекрасную роль! И спасибо за урок, который вы мне преподали.

Ночью я не сомкнула глаз, пытаясь разглядеть в потемках свою счастливую звездочку. Я увидела ее только на заре и заснула с мыслью о новой эре, занимавшейся в моей жизни[88].

Мои гастроли продолжались семь месяцев. За это время я посетила пятьдесят городов и дала сто пятьдесят шесть спектаклей:

ДАМА С КАМЕЛИЯМИ	65 представлений
АДРИЕННА ЛЕКУВРЕР	17 представлений
ФРУФРУ	41 представление

ПРИНЦЕССА ЖОРЖ	3 представления
ЭРНАНИ	14 представлений
ИНОСТРАНКА	3 представления
ФЕДРА	6 представлений
СФИНКС	7 представлений

Общий сбор составил 2 667 600 франков, а средний сбор за спектакль — 17 000 франков.

На этом я заканчиваю первый том своих воспоминаний, посвященный первому этапу моей жизни — этапу развития моих физических и духовных сил.

Я сбежала из «Комеди Франсез», сбежала из Парижа и Франции, от семьи и друзей для того, чтобы совершить головокружительный пробег через горы, моря и пространства!

Я вернулась, не утолив до конца своей жажды странствий, но мое чувство долга значительно возросло.

Грозный Жарретт укротил мою слишком вольную натуру своей неумолимой суровой мудростью и постоянными призывами

к моей сознательности.

За эти несколько месяцев мой ум созрел и я научилась управлять своими желаниями.

Я поняла, что моя жизнь, которая, как мне казалось, будет совсем короткой, должна быть очень, очень долгой, и радовалась в душе при мысли о смертельной досаде моих врагов.

Я решила жить.

Я решила осуществить свою мечту и стать великой актрисой.

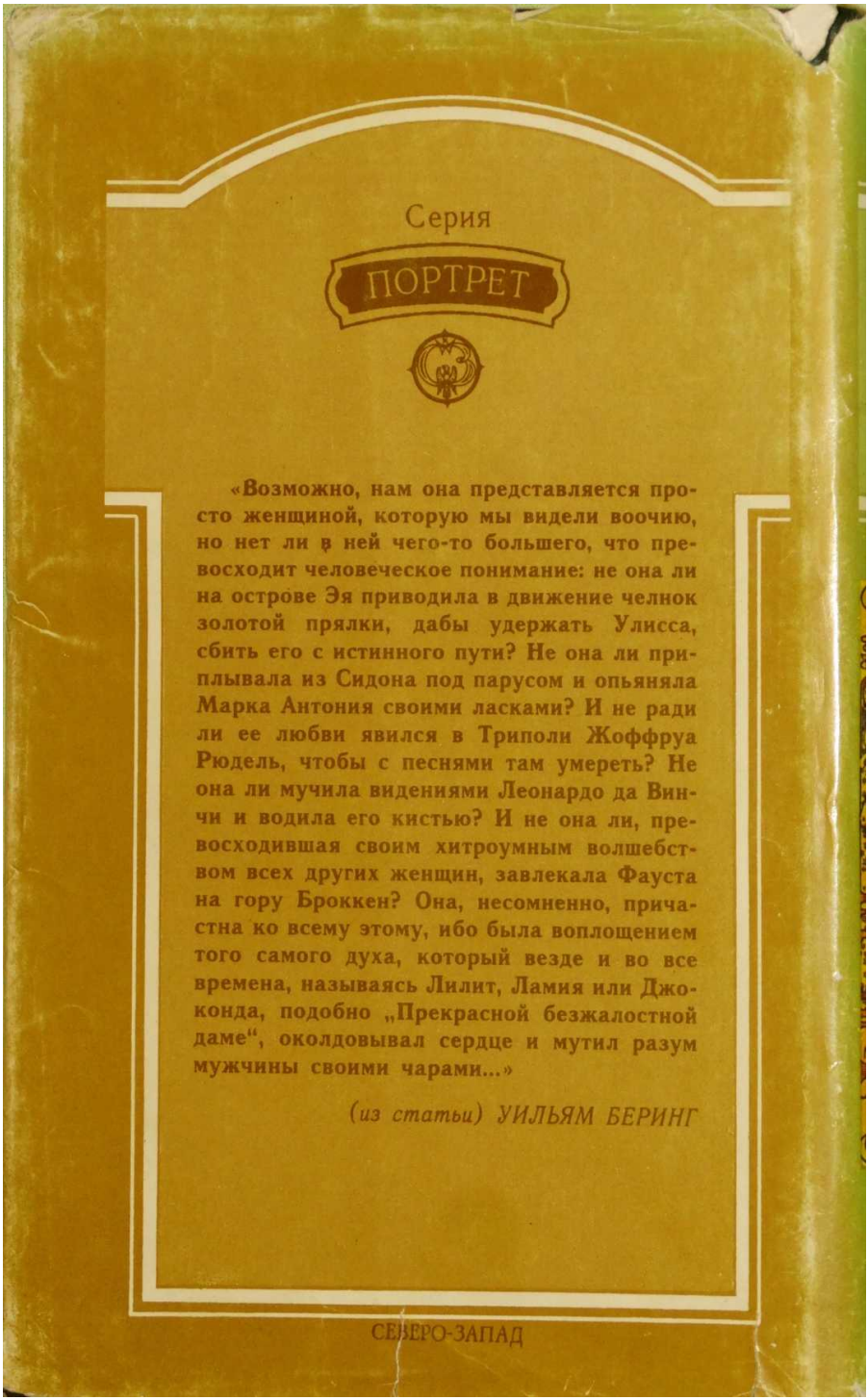
И отныне я уже никогда не сходила со своего пути.

Серия ПОРТРЕТ

«Возможно, нам она представляется просто женщиной, которую мы видели воочию, но нет ли в ней чего-то большего, что превосходит человеческое понимание: не она ли на острове Эя приводила в движение челнок золотой прялки, дабы удержать Улисса, сбить его с истинного пути? Не она ли приплывала из Сидона под парусом и опьяняла Марка Антония своими ласками? И не ради ли ее любви явился в Триполи Жоффруа Рюдель, чтобы с песнями там умереть? Не она ли мучила видениями Леонардо да Винчи и водила его кистью? И не она ли, превосходившая своим хитроумным волшебством всех других женщин, завлекала Фауста на гору Броккен? Она, несомненно, причастна ко всему этому, ибо была воплощением того самого духа, который везде и во все времена, называясь Лилит, Ламия или Джоконда, подобно „Прекрасной безжалостной даме“, околдовывал сердце и мутил разум мужчины своими чарами…»

(из статьи) УИЛЬЯМ БЕРИНГ

СЕВЕРО-ЗАПАД


Серия
ПОРТРЕТ
«Возможно, нам она представляется просто женщиной, которую мы видели воочию, но нет ли в ней чего-то большего, что превосходит человеческое понимание: не она ли на острове Эя приводила в движение челнок золотой прялки, дабы удержать Улисса, сбить его с истинного пути? Не она ли приплывала из Сидона под парусом и опьяняла Марка Антония своими ласками? И не ради ли ее любви явился в Триполи Жоффруа Рюдель, чтобы с песнями там умереть? Не она ли мучила видениями Леонардо да Винчи и водила его кистью? И не она ли, превосходившая своим хитроумным волшебством всех других женщин, завлекала Фауста на гору Броккен? Она, несомненно, причастна ко всему этому, ибо была воплощением того самого духа, который везде и во все времена, называясь Лилит, Ламия или Джоконда, подобно „Прекрасной безжалостной даме", околдовывал сердце и мутил разум мужчины своими чарами...»
(из статьи) УИЛЬЯМ БЕРИНГ
СЕВЕРО-ЗАПАД

Внимание!

Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.

После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.

Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

notes

Примечания

1

Христиания — название г. Осло с 1624 по 1924 г.

2

Юдифь Бернар, урожденная фон Хард, славилась своей красотой. Она была, как тогда говорили, «содержанкой». Что касается отца Сары Бернар, то трудно установить, кто он. Многие полагают, что это офицер французского морского флота по имени Морель. — *Здесь и далее примечания изд-ва «Фамм».*

З

Маркиза де Севинье (1826–1896) — автор «Писем», адресованных дочери, графине де Приньян, и другим. Опубликованные в 1926 г. «Письма» представляют собой яркую картину нравов того времени.

4

Расин Ж. Трагедии. Гофолия. Л., 1977, с. 319 *(Перевод Ю. Корнеева.)*

5

Никакого отношения к президенту республики, носившему то же имя, он не имеет, хотя и с президентом Сара тоже встречалась, о чем рассказано в этой книге.

Благословите *(лат.)* — католическая молитва.

7

А Генрих V — признанным монархом… — После июльской революции 1830 г. под именем Генриха V легитимистами рассматривался как законный претендент на французский престол Анри-Шарль (1820–1883), герцог Бордо, граф де Шамбор, последний представитель старшей ветви Бурбонов. Однако в решающий момент он отказался возглавить заговор монархистов, подготавливавших реставрацию французской монархии.

8

Товит и Товия — персонажи ветхозаветного предания, изложенного в «Книге Товита».

9

То была первая встреча с Софи Круазетт, о которой еще пойдет речь.

10

Каролюс-Дюран (Шарль Дюран) — французский художник (1837–1917).

11

Из глубин *(лат.)*. Начало покаянного псалма, который читается как отходная молитва.

12

Герцог де Мории был единоутробным братом Наполеона III. А Сара навсегда сохранила наивную привязанность к императорской семье.

13

Робер Уден (Жан Эжен) — французский фокусник (1805–1871).

14

Мольер Ж.-Б. Пьесы. Урок женам. М., Искусство, 1985 с. 483 *(Перевод В. Гиппиуса.)*

Лафонтен Ж. Басни. СПб., 1901. *(Перевод И. А. Крылова.)*

16

Бурре — овернский народный танец.

17

Вольтер. Заира. М., Просвещение, 1987, с. 40. *(Перевод Г. Шенгели.)*

18

«Сосьетер» (франц. soci tarie от socit — товарищество) — название актеров — членов труппы театра «Комеди Франсез», представлявшего собой самоуправляемое общество на паях; все доходы театра делились на определенное количество частей соответственно количеству пайщиков, или «сосьетеров».

19

Коклен — семья известных французских актеров. В данном случае речь, очевидно, идет о Коклене-старшем (1841–1909). В 1859–1860 гг. он учился в парижской Консерватории (драматический класс Ф.Ж. Ренье), по окончании которой дебютировал в театре «Комеди Франсез». Создал блестящие образы в пьесах Мольера, Лесажа, Реньяра и др. В 1886 г. создал собственную труппу и гастролировал по Европе и Америке, с 1897 г. до конца жизни возглавлял театр «Порт-Сен-Мартен».

20

Габриель Режан (1856–1920) — известная французская актриса. В 1905 г. приобрела здание Нового театра, который с 1906 г. работал под ее руководством и назывался Театром Режан.

21

«Во что бы то ни стало» — эти слова станут девизом Сары Бернар. Как ни странно, слова эти были и девизом Мишеля Ардана, героя «С Земли на Луну» — романа Жюля Верна, где, к слову сказать, нет ни одной женщины.

22

Расин Ж. Трагедии. Ифигения. Л., Наука, 1977, с. 238 *(Перевод И. Шафаренко и В. Шора.)*

23

Имя госпожи Пети *(франц.* Petit) означает «маленькая» Гро-та (*франц.* Gros tas) дословно — большая куча.

24

Франциск Сарсей (1827–1899) — французский театральный критик, статьи которого на протяжении сорока лет формировали вкусы буржуазной публики.

25

Викторьен Сарду (1831–1908) — французский драматург, член Французской академии.

26

Виктор-Эммануил II (1820–1878) — король Сардинского королевства в 1849–1861 гг. и первый король объединенной Италии с 1861 г.

27

Видимо, несмотря на свою кажущуюся мягкость, мать Сары Бернар умела ограждать свою свободу Быть может, как раз не пресловутая алчность, а именно желание быть свободной лежало в основе карьер многих «содержанок».

28

«Опера комик» — театр комической оперы, основанный в Париже в 1715 г.

29

«Амбигю», или «Амбигю комик» — первый бульварный театр в Париже, созданный в 1769 г. В первой половине XIX в. «Амбигю комик» стал одним из самых популярных бульварных театров Парижа.

30

«Вечный жид» — роман французского писателя Эжена Сю (1804–1857).

31

Адольф Тьер (1797–1877) — французский государственный деятель, историк.

32

18 февраля 1868 г.

33

Многие требовали возвращения Виктора Гюго. — После государственного переворота Луи Наполеона Бонапарта (1851) Виктор Гюго эмигрировал, выпустив в 1852 г. памфлет «Наполеон Малый» и сборник сатирических стихов «Возмездие».

34

«Рюи Блаз» (1838) — пьеса В. Гюго, выражающая бунт против тирании.

35

Неизвестный *(лат.)*.

36

Принцесса Матильда (1820–1904) — дочь Жерома Бонапарта, во времена Второй империи славилась своим блестящим салоном.

37

Согласно другим версиям (и в частности, работе Луи Вернея), первая встреча с Наполеоном III прошла не столь идиллически: когда Сару Бернар попросили почитать стихи, она в своем святом неведении выбрала две поэмы Виктора Гюго находившегося тогда в изгнании.

38

Франц Винтерхальтер (1805–1873) — немецкий художник. Обосновавшись во Франции, он при покровительстве королевы Марии-Амелии, а затем императрицы Евгении писал портреты и дворцовые сцены.

39

Фамилия Оранж (*франц.* orange) означает «апельсин» — здесь игра слов.

40

У Сары Бернар теперь уже есть сын (о рождении которого в книге не сказано ни слова), отцом его был принц де Линь Впоследствии он предложил Морису признать его и дать свое имя, но Морис отказался.

41

Того самого, что послужил прототипом для Свана в романе М. Пруста «В поисках утраченного времени».

«Поцелуй» (*итал.*).

43

Мандора — старинный музыкальный инструмент, похожий на лютню.

Букв. Недавно некий голос (*итал.*).

45

Франсуа-Феликс Фор (1841–1899) — президент Франции, умер внезапно в Елисейском дворце от кровоизлияния.

46

Граф де Кератри, по всей вероятности, был первым возлюбленным Сары Бернар. Однако утверждать такого рода вещи весьма трудно, да это и не имеет большого значения.

47

Валь-де-Грас — бывший парижский монастырь, построенный в 1645–1665 гг., переоборудованный впоследствии в госпиталь и санитарную военную школу.

48

Ландвер — категория военнообязанных запаса 2-й очереди и создаваемые при мобилизации второочередные войсковые формирования в Пруссии, Германии, Австро-Венгрии и других государствах в XIX — начале XX в.

49

Жюль Фавр (1809–1880) — вице-президент и министр иностранных дел во французском «Правительстве национальной обороны» (сентябрь 1870—февраль 1871). Подготовил и заключил Франкфуртский мир 1871 г. с Пруссией.

50

Эмиль де Жирарден (1806–1881) — французский журналист — реформатор прессы: он превратил газеты в дешевые массовые издания с широким использованием рекламы.

51

Анри Рошфор (1831–1913) — французский политический журналист, основатель сатирического еженедельника «Лантерн», направленного против Второй империи.

52

Андре Терье (1833–1907) — французский писатель, автор пьес и романов, в которых описывается жизнь провинциальной семьи.

53

Франсуа Сертен де Канробер (1809–1895) — маршал Франции, участник Крымской войны и войны 1870 года.

Старшая фрейлина *(исп.)*.

55

Уильям Бюзнах (1832–1907) — французский актер, директор театра «Атеней» в 1867–1868 гг., автор пьес и драматических обработок романов Э. Золя.

Он был возлюбленным Сары Бернар.

57

Виконт Фердинанд де Лессепс (1805–1894) — французский дипломат, руководивший в 1859–1869 гг. строительством Суэцкого канала и возглавлявший акционерное общество по возведению Панамского канала.

58

Анри де Ренье (1864–1936) — французский писатель и поэт-символист, автор поэтических сборников, романов и рассказов.

59

Эмиль Ожье (1820–1889) — французский драматург, автор бытописательных моралистических комедий и драм.

60

Жорж Клэрен (1843–1920) — французский художник, известный своими многочисленными портретами актрисы.

61

Двор чудес — старинное название парижского уголовного мира, воров и нищих — «калек», увечья которых возникали и исчезали как по волшебству.

62

Гюстав Доре, по всей вероятности, тоже был возлюбленным актрисы.

63

Полет на воздушном шаре, свидетельствующий о бесстрашном характере Сары Бернар, вдохновил ее на написание очаровательной новеллы «Среди облаков».

Добро пожаловать! *(англ.)*.

65

Генри Ирвинг (Джон Генри Бродрибб) (1838–1905) — английский актер, режиссер, руководивший лондонским театром «Лицеум» в 1878–1898 гг.

Расин Ж. Трагедии. Федра. Л., Наука, 1977, с. 265. *(Перевод М. Донского)*

67

Расин Ж. Трагедии. Федра. Л., Наука, 1977, с. 269. *(Перевод М. Донского)*

Было видно, как напряжен каждый нерв, каждый мускул мадемуазель Сары Бернар, и ее страсть росла вместе с лихорадочным возбуждением зрителей, которые долго не отпускали актеров после окончания спектакля. Муне-Сюлли вновь вышел на сцену, поддерживая обессилевшую актрису, которая одержала триумф ценой огромных физических усилий, и ее триумф был внезапным и оглушительным *(англ.)*.

69

Подавленная страсть, сдерживаемая какое-то время, пока наконец она не выплеснулась наружу, отчаяние разбитого женского сердца, открывшегося Ипполиту, были воспроизведены с такой убедительной достоверностью, что после того, как занавес опустился, зрительский восторг достиг невиданной силы. Мадемуазель Сара Бернар за те несколько минут, что была на сцене (ее выход сразу вверг нас в пучину волнующей трагедии), сумела произвести впечатление, которое не скоро изгладится из памяти тех, кто присутствовал на спектакле *(англ.)*.

70

Трудно передать словами, как Федра врывается в комнату, чтобы после внутренних терзаний поведать с нервной дрожью и судорожными рыданиями тайну своей преступной любви. Как только ее страсть победила в ней последнюю скромность и сдержанность, женщина прыгнула вперед, а затем отпрянула, подобно пантере, и слезы, исторгнутые из самой глубины ее сердца, свидетельствовали о борьбе с обуревавшими ее порочными желаниями, борьбе, продолжавшейся до тех пор, пока в конце концов, придя в ужас от презрения, которое вызвали в Ипполите ее признания, она не выхватила из ножен его меч и, вонзив его себе в сердце, не упала бездыханной. Эта сцена, превосходная по красоте движений, нервной силе, напряжению и чистоте дикции, тем более замечательна, что страсть, которую надо было изобразить, то бишь проговорить на пределе, при исполнении первого действия не придала актрисе должного пыла. Это доказывает, что Сара Бернар достойна своей высокой репутации и оправдывает надежды публики, которая с нетерпением ждала ее приезда *(англ.)*.

71

Уильям Юарт Гладстон (1809–1898) — премьер-министр Великобритании, лидер либеральной партии.

72

Луиза Аббема (1858–1927) — французская художница, известная своими портретами актрис: Жанны Самари, Розы Барретта и Сары Бернар.

Подобные обвинения в переодевании в мужскую одежду предъявлялись и Жанне д’Арк, и Жорж Санд.

Дом *(англ.)*.

75

Ж. Ж. Вейс (1827–1891) — французский журналист и критик, издатель политических газет «Журналь де деба» и «Журналь де Пари».

Жюль Леметр (1853–1914) — французский литературный критик, автор «Театральных впечатлений».

77

Франсуа Коппе (1842–1908) — французский поэт парнасской школы, автор романтических пьес, в которых играла Сара Бернар.

78

Жан Ришпен (1849–1926) — французский писатель, автор поэм и драм.

79

Катулл Мендес (1841–1909) — французский поэт парнасской школы.

Овсянка *(англ.)*.

81

Сара Бернар сумела оценить величие Америки, хотя отлично видела и ее недостатки.

82

По-дневному *(итал.)*.

83

Луи Оноре Фрешетт (1839–1908) — канадский франкоязычный писатель, автор поэтических сборников, пьес и рассказов.

Сара Бернар сумела верно понять отрицательный характер воздействия нашей европейской цивилизации на другие культуры, к чему этнографы пришли сравнительно недавно.

«Боже, храни королеву!» *(англ.)*.

86

Этот том не был написан.

87

Я не могу говорить, но я могу сказать: благодарю вас! благодарю! от всей души! *(англ.)*.

На самом деле возвращение актрисы в Париж было далеко не столь триумфальным, и ей пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть расположение публики.